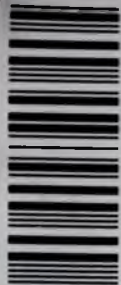




84(2=Py-1)
C47



0000163566

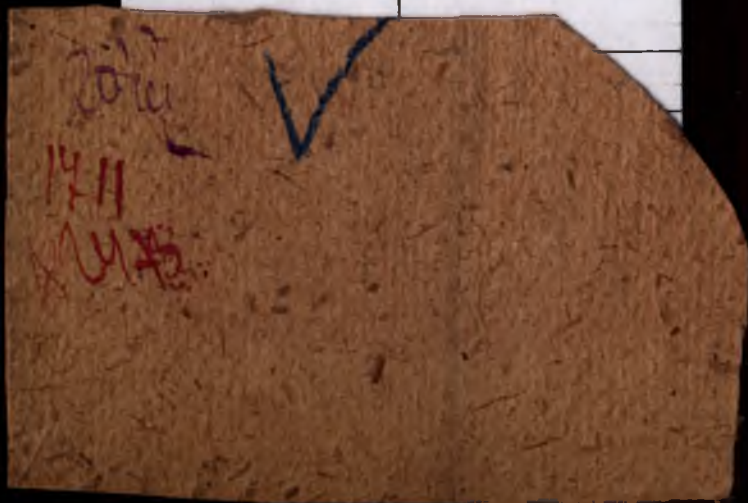
84/2-Реш 699361

С47 Соленцов В.А.

Сотникова, т.1

1932

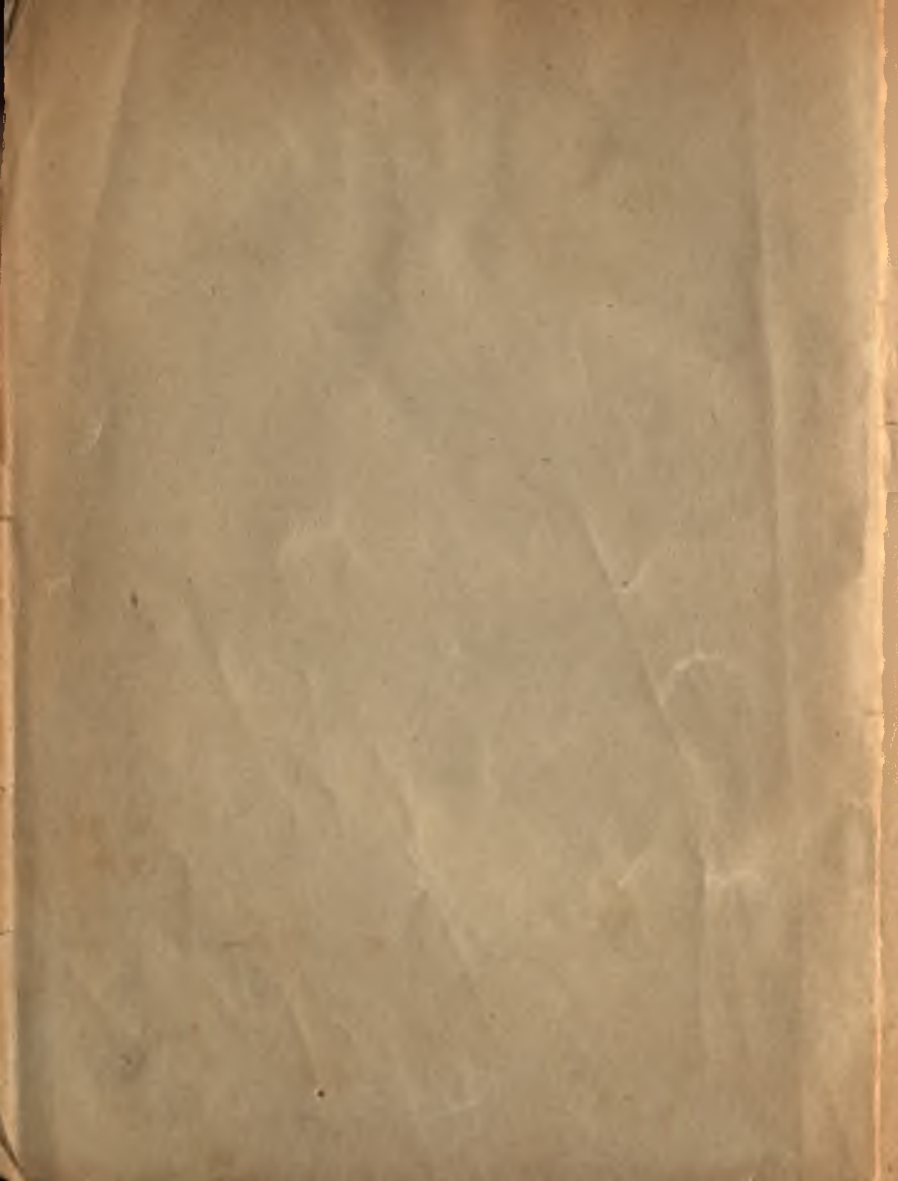
100.00



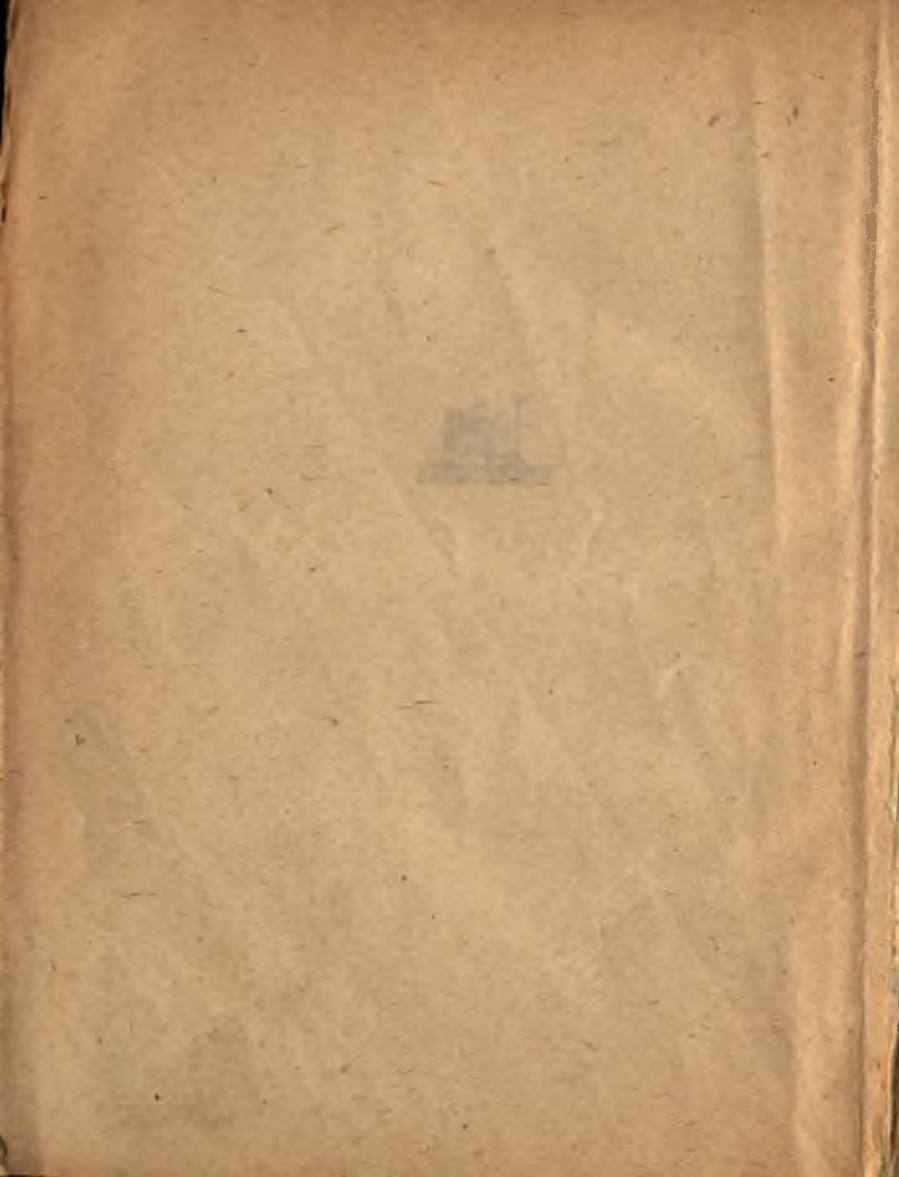
Листок срока возврата книг

**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ**
указанного здесь срока

--	--







XIX

H. A. GLENNON

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

XIX

в е к

В. А. СЛЕНЦОВ

1 8 3 6 — 1 8 7 8



АКАДЕМИА • МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

В. А. С Л Е П Ц О В

С-47

СОЧИНЕНИЯ

2-х
томах

РЕДАКЦИЯ
СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ
К. И. ЧУКОВСКОГО

Пропер.- 47 г.



а с а д е м

699361
Волгоградский государственный
Университет
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



Супер-обложка и переплет по рисункам
художника А. П. Мотилевского

263

ОТ РЕДАКТОРА

До сих пор беллетристика шестидесятых годов издавалась из рук вон плохо. Мне уже случалось указывать, с какими цензурными пропусками печатались, например, сочинения Николая Успенского. Его лучшие вещи зачастую доходили до позднейших читателей в таком исковерканном виде, что даже трудно было уловить их сюжет. При той чисто-партийной неприязни, которую питала интеллигенция новых формаций к боевым разночинцам шестидесятых годов, художественная литература той бурной эпохи была пренебрежена и забыта. Если в последующие десятилетия и переиздавались порою сочинения этих нелюбимых писателей, их печатали спустя рукава, без надлежащей заботы о наиболее точном и полном воспроизведении их текстов. В конце концов их литературное наследие попадало к темным маклакам, вроде Преснова или Губинского, которые, скупив их по дешевке, издавали их наряду с сонниками и прочею книжною рухлядью. Эти издатели были меньше всего заинтересованы в том, чтобы дать читателям научно-проверенный текст, свободный от цензурных и всяких иных искажений.

Этой плачевной судьбы не могло избежать и литературное наследие Василия Слепцова.

При его жизни было напечатано лишь одно издание его сочинений — довольно изрядное, в двух маленьких томиках (1866). Хотя это издание было неполное, так

как туда не вошли такие ценные вещи, как «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове», имеющие перво-классное значение для характеристики его социально-политических взглядов, все же оно обладало большими достоинствами: ему посчастливилось проскользнуть сквозь цензуру накануне каракозовского выстрела, вследствие чего цензура отнеслась к нему с такой благосклонностью, которая была немыслима уже через несколько дней. Таким образом это издание достовернее всех остальных, и политический радикализм писателя выражен в нем значительно ярче.

Больше при жизни Слепцова его сочинения не переиздавались ни разу. В 1875 году, незадолго до смерти, Слепцов, как это явствует из его неизданных писем, продал свои сочинения какому-то московскому издателю, но дело почему-то разладилось, и сочинения не появились в печати.

В 1878 году, тотчас после смерти Слепцова, какой-то московский книгопродавец вознамерился, было, напечатать собрание его сочинений и обратился, при помощи газетных публикаций, к наследникам его авторских прав, но и это намерение не было приведено в исполнение.¹

Только в 1888 году, то-есть через 22 года после появления первого издания (и через десять лет после смерти Слепцова), у апраксинского книгопродавца Губинского вышло второе издание, подготовленное автором к печати еще в 1875 году, — злостно искаженное цензурой и чрезвычайно неряшливое.

Книга едва ли имела успех, ибо следующее — третье — издание появилось лишь в 1903 году. По внешности это третье издание казалось вполне пристойным. Оно вышло с портретом автора, с кратким биографическим

¹ См. «Московские Ведомости», 1878, № 199.

очерком и было напечатано на хорошей бумаге. В него впервые были включены и «Письма об Осташкове», и «Владимирка и Клязьма». Но по существу оно было такой же безобразной халтурой, как и предыдущее, второе издание.

Начать с того, что вступительный очерк, наскоро склеенный из разнородных статей, посвященных Слепцову, содержал в себе много заведомой лжи. В нем, например, говорилось, будто Слепцов благополучно окончил Пензенский дворянский институт, между тем как его исключили оттуда за «непристойное и кощунственное поведение во время святой литургии».

Тут же приводились кривые стишки, которые Слепцов якобы посвятил своей матери. Между тем текст этих стишков был совершенно иной, и никакого отношения к матери Слепцова они не имели.¹

Далее, в статье сообщается, будто результатом скитаний Слепцова по Владимирской губернии явилась целая тетрадь его записей, посвященных тамошним рабочим. «Это сочинение, к сожалению, затерялось», сокрушается биограф Слепцова. Между тем это сочинение появилось в печати еще в 1861 году и перепечатано в той самой книге, где его объявляют погибшим!

Статья заметно стремится придать биографии Слепцова аристократический, благонамеренный и благообразный характер. В ней не только умалчивается о той антирелигиозной демонстрации, которая послужила причиной его увольнения из привилегированной школы, но даже не упоминается о том, что одно время он был профессиональным актером, что он был женат на танцовщице, что он жил и умер в ужасающей бедности; зато чрезвычайно выдвинут тот многозначительный факт, что его

¹ См. «Русская Старина», 1890, 1; «Исторический Вестник», 1903, 3.

дочь (которая была ему, кстати сказать, совершенно чужда) вышла *после его смерти* за генерала Иосифа Гурко!

В конце статьи Слепцову высказывалось строгое порицание за то, что он был не только художником, но и революционным бойцом. При помощи цитаты из черносотенного «Нового Времени» автор выражал сожаление, что Слепцов загубил свои душевные силы порывами в область политики и «праздной игрой в агитацию»!

Естественно, что при таком враждебном отношении к революционной идеологии Слепцова руководители издания считали весьма нежелательными какие бы то ни было попытки восстановить в его книгах те «опасные» строки, которые были выброшены давнишней цензурой из первопечатного текста. Эти старые цензурные вымарки, сильно искажавшие подлинную физиономию Слепцова, были бережно сохраняемы в обоих изданиях. Особенно пострадало от них «Трудное время». Сравнивая позднейший текст этой повести с изданием шестьдесят шестого года, мы находим целые десятки весьма существенных цензурных купюр.

Иные из них были очень обширны, занимали несколько страниц: например, весь эпизод с Аграфевой или пьяные речи попа.

Иные ограничивались одним или двумя-тремя словами, но слова эти были такие, что без них вконец уничтожалось агитационное значение данного текста. Например, в начале пятой главы в эпизоде с солдатом выброшено было слово *бад*. Слово коротенькое, а между тем именно в нем сосредоточен весь смысл отрывка, так как оно означало, что пьяный офицер не только ругал солдат, но и бил их со всего размаха по лицу.

А в начале одиннадцатой главы слово *марсельеза* было заменено словом *марш*, отчего вся страница,

посвященная этому «маршу», сделалась совершенно бессмысленной.

В той же главе в разговоре о боге слово *иконка* было заменено словом *картинка*, а слово *бог отец* словом *старик*, — и разговор превратился в нелепицу.

В конце повести выброшен смелый намек на только что погибших революционных бойцов, при чем в первоначальном тексте автору удалось протащить сквозь цензуру такой разговор о дальнейшем успехе революционной борьбы:

«— Разве вы не верите в успех этого дела?

— Как не верить? Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно».

Между тем как в позднейших изданиях, под давлением цензуры, это четкое и бодрое исповедание веры сменилось каким-то мямлением:

«— Разве вы не верите в успех *какого-либо* дела?

— Как не верить. Успех бывает» (!).

Порою дело доходило до того, что отдельные места слепцовской повести приобретали характер прямо противоположный подлинной идее Слепцова. Например, в знаменитом разговоре о партизанской войне (который в обоих последних изданиях был выброшен почти целиком), между прочим, приводится такой диалог:

«— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник, там и война».

Все это место было цензурой зачеркнуто и взамен были напечатаны такие идиотские строки:

«— Стало быть, везде, где есть мошенники, там и война?

— Там и война».

Можно подумать, что классовая борьба действительно воспринимается автором, как взаимная потасовка мошенников.

Таким образом, моей первой задачей при редактировании настоящего тома было устранение цензурных помарок. Это значительно усилило сатирический и агитационный характер сочинений Слепцова, потому что были восстановлены строки об избииении крестьянина посредником, о взятках духовенства, о Саваофе, сидящем на яйцах, о конституции и проституции и проч., и проч., и проч.

Подлинные рукописи Слепцова до нас не дошли, но, кроме издания 1866 года, я, по счастливой случайности, мог пользоваться авторским экземпляром «Трудного времени», где Слепцов восстановил собственноручно для одного близкого ему человека многие цензурные бреши. Это был бы драгоценный материал, если бы карандаш, которым сделаны слепцовские записи, не стерся от времени, так что еле удалось разобрать, в общей сложности, четырнадцать строк, при чем одна из них, написанная почему-то сокращенно, разобрана весьма приблизительно.¹

Другой моей заботой было искоренение тех опечаток, которые с течением времени накопились в беспризорных изданиях сочинений Слепцова. Этих опечаток было много. Вместо слова «польское восстание» печаталось «полное восстание», вместо слова «помещик» — «посредник», «черновая» превращалась в «черную», писатель Потехин в «Потемкина», «зрак» в «знак» и т. д. Иногда из текста выпадали целые фразы, иногда реплики

¹ «Великая х. в.». — Я читаю это место так: «Великая хартия вольностей».

одного лица влягались в уста другому и т. д. и т. д.¹ Особенно печальны искажения, относившиеся к народному говору. Например, в подлиннике сказано *не кошо́но*, а в последнем издании — *не ко́шено*; в подлиннике — «*кака хорошо*», а в последнем издании — «*как хорошо*» и т. д.

Третьей моей задачей было составление реального комментария к тексту. Слепцов так связан с эпохой шестидесятих годов, в его писаниях так много намеков на тогдашние злобы дня, что без детального знания бытовых и социально-политических фактов, относящихся к той эпохе, современный читатель не может ни понять, ни оценить его творчества. Не довольствуясь подстрочными примечаниями, я счел необходимым дать во вступительной статье к настоящему тому посильный анализ той тайнописи, какою является его «Трудное время».

А так как эта повесть идейно связана с «Письмами об Осташкове» (и там и здесь дано разоблачение либеральных реформ, прикрывающихся гуманными лозунгами), я предпочел нарушить хронологию писательской работы Слепцова и ввести эти «Письма» в настоящий том. Изучив довольно обширную литературу, относящуюся к истории Осташкова, я мог установить имена и фамилии всех лиц, упоминаемых Слепцовым в его «Письмах», и, при помощи всевозможных дополнительных сведений, усилить во многих местах обличительный смысл этого злого памфлета.

Характерно, что современники Слепцова, оставившие воспоминания о нем, из всех годов его жизни вспоминают главным образом только один: 1863. И Скабичевский, и Жуковская, и Водовозова, и Лесков, и Николай

¹ См., напр., в третьем издании «Полного собрания сочинений Слепцова», стр. 240, 243, 262, 306, 310, 337, 352, 525, 585 и т. д.

Успенский — все изображают в своих мемуарах этот краткий период его биографии. Остальные годы — в тумане, но этот освещен как прожектором. То же и в воспоминаниях Авдотьи Панаевой. Это произошло потому, что 1863 год является годом его максимальной активности: именно в этом году он основал в Петербурге знаменитую слепцовскую коммуну, которая до весны 1864 года была в центре внимания всей петербургской общественности.

Судя по мемуарным свидетельствам, в сознании современников Слепцов как создатель коммуны заслонил Слепцова-писателя. Так как до сих пор вокруг коммуны скопилось много сплетен и клевет, я счел необходимым дать в настоящем томе этюд о слепцовой коммуне, основанный на более достоверном фактическом материале.

В приложении к настоящему тому даны: 1) хронологическая канва жизни и работы Слепцова; 2) обзор критических отзывов о его повести «Трудное время»; 3) перечень цензурных искажений, устранившихся в настоящем издании; 4) указатель произведений Слепцова и литературы, посвященной ему.

Существенную помощь при изучении биографии Слепцова оказала мне писательница Лидия Филипповна Нелидова, предоставившая мне свой слепцовский архив. Ей — моя великая признательность.

Не могу также не выразить благодарности Н. Ф. Бельчикову и И. М. Ямпольскому за ту помощь, которую они оказали мне при составлении библиографии Слепцова.

К. Чуковский.

ТАЙНОПИСЬ ВАСИЛИЯ СЛЕПЦОВА В ПОВЕСТИ «ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»

— А зачем же так пишут,
что нужно еще голову ломать?

— Да что же делать? При-
выкли.

— И вы так же пишете?

— И я так же пишу. Какой
бы я был писатель, если бы я
так и валял все, что в голову
придет.

«Трудное время»

I

У Слепцова в повести «Трудное время» есть много
таких эпизодов, которые кажутся лишними.

Сидит, например, человек на террасе за чаем и вдруг
восклицает, ни с того, ни с сего:

— Скверный какой нынче сургуч стали делать!

А что за сургуч, неизвестно. И откуда он взялся,
этот сургуч? Тема повести как будто ни в каких сургу-
чах не нуждалась.

А на другой странице уездный учитель, обедая в клубе
с помещиками, спрашивает столь же внезапно:

— Телеграмму посылать будете?

Какую телеграмму, кому и о чем? И речи не было
ни о какой телеграмме.

А на дальнейших страницах — тоже ни с того, ни
с сего — в повести воспроизводится большой разговор

о современных методах дрессировки собак! И вдруг героиня, тоже без всякого повода, начинает рассказывать о каком-то портрете какого-то смешного старика, который она видела в детстве:

— Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

Какое отношение к сюжету имеет этот смехотворный старик? И что за охота автору загромождать свою повесть такими ненужностями? Мало ли каких пустяков не болтают люди от скуки — особенно летом, на даче, — стоит ли автору, взявшемуся за изображение *трудного времени*, воспроизводить эти пустяки в своей повести?

Но в том и заключается особенность литературной манеры Слепцова, что он только делает вид, будто подобные мелочи не имеют отношения к его теме. На самом деле все они страшно нужны ему — именно для характеристики того *трудного времени*, которому посвящена его повесть.

Возьмем хотя бы разговор о сургуче. Легко установить по косвенным указаниям автора, что этот разговор происходил в июле 1863 года, то есть в то самое время, когда правительство Александра II, воспользовавшись польским восстанием, стало принимать энергичные меры для борьбы с угрожавшей ему революцией. В числе этих мер, как мы знаем, был пресловутый *черный кабинет*, где производилась перлюстрация писем. Конечно, перлюстрация производилась и раньше, но именно в то «трудное время», летом 1863 года, она дошла до небывалых размеров.

В одном из своих неизданных писем, относящихся именно к этой поре, Слепцов предупреждал одну жившую за границей писательницу:

«Когда будете писать, не называйте, пожалуйста, фамилий, потому что Ваши письма читаются на почте. Люди ни в чем невинные могут пострадать от того, что

их имена попадают в письмах... Да и подпись ваша — вещь совершенно лишняя...»

Это письмо Слепцова помечено июлем 1863 года, то есть, именно той самой датой, когда герой его повести, рассматривая чье-то письмо, заговорил о скверном сургуче:

«— Скверный какой нынче сургуч стали делать.

«— А что?

«— Да не держится».

То есть не держится потому, что жандармы, исследуя письма, сдирают сургучные печати с конвертов.

Таким образом, то, что на первых порах представлялось нам случайным пустяком, оказывается в сущности очень важным намеком на тогдашнюю злобу дня. В связи с этим становится ясен для нас и такой, — казалось бы, пустяковый, — разговор двух приятелей, воспроизведенный Слепцовым на одной из первых страниц:

— Отчего ты не писал мне писем? И не стыдно тебе это? а?

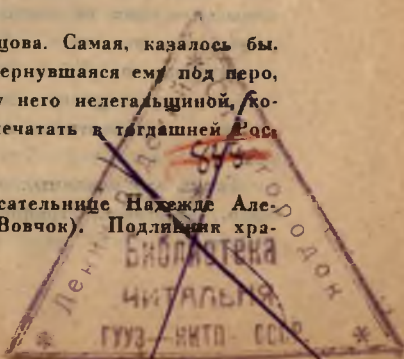
— Да что толку писать. Нынче эту манеру бросают совсем.

То есть именно в 1863 году люди оппозиционного лагеря были принуждены под давлением террора совершенно прекратить переписку. «Нынче эту манеру бросают совсем».

И такова вся повесть Слепцова. Самая, казалось бы, невинная фраза, случайно подвернувшаяся ему под перо, сплошь и рядом оказывается у него нелегальщиной, которую нечего было и думать печатать в тогдашней России.

Письмо к украинской писательнице Надежде Александровне Маркович (Марко Вовчок). Подлинник хранится в б. Пушкинском Доме.

2 Слепцов.



Ведь и разговор о телеграмме далеко не так просто-душен, как кажется. Именно тогда, в 1863 году, во время польского восстания, в дворянских и чиновничьих кругах установилась трактирная мода посылать после всякой попойки приветственные телеграммы усмирителю Литвы Муравьеву-вешателю с выражением восторга перед его патриотическим подвигом.

Изображая ту эпоху, Слепцов естественно не мог не отметить этого характернейшего ее проявления. Поэтому, когда в его повести пьяные помещики заговорили за обедом на модную тему — о поимке бунтовщиков-поджигателей — тотчас же раздались голоса о верноподданнической телеграмме палачу Муравьеву, ибо в сознании тогдашних людей оба эти явления были в теснейшей связи. Как мы ниже увидим, даже то обстоятельство, что об этой телеграмме хлопочет уездный учитель, крепко связано с главным тезисом повести.

И тот отрывок, где героиня ни с того, ни с сего вспоминает о каком-то смешном старике, тоже далеко не так прост.

— У моей няньки, — говорит героиня, — картинка была, на которой был нарисован старик. Нянька меня, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

Несмотря на всю свою легковесную видимость, этот отрывок — один из важнейших, так как в нем изображается тот разрыв с традиционными религиозными верованиями, который в шестидесятых годах характеризовал раскрепощенную женщину. Нужно только вместо *картинки* поставить *иконка* и вместо *старика* — *господь бог*.

Таких ~~еще~~ уловимых намеков в повести Слепцова немало. Многие ее страницы приходится разгадывать, как ребусы.

Так, например, разговор о современной дрессировке собак, который на поверхностный взгляд представляется никчемной болтовней, оказывается при более внимательном чтении хорошо зашифрованной притчей о новых методах эксплуатации крестьян. Крепостное право тогда только что пало, но по мысли Слепцова одни цепи сменились другими, ибо ограбленные реформой крестьяне оказались в новом — экономическом — рабстве у тех же привилегированных классов.

Высказать в то время эту истину было, конечно, немислимо, и вот у Слепцова люди начинают говорить о собаках:

«— Нынче новая мода пошла: собак не бить...

— Да это вы про собачье гуманство-то? Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, так она, дьявол, и поноски подавать не будет.

— Будет... Дворяжка простая... знаете, бывают лохматые такие... и пляшет, и поноску подает, и умирает. Что угодно.

— Как же так это? Расскажите.

— Самая простая штука: есть не дают. И до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят ее голодом, потом возьмут вот так палку, а здесь кусочек положат — *coté*. Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет, а тут ей и дадут кусочек».

Эта притча о собачьем гуманстве излагает в аллегорической форме основную идею повести. Внутренне она связана со многими эпизодами «Трудного времени», но цензура этой связи не заметила.

Вообще вся повесть зашифрована так виртуозно, что для многих осталась темна даже ее основная тенденция. Конспиративная повесть, полная иносказаний и загадок. Хитрость ее в том, что она кажется совершенно бесхитростной. Иначе Слепцову было никак невозможно,

потому что тема у него была нелегальная, и ему приходилось протаскивать ее в печать контрабандой. Главную идею этой повести он спрятал глубоко под спудом, а на поверхность для отвода глаз выдвинул другую идею, вполне безобидную, не имеющую ничего общего с подлинной.

II

Таким образом, в повести два разных сюжета, — один показной, другой настоящий.

Показной сюжет очень банален. К тому времени повести с такими сюжетами успели уже превратиться в шаблон. Молодой нигилист, освобождающий женщину из семейного плена, уничтожая в ее душе предрассудки, которые мешают ей сделаться общественной труженицей, стал к тому времени самой затасканной, трафаретной фигурой журнальных повестей и романов.

Один из критиков реакционно-либерального лагеря тогда же указал не без язвительности, что одновременно со слепцовскою повестью в одном только журнале, в «Русском Слове», появились одна за другой три точно такие же повести, имеющие точно такой же сюжет. Он обвинял Слепцова в самом тяжком грехе — в тривиальности, и указывал, что во всех четырех повестях один и тот же герой: нигилист из духовного звания. Статья была озаглавлена так: «Четыре повести и один пономарь».¹

Критик не заметил, что, наряду с этим банальным сюжетом, в повести Слепцова есть другой, — небывалый и новый, — придающий ей высокую идейную ценность.

¹ «Отечественные записки», 1865, декабрь, статья Incognito (т. е. А. Е. Зарина).

Найти этот сюжет нелегко, так как скрытный писатель на каждой странице сбивает читателя с толку. Скрытность его такова, что многие критики не только не могли уловить его подлинного революционного пафоса, но, напротив, заподозрили его в ретроградстве.

Откуда в его повести. — говорили они, — такие нападki на деревенскую школу, на лечебную помощь беднейшим крестьянам и вообще на те самоотверженные заботы о благе народном, которыми волнуются в настоящее время лучшие люди страны? Почему, изображая одного из этих лучших людей, радикального писателя Рязанова, который многими своими чертами вышел у него похожим на Чернышевского, почему он заставляет этого лучшего представителя передовой молодежи издеваться над всеми бескорыстными попытками гуманных и культурных людей облегчить тяжелую долю бесправной деревни?

И в самом деле, поведение этого идеального героя загадочно. Подходит он, например, к благороднейшей барыне, которая лечит крестьян, и вместо того, чтобы сочувствовать ей, начинает хихикать над ее пациентами.

— Вам это смешно? — удивляется барыня.

— Нет, не смешно, — отвечает он, а сам еще пуще глумится над ними, а заодно и над нею, так что в конце концов она бросает лечить, и крестьяне остаются без помощи.

Другой его поступок еще более странен. Его знакомые захотели вступить за несчастную беременную бабу, которую колотил ее муж, а он с самым неуместным ехидством высмеивает их благородный порыв, и таким образом озверелому мужу предоставляется полная воля бить сапогами беременную.

Если бы все это печаталось в каком-нибудь реакционном романе, у одного из тех твердолобых, которые

сделали своим лозунгом «бей нигилистов», — это было бы в порядке вещей. Но в «Современнике», в журнале Некрасова, в органе боевых разночинцев, на тех самых страницах, где только что печаталось «Что делать»!

Либеральные критики называли Рязанова циником: издевается над добрыми и любящими, а сам хоть бы раз попытался активно выступить против какого-нибудь зла. При нем посредник в кровь избивает крестьянина, а он берет фуражку и уходит. При нем наказывают розгами двух мужиков-неплательщиков, а он спокойно созерцает экзекуцию и не пытается протестовать против нее.

Но вот еще возмутительнее: какой-то либеральный помещик, жестоко обгоревший своими крестьянами, был до такой степени добр, что не захотел на них жаловаться, а Рязанов, к изумлению читателей, издевается над его добротой и внушает ему, что он должен обратиться к начальству, чтобы крестьян оштрафовали, разорили и посадили в тюрьму:

— Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Все до последней копейки взыщут.

«Это какой-то Держиморда!» — возмущались простоватые критики.

Когда же та самая барыня, которая лечила крестьян, затевает устроить деревенскую школу, он встречает ее затею такой неприязнью, что она охладевает к своей школе, и деревенские дети остаются неграмотными.

Даже либералы-постепеновцы возмущались его постыдным равнодушием к народному благу. Тот же Зарин видел в нем бессердечного циника и писал о нем с полным презрением:

«Его дело стороннее, его практика вольная, его время вакационное, ни к чему-то он тут непричастен, ни-чему не родня. Ему [Рязанову] все представляется

смешным или вызывает его дрянную иронию: и мужик с больною ногой, и побитая мужиком беременная баба... и сельская школа, и мировые съезды, и все остальное... Человек этот до бесконечности равнодушен ко всему, что только может поглощать в настоящую пору всякого не совсем пустого человека».¹

Почему же в таком случае главная масса передовой интеллигенции шестидесятых годов отнеслась к Рязанову с симпатией? Почему она не только не заявила протестов против той фигуры нигилиста, которую вывел Слепцов, но поспешила признать, что образ Рязанова безошибочно воплощает в себе ее подлинные чувства и мысли? Один из тогдашних органов нигилистической партии отозвался о Рязанове так:

«Это не карикатура на молодежь вроде Базарова, сделанная со злостной целью скомпрометировать все лучшие стремления последних годов... Рязанов... верно воспроизводит тип людей, создавшихся под влиянием последних событий».²

Не странно ли, что та наиболее требовательная часть передовой молодежи, которая даже Базарова считала клеветой на «новых людей», вполне примирилась с «паразитом» Рязановым, выдвигаемым в качестве ее представителя.

И почему Дмитрий Писарев, глава мыслящих реалистов, не задумался причислить этого «узколобого филистера и пустозвона» к передовому авангарду человечества? Почему в статье о «Трудном времени» он не только заявил полную свою солидарность с Рязановым, но и сам, в конце концов, заговорил по-рязановски, — так сказать, перевоплотился в Рязанова и стал развивать

¹ Там же.

² «Книжный вестник», 1866, 5.

его мысли в воображаемом споре с одним из персонажей этой повести? ¹

Впоследствии загадочность подлинного облика Рязанова дошла до того, что критики позднейшего времени, уже оторванные от эпохи, когда создавалась слепцовская повесть, и окончательно потерявшие ключ к ее шифру, не только не нашли у Рязанова никаких революционных стремлений, но, напротив, объявили его «изъеденным пронией скептиком».

Один либеральный критик, не чуждый пережитков народничества, напечатал в профессорской московской газете, что Слепцов (заодно с Рязановым) «отрицает все, не верит ни во что: ни в народные силы, ни в умение интеллигенции, ни в ее добрые намерения, ни в общественные начинания», так как «скептицизм уничтожил в нем веру», — словно речь идет не о боевом разночинце, а о байроническом демоне. ²

Все это произошло оттого, что фигура Рязанова осталась совершенно непонятой. Видя в нем «скептика», «беспардонного циника», критики естественно сочли его автора мрачным поэтом отчаяния! Старый писатель Авдеев, человек тургеневской эпохи, уже плохо разбравшийся в веяниях шестидесятых годов, к которым относился с дворянской враждебностью, услышал в слепцовской повести «глухой и мучительный стон безвыходного отчаяния, стон, который может издавать только человек, окончательно обессиленный в борьбе». Рязанов показался ему выбывшим из строя революционным бойцом, потерпевшим страшное крушение, так как никакая революция в России немыслима. Эта-то мысль старику была дороже всего — мысль о невозможности в России

¹ «Русское слово», 1865, 12.

² «Русские ведомости», 1903, 81.

революции, о бесплодности всех революционных порывов, и для доказательства этой своей излюбленной мысли он воспользовался повестью Слепцова. Он уверен, будто Рязанов разочаровался в революционной борьбе, будто он понял, что его дело проиграно, «потому что оно было выше возможности, потому что под основанием его не было твердой земли». ¹

Вот такая двусмысленная была эта слепцовская повесть. Даже контр-революционеры могли при желании находить в ней подтверждение своих мыслей. Образ Рязанова, по мнению Авдеева, ясно свидетельствовал, что мечты передовой молодежи шестидесятых годов «вырваны с корнем», «разбиты до тла».

Все это, конечно, сущий вздор, и я привожу эти разнообразнейшие мнения лишь для того, чтобы читатель мог видеть, какие различные возможны истолкования этого слепцовского образа и как хорошо он завуалирован автором.

III

Еще загадочнее другая фигура — гуманный помещик Щетинин.

Автор относится к этому помещику с несокрушимым презрением и устами Рязанова посрамляет его буквально на каждой странице, вскрывая всю неприглядность его плантаторской деятельности, — но почему же, спрашивается, он изображает Щетинина таким гуманным и прекраснодушным человеком? Почему печатая свою анти-дворянскую повесть в анти-дворянском журнале, он как бы против воли наделяет дворянина Щетинина таким благородством?

Неужели он не понимает, какой козырь дает он в руки своим партийным врагам?

¹ М. Авдеев. «Наше общество в героях и героинях литературы». П. 1874.

Либералы дворянского лагеря, конечно, не преминули пустить этот козырь в ход и попытались использовать повесть Слепцова для прославления барской гуманности.

— Ведь это евангельский праведник, о котором сказано: «блаженни милосердии»! — восхищался, например, Щетининым тот же Зарин и горячо славословил «отлично-благородного барина» «с симпатическим и женственным характером».

Много было высказано подобных похвал критиками позднейшего времени, и спрашивается, во имя чего один из самых боевых беллетристов шестидесятых годов наделил такой неестественной святостью того, кого он должен обличать?

С первых же страниц мы узнаем, что этот любвеобильный помещик способен не только на благородные фразы, но и на благородные подвиги. Получив после смерти матери большое имение, он отдал крестьянам всю землю, которой они владели, и не взял у них за нее ни гроша. Он даже хотел было на первых порах сплотить их в трудовую коммуну, но они, по своему неразумию, воспротивились этой великодушной затее. Соседи-помещики, конечно, сочли его красным и возненавидели, как предателя.

«— Сколько я ночей не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями, — вспоминал он через несколько лет. — Сплетни, крик по всему уезду!»

Крестьяне, которых он хотел осчастливить, не только не прониклись к нему благодарностью, но тоже возненавидели его, как врага. Обманывали и обижали без зазрения совести. Он хоть и сердился на них, но, в качестве праведника, охотно прощал им обиды, не жаловался на них ни станovým, ни посредникам, а неустанно проповедывал им, как полезна для них же самих элементарная честность.

Вообще у Слепцова он большой филантроп. Он про-сит, например, свою молодую жену, чтобы она лечила больных мужиков. Приютив у себя больного товарища, он заботится о нем, как о родном, и когда неблагодар-ный товарищ издевается над ним изо дня в день, он терпеливо выслушивает его обидные речи и даже тогда не указывает этому человеку на дверь, когда обнару-живается, что тот разрушил его семейное счастье.

Зачем понадобился Слепцову в его обличительной по-вести этот евангельски-кроткий помещик?

Характерно, что через двадцать лет после напеча-тания «Трудного времени», уже в восьмидесятых годах, в период самой свирепой реакции, когда в интеллигент-ской среде даже так называемые передовые круги отчу-ровывались от революционных верований недавнего прошлого и проповедывали «малые дела», публицисты той унылой поры вспомнили о Щетинине и представили его своим современникам, как лучший образец для по-дражания.

— «Велика и плодотворна роль таких людей, как Щетинин, — поучал, например, Протопопов, новообра-щенный апологет «малых дел». — «Не Щетинины творят, но они исполняют. Не они ставят идеалы, но только бла-годаря им наши храмы не пусты, и голос лучших между нами людей не в безотрадной пустоте раздается без от-звука, без отклика... Добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела, и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей про-изводят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тиной и не превращается окончательно в клоаку. Надо это понимать и пора это ценить».¹

Словом, бросьте всякие бунтовские попытки перемене

¹ Статья М. Протопопова. «Северный вестник», 1888, 5.

нить самое русло «мутной реки нашей жизни», довольно с нас и того, что в этой зловонной реке будут ничтожные и незаметные струйки, вроде доброго помещика Щетинина.

Слепцову, конечно, и не снились такие реакционные выводы из его обличительной повести. Но почему же его повесть так двусмысленна, что ее могли истолковать в свою пользу даже те, кого она пыталась обличить?

IV

Здесь мы подходим вплотную к тому второму — тайному — сюжету, ради которого, в сущности, Слепцов и написал свою повесть.

Этот тайный сюжет сказывается лучше всего в одном весьма опасном разговоре, происходящем у Рязанова с женою Щетинина. По своему конспиративному обычаю Слепцов придал этому разговору самую невинную форму, так что для непривычного уха он может показаться почти пустяковым, хотя, если взглядеться, в нем скрыт глубокий политический смысл.

Разговор происходит в усадьбе Щетинина. Мария Николаевна роется в старых журналах, ищет какую-то статью и не может найти. Рязанов, желая помочь ей, говорит наставительно, что напрасно она ищет статьи по заглавиям, так как заглавия в большинстве случаев нисколько не выражают содержания статей.

— Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.

— Как ничего не значит?

Рязанов настаивает, что заглавия вообще надувательство. Это все равно, что кабацкие вывески. Один кабак называется «Русская правда», другой — «Белый лебедь».

— Ну вы и начнете белого лебедя искать, а там кабак... На свежую голову так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и чорт знает что... а как приглядишься к этому делу, ну и видишь, что все это... продажа на вынос...

Так напечатано в последнем издании — 1903 года. В издании, вышедшем при жизни Слепцова, было напечатано так:

— И школы, и суды, и конституции, и проституции...

А первоначальная бесцензурная редакция была такова:

— И школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая хартия вольностей...

О какой книге говорит здесь Рязанов? Почему в заглавии этой книги поставлены только такие слова, которые связаны с реформами Александра II, — с реорганизацией школы, с обновлением суда, с освобождением крестьян (именуемым у Рязанова «хартией вольностей»). Рязанов не забыл даже той конституции, которой требовало тогда наиболее передовое дворянство и которая, по ощущению Рязанова, весьма недалеко от проституции.

Ясно, что дело идет не о книге (книга только заслон для цензуры!), дело идет о реформах Александра II, и что именно эти реформы кажутся Рязанову вывеской, за которую скрывается кабак:

«И школы, и суды, и конституция, и проституция, и великая хартия вольностей, и чорт знает что... а как приглядеться ко всему этому делу, ну и видишь, что все это... продажа на вынос».

Вот какую едкую мысль попытался протащить сквозь цензуру Слепцов. Мысль, прямо направленная против Александра II и всех его «благих начинаний». Стоит только вспомнить, какими восторгами были еще так недавно встречены в литературных кругах *благодетель-*

ные преобразования нового царствования, какие гимны обновленной России еще так недавно слагались даже такими людьми, как Некрасов и Герцен, и вот про эту обновленную Россию, хоть и шопотом, но отчетливо сказано, что это — прежний николаевский кабак, только прикрытый новейшею вывескою.

Вывеска великолепная, в ней каждое слово кричит о гуманности, но тем гнуснее то, что прикрывается ею.

Вся повесть посвящена углублению и развитию этого тезиса. Здесь и заключается тайная задача Слепцова — опровергнуть либеральную ложь об «эпохе великих реформ» и разоблачить до конца тот буржуазно-помещичий строй, на фундаменте которого эти реформы возникли.

Для того он и вывел своего Щетинина таким добродетельным праведником с ангельски-кроткой душой, чтобы показать, что даже самые лучшие представители буржуазно-помещичьей касты, сколько бы они ни гуманичили, являются превосходно-вооруженными хищниками, эксплуатирующими тех самых крестьян, о которых они так нежно заботятся.

Щетининых тогда было множество. Передовые, просвещенные дворяне с высоко-гуманными принципами, они-то и осуществляли на деле столь необходимые им либеральные реформы шестидесятых годов, все эти Кавелины, Милютины, Унковские, Зарудные, Самарины. Черкасские, Татариновы и прочие народолюбцы-помещики «благотельствовавшие» русский народ школами, земством, судами и главное — долгожданной свободой. Их деятельность изображалась тогда в виде бескорыстного гражданского подвига, но для Слепцова все они были Щетиниными, ибо, оставляя нетронутым буржуазно-помещичий строй, пытались облегчить его иго для трудящихся масс при помощи разных гуманств. На

языке Рязанова это и значило оставить кабака кабаком, прибавив над его воротами живую вывеску — «Белый Лебедь» или «Русская Правда». Рязанов хорошо понимал, что нужно разрушить до основания самый кабак, а потом уже заниматься гуманствами, ибо безнадежны попытки облегчить народные тяготы при капиталистическом строе. Такова тайная идея Слепцова, которую он с необыкновенною дерзостью провозгласил в своем подцензурном романе.

V

Отсюда — широкий обхват его социальной сатиры: он обличает не какой-нибудь отдельный участок того или иного русского быта, а весь общественно-политический строй современной ему России, всю совокупность ее общественных зол, и при этом постоянно доискивается до того основного, первопричинного зла, которым они обусловлены.

В этом сказалась незаурядная зрелость его политической мысли. Если правильно расшифровать его «Трудное время», окажется, что во всей беллетристике шестидесятых годов не было более серьезного, меткого и строго-продуманного диагноза тогдашних социальных болезней. У него темперамент ученого: отсутствие пафоса заменяется неотразимой логичностью. Систематически, бесстрастно, не спеша, на целом ряде умело подобранных фактов, доказывает он в своей повести (словно теорему из алгебры!) необходимость социальной революции. Его повесть в сущности есть диссертация «О бесплодности либеральных реформ и неизбежности революционного взрыва». Это лучшая политграмма шестидесятых годов. Он организует свое изложение так, что под прикрытием шаблоннейшей фабулы дает всесторонний обзор тех явлений пореформенной

России, которые яснее всего обнаруживают классовый характер так называемых великих реформ. Вообще, классовая борьба для него есть единственное мерило всех исторических ценностей. От него, как и от Чернышевского, по выражению Ленина, «веет духом классовой борьбы». Этот дух сближает его книгу с идеями нашей эпохи. Конечно, до пролетарского социализма он подняться не мог (для этого в шестидесятых годах не было никаких предпосылок), но все же в большинстве своих высказываний он до такой степени близко подходит к научному социализму наших дней, что его книга многими своими частями могла бы служить иллюстрацией к новейшим марксистским трудам по истории крестьянской реформы.

Как последовательно и четко проводит он классовый принцип при оценке социальных явлений, видно хотя бы из его еретических мыслей о зловредности школ для деревни — тех самых мыслей, которые, как мы только что видели, вызвали столько негодующих воплей среди либеральных ревнителей народного блага.

Конечно, в интересах конспирации, Слепцову и здесь пришлось до такой степени затемнить свои мысли, что многие сочли их мракобесными, но тому, кто расшифрует его тайнопись, станет совершенно ясна их революционная логика.

Для того, чтобы не вызвать подозрений цензуры, Слепцов изображает дело так, будто Рязанов говорит не о современной России, а о каком-то старинном журнале, где, будто бы напечатаны какие-то плюгавые статьи о школах, но мы, привыкнув к его иносказательной речи, понимаем, что дело идет об одном из самых волнующих вопросов эпохи.

— Какие там школы! — восклицает Рязанов. — Школа! Это опечатка. Везде, где написано *школа*,

следует читать *шкура*. Вон там один пишет: трудно, говорит, нам обезопасить наши школы. Он хотел сказать: наши *шкуры*. А другой говорит: хорошо бы нам выделывать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите?

В позднейших изданиях здесь пропуск. Цензура выбросила очень важное место:

«... А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство... Это все о *шкурах*...»

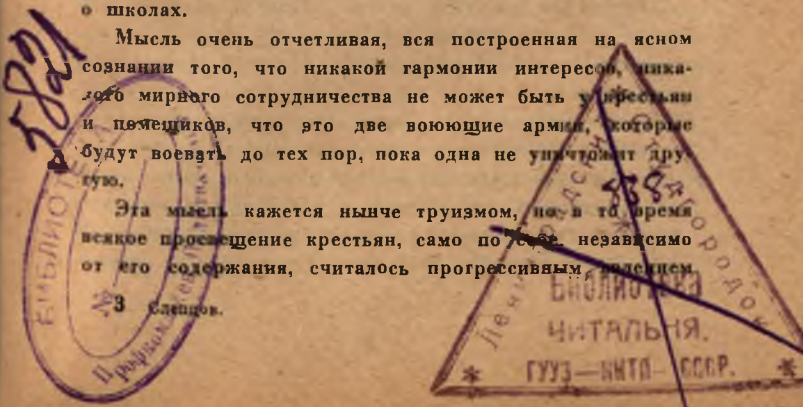
То есть, иными словами, не к чему устраивать школы, покуда вся культура в руках у привилегированных классов, которые пользуются школами для порабощения масс. Покуда школа в руках у помещиков и духовенства (на что намекает тирада о ладане), она служит интересам угнетателей. Такова тайна мысли Рязанова, которую он пытается выразить в таком боевом афоризме:

«Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни».

То есть никакое подлинное просвещение народа немислимо, покуда оно во власти народных врагов. Нужно раньше уничтожить эту власть, а потом уже заботиться о школах.

Мысль очень отчетливая, вся построенная на ясном сознании того, что никакой гармонии интересов, никакого мирного сотрудничества не может быть у крестьян и помещиков, что это две воюющие армии, которые будут воевать до тех пор, пока одна не уничтожит другую.

Эта мысль кажется нынче трюизмом, но в то время всякое просвещение крестьян, само по себе, независимо от его содержания, считалось прогрессивным движением.



даже в крайне-левых либеральных кругах. На воскресную школу смотрели, как на величайшее достижение прогресса. Недаром во всех тогдашних повестях и романах устройство любвеобильными барынями школы для деревенских ребят изображалось, как идеал благодетельства.

Чтобы показать, что Рязанов был прав, Слепцов, при помощи всевозможных намеков, разбросанных как будто невзначай по всей повести, внушает читателю, что сами крестьяне угадывают своим темным, но безошибочным классовым чувством, какие каверзы таит в себе барская школа:

— Мужички из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантониисты хотят.

И неспроста испугалась деревенская баба, когда узнала, что добрая барыня хочет учить ее девочку грамоте:

— Одна она у меня, девочка... уж легче я вам курочку принесу за лечение... что с нее взять? малый ребенок!

Конечно, не только о народном невежестве свидетельствует этот бабий испуг, но и о том выстраданном убеждении народа, что за всяким благодеянием помещиков непременно скрывается злая корысть.

Теперь мы понимаем, почему Слепцову понадобилось, чтобы о приветственной телеграмме Муравьеву-вешателю заговорил на дворянской попойке — учитель. Этим вполне обрисовывалась черносотенная идеология тех, кому вверено просвещение масс. Храм действительно оказывался во власти неприятельской конницы. Наряду с этим учителем Слепцов изобразил в своей повести и других таких же помещичьих прихвостней, обслуживающих сельскую школу и этим с обычной своей математической четкостью утвердил тот излюбленный тезис Рязанова, что войною,

и только войною, определяются все отношения господ и крестьян и что никакими школами их не изменишь, так как школы тоже одно из орудий войны.

VI

Этот принцип классовой борьбы Слепцов прямолинейно применяет ко всем социальным явлениям, и слышать не желая ни о каких компромиссах. Соглашательство было для него равносильно измене.

К сожалению, цензура в позднейших изданиях сильно искажила тот отрывок, где Рязанов декларировал закономерность, неизбежность и естественность кровной непримиримой вражды, которую питают крестьяне ко всем — даже либеральным — помещикам. Отрывок этот был первоначально такой:

— Так, стало быть, по-твоему это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил? — [воскликает с негодованием Щетинин].

— Война, — [отвечает Рязанов].

— И что крюковские мужики лес у меня воруют, — это тоже война?

— Война.

— Хм, хороша война, нечего сказать.

— Партизанская, брат, партизанская. Больше всего наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воют, и крюковские мужики...

— Это все партизаны?

— Партизаны.

— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война, а какая она, правильная или неправильная, это уж не наше дело разбирать».

Нужно помнить, что разговор происходит тотчас же после крестьянских волнений, которыми был встречен манифест Александра II о даровании воли. Волнения были всюду подавлены, но злоба осталась и сказывалась в повседневном быту тысячами стычек и «партизанских боев». Помещики либеральной формации, чувствовавшие себя, подобно Щетинину, благодетелями раскрепощенных крестьян и ждавшие от них, в благодарность, беззаветной любви и покорности, были даже обижены их неожиданной злобой и считали ее временной ошибкой, которая скоро рассеется, — и тогда-то наступит блаженная эра взаимного понимания и совместной работы.

Рязанов хорошо понимал, что эти примиренческие иллюзии — вздор, что начавшаяся партизанская война скоро перейдет в регулярную — и заранее приветствовал эту войну, так как знал, что победителями из нее выйдут отнюдь не Щетинины.

Поэтому повесть Слепцова есть в сущности военная повесть. Все происходящее в только что «раскрепощенной» деревне рассматривается им, как целая цепь боевых эпизодов — и он чувствует себя корреспондентом с поля военных действий. Поэтому в повести так много батальных слов: «неприятельская кавалерия», «неприятельский лагерь», «временное перемирие», «подкопы», «полководцы», «адъютанты», «стук мечей», «стон умирающих», — будто речь идет не о мирном деревенском житье, а по крайней мере, о взятии вражеской крепости. Слово «классовая борьба» в повести нигде не упоминается, Рязанов заменяет это слово чисто-strate-

гическими терминами и многократно повторяет Щетинину:

— Воюй в открытую! Ты вооружен до зубов. Целые отряды приказчиков, урядников, станowych и посредников сражаются для защиты твоих интересов. «Зачем же тут церемониться? Ньюни-то разводить зачем? Штука это самая простая, и весь вопрос в том, кто кого? Стало быть, главная вещь: не конфузиться».

Но Щетинин конфузится и так хорошо прикрывает филантропическими делами и фразами все свои военные действия, что и в самом деле может показаться на первых порах каким-то воплощением гуманности.

Чтобы обнаружить, что за этой гуманностью скрываются насилие и грабеж, Слепцов выводит перед нами целую фалангу тех воителей, которые, сражаясь под щетининским знаменем, грудью защищают его. Таким образом, читателю становится ясен самый механизм эксплуатации *раскрепощенных* крестьян, но, конечно, из опасения цензуры, Слепцов изображает дело так, будто в его повести эти воители — случайные, эпизодические лица. Маневр удался: многие так и поверили, что эти лица не имеют отношения к сюжету и могут быть изъяты из повести без ущерба для ее содержания. В критике даже неоднократно бранили Слепцова за то, что он загромождает свою повесть лишними, не идущими к делу фигурами. Между тем, если всмотреться внимательнее, вся тяжесть сюжета лежит на этих «лишних» фигурах. Они затем и введены Слепцовым, чтобы всеми своими поступками подтвердить его тайную мысль. Без них обвинительные речи Рязанова, направленные против дворянских гуманств, могли бы показаться голословными.

Вот, например, Иван Степаныч, конторщик, написанный у Слепцова такими веселыми красками. Вна-

чале он кажется просто несуразным субъектом, который сам ощущает свою несуразность и относится к себе с забавным презрением.

— Вы играете на скрипке?

— Чорта я играю! Ничего я не умею.

О своей должности он отзывается столь же презрительно:

— Да что письмоводитель? Чорта ли тут?.. Помилуйте. Дела?.. Какие дела! Чепуха!

Чепухою кажется ему вообще все деревенское.

Весь он в пустяках и нелепостях. Составил почему-то из деревенских детей роту для избияния собак, а сам сделался ее командиром. Сшил себе шапку из шкуры убитого пса, но боится надеть ее, потому что — вдруг она окажется бешеной! Слепцов великолепно передает его идиотическую речь, составленную из коротких восклицаний, где каждая фраза внезапна, как выстрел, и нужно долго вслушиваться в этот сумбур, чтобы заметить, что он вовсе не так безобиден: в нем постоянно звучит, например, один и тот же определенный рефрен, — отголосок публицистики Каткова. Именно этому пошляку и глупцу Слепцов вложил в уста катковские премудрости, потому что как раз тогда, в 1863 году, Катков, по выражению Покровского, «только что начал карьеру первого черносотенного публициста в России».

Все речи Ивана Степаныча переполнены цитатами из катковской газеты. Вот, например, — о тогдашних удавшихся женщинах:

«— Насчет стриженных девок. Читали, как их ловко отделявают? Это одна мать. Она прямо о себе говорит: — Я. говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте».

А вот цитата о польском восстании:

«— Там этот жонд весь ихний — к чертям!.. А эти самые тмины ихние, что ли, чорт их знает... говорят:

вот, говорят, теперь свет увидали. А? Нет, ведь, хитрые анафемы. Да!.. хлоп из ружья... вот оглашенные-то! Ха-ха-ха! Чем занимаются? а?»

И еще такие же цитаты об американской междоусобной войне и снова о польском восстании, и снова — о борьбе с революционной заразой, и все это, конечно, не просто, все это черносотенство органически связано с практикой Ивана Степановича, в качестве управляющего щетининской вотчиной. А эта практика определяется такою программой:

«— Ах, подлый народишко... так набалованы, дьяволы... Я говорю: палкой их... пес их возьми... То есть, я вам скажу: тут какую нужно дубину...»

Единственное чувство, которое вызывают в нем деревенские люди, — гадливость:

«— Ишь тараканов что развели... вы их жрете, анафемы...» «Прачка! а? сволочь... мразь несчастная».

Для этой сволочи он знает только плети да штрафы, и здесь у него огромные боевые заслуги:

«— Я у исправника жил... Так вот пороли-то мы их... Уж можно сказать, что пороли».

А так как власть ему предоставлена Щетининым очень большая, то ясно, что в войне с мужиками он не простой рядовой. Щетинин может либеральничать сколько угодно, покуда за него сражается этот опытный и браваый вояка.

Таким же доблестным защитником щетининской собственности является, по тайно-выраженной мысли Слепцова, священник.

Нет, кажется, другой русской повести, где роль священника, как боевого охранителя сильных и сытых, была бы показана с такой чудесной рельефностью. Не случайно здесь один из попов именует себя полковником:

«—Он так считает, что, мол, полковник я».

Конечно, он не мордобойствует, подобно Ивану Степановичу, но роль у них обоих одинаковая. Так как цензура сильнее всего искромсала страницу, где изображаются его военные действия, его образ сделался до такой степени смутным, что какой-то недогадливый критик увидел в нем даже подражание Тургеневу. Лишь теперь, когда в значительной степени заполнены цензурные бреши, сатирическая актуальность этого батального образа вскрывается во всей полноте.

Замечательно, что раньше всего священник выступает у Слепцова, как набожный почитатель богатства. Слепцов очень тонко показывает, что все мысли этого человека — о рублях и хозяйственных выгодах и что у него есть единственное мерило людей — их имущество.

«— В Питере дом свой имеете? — вкрадчиво спрашивает он, например, у Рязанова при первом знакомстве.

— Нет, не имею.

.

— Капиталы у себя имеете?

— Нет, не имею.

.

— Лошадок не держите?

— Нет, не держу.»

И в зависимости от этого «нет, не имею» его уважение к Рязанову падает. Даже когда в доме Щетинина он любит какими-то подсвечниками, он выражает свое любованье так:

— Дорого дали [за пару]?

А желая занять разговором своего собеседника, спрашивает:

— Почем у вас в Санкт-Петербурге мука?

Естественно, что этот апостол имущества презирает свою убогую паству, и у Слепцова великолепно пока-

зано, как он потворствует порабощению и ограблению крестьян. Когда, например, ему предлагают вступить за бабу, зверски избиваемую мужем, он спешит перевести разговор на какой-то собственный гешефт:

«— Я вас хотел побеспокоить насчет того дельца, — говорит он помещику.

— Какого дельца?

— А то-есть насчет сена».

В повести есть еле заметный намек, что в последнее время, в связи с поджогами и польским восстанием, власти возложили на него и полицейские функции:

«— Строгости эти пошли. Сами знаете, какое ныне время».

В пьяном виде он сам проговаривается, что местный архиерей сделал духовенству внушение, чтобы оно энергичнее помогало правительству бороться с крамолой, и таким образом, читателю становится окончательно ясно, на чьей стороне все эти боевые полковники в рясах.

Задавшись целью изобразить наиболее доблестных воинов, отличившихся в сражениях против освобожденных крестьян, автор, конечно, не мог обойти только что выдвинувшегося тогда кулака. В повести кулак очерчен лишь несколькими беглыми чертами, но в них — квинт-эссенция его бытия. Он в ту пору еще не созрел, вся его разужавская карьера еще впереди; покуда он всего только маленький лавочник, но сражается он не хуже других:

«— Денис Иванович. Отпустите! — умоляет его один из его должников.

— Дугу оставь.

— Как же я без дуги поеду?

— А мне что! Вас, чертей, жалеть нечего. Ну да ладно, скидавай зипун. Скидавай, скидавай. нечего. нынче, брат, не зима, не озябнешь».

И, конечно, объегорив мужика, тут же (не хуже Щетинина) изображает себя его благодетелем:

«— Эти мужичонки подлые. . Теперича, как вы думаете, сколько у меня за ними денег пропадает?»

Даже явное ограбление крестьян, и то проходит здесь под вывеской благодеяний и жертв.

Четвертому *благодетелю* трудового крестьянства, «господину мировому посреднику», Слепцов посвящает целую главу своей повести, потому что в то время в либеральной печати мировые посредники пользовались славой народных заступников, и нужно было, при помощи подробного изображения их деятельности, уничтожить эту ложную славу, тем более, что даже такие радикалы, как Огарев и Герцен, все еще видели в них организаторов бескровной революции.

Если послушать посредника, которого изображает Слепцов, он только и хлопочет о пользе крестьян, — но пользу эту понимает по-щетинински:

«— Ты что же не кланяешься, а? — кричит он, например, мужику. — Отвалятся у тебя руки шапку снять, а? Мне твой поклон не нужен. Вас, дураков, вежливости учат для вашей же пользы, понимаешь?»

Даже когда он отдает молодую женщину постылому мужу на вечную каторгу, он прикрывает жестокость своего приговора такими едейными фразами, словно счастье этих людей ему дороже всего.

«— Поцелуйтесь и живите, как бог повелевает, любите друг друга и дай бог вам счастья».

Слепцов подробно описывает весь рабочий день этого либеральнейшего деятеля *эпохи великих реформ*, и мы видим, что буквально каждая минута его рабочего дня направлена к закабалению крестьян.

Словом, сколько бы ни притворялся Слепцов, будто эти фигуры попали к нему в повесть случайно, те-

перь уже не может быть сомнения, что они — ее основное ядро. Без них вся идея повести повисла бы в воздухе. Ему необходимо было показать на живых людях, на конкретных примерах, что, несмотря ни на какие реформы, государство осталось попрежнему аппаратом для угнетения масс и что этот аппарат составляют не только станковые да чиновники прошлого царствования (как утверждали обличители из либерального лагеря), но и такие гуманные деятели новой эпохи, как, например, мировые посредники. Отсюда был единственный вывод: не разрушив этого аппарата всего целиком, невозможно добиться никаких подлинных благ для народа.

VII

«Народ неудержимо поднимается летом 1863 года».

Прокламация «Великорусс».

Слепцов очень наглядно показывает, как все это сплоченное воинство: и уездные учителя, и мировые посредники, и газетные публицисты, и волостные старшины, и священники, и писаря, и приказчики — как все они сомкнутым строем, плечо к плечу, с оружием в руках, громят своего врага. А враг у них у всех один: освобожденный мужик, и чтобы подчеркнуть, их сплоченность, Слепцов заставляет их, одного за другим, в одной и той же форме, декларировать свои анти-мужичьи чувства. Лавочник у него говорит:

— Эти мужичонки подлые!

И управляющий:

— Экой народишко подлый!

И священник:

— Плуты, лжецы, эфиопы!

И посредник:

— Ракалии! разбойники!

И либеральный помещик:

— Свиньи, скоты, мошенники!

Хор получается в высшей степени дружный, и, чувствуя страшную спаянность этой армии хищников, чувствуя всю сокрушительную силу ее бешеного натиска на беззащитных крестьян, Рязанов не может не издеваться над теми гуманностями, которыми тешат свою совесть Щетинины:

— Нельзя в одно и то же время, — проповедует он, — грабить мужика и ласкать его. Если вы действительно хотите крестьянам добра, у вас есть для этого единственный путь: откажитесь от своей монополии на землю, от солидарности с государственным строем, охраняющим интересы имущего класса, а покуда этого нет, не миндальничайте, грабьте открыто, благо на вашей стороне все законы и все правительственные учреждения страны.

Этот призыв: «грабь открыто или уходи в революцию» был из-за цензуры так затушеван Сленцовым, что многим почудилось, будто Рязанов благословляет помещиков эксплуатировать бесправных крестьян. Особенно сбивало читателей с толку то место в предпоследней главе, где Рязанов объясняет «кающейся» дворянке Щетининой, что вообще эксплуатация трудящихся имущими классами дело естественное, в порядке вещей. Такие критики, как Петр Ткачев, с негодованием увидели здесь оправдание капиталистического строя и главным образом за эти яко бы ретроградные речи обозвали Рязанова «узколобым филистером».

Между тем речи Рязанова были прямо противоположного свойства: желая возможно рельефнее высказать, что в недрах буржуазно-феодального строя невоз-

можно уничтожить эксплуатацию масс, ибо только ею и держится весь этот строй, Рязанов прибегает к таким обинякам и метафорам:

«Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может... Медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли сок получает; а лев... и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает... Вот это порядок. Теперь какие же тут возможны случайности? Разве что резал волк овцу да не дорезал, потому что самого в это время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его... Такие случайности бывают, это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу».

Иначе говоря: если какой-нибудь хищник (наподобие Щетинина) и проявит случайно гуманные чувства, эти чувства отнюдь не изменят самой системы хищничества; систему возможно разрушить только революционным путем.

Не постигая этой затаенной морали, читатели сосредоточили все свое внимание на тех отрывках рязановской речи, где говорится о полной естественности грабительского социального строя, и не заметили тех реплик Рязанова, которые в сущности являются центром всего диалога.

«— Я никогда не говорил, — заявляет Рязанов, — что так надо и что иначе быть не может».

То есть — в переводе на бесцензурный язык:

— Мне весь этот строй ненавистен, и я верю, что нам удастся перестроить его.

И через две-три страницы — еще более четко:

«— Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?»

— Остается выдумать, создать новую жизнь...

Кажется, яснее и сказать невозможно, между тем именно в этих словах критики почему-то слышались «стоны безнадёжности» и «вопли отчаяния».

Человек прямо говорит: «не надо хныкать и жаловаться, давайте создадим новую жизнь», а его называют банкротом, живым мертвецом.

Слепцов верил, что эту новую жизнь даст России только крестьянский мятеж. Вокруг усадьбы Щетинина скопилось столько народного гнева, что даже странно, как ее не подожгут. Если судить по слепцовой повести, народная месть неизбежна, — до такой степени весь воздух изображаемой Слепцовым деревни насыщен предреволюционной ненавистью.

Эту ненависть Слепцову тоже приходилось изображать экивоками, так как две тысячи крестьянских волнений, которые произошли в тот период, были, так сказать, государственной тайной.

В печати полагалось джесвидетельствовать, будто манифест Александра II был принят крестьянами с благоговейной радостью. Между тем, как мы знаем теперь, крестьяне отлично поняли, что их обманули и встретили манифест кулаками. «На местах пришлось практически доказывать крестьянству необходимость принять дарованную волю, — пишет современный историк. — Для этого пускались в ход шпигирюны, розги, кавалерийские эскадроны, пехотные роты и батальоны».¹

Обо всем этом Слепцову было, конечно, невозможно писать. Он только слегка намекнул на такое отношение крестьян к царской милости — в той главе, где Щетинин жалуется, что крестьяне три года отказывались

¹ С. Пионтовский. Очерки по истории России XIX и XX вв. 1930, стр. 122—125.

принять от него в дар его землю, а Рязанов с коварным участием спрашивает:

«— Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?»

Этот вопрос — отголосок тех кровавых событий, которые разыгрывались тогда в деревнях на почве неприятия крестьянами манифеста о даровании воли.

Слепцов на протяжении всей повести делает, так сказать, ревизию освобожденной деревне и на каждой странице показывает, что

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак.

«... Изба была ветхая, — пишет Слепцов, — с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками, в отворенные ворота глядела слепая кобыла... Рядом с этой избой стояла другая, такая же, и дальше все то же: гнилые серые крыши, черные окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые покачнувшиеся плетни с повисшими на них посконными рубашками».

Такова вся деревня. «Эпоха великих реформ» не внесла в ее черные избы никакого просвета. Мудрено ли, что живущие в этих избах крестьяне находятся в состоянии скрытого бунта: то нарочно испакостят Щетинину лес, то растратят деньги Щетинина, то угрожают ему искалечить его скотину, и не будь они связаны по рукам и ногам, они хорошо отблагодарили бы своего гуманного барина.

«На пруду дворовая женщина полоскала белье. За метив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом».

Это — ничтожная мелочь, но из таких мелочей, складывается у Слепцова вся жизнь изображаемой им деревни.

Уж на что, кажется, Мария Николаевна была добра к деревенскому люду, даже зонтики хотела купить для работающих в поле крестьянок, но и ей вся деревня объявила бойкот. Она проходит, например, по улице и видит поющих девок. Ей хочется послушать их пение, но они, увидев ее, умолкают.

— Что же вы не поете? — говорит она ласково. — Мы бы вас послушали.

Но они молчат и прячутся одна за другую, а когда она, опечаленная, удаляется прочь, дерзко хохочут ей вслед.

Она подходит к играющим детям и заискивающе зовет их к себе:

— Приходите ко мне ужо, я вам гостинцев дам.

Но и гостинцами не может приманить их к себе...

Исход всей этой злобы один, и Рязанов предвидит его. Он прямо говорит про отношения крестьян и помещиков:

«— Вот и хороводимся мы таким манером, и долго еще будем хороводиться, доколе мера наших беззаконий не исполнится» (то есть доколе мужицкое долго-терпенье не лопнет).

По ощущению Слепцова, это время не так уж далеко, ибо, как видно из повести, крестьяне начинают кое-где сознавать, что «мера беззаконий» уже исполняется и что дольше терпеть невозможно. При помощи разных стилистических хитростей Слепцову удалось протащить сквозь цензуру такой многозначительный разговор с мужиками:

«— Век свой будете платить и все-таки земля будет помещицья.

— Вот что! — восклицают мужики. — Значит его же царствию не будет конца?

— Не будет. Что же делать! Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки. Да еще какие дураки».

То есть, крестьяне сами заявляют о том, что только по своему неразумию они терпят эти беззакония. А так как в то время считалось, что революция зависит почти исключительно от *сознания масс*, то такие заявления крестьян не могли не казаться Слепцову предпосылками революционного взрыва.

А для того, чтобы у читателя не оставалось сомнения, что, несмотря на тот тяжелый разгром, который только что перенесла радикальная партия, Рязанов верит в революцию попрежнему, автор заставил его в самом конце произнести такую декларацию:

«— Как не верить (в успех этого дела). Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно...»

Слова опять-таки весьма недвусмысленные, и не дико ли, что именно в этом романе, где так четко отмечены не только тяготы, выпавшие на долю народа, но и пути к освобождению от них, критики разных реакционных оттенков слышали проповедь индифферентизма и непротивления злу! Не дико ли, что Рязанов, доказывавший с математической точностью неотвратимость победы порабощенного класса, был воспринят теми же реакционными критиками, как политический Гамлет, утративший всякую веру в революционное освобождение России!

VIII

Но, конечно, нельзя отрицать, что, проповедуя революцию, как единственный путь к подлинному освобождению масс, и глубоко веруя в окончательное ее торжество, Рязанов все же изображен у Слепцова человеком великой тоски и усталости.

Из всех революционных бойцов, какие когда-либо появлялись в русских повестях и романах, он наиболее понурый и скорбный. Похоже, что с ним только что произошла катастрофа, безнадежно надорвавшая все его силы.

Даже физически он так ослабел и осунулся, что Щетинин не узнал его на первых порах и все повторял при свидании с ним:

— Худ-то как, худ!.. Худ-то ты как, э! брат!

Слепцов подчеркивает, что спина у Рязанова «болезненно согнута», «лицо исхудалое», «взгляд неподвижен» и что вообще он — полный контраст со Щетининым, который румян и свеж:

Видь ты лядащий какой...

Словно тебя там сквозь строй

В зиму-то трижды прогнали.

В сущности так оно и было, и теперь Рязанов приехал залечивать раны. Критики не раз удивлялись, что же такое случилось с Рязановым, отчего он так печален и озлоблен. Недоумение это вызвано тем, что они упорно не желали заметить ту дату, к которой Слепцов приурочил свое «Трудное время»: лето 1863 года.

Ею объясняется все. Мудрено было представителю революционного крыла молодой радикальной партии не затосковать и не озлобиться в 1863 году.

Этот год для передовых рязаночинцев действительно был годом катастроф. Зима, которую Рязанов только что пережил в Питере, перед тем, как приехать к Щетинину, явилась печальнейшей вехой в царствовании Александра II. Воспользовавшись паникой, вызванной знаменитыми пожарами в Петербурге, Симбирске, Саратове и других городах, правительство обвинило в поджогах ненавистных ему радикалов и натравило на них

темные массы мещанства, после чего приступило к расправе с крамольниками.

Начались массовые аресты среди молодежи. «Современник» Некрасова и писаревское «Русское Слово» были приостановлены. Чернышевского сослали в Сибирь в каторжные работы на четырнадцать лет. Писарева заточили в крепость. К Михайлову, сосланному несколько ранее, были применены — уже на каторге — такие суровые меры, которые по существу равнялись его удушению. Начавшееся польское восстание, вызвавшее в обывательской среде демонстрацию патристических чувств, окончательно разнуздаło реакцию. Муравьев-вешатель стал национальным героем. Небывалое влияние приобрела черносотенная газета Каткова, где началась ежедневная травля восставших поляков, а вместе с ними и других инородцев. Доносы на революционных бойцов стали специальностью газеты. Катков сделался идейным вождем всей реакционной России. Влияние Герцена, еще недавно такое могучее, ослабело, и авторитет его пал. Именно в эту проклятую зиму либералы всевозможных оттенков, которые до той поры более или менее поддерживали молодую радикальную партию, отшатнулись от нее окончательно. Внутри нигилистических групп закончился процесс расслоения: от них отпали, так сказать, меньшевики нигилизма и таким образом они оказались в тесном кольце врагов. Обороняться они не могли, потому что у них были отняты все их печатные органы. Возобновленный «Современник» оказался лишь бледною тенью прежнего, а газета «Очерки», где сплотились было писатели радикального лагеря, пресуществовала всего несколько месяцев — до весны 1863 года.

Вот что такое была эта зима для Рязансва. Было от чего приуныть и озлобиться. В первой редакции

«Трудного времени» Рязанов, при помощи обычных своих недомолвок, указывал, какие колоссальные потери понесла молодая революционная партия, лишившаяся своих учителей и вождей:

«— Да, хорошие, хорошие люди. Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется».

И дальше прямой намек на гибель Чернышевского, Михайлова, Серно-Соловьевича:

«— Одни умирают, а другие не умирают...

— Так что же?

— Так просто погибают.

— Как погибают?

— Да так вот, пропадёт — и кончено. Вот как в балетах: все танцует, все танцует, найдет на такое место — вдруг хлопок! пропал».

Сам Слепцов мучительно пережил этот разгром революции. 28 июня 1863 года он писал за границу в одном из своих неизданных писем:

«Кто это так бесчеловечно посмеялся надо мной, сказав нам, что я жизнью тешусь? Я не могу придумать для этого человека лучшего мщения за насмешку, как пожелать ему тешиться жизнью точно так, как я ею тешусь, особенно теперь в России, когда можно различать людей только по тому, как они чувствуют себя в настоящую минуту».

Этотую болью проникнута вся его повесть. Рязанов — выразитель этой боли. Боль мучительная, но видеть в ней «безысходное отчаяние» и «скорбь безнадежности» могли только либеральные критики, которым было выгодно истолковывать повесть Слепцова, как отказ от революционной борьбы.

IX

Для обуздания радикальной печати правительство Александра II в том же 1863 году перевело цензуру в ведение полицейского ведомства — Министерства Внутренних Дел, и журналистика сразу поблекла. «Современник» и «Русское Слово» после постигшей их кары должны были волей-неволей погрузиться в мелочные литературно-журнальные дразги и потеряли прежнюю агитационную силу. «Свисток», еще недавно такой оглушительно-резкий, после слабой попытки возобновить свою шумную деятельность, должен был затихнуть навсегда.

Рязанов, судя по его многократным высказываниям, был ближе всего к «Современнику». Нет сомнения, что он сотрудничал именно в этом журнале, — и вот теперь, летом 1863 года, он пришел к убеждению, что дальнейшая журнальная работа для него едва ли возможна. В повести очень бегло и по обыкновению невинно указывается, что, получив свежую книжку журнала и увидев в ней свою статью, Рязанов с горечью отметил внесенные в нее цензурой искажения, «швырнул [книжку] на окно и задумался». Пропагандировать социализм в легальных журналах стало уже невозможно.

Но именно в то трудное время Некрасову каким-то чудом удалось, благодаря целому ряду счастливых случайностей, напечатать у себя в «Современнике» одну из самых смелых и будоражащих прокламаций шестидесятих годов — повесть Чернышевского «Что делать». Чернышевский написал ее в крепости. Она была как бы его завещанием, оставшимся на воле бойцам: в ней заключался призыв не складывать оружия перед наступившей реакцией, а исподволь, мало-по-малу, планомерно и организованно вводить в современную русскую жизнь желанный социалистический быт. Призыв этот.

раздавшийся в такую мрачную пору, прозвучал для радикальной молодежи, как боевая труба. В обеих столицах и отчасти в провинции возникло множество очень наивных и хилых *коммун* (то есть, попросту говоря, обществ) и, как мы знаем из биографии Слепцова, осенью 1863 года он сам, подхваченный этой волной, основал в Петербурге на Знаменской улице пресловутую слепцовскую коммуну, столь на шумевшую в летописях той эпохи. Коммуна просуществовала всего несколько месяцев, до ближайшей весны, и распалась.

Нет сомнения, что Мария Николаевна, как и все передовые женщины 1863 года, тоже была под обаянием романа «Что делать» и, разрывая навсегда с ненавистной ей дворянской средой, стремилась в Петербург для того, чтобы сделаться участницей одной из коммун. Рязанов прямо говорит об этом при прощании с ней в своем последнем напутственном слове:

«Она, мелкота-то эта, все дела справит, и все эти артели заведет... на законном основании, они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что».

Так как повесть писалась Слепцовым тотчас же после распада основанной им коммуны (в 1864 году), он заставляет Рязанова отозваться о коммунах скептически. Видно, еще не исчезла та горечь, которую оставил в его памяти этот неудавшийся опыт. Он изображает дело так, будто после ареста главарей радикальной партии в Питере осталась одна мелкота, которая, кроме как на устройство артелей, уже никуда не годится. Эта несправедливость естественна в устах человека, только что пережившего гибель таких великанов, как Добролюбов и Чернышевский.

Рязанов, как уже было сказано выше, носитель идей «Современника».¹ Его борьба с либеральным гуман-

¹ Впрочем, не без примеси писаревщины: см. стр. 304, 306.

ством, его презрение к реформам Александра II, его истолкование тогдашнего государственного строя России, как диктатуры зажиточных классов, его вера в торжество социализма — все это получено им по наследству от «Современника» 1859—1861 гг. Даже тоном голоса, даже манерой излагать свои мысли, даже внешними приемами речи он напоминает Чернышевского. Любопытна догадка одного из позднейших исследователей, критика-марксиста Дивильковского, что черты Рязанова «заимствованы автором из черт самого Чернышевского, как он рисуется из всех современных свидетельств о нем». Не сомневаюсь, что эта догадка верна, ибо Чернышевскому в высшей степени была свойственна та самоуверенная, уклончиво-насмешливая, вѣдливая, шутливая речь, приводящая к абсурду всякую мысль противника, которая так характерна для Рязанова. Иден этих двух людей почти тождественны. Не потому ли Некрасову и вообще «Современнику» так полюбилась слепцовская повесть, что в ней был запечатлен с необыкновенной яркостью образ только что погибшего вождя и прикровенно изложены его основные воззрения.

Есть, мне кажется, только один единственный пункт, где Рязанов не союзник Чернышевскому. Чернышевский, как известно, был уверен, что крестьянская община, несущая в себе зародыши коммунального быта, является мостом в социализм, а Рязанов уже тогда понимал, что этот мост гнилой и ведет в противоположную сторону. Как человек, на практике изучивший крестьянскую жизнь. Слепцов видел, что эта хваленая община есть такая же кабала для беднейших крестьян, как и все другие учреждения тогдашней деревни. В повести «Трудное время» община изображена в качестве полицейского органа для

¹ «История русской литературы XIX в.», 1910. т. III.

принудительного выжимания налогов: «мир» приговаривает двух неплательщиков к розгам и тут же приводит свой приговор в исполнение: «толпа отшатнулась, что-то жикнуло и вслед за тем раздался дикий безобразный крик».

Слепцов был совершенно свободен от тех герцено-славянофильских иллюзий, которыми тешили себя, наряду с Чернышевским, многие социалисты шестидесятых годов — Шелгунов, Михайлов, Ткачев, — и которые через несколько лет стали символом веры народников.

Он опередил Чернышевского и в том отношении, что не идеями характеризовал различные группы людей, а главным образом — хозяйственной деятельностью. Критики, говоря о Слепцове, слишком часто были склонны забывать, что незадолго до опубликования «Трудного времени» он напечатал два исследования — именно о хозяйственной жизни России. Эти исследования даны им в беллетристической форме, в виде небрежных отрывков из записной книжки прохожего, но, как всегда у Слептова, за этой притворной небрежностью скрывается глубоко продуманный план. Посвящены они крестьянам и рабочим. Озаглавлены очень скромно: «Владимирка и Клязьма», и «Письма об Осташкове». Автор, очевидно, не придавал им особой цены, так как даже не включил их в собрание своих сочинений. Между тем это работы классические и до сих пор не утратили жгучести. В них Слепцов, по своему обычаю, обличает не какое-нибудь отдельное зло, а всю систему тех насилий, лицемерий, обманов, жестокостей, на которых зиждется хозяйственная деятельность «сытых и сильных». При помощи «экономки» он выводит на свежую поду всевозможные гуманства «имущих и просвещенных представителей нации».

Уж на что был проставлен своими гуманствами город Осташков. Вся либеральная печать изображала его каким-то «благодатным островком в океане всероссийской некультурности» и в один голос восхваляла именитых осташковцев, которые на собственные средства устроили для беднейших слоев населения и богадельню, и библиотеку, и школу, и банк, — явление невиданное в тогдашней захолустной России. Газеты особенно славили тамошних фабрикантов Савиных, которые из рода в род, в течение полувека, состояли городскими головами Осташкова и тратили немалые суммы на культурно-просветительные учреждения города. Но вот в Осташков приехал Слепцов и при помощи пристального анализа их хозяйственной деятельности доказал, что они — те же Щетинины: по видимости филантропы, а по существу угнетатели.

Таким образом, в «Письмах об Осташкове» та же тема, что и в повести «Трудное время»: даны великолепные вывески, на которых начертаны самые благородные лозунги; требуется доказать, что под ними *кабак*.

И там, и здесь Слепцов доказывает это путем экономики. В «Письмах об Осташкове» он при помощи фактов, относящихся к хозяйственной жизни городской бедноты, разрушает показную, декоративную, парадную ложь о невиданном благосостоянии города. В «Трудном времени» он точно так же проверяет выпренные речи Щетинина при помощи фактов, относящихся к его хозяйственной деятельности. Оказалось, что Щетинин хоть и маскируется чуть не революционным бойцом, на самом деле есть типичный аграрий западно-европейской формации, новейший деревенский буржуа, представитель прогрессивного, капиталистического, рационально-поставленного хозяйства, по-новому эксплуатирующий освобожденных крестьян, как фабрикант —

своих вольнонаемных рабочих. Тогда, в 1863 году, тотчас же после крестьянской реформы, такие аграрные буржуа были внове, и Слепцов один из первых уловил этот тип. Он показал его новые приемы хозяйничания: бухгалтерский учет крестьянского труда, земледельческие заграничные машины, система тонко разработанных штрафов, широкая, научно поставленная спекуляция хлебом и пр.

Этим-то новыми приемами хозяйственной деятельности Слепцов определяет всю психоидеологию Щетина.

В этом отношении Слепцов значительно опередил Чернышевского.

Но, конечно, Чернышевским была внушена главная идея его повести. Ибо именно Чернышевский сосредоточил все свои силы на борьбе с дворянским реформаторством. Очень выразительно пишет об этом один из новейших исследователей:

«Так же, как впоследствии большевики, которых в свое время недаром упрекали в «кадетодействе», Чернышевский хорошо понимал, что проповедь революции возможна только путем окончательного дискредитирования, осмеяния и уничтожения всяких надежд на реформистские пути развития. В сочинениях Чернышевского можно без труда найти бесчисленное количество подтверждений его беспощадно презрительного отношения к либералам вообще и к современному ему русскому либерализму в частности».¹

Эти строки целиком приложимы к Слепцову. Вообще эпиграфом к «Трудному времени» можно было бы сделать знаменитый возглас Чернышевского:

¹ См. «Очерки по истории русской критики», под редакцией А. Луначарского и Валериана Полянского. Статья Л. Каменева (т. II, 1931, стр. 57).

«— Эх, наши господа эмансипаторы... Вот хватуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то!»

Замечательно, что позиция Слепцова по отношению к либеральным реформаторам была истолкована столь же превратно, как и позиция его вдохновителя.

Тот же автор говорит о Чернышевском:

«Самым «просвещенным» либералам и радикалам из дворянской интеллигенции, даже тем из них, которые были в известной мере пропитаны «народническими» стремлениями, даже тем из них, которые считали себя «неисправимыми социалистами» (Герцен), позиция Чернышевского и его деятельность должны были казаться полным «нигилизмом», святотатственным покушением на основные ценности культуры, отрицанием всех завоеваний человеческого духа, наконец — политической бестактностью, способной лишь помочь политической и идеологической реакции».

Мы видели, что именно таково было отношение к Рязанову со стороны журнальных либералов: и Зарин, и Протопопов (и позднее Семен Венгеров) восприняли антищетининские выпады Рязанова именно как «святотатственное покушение на основные ценности культуры». Все, что высказывала о рязановской проповеди либеральная критика, слово в слово совпадает с тем, что писал, например, Герцен о чернышевско-добролюбовских статьях «Современника», направленных против либерального лагеря («Very dangerous», «Желчевики и лишние люди»). Рязанов в данном случае вполне разделит участь своего прототипа.

К Герцену у Слепцова отношение такое же, какое в свое время установил Чернышевский. Считая Герцена одной из разновидностей многообразной породы Щетининых, он, Слепцов, превосходно чувствует дворянскую сущность его радикальных идей. Недаром

в повести есть колкий намек, что у Щетинина в кабинете висят портреты Огарева и Герцена. Мы уже видели, что, изображая мирового посредника, Слепцов косвенно полемизирует с Герценом. Точно так же та глава его повести, где в буфонадно-ироническом стиле изображается *сближение сословий*, вся заострена против «Колокола», который возлагал на всесословное земство преувеличенно-горячие надежды, солидаризируясь в этом отношении с кавелинской кликой.

Известно, как Чернышевский ненавидел Кавелина, который казался ему воплощением либеральной эмансипаторской пошлости. Если бы во время введения земства Чернышевский был на свободе, он несомненно дал бы могучий отпор тем неосновательным радостям, которыми Кавелин и вся его группа встретили «великую реформу». За Чернышевского это сделал Слепцов. Хотя в 1863 году земство еще было в проекте, но Слепцов заранее предвидел, что и эта реформа окажется пухом, ибо, при диктатуре дворянства, никакое местное самоуправление на всесословных началах немыслимо. Именно в той главе, о которой мы сейчас говорили, он ясно показал всем приверженцам Герцена, Огарева, Кавелина, во что превратится «всесословное земство», когда там начнут верховодить помещики.

Таким образом и в своем отношении к позднейшим реформам Александра II Слепцов заявил себя последователем и учеником Чернышевского.

Х

Замечательно, что в этом партийном публицистическом злободневном романе Слепцов неизменно остается художником чистейшей воды и всю диалектику идей утверждает диалектикой образов. Вначале даже не заметишь, что его живопись подчинена публицистике, так

она ярка и сильна. По сути своего таланта Слепцов был жанрист школы Горбунова и Николая Успенского. Свои короткие очерки он писал как будто для эстрады, для сцены, сильно выдвигая в них характерную дикицию, забавные речевые особенности. Недаром с таким успехом выступал он на всевозможных благотворительных вечерах и концертах в качестве рассказчика «сцен из народного быта». Петербургская публика очень ценила его именно как устного рассказчика. Крестьянскую речь он передавал виртуозно, так как, подобно Николаю Успенскому, имел изощреннейший слух к оттенкам живого простонародного говора. В то время, в первой половине шестидесятых годов, «сцены из народного быта» еще не были низменным жанром. Слепцов явился одним из признанных мастеров этой формы. Его «Питомка», «Ночлег» и другие рассказы были встречены с величайшим сочувствием и широкой читательской массой и такими ценителями, как Лев Толстой, Тургенев, Некрасов. Здесь, в области короткого рассказа, маленькой «сцены из народного быта» он чувствовал себя сильнее всего. Поэтому нет ничего удивительного, что когда он писал свою повесть, он вклеил в нее множество этих беглых набросков. Похоже, что они были заготовлены впрок еще раньше, чем он принялся за писание «Трудного времени», и оставались, так сказать, без пристанища, пока он не приютил их в этой повести. Такое обилие разрозненных, отрывочных сцен всякому бросалось в глаза, и в печати не раз упрекали Слепцова, что этими сценами он только зря загромоздил свою повесть.

Критик тогдашнего «Голоса» жаловался:

«Сюжет обставлен у г. Слепцова множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местах и нанизанных теперь в один рассказ».

Такое же неудовольствие высказали и «Петербургские Ведомости»:

«Повесть (г. Слепцова) представляет ряд фотографических сцен, связанных между собою только внешним образом». ¹

Это мнение дожило до нашего времени и, как мы видим теперь, оно совершенно бессмысленно, ибо все эти якобы разрозненные, случайные сцены составляют главное содержание повести, которое заключается вовсе не в том, как один радикал распропагандировал молодую помещицу, а в «окончательном дискредитировании, осмеянии и уничтожении всяких надежд на реформистские пути развития русской общественности. Именно для того, чтобы показать всю несбыточность этих надежд, Слепцов и ввел в свою повесть такие, якобы случайные зарисовки с натуры, которые должны были в своей совокупности составить неотразимый обвинительный акт против мирной реформаторской деятельности либеральнейших гуманистов эпохи Александра II. Только из-за цензурного пугала этим сценам был придан бессвязный и случайный характер, а на самом деле все они бьют в одну точку, все кричат об одном и том же. При помощи этих будто бы разрозненных сцен Слепцову удалось произвести систематический и планомерный обзор всех наиболее заметных явлений тогдашней общественной жизни и каждое из этих явлений измерить единственной мерой: полезно ли оно для трудового крестьянства. Иной меры у Слепцова не было. Этой мерой он измерил в своей повести и школу, и земство, и падение крепостного режима, и представителей церкви, и мировых посредников, и купцов, и либеральных дворян, и показал, что во всем этом нет ничего, кроме органи-

¹ «Голос», 1866. 67; «СПБ Ведомости», 1866. 26.

зованного вреда для трудящихся. Жаль, что никто до сих пор не заметил этого внутреннего единства всех «вводных анекдотов» и «фотографических сцен», которыми изобилует слепцовская повесть. Это удесятирило бы ее агитационную силу и чрезвычайно повысило бы художественную ее выразительность. Повесть, структура которой классически стройна и строга, из которой нельзя выбросить ни одного эпизода, так как в ней каждая мелочь подчинена основному сюжету, все еще воспринимается читателями, как беспорядочное нагромождение ненужностей, талантливых и милых, но бесцельных. Пора переоценить эту повесть и предоставить ей одно из почетнейших мест в истории революционной литературы шестидесятых годов. Нельзя допустить, чтобы тайнопись, предназначенная для обмана цензоров, обманывала также и нас. И хотя она обличает либерализм определенной эпохи, хотя направлена она, главным образом, против «великих реформ» Александра II, но произведенный ею анализ классовой сущности этих либеральных реформ так математически точен и четок, а ее диапазон так широк, что она не утратила своей актуальности и до нашего времени. Покуда в политической жизни буржуазного мира будут существовать либеральные праведники, прикрывающие хищнические свои аппетиты высоко-гуманными лозунгами, эта давнишняя полузабытая повесть Слепцова будет снова и снова разоблачать их шулерскую игру, так как образ Щетинина, по своим основным элементам, является прообразом всякого либерального деятеля феодально-буржуазной эпохи. В нем и Гладстон, и Ллойд Джордж, и Кавур, и все будущие гуманисты-реформаторы.

Замечательнее всего то, что этот антидворянский писатель был столбовой дворянин, единственный дворянин

среди тогдашних молодых беллетристов. Обличитель Щетинина и сам был Щетинин — по крови, по воспитанию, по семейным традициям. Его мать была важного шляхетского рода, отец — полковник, генеральский сын. Но род был захудалый, обедневший. Отец, боевой улан, человек совершенно ничтожный, прокутился смолоду банальнейшим образом, и если бы не энергия матери, женщины темпераментной и пламенно-деятельной, имение пошло бы с молотка. Слепцов рано покинул родную усадьбу, и после долгих мытарств, пройдя многолетний путь деклассированного дворянина-богема, прикнул к нигилистическому лагерю, сблизился с Писаревым, Чернышевским, Ткачевым, Некрасовым и вскоре усвоил себе тот анти-либеральный, народнический, революционно-социалистический дух, который господствовал тогда в «Современнике». Под непосредственным влиянием идей «Современника» и было написано им «Трудное время», где он выразил полную свою солидарность с идеологией боевых разночинцев. И хотя его «Трудное время» пропагандировало их партийные взгляды, хотя выразителем этих взглядов он вывел такого же, как они, бурсака и плебея, все же чувствуется, что автор не окончательно слился с своим персонажем (не то, что Помяловский с Модотовым, а Чернышевский с Рахметовым) и наблюдает его как чужого.

Уже самое изящество композиции «Трудного времени», тонкая отделка деталей, элегантная соразмерность частей резко выделяют эту повесть из плебейской беллетристики шестидесятых годов. Рязанов написал бы ее совершенно иначе. Дворянская эстетика сказалась в ней против воли Слепцова.

Но сосредоточенное, глубоко продуманное сочувствие к угнетаемым массам, вера в то, что им может помочь лишь полный разгром феодально-буржуазного строя,

презрение к гуманистам-соглашателям дворянского лагеря и ко всей их реформаторской деятельности, — все это ставит его в первые ряды революционных разночинцев шестидесятых годов, и если бы он ничего не написал, кроме «Трудного времени», в писательской плеяде той эпохи ему подобает более почетное место, чем то, которое он занимает теперь

Корней Чуковский.

В. А. СЛЕПЦОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

— 22 —

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Повесть

THE END OF THE WORLD

1800

Время стояло летнее, самое раннее лето. Ехал проселком вольный ямщик, вез в телеге, на тройке, проезжающего.

Шла дорога полем, шла лугами да оврагами и пришла дорога к лесу. Стали в лес въезжать. Дело было к вечеру.

— Далеко, что ли? — спросил проезжающий.

— Недалеко.

— А как?

— Да вовсе близко. Вот из лесу выедем, тут она и есть.

Ямщик остановил лошадей, слез, походил вокруг телеги, подтянул чересседельник, дугу покачнул, опять сел и, вытаскивая из-под себя вожжи, крикнул лошадям:

— Но! Недалёко!

Телега запрыгала по корням; в воздухе вдруг почудилась сырая, пахучая свежесть. Проезжающий снял картуз, вытер лицо платком и начал пристальнее всматриваться вперед.

Сквозь жидкий дубняк и орешник беспрестанно то там, то сям проскакивали лучи покрасневшего солнца, по верхушкам птицы порхали. Лес заредел, стал все мельче да мельче, солнце разом выглянуло над кустарником, лошади круто повернули вправо. и вдруг те-

лега очутилась на самом краю страшного обрыва, по которому вилась змеей дорога, вся изрытая, избитая и усыпанная мелкими камнями. Лошади стали.

С этого места видно верст на двадцать. Внизу, под самым обрывом — река, вся усеянная островами. Течет эта река из зеленых лугов, густо заросших мелким, курчавым кустарником; извивается и прячется она в камышах, и опять сверкает вдали, и наконец совсем пропадает за далекими синими озерами. На другом берегу реки расстилаются сенокосы, хлебные поля и деревни. Ближе, поправее, село, вытянутое к церкви, с обеих сторон обсажено садами, огородами, гумнами и старыми, почерневшими скирдами. Направо, в саду, на пригорке — помещичий дом. В самом виду под горою шумит водяная мельница.

— Экое место! — вслух сказал проезжающий.

— Место потное, — от себя заметил ямщик. — Годом бывает — сена родятся богатые, — прибавил он немного погодя и стал спускаться, приговаривая лошадям.

— Гляди, небось!

Проезжающий осматривал местность; лошади скользили и оступались; ямщик, не оборачиваясь, спросил:

— Сродственники будете Лександру Васильичу-то?

— Нет.

— Так, значит, в гости побывать?

— Да, в гости.

— Доброе дело. Служите де, ай нет?

— Нет, не служу.

Ямщик оглянулся.

— Кто ж вы будете сами-то?

— Попов сын.

— Мм. Да, да, да.

Ямщик помолчал, потом сказал в раздумьи:

— А и много тоже ноне вашего брата, ку-тейников-то.

— Довольно.

— Довольно, довольно, — покачивая головой, говорил ямщик. — Ну, и что же теперя, братец ты мой, в писаря, что ли, задумал к яму проситься?

— Нет, так, по своему делу.

— Да; по своему делу... Но! дьяволы! Пропасти на вас нет! Ту, ту, ту!

Лошади поскакали, телега покачнулась — на бок, потом на другой и, прыгая через кочки, понеслась по дороге к селу.

Прежде всего кинулась в глаза проезжающему новая, крытая тесом изба, с крылечком, одиноко стоящая на лужайке; над входом — голубая вывеска, и белыми буквами написано: «Волостное правление». Тут же, рядом с правлением, под навесом виднелись пожарные инструменты: трубы, бочки, багры и проч. На селе куры бродили по улице, поросенок с визгом выскочил из-под колес, мужик торопливо снял шапку и потрянул волосами.

— Эх, вы, несчастные! — крикнул ямщик на лошадей. Телега загремела по мосту, потом запылила по двору и остановилась у флигеля.

На крыльце стоял человек небольшого роста, в пальто, и, засунув руки в карманы, пристально смотрел на приезжего.

— Александр Васильич дома? — спросил его приезжий.

— Нету; их дома нету, — отвечал человек. — А вы от станowego? — спросил он, подходя к телеге и подставляя ухо.

— Нет, не от станowego; я сам от себя. Скоро вернется Александр Васильич?

— Они недалеко уехали с барыней; за двенадцать верст, к господину Ушакову. К вечеру хотели быть обратно. А вы кто такой?

— Я-то? Да я товарищ его. Он знает, он меня ждал.

— А! Так, так. Знаю с. Пожалуйте! Я сейчас велю ваши вещи... Господин Рязанов?

— Да.

— Ну, так. Ждали... Как же...

— А где бы мне тут пристроиться пока?

— А вот тут во флигеле комнату приготовили; только теперь там, я вам скажу, такая идет чепуха: бабы это возются... разные эти тряпки... чорт их возьми!... нет, нельзя...

Приезжий задумался.

— Как же быть?

— Да вы вот что-с; вы пожалуйста пока в кабинет. Что же такое? Ничего. Пожалуйте! А я вот... эй! кто там? Приказчик! Кликни кого-нибудь.

— Нет, Иван Степаныч, нечего и кричать, — говорил, подходя приказчик в долгополом армяке, спокойно и медленно шагая по двору своими большими сапогами. — Нету никого. — шабаш. Все на село ушли, — прибавил он, махнув рукой, и, подойдя к телеге, спокойно стал глядеть на лошадей.

— Онучински? — спросил он у ямщика.

— Онучински, — не глядя, отвечал ямщик.

— Ах, людишки проклятые эти! — горячился между тем Иван Степаныч. — Как господа со двора, так и собаками никого не сыщешь.

— Да не хлопочите, пожалуйста, — говорил приезжий. — Я и сам внесу.

— Ах, нет. Как это можно? Приказчик! Ну-ка, брат, возьми чемодан, а я вот саквояж да подушку. Пожалуйста!

Приказчик поставил свою шляпу на крыльцо, взял чемодан и понес.

Дом был старинный, одноэтажный, с бельведером, но переделанный и перестроенный заново. Разные несообразности и неудобства, свойственные старым деревенским домам, были по возможности устранены с помощью кое-каких пристроек и сокращений, которые хотя и достигали своей цели, но зато лишали строение типичности и совершенно, повидимому, исказили его прежнюю физиономию. Это было какое-то длинное, неправильное, выбеленное здание, с обоих концов снабженное фантастическими пристройками и террасами. В одном месте окно заколочено, а в другом пробито новое. С первого же взгляда заметно было, что новый строитель имел в виду одну цель — удобство, о симметрии же и вообще о внешности заботился мало.

В передней, да, впрочем, и во всем доме, никого не было; только заходящее солнце, ударяя прямо в широкие окна зала, насквозь пронизывало багровою полосой целый ряд опустелых комнат. Внутри дома, еще больше, нежели

снаружи, заметны были свежие следы недавней реформы: новые двери, новые обои и перегородки, сделанные, как видно, во имя уютиости; кое-где новая мебель, наконец, лампы нового устройства и едкий запах керосина. Но, несмотря на это, несмотря на всю несомненность произведенных улучшений, на всем, решительно на всем лежал еще другой, ничем неизгладимый отпечаток: низкие потолки, широкие изразцовые печи да и самые размеры и расположение комнат ясно доказывали, что дом такого рода сжечь можно, но пересоздать нельзя.

Гость тихо прошел по всему дому, молча останавливаясь в разных комнатах, и вернулся опять в переднюю: там в простенке висело большое дубовое зеркало, по бокам его стояли новые дубовые стулья с высокими спинками, дубовая вешалка в углу; но у стены так и остался широкий, неуклюжий, только заново выкрашенный коник.¹

— Куда же итти? — спросил гость у своего провожатого.

— А вот сюда, в кабинет. Пожалуйте! Да чаю не угодно ли? Умыться? — сейчас.

Гость остался один; он сел на диван и повел глазами вокруг: шкафы с книгами, камин, бумаги, газеты на столе; в окнах сетки, под окнами сад, за садом солнце садится...

В столовой заскрипели сапоги.

— Что ж, сударь, на чаек-то?

В дверях стоял ящик и чесал в затылке. В то же время вошел Иван Степаныч с рукомыльником.

¹ Ларь для спанья

— Ах, подлый народишко! Чорт их возьми! Воды нет. Ямщика за водой посылал. Ну, народ!

— Что вы хлопочете? Успеется еще.

— Да нет, помилуйте! Это... ведь это ни на что не похоже. Так набалованы, из рук вон. Извольте умываться!

Пока гость умывался, Иван Степаныч все говорил:

— Мыло-с? Вот!.. Не надолго... Они долго там никогда не бывают. Неподходящий человек... грубость эта, знаете!.. Помещик, одним словом, помещик... «Эй, Ванька! трубку!.. Вот-с... хозяин... да, хозяин... Машины эти все презирает... Марья Николаевна не любят к нему ездить.

— Это кто Марья Николаевна?

— А супруга Александра Васильича.

— Да, я забыл, как ее зовут.

— Как же-с, да. Чудесная дама, воспитанная. Здесь таких нет. Я говорю: охота жить здесь, ей-богу! Провинция такая тут, не дай бог!

— А вы зачем же здесь живете?

— Я что же? Мое дело такое. Рад бы не жить.

— Что ж вы тут делаете?

— Я письмоводителем при Александре Васильиче состою. На бороде-то мыло осталось. Пониже! Пониже! Письмоводителем... Да что — письмоводитель?... Чорта ли тут?... Помилуйте! Дела... Какие дела?... Чепуха! Теленок в огород зашел, на грош потравы, на четвертак навозу одного накладет. Дело!.. По-

средник... судить. Самоуправление, говорит... Вон в газетах пишут: здравый смысл народа... Дьяволы! Право... Право... Школы там... Пес их возьми... Вот полотенце. Я говорю Александру Васильичу... Чаю угодно?

— Нет, не хочется. Я подожду их.

— Ну, подождите. Я говорю Александру Васильичу: палкой их!

— Что ж Александр Васильич?

— Что Александр Васильич? У него обыкновенно один разговор — из газет... Гуманность. Ах, господи! Вот история! Свобода, говорит. Нет, вон она, свобода-то! Намедни пришли к нему государственные крестьяне проситься, что нельзя ли, мол, нам под вас записаться в крепостные, так и так, говорят, оченно наслышаны, — жить у вас хорошо. А? Свобода!.. здравый смысл! Нет, их, анафем, за этот здравый смысл мало еще тово... мало пробирали... Нет, мало. Другой бы, знаете, как разжег, гуманность то эту показал бы им.

В это время в соседней комнате, переступая с ноги на ногу, явился приказчик. Он издали заглядывал в дверь и подкашливал.

— Кажется, к вам, — сказал гость.

— Ах, да; приказчик. Сейчас. Нет, я вам скажу, это беда. Вот записывать надо итти. А вам не угодно ли пока позаняться? Вот тут газеты: «Московские Ведомости», «Северная почта»... По-французски умеете? «Ленор», «Ледеба. Извольте читать! Погоди, приказчик! Сейчас. Журналы желаете?

¹ Ленор («Le Nord», «Север») бельгийская газета, издававшаяся на казенные русские деньги для защиты

— Хорошо. Я посмотрю, — говорил гость, садясь за письменный стол.

— Читайте! Читайте! — кричал, уходя писмоводитель.

Гость, оставшись один, зевнул и начал перебирать газеты; но все это были старые номера, журналы тоже; да и ворочал-то он нехотя, лениво. На столе тут же попало ему несколько русских и французских брошюр, вперемешку с пакетами мирового съезда и безобразными тетрадками «*Agronomische Zeitung*»,¹ разные счета, ведомости, хозяйственные соображения, кое-как набросанные карандашом. Впрочем, по мышинным следам и по заторелому виду листов заметно было, что бумаги писаны давно и разбросаны по небрежности.

На стене, рядом с письменным столом, висели на крючках постановления, циркуляры, штрафные таксы за потраву и проч. в этом роде. На стульях лежали раскрытые коробки с бумагами, на диване валялась свежая неразрезанная книжка «*Journal d'Agriculture Pratique*»² и собачий ошейник. Гость потянулся в кресле и зацепил ногою под столом целый ворох «Русских Ведомостей». Нераспечатанные пачки разъехались по полу. Швырнув их ногою опять под стол, он встал и прошелся по комнате. Между тем становилось все темнее, так что уже с трудом можно было рассмотреть несколько фотографических портретов, висевших

интересов русского правительства. — Ледеба («*Les Debats*») парижская газета.

¹ «Агрономический вестник».

² «Журнал практического сельского хозяйства».

над диваном: лица всё были известные. Гость сделал гримасу и, отвернувшись, неожиданно увидел в зеркале самого себя. Он вздрогнул — и начал всматриваться: на черном стекле тускло выступала тощая фигура, с исхудалым лицом и неподвижным взглядом. Гость лег на диван и закрыл глаза.

Прошло четверть часа. Вдруг в доме поднялась суeta. Кто-то пробежал со свечкою в переднюю, собаки залаяли, к крыльцу подъехал шарабан в одну лошадь; в шарабане сидели двое: мужчина и дама. На крыльце слышались голоса.

— Кто?

— Не могу знать.

— Что ж ты не спросил?

Вслед за этим в кабинет вошел молодой, белокурый мужчина и в недоумении остановился.

— Не узнал? — подходя к нему и протягивая руку, сказал гость,

— Ах, это ты, Рязанов! Я уж думал, ты и не приедешь. Ну, что? Ну, как ты? Дайте сюда огня? Худ-то как, худ! Садись что ли, я на тебя погляжу. Чай давай пить!

— Давай.

— Самовар скорее! — крикнул хозяин; потом обнял гостя и посадил его на диван. — Да ты рассказывай, как ты там в Питере? Что у вас там делается?

— Всё слава богу. Кланяться велели.

— Ну, что ты врешь? Кто мне кланяется?

У меня там ни одной собаки знакомой нет.

— Так чего ж тебе нужно?

— Ты мне вот что скажи: отчего ты не писал? В три года хоть бы слово! И не стыдно

это тебе? а? — говорил хозяин, усаживаясь рядом с гостем на диван, и еще раз спросил:

— И не стыдно?

— Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем.

— Эх, ты! А еще сочинитель называешься, — смеясь говорил хозяин.

— Так что ж, что сочинитель? Что ж мне для тебя письма, что ли, сочинять?

— Зачем сочинять? Писал бы о том, что есть.

— Странный человек! А если нет ничего?

— Рассказывай, брат! Разве я не знаю, что у вас там делается.

— Ну, а коли знаешь, так чего ж тебе еще? Ты ведь небось газеты читаешь?

— Да нет; это все не то.

— Нет, именно то, что тебе следует знать, а больше ничего знать тебе не следует.

— Всё ты не дело говоришь, — смеясь и вставая, сказал хозяин. — Да и я-то чорт знает что спрашиваю. Человек с дороги, а я о литературе. Что же, чаю? Постой, вот я свечи зажгу.

— Нет, это я очень рад: вот почему, — говорил он, шаркая спичкою. — Поэтому я и путаюсь. Ты меня извини, пожалуйста!

— Ничего, — отвечал гость, ворочаясь на диване. — Это даже хорошо, что ты путаешься.

Свечи разгорелись понемногу, осветились зеленые стены с темными портретами и две фигуры приятелей: один — сухощавый, черный, с длинными жидкими волосами и клиновидною бородою (Рязанов), болезненно согнувшись,

лежал на диване и серьезно всматривался в другого — белокурого, свежего молодого человека (Щетинина), вдруг неожиданно задумавшегося и неподвижно остановившегося с догоревшею спичкою в руке.

— Что задумался? — наконец спросил гость.

— Кто? я? Нет, ничего. Это так, — ответил Щетинин, вздохнул и прошелся по комнате; потом круто повернул к Рязанову и, засунув руки в карманы своего пиджака, сказал:

— Ведь это знаешь, что? Живешь здесь один, людей не видишь, ну и забудешься как-то; а вдруг услышишь такое слово, одно какое-нибудь слово, ну и пошло, и начнут подыматься старые дрожжи.

Гость молчал. Щетинин раза три прошелся из угла в угол, опять остановился перед гостем и торопливо заговорил:

— Нет, ведь я тебе рад, очень рад! — Он протянул гостю руку, крепко пожал ее и подсел к нему с ногами на диван. — Ну, теперь рассказывай! Говори, — что и как там у вас. Худ-то ты как, э! брат.

— Что ж делать, — равнодушно ответил гость.

— Вот что ты мне скажи, — подвигаясь ближе, вполголоса спросил Щетинин: — признайся, зачем ты сюда приехал?

— Как зачем? Ведь ты знал же, что я воздухом хочу лечиться. Сам же звал меня.

— Звал-то я звал, да я думал, что у тебя еще какая-нибудь цель есть, кроме воздуха.

— Нет, никакой у меня цели больше нет. Вот с тобой кстати привидаться.

Щетинин пристально смотрел гостю в глаза.

— Правду ты говоришь?

— Гм! Что ж ты меня спрашиваешь, правду ли я говорю? Если я не хочу тебе сказать, так не скажу, как ты меня ни спрашивай, как ни вытаращивай на меня своих пронизательных взоров.

— Я думал, что ты скажешь.

— Напрасно думал... А если тебе очень уж так захотелось узнать, зачем я приехал, так ты сам старайся узнать, выпытывай поинтереснее: заводи разговоры о таких предметах и замечай, или пьяным меня напой. Мало ли средств... Может, и узнаешь.

— Ну, понес опять! Ты, я вижу, все такой же.

— Все такой же, брат.

— И не надоело это тебе?

— Что ж делать-то? Может и надоело, да делать-то нечего, не переделаешься.

— А вот я так переделался.

— Ты?

— Да. Что ж, это тебя удивляет?

— Нет, не удивляет. А жена твоя где?

— Ей что-то нездоровится. Она должно быть уж легла. Ах, да; вот ведь я забыл совсем, что тебе нужно приготовить ночлег. Там во флигеле есть комната, да нужно ее прибрать. Ты тут посиди пока.

— Посижу.

Щетинин ушел, гость встал с дивана и начал разминаться, прохаживаясь и покачиваясь из стороны в сторону.

В кабинете стало прохладнее; в открытые окна тихо плыл пропитанный весенним запахом

березы вечерний воздух, весь наполненный ко-
мариным пением и далекими отголосками раз-
ных вечерних звуков.

Минут через пять вошел Щетинин.

— Здесь ничего, жить можно, — сказал
гость, продолжая ходить по комнате.

— А я уж и не знаю, хорошо ли, — привык.
Должно быть, в самом деле хорошо.

— Хорошо! А дети есть у тебя?

— Что это ты вздумал? Нет, брат, у меня нет
детей; да и слава богу, что нету пока. Прежде
нужно им приготовить кое-что, гнездо свить.

— Какого же тебе еще гнезда? — спросил
гость, показывая рукою вокруг себя — Или ты,
может быть, намереваешься для каждого по ку-
ритнику выстроить?

— Нет, а вообще я такого мнения на этот
счет, что обязанность родителей приготовить
для детей кое-какие средства, ну, воспитание
там... Нужно же подумать обо всем заранее.

— М-да, — как бы соображая говорил гость,
продолжая ходить. — Да, это похвально... Ну,
и что же, — спросил он, — успешно идет за-
готовка?

— Ничего. Понемножку. Нельзя же вдруг.

— Нельзя. Конечно. А как же теперь эти, —
спросил гость, останавливаясь перед Щетини-
ным и показывая пальцем, — эти запасы по от-
дельным ящичкам разложены: это для Ма-
шеньки, а это для Николеньки, или так, все
вместе?

— Да что ты в самом деле! — шутя закричал
Щетинин. — Смеяться, что ли, надо мной при-
ехал!

— Нет; это я вспомнил, — усаживаясь на диван и улыбаясь, продолжал гость:—мать у меня была женщина чадолюбивая и аккуратная, скопидомка была: так вот она, бывало, как только родится у нее дочь, сейчас же начинает ей приданое копить и для каждой дочери особый короб предназначался. Ну, и все это идет ничего. Только как, бывало, которая-нибудь из них заспорит, видит мать, что дело плохо, не переспоришь, — «постой же, говорит, сука, вот ты у меня без приданого насидишься!» Сейчас возьмет и все тряпье из короба непокорной дочери переложит к покорным. Ну, и драки же бывали у сестер из-за этого! Неимоверные драки! Только один отец и помирит, бывало: возьмет, да у всех трех приданое-то и пропьет.

После этого рассказа и гость, и хозяин замолчали.

— А все-таки, брат, что ты там ни толкуй, а без этого нельзя, — наконец, заговорил Щетинин.

— Без чего нельзя?

— Да без того, чтобы не копить.

— Ну, это кому как. Одному нельзя не копить, а другому нельзя не пропить. Это, брат, дело любовное.

— Да нет, постой! — перебил его Щетинин.— Совсем ты не то говоришь. Понимаю я, понимаю; да только вовсе я не такой человек, как ты думаешь.

— Какой же ты человек? Ну, рассказывай?

— А вот я какой человек... Я человек... Да нет, я не могу о себе говорить. Чорт знает, я как-то не умею.

Щетинин опять заходил из угла в угол, с озабоченным лицом, и ерошил себе волосы, наконец остановился, оперся руками на стол и сказал:

— Вот что я делал с тех пор, как не виделся с тобой, это я могу рассказать.

— Ну, все равно. Это даже лучше будет.

— Да, впрочем, ведь я тебе писал сначала.

— Что ты писал? Ты чорт знает что писал: воззвания какие-то, куда-то все меня призывал... исполнять долг честного гражданина... об алтаре там... Я это сейчас же в печку. Чорт возьми, думаю себе, попадешься еще, бог с ним!.. Опасный человек!

Щетинин хохотал, валяясь по дивану.

— Ах, чучело! Что он городит? Ну, да, хорошо, хорошо. Слушай же, я все сначала расскажу.

— И об алтаре опять будет?

— Нет, нет, не будет. Факты! одни голые факты!

— Ну, вот это я люблю. Начинай! Ах, нет, стой! Еще один вопрос: чай-то будет? Не в рассказе, а вот здесь на столе? Я, брат, еще не пил сегодня. Ведь это тоже факт неоспоримый.

— Как же, будет; непременно будет.

— То-то же. Ну, теперь трогай!

— Да; так вот, — откашлявшись, начал Щетинин, — тогда мать у меня умерла. Ты помнишь ведь?

— Как же, как же. Почтенная была дама. Помню, как же.

— Ну, так вот после ее смерти я приехал сюда и женился. Женщина эта... да, впрочем, сам увидишь, какая это женщина. Я тебе одно

только могу сказать, что, если бы не она, я кажется, году бы не вынес той каторжной жизни, которую я вел здесь вначале, когда, знаешь, все это еще внове было, ни к чему приступить не умеешь; а тут волнуется это все кругом, ничего слушать не хотят. Ты им и то, и другое, ничего! Потом совсем было уж дело сладилось, уставную грамоту¹ писать,—вдруг,—нет! не хотим: подождем, что еще будет.

— Ну, да; это более или менее известная история,—заметил гость.—Как же ты с своими кончил?

— Как кончил? — подарил.

— Всѣ?

— Всю землю, которой они владели.

— Что и требовалось доказать?

— Нет, доказать-то требовалось не это. Оно вышло-то совсем не то, что я хотел.

— Что ж, ты не хотел дарить? Тебя принудили, что ли?

— Да нет же! Я ехал сюда с тем, чтобы отдать им все даром, и как приехал, сейчас же предложил им.

— Ну, и что же? — не берут?

— Не берут.

— Молодцы! Вот я за это люблю русский народ. По-латыни не знает, а *dona ferentes*² боится.

¹ Уставная грамота определяла взаимоотношения каждого отдельного помещика и «освобожденных» крестьян, живущих у него на земле.

² «*Dona ferentes*» — «тех, кто приносят дары». Вероломные данайцы подарили жителям Трои деревянного коня, внутри которого были спрятаны данайские воины.

— Вот поди ж ты!

— Чего тут — поди ж ты? Понятное дело, что, если человек что-нибудь даром дает, не бери, надует.

— Да ты выслушай, чего мне это стоило. Сколько я ночей не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями.

— Еще бы! разумеется. Пример!

— Пример. Ну, вот! Главное, они на это и взъелись.

— Само собой! Гибельный пример.

— Тут, брат, такие мерзости пошли! Один чуть было на дуэль меня не вызвал. Сплетни, крик по всему уезду!..

— Ну, это напрасно. Нет, я бы с тобой лучше поступил. Я бы просто подбил твоих крестьян, чтобы они шепнули кому-нибудь.

— Было, любезный друг, всё было.

— Ну, вот! это последовательно, по крайней мере. Далее что?

— Да что далее? Все кончилось благополучно. Мировой посредник тут... (отличный брат, человек!) вошел в мое положение, объяснил им это всё, растолковал и свел меня наконец с крестьянами.¹

— Мм. Свел-таки?

— Да, свел. Нет, какова штука-то, заметь!

Жрец уговаривал доверчивых жителей Трои не принимать подарка от врагов: «Боюсь даже таких данайцев, которые приносят дары».

¹ Мировые посредники — должностные лица, на обязанности которых было улаживание отношений между вышедшими из крепостной зависимости крестьянами и их бывшими помещиками.

Мужики только через три года взяли то, что я им предлагал. Теперь, спрашивается, сколько они потеряли во все это время.

— Да; должно быть много. Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?

— Нет, слава богу, обошлось без этого.

— Значит, одному посреднику поверили?

— И я тут тоже толковал, говорил им: ребята, говорю, вы своей выгоды не понимаете.

— Да, уж это худо, когда человек сам своей выгоды не понимает. Ну, таким манером, стало быть, ты свершил в пределе земном все земное?

— Какое! Нет, брат, это еще только начало.

— А еще-то что же?

— А тут-то вот и начинается настоящее дело.

— Уголовное?

— Социальное, любезный друг, социальное.

— Мм-да. Вот оно что! — сказал гость и внимательно посмотрел на Щетинина. — Теперь понятно, почему они доносили на тебя; теперь я начинаю понимать, что ты мне тогда писал в Петербург. Да. Ну, так как же социальная-то пропаганда?

— Все ты вздор городишь, ничего ты не понимаешь, — полушутя, полусерьезно ответил Щетинин.

— Да ведь ты сам сейчас сказал.

— Так что ж, что я сказал? Я знаю, что ты думаешь. Но неужели ты воображаешь, что я способен на такие школьные выходки?

— Ничего я не воображаю. Ты говоришь, а я слушаю.

— Ну, и слушай же толком. Я тебе серьезно говорю.

— Говори!

— Ничего я противозаконного не затеваю, никаких я теорий не привожу, я делаю только то, что всякий из нас обязан делать.

Щетинин встал с дивана, провел рукой по волосам и сейчас же опять сел: он, повидимому, затруднялся, с чего начать — и царапал клеенку.

Рязанов спокойно и внимательно глядел ему в лицо.

— Прежде всего, — заговорил наконец Щетинин, — ты должен согласиться с тем, что всякое общественное дело тогда только может быть прочно, когда оно основано на чисто народных началах.

— Да.

— Пока народ не подал своего голоса, пока он молчит и только слушает, — никакая пропаганда не поведет ни к чему.

— Ну, так что же?

— А то, что следовательно мы должны все наши силы направить на то... да ты, может быть, спать хочешь?

— Да, брат, хочу.

— Так мы еще успеем переговорить обо всем. И я-то хорош! Человек устал... А что же чаю? Постой, я сейчас спрошу.

Щетинин позвонил. Прошло несколько минут, никто не являлся.

— Должно быть, спят уж, — сказал Ряза-

нов. — Да и не нужно. Бог с ним, с чаем. Прощай!

— Ну, как же это? Я тебя провожу по крайней мере... — заторопился Щетинин, взял свечку и повел гостя во флигель.

Рязанов, оставшись один, разделся, отворил окно, потянул свежего воздуха, поглядел в темный сад, потонувший во мраке, и задумался. За стеной кто-то во сне старался выговорить:

— Ме-ме-мери, мериленд.¹

Рязанов погасил свечу и лег спать.

II

На другое утро гость проснулся рано, потому что рядом, за перегородкою, чуть свет началась возня: кто-то ходил по комнате, шуршал бумагою, шептал и сам с собою разговаривал. В отворенное окно, вместе с утренним холодом, влетали веселые звуки птичьего говора, заглушая тревожный и ласковый шопот, проникавший из сада.

Гость оделся и сел у окна.

— Господин Рязанов, вы не спите? — спросил за перегородкой знакомый голос.

— Не сплю.

Вошел письмоводитель.

— Мое почтение! Ну, как спали? Ничего? А я, чорт ее возьми, всю ночь промучился. Я слышал, как вы вчера пришли. Мушку поста-

¹ Мериленд — один из рабовладельческих штатов Северной Америки — очень часто упоминался в тогдашних газетах, так как во время междоусобной войны находился в сфере военных действий.

вил за ухом. Чево-с? Оглох. За рыбой ходил, простудился. Оглох.

Письмоводитель держал голову немного набок, а рукой прихватывал на шее мушку.

— Разве вы здесь живёте?

— Здесь. Вот рядом-то. Тут у нас контора. Зайдите, полюбопытствуйте! Да что? беспорядок.

Пришли в контору; такая же комната как и первая, голые стены, стол с чернильницей и бумагами, два стула, шкаф.

— Вот-с, присутствие! Бумати вот, книжки... У нас по книжкам все расчет. С бабами такая итальянская бухгалтерия у нас идет, двойная, с бабами. Сейчас ей кредит... а! рот разинет. Дуры!.. Ведомости тут... отношение мирового посредника... Тоже приказчик у нас умен... «Имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, выслать для объяснения»... Так тебе сейчас и выслали. Дождидайся!.. «Прийдя ко мне на барский двор, с дерзостью отвечал...» Хм! Чертовщина!

Письмоводитель рылся в бумагах, читал их, бросал, опять принимался читать, вдруг швырнул какой-то пакет на пол и сказал:

— Что же вы не садитесь?

— Нет, я пойду.

— Ну, как хотите.

— А тут что же такое?

— Тут я живу. Пустяки всё.

Он отворил дверь в маленькую комнату, всю заваленную газетами, нотами, панталонами... На окне халат висит, чижик в клетке, духота, кровать стоит и скрипка лежит на кровати.

— А вы играете на скрипке?

— Чорта я играю. Ничего я не умею. Так... Пойдемте! Что тут еще?... Вы куда? Гулять? И я гулять. Нет, мне нужно. Что ж вы стоите? Надевайте картуз!

На дворе никого не было. От дома лежала широкая тень на траве; по кирпичному забору прыгали воробьи.

— Вы куда же? В сад, что ли? — спросил письмоводитель.

— Мне все равно.

— Ну, так пойдемте на базар.

— Пожалуй! А где же у вас базар?

— А вот площадь-то, за церковью. Базарная площадь. Сельскими произведениями торгуют! деготь тут это у них, лапти!... такая чушь! Коммерция!

Идет баба с ведрами; повар в белой куртке несет с погреба говядину: лошадей ведут на водопой; лягавая собака идет, хвостом машет...

— Танкред! Хо! дурак, — говорит письмоводитель, лаская собаку. — Ну, ну, ну! Ступай, ступай! Нечего, брат, тут, нечего. Ты и рад!

Танкред с неудовольствием отходит.

— Ах, постойте,—говорит письмоводитель:— забыл я тут; дельце есть. Одна минута.

Вошли в людскую.

Стряпуха хлеба в печку сажает, грудной ребенок вертится у ней под ногами.

— Уйди ты, пострел! Чево-с?

— Матвей дома? — спрашивает письмоводитель.

— Нету; на футор до свету уехал.

— Скажи ему, что ж он о пашпорте-то о своем не хлопочет. Ведь штраф заплатит.

— Скажу.

— То-то, скажу. Ишь, тараканов что развели!

— Кто их разводит, проклятых?

— Вы разводите. Вы их любите до смерти; а после в ухо заползет. Ишь ты! Это что? А? О, дьяволы! Вот вас, чертей, за это разжечь. Что? Нет, врешь! Вы их жрете, анафемы. Пойдемте! Тут, я вам скажу...

Идет по двору мужик.

— Здравствуйте, Иван Степаныч!

— Здравствуй! Что тебе?

— К вашему здоровью.

— Зачем?

— Все насчет своих делов.

— Это насчет телушки-то? Знаю. Деньги принес?

— Нет, не принес.

— Так что ж ты, разговаривать пришел?

— А я так полагал, по-соседски, мол.

— Ступай, по-соседски деньги неси!

— Да ведь что ж, Иван Степаныч, много ли она потравила? Сами изволили знать. Только что быдто находила.

— Вас, мошенников, учить надо.

— Учить, это точно, Иван Степаныч; только, кажется, мы тоже довольно учены.

— Нет, мало.

— Ну, теперь, позвольте, так будем говорить: ваша скотина зашла ко мне в огород.

— Ну, и загоняй ее,

— Загнать недолго. да на что ж так-то?

— Как на что? Барин штраф заплатит.

— Ну, это тягайся там с вами еще! А незамай же я ноги переломаю, она лучше ходить не станет.

— Вот ты поговори еще!

— Право слово, переломаю. Что, в самом деле?

— Ладно, брат. Толковать с ним. Очень нужно. Экой народишко подлый! То есть, я вам скажу, тут какую нужно дубину!..

— Неужели?

— Ей-богу. Помилуйте! Что это такое? Так набалованы! Так... Землю даром отдали. Э! да что уж тут... Вот она, рыга-то.

— Где рыга?

— А вон желтая, видите?

— Что же там?

— Машины. Земледельческие орудия... Даром деньги... Нет, одна ничего. Это штука любопытная, — грабля. Сейчас везет, везет, — раз! А, чтоб те! Англичане деньги берут. Нет, они хитрые, анафемы, шут их возьми. Да. Молотилка такая есть, чудесная. Семьсот целковых... Все равно вот, — пушка. Хахотел, куда хочешь. Вот шельмы-то! Занимательная штука. Ну, только тяжелая, никуда не годится. Эй, Трофим, поди сюда! Это что у тебя в руке?

— Гвоздь.

— Ну, ступай!

Идут дальше. Солнце начинает припекать. Село. Старухи в синих платках сидят с детьми на завалинах; больной теленок лежит середь улицы, греется; нищий крадется стороной и безжит его старческий голос:

— Родителей поминаючи, Христа-ра-ади!

Письмоводитель ежеминутно останавливается, разговаривает с собаками, землю ковыряет палкой, ругается, а сам нет, нет, и прихватил себя за мушку.

Идут селом прохожие, с лаптями и косами на плечах, идут молча, руками машут.

— Куда вы? — спрашивает их письмоводитель.

— На Дон, в казаки, — отвечал один прохожий.

— Сено косить, кормилец, сено, — проходя мимо, добавляет другой.

— Или у нас своего нету?

— У нас его отродясь не было, — на ходу отвечает третий.

— Ну, с богом, — говорит письмоводитель.

— Спасибо, родимый.

Базарная площадь. В конце виден кабак, на весы для торговли, лавочка и дума.¹ Куры копаются середь площади; тишина, слышно, как свинья чешется об угол думы и вполголоса отрывисто похрюкивает.

Письмоводитель с гостем вошли в лавочку.

— Денис Иванычу, — говорит письмоводитель.

— Иван Степанычу, — не глядя, отвечал лавочник.

Он сидит на прилавке, в рубашке, в жилете и играет в карты с волостным писарем. Писарь

¹ Думою называется в базарных селах сарай, в котором хранятся весы и меры. *Примечание автора.*

в военном пальто и в резиновых калошах на босу ногу.

— Писчей бумаги! — спрашивает Рязанов.

— Есть. Пожалуйста! Алексей, покажи бумагу! Ходите, я вздавал. Вы зачем, Иван Степаныч?

— Бросьте вы карты-то! Что, в самом деле?

— Погодите. Игра тут у нас идет. Третий день хороводимся. Да чего вам требуется? Черви.

— Нашатырь есть у вас?

— Вам на что? Вали, вали!

— Для экономии.

— Это моя восьмерка. Что ты врешь? Для экономии?

— Да. Ну, что же, есть, что ли?

— Это нашатырь-то?

— Да.

Лавочник пристально смотрит себе в карты и говорит:

— Мда. Вот что! Для и-ка-но-омии. Так, так. Самая подлецкая игра. Без двух. А наша-тырю, похоже так, что нету. Ну, вздавай! Еще чего-с?

— Да будет вам играть!

— Ну!

— Сургучу две палочки.

— Есть. Алексей, подай сургуча две палки конторского. Иван Степаныч, садитесь с нами играть.

— Ну вас!

— Чтож такое? Мы на орехи.

— И на орехи не стану.

— Экие скупые. А у вас непременно деньги есть. Мое почтение! — говорит лавочник кучеру.

Кучер молча подходит к прилавку и глядит на полки с товарами.

— Вам что? — спрашивает лавочник.

— Идей-то у вас тут была, я гляжу, зеркила такая, круглая?

— А вот она.

Кучер берет зеркало и глядится в него. Письмоводитель роется в ящике с пряниками.

— Хороши, уж хороши! И глядеться нечего, — дружески говорит кучеру лавочник.

— Нельзя, — отвечает кучер. — Влюбиться хочу.

— Не говорите! Уж мы сейчас видим, который человек в веселом духе. Это горничная-то? Хм. Девочка ничего.

— Девка убедительная. Одно слово, чего изволите.

— Так, так.

— Беспременно надо влюбиться. Теперь, главная вещь, как никак расстараться песенник достать.

Входит мужик.

— Денис Иваныч!

— Что ты?

— Отпустите!

— Дугу оставь!

— Как же я без дуги поеду? — помилуйте!

— А мне что? Вас, чертей, жалеть нечего.

Ну, да ладно: бери дугу, скидавай зипун!

Мужик молчит и все молчат, смотрят на него.

— М — вот что, — про себя говорит мужик.

Молчание. Письмоводитель на прилавке раскалывает гирею орех.

— Так-то, — произносит мужик и чешет в затылке. Одно плечо у него начинает понемногу опускаться, зипун сползает с плеча...

Остановка.

— Скидавай, скидавай! Нечего. Нынче, брат, не зима, не озябнешь.

Мужик вздыхает и шевелит губами, потом молча, потихоньку стаскивает зипун, бережно кладет его на прилавок и молча, в одной рубахе уходит.

— Ну, вздавай, — говорит писарю лавочник.

— Да.

— Я говорю: эти мужичонки подлые... Типериче, как вы полагаете, сколько у меня за ними денег пропадает? сейчас провалиться. Пас. Я за него подушные заплатил.

— Дела, — с орехом во рту, произносит письмоводитель.

— Вот по этой причине они мне все и подвержены. Ходи!

— Ну вас совсем! Прощайте! — говорит письмоводитель.

— До приятного свидания.

Вернувшись с базара, гость и письмоводитель расстались. Письмоводитель пошел в контору, гость отправился в дом. Проходя по двору, он увидел у крыльца несколько баб и мужиков. В дверях стояла молодая женщина в утреннем

капоте и внимательно осматривала у одного мужика палец.

— Кто это? — спросил гость у лакея.

— Барыня.

— Гм.

Гость подошел к крыльцу.

Женщина, стоявшая в дверях, несколько растерялась, но сейчас же переломила себя и еще внимательнее припала к мужичьему пальцу.

— погоди, вот я тебе спуску дам, — сказала она и вдруг вскинула глазами на гостя: он стоял прямо против нее и пристально смотрел ей в лицо.

Он поклонился, она тихо сказала «здравствуйте» и уже совершенно твердо продолжала говорить с мужиком:

— Да нет ли у тебя занозы?

— Кто ее знает. Нет, мотри, вряд.

— Так ты приложи вот это на тряпочку, а дня через два опять приходи сюда.

— Сюда опять притить — понаведаться?

— Да, да, сюда опять приди!

— Ладно, приду.

— А у тебя что?

На пороге стоял мужик на вид толстый, но бледный, и тяжело дышал.

— Чем ты нездоров?

— Я, матушка, всем нездоров, хвораю давно.

— Что же ты чувствуешь? Знобит что ли тебя?

— Нету; знобу такова нету, ну, и поту настоящего в себе не вижу.

— А ешь хорошо?

— Как хорошо! В неделю вот эдакой чашечки кашицы извести не могу. Брюхо-то у меня — ишь ты? — опухло. Хошь вшей на нем бить, так в ту же пору.

Гость взглянул на хозяйку: на лице у нее чуть-чуть передернуло один мускул и опять всё стало покойно. только она сейчас же торопливо спросила:

— Простудился ты должно быть?

— Не знаю, родимая, простудился ли, нет ли. Нет, так должно эта хворь пристала, с ветру. Утром встал, оглядел в себе ноги — настоящие колоды: опухли. И зачало меня дуть, зачало дуть пуще да пуще...

— Оглядел в себе ноги... — вполголоса повторил гость. — До сих пор он не знал, что у него ноги есть.

Хозяйка взглянула на гостя, сначала серьезно, потом как-то нерешительно улыбнулась и опять сделала серьезное лицо.

Гость постоял еще немного и пошел в дом. Он нашел Щетинина в кабинете с газетою у окна.

— Я к тебе заходил, — сказал Щетинин, — да мне сказали, что ты ушел куда-то.

— Да, я гулять ходил, — сказал гость, садясь на диван. — Ты рано встаешь?

— Часов в пять сегодня встал, проехался по хозяйству.

— Так ты не на шутку хозяйничаешь?

— Какие тут шутки. Нельзя, брат, нельзя.

— Да, — как будто размышляя, сказал Рязанов и потом прибавил: — зверь такой есть — бобр, зверь речной, обстоятельный зверь; ходит

не спеша, все как будто о чем-то думает; шуба на нем дорогая, бобровая, и лицо точно у порядчика. Так вот у этого зверя страсть какая? — все строить. Поэтому он так и называется — бобр-строитель, *Castor fiber*.¹ И теперь куда хочешь ты его посади, хоть на колокольню, дай ему хворостку, он сейчас начнет плотину строить. Вот он может о себе сказать, что ему без этого уж никак нельзя.

— Ну, да. Да что с тобой говорить: у тебя всё смех. Пойдем-ка, брат, лучше чай пить. Вон и хозяйка пришла.

В столовой зашуршало женское платье и загремели чашки. Гость и хозяин вошли в столовую.

— Вот, рекомендую тебе, — сказал Щетинин жене, — друг и гонитель мой — Яков Васильевич Рязанов. Позвольте вас познакомиться.

Хозяйка остановилась на минуту с чайником в одной руке и протянула гостю другую.

— Да уж мы виделись, — сказала она мужу.

— Когда?

— Я сейчас застал Марью Николаевну, — сказал гость, — там на крыльце недугующих исцеляла.

Марья Николаевна слегка улыбнулась, но вслед за этим наморщила брови и сейчас же привела лицо свое в порядок.

— А вам это смешно? — спросила она, наливая чай и понемногу начала краснеть.

¹ *Castor Fiber* — научное название бобра.

— Нет, не смешно.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Щетинин, положив руки на стол, — что это у вас в Петербурге все так, что вы не можете ни о чем серьезно говорить?

— Нет, не все, — совершенно серьезно сказал Рязанов и стал размешивать чай.

Помолчав немного, он как будто про себя повторил: — не все.

И рассматривая что-то в стакане, продолжал: — нет, есть и такие, которые обо всем серьезно говорят. И даже таких гораздо больше. Я как-то одного встретил на улице, — я в баню шел, пора говорит, нам серьезно приняться за дело. Я говорю: да, говорю, пора, действительно, говорю пора. До свиданья. — Куда же вы? говорит. — А в баню, говорю, омыться... — Да, говорит, у вас все шутики. Я серьезно... Ну, что же делать? — вдруг спросил Рязанов, поднимая голову. — Ведь и тоже серьезно ему отвечал, а он говорит: шутики.

— Что ты рассказываешь... — начал было Щетинин, но Рязанов продолжал:

— Нет, ведь это глядя по человеку. Один и серьезно говорит, а все кажется, что он это так, шутит; а вон Суворов пел петухом, однако все понимали, что он в это время какую-нибудь серьезную каверзу подстраивает.

Марья Николаевна пристально смотрела на гостя из-за самовара.

— Нет, в самом деле, — заговорил Щетинин: — я замечал, что Петербург как-то совсем отучает смотреть на вещи прямо, в вас совершенно исчезает чувство действительности:

вы ее как будто не замечаете, она для вас не существует.

— Да ты это насчет выкупных операций, что ли? — спросил Рязанов.

— Нет, брат, я о другом говорю. Я говорю о той грубой действительности, которая нас окружает и дает себя чувствовать на каждом шагу.

— Ну, еще это бог знает, — ответил Рязанов: — кто ее лучше чувствует. Всякому кажется, что он лучше.

— Поживи-ка, брат, здесь, да погляди на нас, чернорабочих, как мы тут с сырым материалом управляемся: может, взгляд-то у тебя и изменится. Так-то, друг, — прибавил Щетинин, хлопнув гостя по коленке.

— Может быть, — улыбаясь, отвечал Рязанов.

— Что ты смеешься? Ты погляди, вот я тебе покажу, что это за люди, с которыми нам приходится иметь дело.

— Да?

— Вот ты тогда и увидишь, что мы должны, мало того что помогать им, но еще убеждать и упрашивать, чтобы они нам позволили им же быть полезными.

— Мгм. Как это Гамлет говорит? — «Нынче

¹ Правительство Александра II освободило крестьян без земли и заставило их выкупать земельные участки у помещиков. Но так как помещики получили из государственного банка авансом почти всю стоимость этих земель, то крестьяне сделались на многие годы должниками правительства. Правительство взимало с них значительно больше, чем стоили эти земли в действительности.

добродетель должна униженно молить порок, чтоб он позволил ей»...¹

— Да, брат, униженно молить порок... Я серьезно говорю. Если взялся за дело, так уж не до иронии.

— Какая тут ирония? Это уж филантропия, а не ирония.

— Ну, я не знаю, как это называется, а что вот меньший брат ко мне идет, это я знаю, — говорил Щетинин, глядя в окно. — И еще знаю, что сейчас он будет просить, чтобы я ему телушку его отдал, а я не отдам.

— Почему же? — спросила Марья Николаевна.

— А потому что так нужно.

Щетинин наскоро допил стакан и вышел в переднюю. Дверь из столовой осталась незатворенной.

— Здравствуй! Что тебе нужно? — спросил он у мужика, вошедшего в то же время из сеней.

Мужик поклонился.

— К вашей милости...

— Зачем?

— Да все насчет того дела. Батюшка, Ликсан Васильевич!

Мужик встал на колени.

— Это ты все о телушке-то пристаешь? Встань, братец, встань! Как тебе не стыдно? Сколько раз я вам говорил, что это скверно.

¹ В наш злой, развратный век и добродетель Должна просить прощенья у порока, — Да, ползать и молить, чтоб он позволил ей Творить ему добро. («Гамлет», III, сц. IV).

Я с тобою и говорить не буду, пока ты не встанешь.

Мужик встал.

— Ну, слушай! Пойми, что мне твоих денег не нужно: я от этого не разбогатею. Я беру с тебя штраф для твоей же пользы, для того, чтобы ты был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотину. Сами же вы благодарить будете, что вас уму-разуму учат.

— И так много довольны, батюшка, Ликсан Васильич. Благодарим покорно!

— Ну, вот видишь! Понимаешь теперь, что это для твоей же пользы?

— Понимаем-с.

— Ну, а коли понимаешь, стало быть и толковать нечего. Я тебе покажу, что лишнего ни одной копейки с тебя не требуют. Вот расписание — видишь? — Печатное расписание от министра, сколько следует брать за поправу. Вот за корову, с 1-го июня по 1-ое июля — рубль пятьдесят копеек...

— Так-с.

— Да за прокорм за трои суток по двадцати копеек — шестьдесят копеек, всего два рубля десять копеек. Так ведь?

— Это так точно.

— Пожалуй, на счетах прикинуть можно.

— Нет, что уж прикидывать.

— Ну, так чего же ты еще от меня хочешь?

— Мы ничаво... А как теперь насчет того, то есть пуще сумляваемся, что быдто не по-соседски...

— Не по-соседски! да ведь я тебе говорил.

— Это так-с.

— Закон. Понимаешь? — закон.

— Слушаю-с.

— Так что ж я могу сделать? Ну?

Мужик молчал. Из столовой Рязанов, положив бороду на спинку стула, смотрел на эту сцену; Марья Николаевна задумчиво катала из хлеба шарики.

— Прикажете за себя вечно бога молить! — вдруг сказал мужик и опять упал на колени.

Щетинин плюнул и ушел. Мужик еще несколько минут постоял на коленях, поглядел, поглядел, вздохнул и пошел по двору шаг за шагом, держа шапку в обеих руках.

— Ну, что? как меньший брат? — спросил Рязанов.

Марья Николаевна заперла сахарницу и вышла в другую комнату. Щетинин походил из угла в угол, отворил окно.

— Чорт знает, духота! . . . Свинья — меньший брат, вот что я тебе скажу.

— Нет, я вижу ты еще не умеешь молить по-рок, чтобы он тебе позволил . . . оштрафовать себя, — сказал Рязанов, сидя за столом.

— Такая дрянь — мужичонка! — продолжал между тем Щетинин. — Когда ему что-нибудь нужно от меня, — ходит, кланчит, ноги целует, а случись так, что мне понадобится купить у него десяток яиц, так он готов рубашку снять.

— Это основательно. Ну, а другие-то как? — хорошие?

— Если правду сказать, так и другие тоже со всячинкой: да не в этом дело. Мы сами виноваты. Нужно внушить им больше дове-

рия, нужно, чтобы мы сами к себе были по-строже, тогда и они будут...

— Дешевле брать за яйца? Вероятно.

— Нет, будут строже к себе.

— Да будут ли?

— Конечно, будут.

— С какой стати?

— А с такой стати, что сами увидят.

— Что?

— Да что так лучше.

— А сам-то ты веришь, что так лучше будет?

— Еще бы! Что ты на меня смотришь? Какой же бы я был работник, если бы не верил в успех того дела, для которого работаю?

— То есть это — уверенность в невидимом, как бы в видимом, и в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем.¹ М-да, это приятно.

Щетинин, ничего не отвечая, стоял у окна и задумчиво смотрел на двор, потом, опомнившись, сказал:

— Да. Там постройка: нужно съездить, Маша!

Марья Николаевна вошла в столовую, Рязанов отправился на балкон.

— Я уеду теперь, — говорил Щетинин жене: — тут придет ко мне баба, так ты... поговори с ней.

— О чем же поговорить?

— Да она там тебе все это скажет сама. Ну, увидишь.

— Хорошо.

— Ты с ней хорошенько поговори. Знаешь, как ты хорошо-то говоришь.

¹ Рязанов цитирует православный катехизис Филарета: «Что есть вера? Вера есть уверенность») ... и проч.

Марья Николаевна улыбнулась.

— А разве я когда не хорошо говорю?

— Нет, всегда, всегда. Умный ты мой! Ну, целуй меня!

К крыльцу подали беговые дрожки.

Рязанов стоял на балконе и смотрел в сад.

Прямо против него, сквозь зеленую чашу акаций виднелась старая с провалившейся крышей беседка, вся заросшая репейником и крапивой; дальше яблони цвели. За садом белела колокольня, а потом все луга, воды, сверкающие на солнце, зеленые холмы, и опять луга. В саду становилось жарко; только из кустов время от времени налетали тихие струи пахучей прохлады, вместе с торопливым щебетаньем притаившейся под кустом малиновки.

Рязанов постоял на балконе и пошел бродить по саду. В одной алее попался ему старик садовник, в белой рубашке, с белою бородою и с пучком салата под мышкою. Садовник снял картуз и низко поклонился. В кустах мелькнуло загорелое детское лицо со стручком во рту, но исчезло сейчас же, как только Рязанов взглянул на него; вслед за этим раздался по саду писк — и пятеро ребятишек кинулись со всех ног в малинник. Позади всех бежала отставшая от прочих маленькая девочка, плача и крича во все горло: ма-а-а. На пруду дворовая женщина полоскала белье. Заметив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом. Притаившиеся под берегом утки шумно бросились в воду...

Рязанов пошел было к себе во флигель, но в то время, как он проходил мимо дома, ему вдруг послышалось, что в сенях кто-то плачет. Он вошел на крыльцо. В сенях стояла Марья Николаевна и разговаривала с крестьянской бабою. Баба плакала, да и Марья Николаевна имела расстроенный вид, но, желая скрыть свое смущение, она сказала Рязанову:

— Вот послушай-ка, что она рассказывает.

Рязанов остался, но баба, не обращая на него никакого внимания, продолжала всхлипывать, говоря:

— Я яму баила: ты хушь бы людей-то постыдился...

— Ну, а он-то что же? — спросила Марья Николаевна.

— А он бат: чаво, бат, мне их стыдиться? Я, брат, перва у те косу всю вытаскаю, посла и зачну стыдиться.

— Мгм, — сделал Рязанов.

— Да уж что, сударыня, — продолжала баба, сморкаясь в рукав. — Что уж говорить. Наше дело, известно, круг ребяенок убиваисси, а им что: озорство только у него на уме одно, мудрит над нашей сестрой. Ишь, они мудрецы какие?

— За что ж он тебя бьет, я все-таки не понимаю? — сказала Марья Николаевна.

— За что? — переспросила баба. — Захотели вы, сударыня, у мужика понятия. Нешто он скажет за что. Яму баба все одно вот — тьфу. Под руку подвернулась — хлоп. Уйди, говорит, ты от меня. посылая!...

Баба нагнулась и концом фартука утерла слезы.

— На кой, говорит, ты мне ляд, таперя? Не видал нешто я дохлых-то? Только, говорит, ты на то и годисси, ворон пужать.

— Он тебя не любит, — тихо заметила Марья Николаевна.

— Как не любить! Чаво ж яму еще? Я, чай, ему не чужая. Любить! Известно, где яму меня любить. Вон у меня грудь заложило, ни под-нять, ни что. Что ж, нешто я этому рада, что я чижолая.

— Да-а! Вот оно что, — сказал Рязанов и пошел во флигель.

К обеду вернулся Щетинин с хутора, весь в пыли, усталый; снял галстух, выпил рюмку водки и молча сел за стол.

— Ну, что постройка — идет? — спросила его Марья Николаевна.

— Идет, — нехотя ответил Щетинин. — Измучился я, как собака, — немного помолчав, сказал он и положил ложку на стол. — Такие скоты эти плотники! То сделали, что теперь нужно опять нижние венцы подымать. Они, знаешь, их не переметили как следует и перепутали: ну, и вышла такая гадость, что смотреть скверно: одно бревно так, другое эдак. Самый лучший лес у меня тут был наготовлен — они его весь испакостили. Теперь понимаешь, какая работа: опять сызнова перекладывать весь сруб. Чорт их возьми! Уж я их ругал, ругал... Мошенники! Ах, я и забыл, что ты здесь сидишь.

— Ничего, не стесняйся, — ответил Рязанов, продолжая есть.

— Нет, в самом деле, изо всякого терпения выводят.

— Ну, конечно, — заметил Рязанов.

— Посуди ты сам, — продолжал Щетинин: — я им плачу почти вдвое, нежели сколько бы они получили у другого; потом, кроме того, мои харчи и притом жалованье плачу помесечно.

— Да?

— Пришли ко мне оборванные, в ногах валяются: отец родной, есть нечего, дай работы! Ну, сжалился, взял их, одел, обул, за двоих подушное внес, вперед дал по целковому...

— И такая неблагодарность!...

— Нет, ведь что же? Стараешься в самом деле. Уж, кажется, я ли для них ни старался; а они вон какую штуку со мной сыграли. Они ведь этого и знать не хотят, что я по их милости убытку пятьдесят целковых понес. Далеко, видишь ли ты, бревна лежат, так им лень таскать. А? Как это тебе нравится?

— Нехорошо. Это с их стороны неблагоприятно, — сказал Рязанов, утирая салфеткою рот.

— Нет, серьезно?

— Чего ж тут. Понятное дело, что такого поступка одобрять нельзя.

— Ну, вот видишь. Так теперь ты скажи, имел ли я право назвать их мошенниками?

— Нет; мошенниками называть их ты права не имел.

— Почему?

— А потому, что этого тебе законом не предоставлено. Мало бы ты чего захотел. Этого нельзя. Ведь они уж вышли из крепостной зависимости?

— Вышли.

— Ну, так как же? Нельзя. Личное оскорбление. А вот к становому — это другое дело.

— Я этого вовсе не желаю.

— А не желаешь, тогда лучше всего прямо войти с жалобой к посреднику, дабы повелено было на основании и так далее. Вот это уж всего вернее и... приличнее, чем ругаться-то.

— Ах, да нет. Ты это...

— Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Все до последней копейки взыщут.

— Что ты говоришь!...

— Не отвертятся, не беспокойся.

Марья Николаевна все время с напряжением следила за разговором и беспокойно взглядывала то на Рязанова, то на мужа; наконец, она не выдержала и, краснея, спросила взволнованным голосом:

— Да разве это хорошо жаловаться в суд?

— А вы находите, что нехорошо? Почему же-с? — добродушно спросил Рязанов.

— А потому что... их там наказывать будут... я не знаю...

— Ну, так что же-с?

— Как — ну, так что же? Их посадят в тюрьму... вообще это...

— Может быть и посадят. Если увещания не подействуют и мерами кротости нельзя будет их склонить.

— Но ведь они бедные. Вы забываете... откуда же они возьмут пятьдесят рублей?

— Ежели наличных денег не имеют, то может быть окажется движимость, скот...

— Ну, и...

— Продадут-с. Что ж им в зубы-то смотреть.

— Да ведь я не знаю что такое... это варварство!..

— Очень может быть-с.

— Так как же вы предлагаете такие средства?

— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на человека известные обязанности. Пользуешься правом — исполняй и обязанности.

— Какие обязанности! Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, злоупотреблять своим правом?

— Нисколько-с. Напротив; я ему напоминаю только о том, как следует благоприобретать. а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?

— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление. Если бы он один только пользовался правом карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал что хотел. Если ему бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать? Хочешь итти по миру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя безнаказанными разных мошенников, по-

ощряет их на новые мошенничества и подает гибельный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабочие руки.

Щетинин задумчиво смотрел в тарелку и водил по ней вилкою.

— Ну, хорошо еще, — продолжал Рязанов, — что я вот могу жить так, ничего не делая; но если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь? Пошел бы в кабак: эй! братцы, рабочие руки, пойдемте наниматься в работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать, набрали бы денег вперед, потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

— Бог тебя знает, — наконец сказал Щетинин: — для чего ты все это говоришь.

— А для того и говорю, что не хочу тебя лишить дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам всем напакостит; ну, вот я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему, я и говорю: друг, остерегись! не поддавайся искушению, не поблажай беззаконию, ибо оно наглым образом посягает на нашу собственность. Священное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

Щетинин засмеялся, Марья Николаевна нерешительно улыбалась, а лакей, стоя поодаль

с чистою тарелкою в руке и, нахмутив брови изподлобья, посматривал то на того, го на другого и, повидимому, ничего не мог понять.

— Вот ты говоришь: препроводить, — начал Щетинин: — ну, хорошо; а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

— Что бы я сказал? Я сказал бы: вот прекрасный хозяин! и гордился бы твоею дружбой. И еще бы сказал: это человек последовательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

— Так-то оно так, — со вздохом сказал Щетинин: — да... да нет, брат, я нахожу, что в некоторых случаях надо поступать непоследовательно. Маша, налей-ка мне квасу.

— Да. Ну, это как ты хочешь. Разумеется. Я принуждать тебя не буду; только уж...

— Да нет, видишь ли, — перебил его Щетинин: — штука-то в том, что в практическом деле такая строгая последовательность невозможна. Этого нельзя и требовать.

— Ну, да. С нас нельзя требовать, а с плотников можно. Это так.

— Нет, неправда. Этого и сравнивать нельзя.

— Почему же?

— А потому, что прежде всего у них нет никакой определенной цели, к которой бы они стремились.

— Вот что! Из чего же ты это заключил? Любопытно знать!

— А из того, что я вижу всякий день.

— Например?

— Они только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать.

— Мм. Что ж, это, по-моему, цель довольно определенная. Какой же тебе еще? Ты ведь, кажется, говорил, что у них нет никакой?

— Да разве это цель?

— Что же это такое?

— Это там, чорт знает что, какое-то бессознательное стремление.

— Стремление! Стремление обыкновенно предполагает и цель. Ну, да хорошо, положим, стремление и притом бессознательное. К чему ж они стремятся? К тому, вот как ты говоришь, чтобы как можно меньше работать и как можно больше получать. Ты находишь, что это стремление нехорошее. Ну, а теперь позволь тебя спросить: ты сам-то к чему же стремишься? К тому, чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать? Так что ли?

— Н-не...

— Ну, так что ж тут разговаривать еще! Стало быть, стремления-то у нас с ними одни и те же; разница только в том, что мы сознательно желали бы их приспособить к нашему хозяйству, они же, как все глупорожденные, бессознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этот случай у нас средства такие имеются для понуждения их, средства к народным обычаям приноровленные. Вот в древние века нравы были грубые — тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как-то: исправники, становые и проч.; теперь же, когда нравы значительно смягчены и сельские жители вполне сознали пользу просвещения, — понудительные меры употребляются

более деликатные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные амбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится. Только зачем же тут церемониться-то уж очень, нюни-то разводить зачем, я не понимаю? Штука эта самая простая и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузья...

— Убирай, — вставая из-за стола, сказал Щетинин лакею.

III

Вечером, часу в восьмом, дня через два по приезде, шел Рязанов берегом реки. Песчаная дорога, по которой он шел, извивалась между кустами и вела на мельницу. По ту сторону круто поднимался каменистый обрыв, поросший красноватым орешником, вперемежку с мелким курчавым дубом. С отлогого берега видны были серая, изрытая дорога, смело выходящая в гору, зеленая крыша водяной мельницы и барская усадьба, до половины сидящая в зелени. Солнца уже не было, только крутой берег реки весь был залит красноватым светом. В кустах сильно пахло сыростью и камышом.

Рязанов шел потихоньку, глубоко погружая ноги в похолодевший песок. Позади его зашуршали колеса, он оглянулся. В кустах двигалась лошадиная морда с дугой, дальше показался мальчик в большом картузе и, наконец, бабushка, в зеленой рясе и в шляпе с широкими полями.

Батюшка ехал в полевых дорогах и, поравнявшись с Рязановым, спросил:

— Никак опять за рыбой ходил?.. Ах, извините! Ошибся. Представилось мне, что это конторщик, — говорил батюшка, снимая шляпу.

— Мое почтение, — сказал Рязанов.

— Добрый вечер. Да вы не к господину ли Щетинину? Так прошу покорно садиться. А я, признаться, тоже было хотел его повидать.

Рязанов сел. Поехали.

— Вы, верно, приезжие? Ну, так. А я гляжу, гляжу, что такое? — ошибся. Ха, ха, ха! Вот прекрасно! Из Саратова?

— Нет, из Питера.

— А! Столичные жители. Погостить вздумали в наши места?

— Погостить.

— Мгм. Прекрасное дело. Имя ваше?

— Иаков.

— Да, да, Иаков, брат господень. По отчеству?

— Васильич.

— Яков Васильич. Да. Ну, так как же, Яков Васильич, в Питере-то дом свой имеете?

— Нет, не имею.

— Квартирку нанимаете?

— Нанимаю.

— Служите небось?

— Нет, не служу.

— Да. Не похотели?

— Не похотел.

— Что ж? конечно, не всякому. Капитал у себя имеете?

— Нет. не имею.

— Звания дворянского?

— Духовного.

— Ну?!

Батюшка обернулся.

— Так вот-с. Очень рад. Будьте знакомы.

Въехали на плотину. Около мельницы стояли лошади и мужики, обсыпанные мукою; вода глухо шумела в колесах, в пруду копошились утки; дроги попрыгивали по кочкам. Становилось темно; Рязанов сидел рядом с батюшкою; волосы от батюшкиной бороды развевало ветром и во время разговора они беспрестанно попадали Рязанову в рот. Батюшка спрашивал между тем:

— По первому разряду кончили курс? В попы-то что ж не посветились? Неужто невесты не нашли? А? Да; не похотели.

Дроги въехали на барский двор; у крыльца толпились мужики, перед ними стоял Щетинин с тетрадкою в руке и говорил, поднося одному из них к носу карандаш:

— Если я вам еще вот хоть эдакий прутик продам, так я себе позволю в глаза наплевать.

— Что ж, Ликсан Васильич! — загалдели мужики.

— Нет, голубчики, будет с меня! поучили уж; довольно. А, здравствуйте, батюшка!

— Мое вам почтение, — говорил батюшка, входя на крыльцо и подбирая рясу. — Что это, никак они опять вас тово... обманули?

— Что уж тут!..

Щетинин махнул рукою.

— Скажите, пожалуйста! Да это Крюковские. Вы Крюковские, что ли?

— Они самые, — нехотя отвечали мужики.

— Ну, так. Знаю я их до тонкости. Как же. То есть такие, я вам скажу, в высшей степени плуты.

Мужики равнодушно смотрели на батюшку; один кашлянул в шапку.

— Ты что там кашляешь? — вдруг спросил батюшка. — Ты, любезный, от меня не скроешься. Вот извольте, — продолжал он, обращаясь к Щетинину: — с этим самым мужичком. . . Как тебя звать: Семеном, что ли?

— Семеном.

— Да, вот с Семеном-то с этим задумал я прошлый год пчел держать пополам. Соблазнил меня, мошенник. Согласился. Согласен, говорю. . . А ты поди сюда! куда ты прячешься? . . Ну, хорошо. Я еще говорю: смотри, говорю, Семен. . . Будьте покойны! Прекрасно. Я, признаться, и понадеялся на него. Представьте: надул ведь! То есть так аккуратно надул, как лучше требовать нельзя. Вот этот самый мужичонка! Лицемер такой. . . Я господину посреднику на него жалобу принести хочу.

— Позвольте, батюшка. . . — начал было мужик.

— Не лги! Я знаю, что ты лжец. Да чего тут — в глазах обманул, в глазах. Ты, любезный, меня этим обидел до крайности: духовного отца своего обманул. А? Извольте радоваться.

— Идите чай пить, — выходя на крыльцо, сказала Марья Николаевна.

Все собрались в столовой вокруг самовара: Марья Николаевна намазывала масло на хлеб, Щетинин сел было за стол, но потом опять встал, взял записную книжку и начал что-то записывать; Рязанов барабанил пальцами по столу. Батюшка молча рассматривал подсвечник.

— Дорого дали? — наконец спросил он Марью Николаевну.

— Не знаю. Это вот он.

— Что такое? — глядя в книжку, спросил Щетинин.

— Подсвечники батюшка спрашивает.

— Дорого ли? — прибавил батюшка.

— Рублей пять, кажется, — скороговоркою ответил Щетинин.

— Искусно, — заметил батюшка, ставя подсвечник.

— Два рубли восемь гривен, да рубль семьдесят две, да полтина... — бормотал про себя Щетинин.

— Какие ныне сена богатые, — немного помолчав, сказал батюшка, но, не встретив ни в ком сочувствия, обратился к Рязанову:

— А у вас, Яков Васильевич, там сено-то небось... Тоже чай покупаете когда?

— На что мне его?

— Стало быть, лошадок не держите?

— Нет, не держу.

— Да, да. Ну, муку-то все покупаете. Почем мука-то у вас?

— А бог ее знает, почем она там мука. Я в это не вхожу.

Марья Николаевна улыбнулась.

— Что вы с ним, батюшка, об этих вещах разговариваете! — спрятав книжку в карман, говорил Щетинин. — Ведь он... вы думаете, он это знает что-нибудь. Он надо всем этим смеется.

Батюшка бросил на Рязанова беспокойный взгляд.

— Да я что ж... ведь я не что-нибудь такое спросил... обыкновенно... Что ж смеяться... Пожалуй, смейся.

— Вы его не знаете.

— Да нет, позвольте. Я ничего худого не говорил. Ведь если бы я спросил что-нибудь такое непристойное; а то ведь вот я при вашей супруге, Марья Николаевна слышали, кажется, я довольно скромно спросил: — почем, говорю, у вас в Санктпетербурге мука?

— Зачем ты нас с батюшкой хочешь поссорить? — сказал Рязанов. — Мы только-что познакомились, а ты уж сейчас и вооружаешь его против меня. Это нехорошо.

Марья Николаевна поспешила замять это объяснение и торопливо начала:

— Батюшка, ко мне тут сегодня одна баба приходила.

— Да-с.

— Она жалуется, что муж ее не любит.

— Сс.

Батюшка принял озабоченный вид.

— Да, это несчастная женщина, — сказал Щетинин.

— Скажите!

— Я с вами об этом давно хотел поговорить. Она все ко мне ходит, да посудите сами, что же я-то тут могу сделать?

— Ну, конечно. А уж лучше же ей прямо, коли так, к господину посреднику обратиться.

— Вот и я тоже полагаю, — заметил Рязанов. — К посреднику. Это его прямая обязанность.

— Натурально, — подтвердил батюшка.

— Нет; вот видите ли, батюшка, — не слушая, продолжал Щетинин. — Я думаю, что вы могли бы как-нибудь подействовать, увещаниями что ли...

— То есть как-с?

— То есть на мужа этой женщины.

— Да; увещаниями... Что ж? Ничего-с. Извольте. Это можно.

— Попробуйте-ка в самом деле.

— С моим удовольствием. Оно, конечно, как, знаете, эта самая грубость ихняя, ну, а впрочем...

— Вот ты с своей гуманностью, — сказал Рязанов Щетинину: — только под ответственность батюшку подведешь.

Батюшка с беспокойством посмотрел на Рязанова, потом на Щетинина.

— Батюшка — врач душевный, а тут дело-то, брат, уголовное.

— Как так?

— Да штука-то она очень простая: бьет, видите ли, мужик бабу, и за то он ее бьет, что она брюхата; понятно, что из этого может последовать.

— Хм! Дело дрянь, — подумав, сказал батюшка.

— То-то и есть, — подтвердил Рязанов.

— Да нет, однако, это ведь чорт знает что такое? — бросив ложку на стол, сказал Ще-

тинин: — что же, по-твоему, стало быть, так и позволить ему бить эту женщину, сколько угодно?

— Да как же бы ты не позволил? любопытно знать.

— Очень просто...

— Ну-ка! Сообщи, сделай милость, а мы с батюшкой послушаем.

— Да чего тут! Взять ее от него и кончено.

— Вы как это находите? — спросил Рязанов у батюшки.

— Нет, это вы действительно, Александр Васильич, — смеясь и добродушно хлопая Щетинина по коленке, сказал батюшка: — это вы немножечко тово... неправильно. Нет, не-не-неправильно... А вот я вас, Александр Васильич, — вставая из-за стола, продолжал он: — хотел побеспокоить насчет того дельца.

— Какого дельца?

— А то есть насчет сена-с.

После чаю Марья Николаевна ушла в залу и начала играть на рояле какие-то вариации; Рязанов, засунув руки в карманы, стоял на террасе; Щетинин, задумавшись, прохаживался с батюшкой по зале; в гостиной горела лампа. Батюшка говорил, разводя руками:

— Ничего не сделасшь. Ежели бы они понимали что-нибудь, а то ведь, ей-богу, и грех и смех с ними иной раз. Вот вы говорите: убеждение-ю. Да. Сижу я однажды в классе и спрашиваю одного мальчика (да и мальчонка-то, признаться, возрастной уж), кто, говорю,

мир сотворил? а он отвечает мне: староста, говорит. Вот извольте!

Щетинин на это ничего не сказал.

— Нет, я господина Шишкина всегда вспомню, — продолжал батюшка. — Прямо надо сказать, умный был помещик и такое ко храму усердие имел, даже это диковина.

— Мгм... — рассеянно произнес Щетинин.

— Теперь у него, бывало, мужики все до чиста у обедни. Как ежели который чуть позамешкался — в праздник на барщину. А вы как думаете: не скажи им, так ведь они лба не перекрестят. Эфиопы настоящие.

Марья Николаевна закрыла рояль и, подходя к ним, спросила:

— Батюшка, как вам нравится этот вальс?

— Штука изрядная, — ответил батюшка.

Помолчав немного, все трое вышли на террасу.

В саду стояла теплая весенняя ночь, с бледно-голубыми звездами на потухшем небе. Сквозь прозрачный туман виднелись едва заметные призраки берез и вьющиеся между ними песчаные дорожки. Какая-то непопятная тишина подступала все ближе и ближе, застилая кусты и деревья и поглощая тревожный шелест и робкий щорох ветвей.

Вошедшие на террасу люди молча остановились перед темным садом и, как будто охваченные этою мрачною тишиною, долго прислушивались к чему-то.

— Боже, боже мой, — наконец, вздохнув, сказал батюшка и, посмотрев на небо, прибавил: — премудрость.

— Что вы сказали, батюшка? — спросила Марья Николаевна.

— Премудрость, говорю-с.

— Да. А я думала...¹

— Нет-с, вот что господин Рязанов скажет, — заговорил батюшка. — Где вы тут? Не видать. Вот-с, — продолжал батюшка, отыскав Рязанова; — вот вы смелы очень на словах-то...

— Ну, так что же?

— Нет, я заметил, вы сердцем ожесточены. А помните, о жестоковыйных-то что сказано? То-то вот и есть. Смеяться умеете, а хорошего-то вот и не знаете. Стало-быть, забыли, чему учились.²

— Да ведь где же все упомянуть? Мало ли чему нас с вами учили.

— То-то, потодить бы смеяться-то; книжку бы сперва протвердить.

— И рад бы протвердить, — говорил Рязанов, всходя по ступенькам на террасу: — да все некогда.

— Да не закусить ли нам, господа? — вдруг заговорил Щетинин.

IV

Прошла еще неделя. Ни в занятиях, ни в образе жизни Щетининых не произошло никакой существенной перемены.

¹ Здесь вычеркнуто цензурой какое-то слово.

² В библии жестоковыйным предсказаны всякие ужасы. «И накормлю их плотию сыновей их и плотию дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего». (Иеремия XIX, ст. 6—15).

Рязанова в доме почти не слышно было: он с утра уходил куда-нибудь в поле, или взбирался на гористый берег реки и с книгою просиживал под деревом до обеда; или уезжал с крестьянскими мальчишками на острова и, сидя в камыше, по целым часам смотрел, как они ловят рыбу; иногда заходил в лавочку. После обеда туда обыкновенно многие заходили посидеть: волостной писарь, из дворовых кто-нибудь, а то дьячок, заплетет косу и зайдет. Вот сойдутся человека три, и в карты. Сидит Рязанов в лавочке на пороге и смотрит на улицу. Жара смертная; на двери балык висит, а жир из него так и течет, мухи его всего облепили; в лавочке брань идет из-за карт.

— Сейчас позволю себе пять плюх дать! — кричит лавочник.

— Какое ты имеешь полное право в карты глядеть? — спрашивает писарь.

— Я не глядел.

— Нет, глядел.

— Подлец хочу быть!

— Ты и так подлец.

— Ну-ка-ся, — говорит проезжий мужик, держа стакан.

Мальчик наливает ему водки. Мужик крестится и собирается пить. Вдруг в стакан падает муха.

— Ах, в рот те шило, — говорит мужик, доставая муху. — Вот, братец мой, хрест-от даром пропал.

— Это твое счастье, муха-то, — замечает мальчик.

— И то, брат, счастье. Оно самое мужицкое

счастье — муха. Ох, и сердита же только эта водка, — кряхтя и отплеываясь, говорит мужик.

Вечером, возвращаясь домой, Рязанов обыкновенно заставлял в конторе кучу баб и девок, с которыми письмоводитель рассчитывался по окончании работы и при этом всегда сердился, спорил и ругался. Через перегородку слышно было, как бабы шептались, фыркали и толкали друг дружку; Иван Степаныч (письмоводитель) кричал на них:

— Эй, вы, дуры! Что вы играть, что ли, сюда пришли?

— Чу! чу! — унимали бабы одна другую.

— Ну, много ли вас на десятине пололо? А ты зачем сюда пришла? Ведь тебе сказано! Эй, ты, как тебя? Анютка! Где у тебя книжка? Ишь, подлая, как запакостила. Гляди сюда! Кто гряды копал? Ты, что ли?

— Иван Степаныч!

— Ну!

— Погляди у меня в книжке.

— Я те погляжу! Муж-то у тебя где?

— В солдатах.

— Чего тебе там смотреть?

— А это что такое?

— Это? — Траспор. Поняла? Дура! Ничего ты не знаешь. Поди стань у печки.

— Иван Степаныч, чаво я тебя хочу спросить.

— Спрашивай!

— Таперь ежели я мальчика рожу, что яму...

— Пошла вон!

Кончив расчеты с бабами, Иван Степаныч иногда заходил к Рязанову и сообщал ему новейшие политические известия в таком роде:

— Газеты читали? Генерал Грант получил подкрепление. Еще извещают, что генерал Мид перешел Рапидан и настиг главные силы генерала Ли.¹ Вот опять чесать-то пойдет. Ах, черти! Ну, только им против майора Занкисова далеко.

— Ну, конечно, — подтверждал Рязанов.

— В «Московских Ведомостях» описано: весь в белом, и лошадь белая, несется впереди, а белый значок позади. Сейчас налетит — раз!.. Из Петербурга дамы прислали письмо: Кузьма Иваныч, сделайте ваше одолжение, наслышаны, так и так, обо всех доблестных делах... — всё удивление и признательность... со значком среди опасностей боя... будьте так добры, говорят, вот нашей работы... от души преданные вам дамы.

— Мгм. Это хорошо, — говорил Рязанов.

— Нет, слышите, какая штука-то: там этот жонд весь ихний — к чертям... а эти самые гмины ихние, что ли — чорт их знает — гово-

¹ Ли — американский генерал, стоявший во главе южной армии во время междоусобной войны. Мид и Грант возглавляли армию Северных штатов. Река Рапидан давно служила водоразделом неприятельских армий и потому постоянно упоминалась в тогдашних газетах. События, излагаемые здесь, произошли в мае — июне 1863 года, накануне июльской битвы при Геттисбурге. Мид нанес решительное поражение южанам. Но Слепцова, конечно, не интересовала точная передача фактов: он просто пародировал тогдашние сообщения русских газет об американской войне.

рят: вот, говорят, теперь свет увидали. А? Нет, ведь хитрые, анафемы. Да. А еще в деревне Граблях крестьянин Леон, двадцати лет, надев овечью шубу, шерстью вверх, вечером отправился в дом Семена Мазура, а он его хлоп из ружья. Вот оглашенные-то! Ха, ха, ха! Чем занимаются? А? Тоже небось солтыс какой-нибудь. Гха! Солтыс! А то еще войт у них бывает: Войт...¹

Разговоры за обедом и за чаем с каждым днем становились все короче и короче. Самое ничтожное обстоятельство, самый ничтожный случай сейчас же становился темой для разговора, и всякий разговор неминуемо кончался спором, во время которого Щетинин разгорячался, а Марья Николаевна с напряженным вниманием и беспокойством ловила каждое слово, и видимо не удовлетворенная спором, уходила в сад или просиживала по целым часам в своей комнате, глядя на одно место. Встречаясь с Рязановым наедине, она пробовала заговаривать с ним, но из этого обыкновенно ничего не выходило. Она спросила его один раз:

— Вы должно быть презираете женщин?

¹ Р ж о н д (или Жонд) «народовый» — революционное польское правительство, руководившее восстанием в 1863 году. Г м и н а — крестьянская община в Польше. Войт — глава этой общины, нечто вроде волостного старшины. Солтыс — помощник войта с административно-полицейскими функциями. Усмирители польского восстания, считая гмины бунтовщицкими гнездами, требовали их упразднения и настаивали на замене войтов и солтысов — русскими урядниками.

— За что-с?

— Я не знаю; но судя по вашим разговорам, я думала...

— Нет-с, — успокоительно отвечал он. — Да я и вообще никого не презираю.

Так разговор ничем и не кончился: Рязанов стал глядеть куда-то в поле, а Марья Николаевна постояла, постояла, посмотрела на его жидкие, длинные волосы, на кончик галстуха, странно торчащий вверх; поправила свою собственную прическу и ушла.

В другой раз она встретила его в саду с книгою.

— Что это вы читаете? — спросила она Рязанова.

— Так, глупая книжонка.

— Зачем же вы ее читаете, если она глупая?

— На ней не написано: глупая книга. Ну, а теперь я уже увлекся, мне хочется знать, насколько она глупа.

Марья Николаевна немного помолчала и нерешительно спросила:

— Скажите, пожалуйста, ведь вы... вы не считаете моего мужа глупым человеком?

— Нет, не считаю.

— Так почему же вы с ним никогда не соглашаетесь в спорах?

— А потому, что нам обоим это невыгодно.

— Почему же ему невыгодно? — торопливо спросила Марья Николаевна.

— Спросите его сами.

— Я непременно спрошу.

Она сорвала ветку акации, начала быстро обрывать с нее листья, и, сама не замечая, бро-

сать их на книгу. Рязанов молча взял книгу, стряхнул с нее листья и опять принялся читать. Марья Николаевна взглянула на него, бросила ветку и ушла.

После одного из таких разговоров она вошла к мужу в кабинет и застала его за работою: он поверял какие-то счета. Она оглянулась и начала что-то искать.

— Ты что, Маша? — спросил ее Щетинин.

— Нет, я думала, что ты...

— Что тебе нужно?

— Да ведь ты занят.

— Что ж такое. Это пустяки. Тебе поговорить, что ли, о чем-нибудь?

— Ммда. Я хотела тебя спросить...

— Ну, говори! Садись сюда! Да что ты какая?

— Ничего. Пожалуй, Яков Васильевич придет.

— Нет, он теперь должно быть уже не придет. Ты что же? не хочешь при нем? а?

Марья Николаевна молчала; Щетинин хотел было ее обнять, но она тихо отвела и пожала его руку. В кабинете было почти темно; на письменном столе горела свеча с абажуром и освещала только бумаги и большую бронзовую чернильницу. В окно, вместе с ночными бабочками, влетали бессвязные отголоски каких-то песен и тихий, замирающий говор людей, бродивших по двору. Марья Николаевна сидела на диване, отвернувшись в сторону, и щипала пуговицу на подушке. Она то быстроворачи-

валась к мужу, как будто собираясь что-то сказать, то вдруг припадала к пуговице и пристально начинала ее разглядывать; потом опять бросала и все-таки ничего не говорила.

— Да что? что такое? — с беспокойством глядя на жену, спрашивал Щетинин.

— Вот видишь ли, — наконец начала она. — Я давно хотела спросить... да... да как-то все... Я, может быть, этого не понимаю...

— Чего ты не понимаешь?

— Да вот, что ты все с Рязановым споришь...

— Ну, так что ж?

— Почему ты его никогда не убедишь?

— Только-то?

— Да, только.

— Так ты об этом так волновалась?

— Ну, да.

— Господи! Я думал, бог знает что случилось, а она... — говорил Щетинин, вставая с дивана и смеясь.

— Так это... по-твоему пустяки? — тоже вскакивая с дивана и подходя близко к мужу, спрашивала Марья Николаевна. — Стало-быть, ты сам не веришь тому, что говоришь? стало-быть, ты...

— Что такое? что такое? — отступая, говорил Щетинин. — Я не понимаю, что ты рассказываешь? Как это я не верю тому, что говорю? Объяснись, сделай милость!

— Тут объяснение очень простое, — говорила Марья Николаевна, волнуясь все больше и больше. — Ведь ты споришь с Рязановым. Почему ты с ним споришь? Потому что ты думаешь... ну, что он не так думает. Так ведь?

— Ну, да.

— Почему же ты ему не докажешь, что он не так думает? почему ты его не переспори-
ваешь? Почему? Почему же ты молчишь? Ну,
говори же! говори скорей! говори-и!

Она дергала мужа за рукав.

— Что ты не отвечаешь? Стало-быть, ты сам
чувствуешь, что он прав? а? чувствуешь? Он
смеется над тобой, над каждым твоим словом
смеется, а ты только сердисься... Стало-
быть... Да что же ты мне ничего не говоришь?
Ведь ты понимаешь, что я... Ах, что же это
такое!.. — вдруг вскрикнула она, отталкивая
мужа, и упала на диван в подушку лицом.

Щетинин стоял среди комнаты и разводил ру-
ками.

— Тьфу ты! Ничего не могу понять... Да
что с тобой сделалось, скажи ты мне на ми-
лость? — спрашивал он, подходя к жене и тро-
гая ее за руку.

— Ничего, ничего со мной не сделалось, —
отвечала она, вставая. — Я только теперь по-
нимаю, что я... что я ошибалась до сих пор,
ужасно ошибалась... — говорила она, уже со-
вершенно спокойно.

— Да в чем же? в чем?

— Ты не знаешь? Да неужели ты думаешь,
что я не поняла из всех этих споров, что ты и
меня и других стараешься обмануть? Меня ты
мог, конечно, а вот Рязанов ловит тебя на ка-
ждом слове, на каждом шагу показывает тебе,
что ты говоришь одно, а делаешь другое. Что?
это неправда, ты скажешь? а? Ну, говори! А-а!
Значит, правда! Вот видишь! Правда!..

Щетинин скоро ходил из угла в угол и пожимал плечами.

— Послушай, — сказал он, останавливаясь перед нею. — Ты с ним говорила?

Щетинин махнул головой на флигель.

— Говорила.

— Что же он тебе сказал?

— Он мне ничего об этом не сказал; да я и сама не спрашивала. Теперь для меня и без него все ясно. Ты думаешь, что я сама не могла этого понять, что ты хотел сделать из меня ключницу.

— Когда же? Когда? — подступая к жене, говорил Щетинин. — Маша! что ты говоришь? Друг мой! Ну, послушай!..

Он сел с нею рядом и взял ее за руку.

— Нет, погоди, — сказала она, отнимая руку, — когда я была еще... когда ты хотел на мне жениться, ты что мне сказал тогда? Вспомни!

— Что я сказал?

— Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое может быть погубит нас, и не только нас, но и всех наших, но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе. Я и пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем понимала, что ты там мне рассказывал. Ведь ты видел, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки,

а я огурцы солю да слушаю, как мужики бьют своих жен — и хлопаю на них глазами. Послушаю, послушаю — потом опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такой, какою ты меня сделал, так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня может быть уже трое детей было бы. Тогда я по крайней мере знала бы, что я самка, что я мать; знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что это нужно было для общего дела, что я не просто ключница, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах, как бы... Какая гадость!..

Она встала и хотела идти, но Щетинин сделал движение остановить ее. Она обернулась к нему и сказала:

— Нет, ведь я это все уж давно, давно поняла, и все это у меня вертелось в голове; только я как-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вот эти разговоры мне помогли. Я тут очень расстроилась, взволновалась. Это совсем лишнее. И случилось потому, что я все эти мысли долго очень скрывала: все хотела себя разуверить; а ведь, по-настоящему, знаешь надо бы что сделать? Надо бы мне, ничего не говоря, просто взять да уехать...

— Маша! — подходя к ней, дрожащим голосом сказал Щетинин, схватив ее за руку. — Маша! что ты говоришь? Да ведь... ну, да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?

— Да и я тебя люблю... — сдерживая слезы, говорила она: — я понимаю, что и ты... ты...

ошибся, да я-то, не могу я так. Пойми! Не могу я... огурцы солить...

Щетинин взял себя за волосы и, зажмурившись, бросился на диван.

Когда он открыл глаза, Марья Николаевна в комнате уже не было.

Он посмотрел на дверь, встал и начал ходить из угла в угол, опустив голову и заложив руки за спину. По лицу его видно было, что ему беспрестанно приходили в голову какие-то новые, страшные мысли, которые то пугали его, то представляли безо всякой нужды хвататься за разные вещи, разбросанные на столах. Он остановился перед окном, побарабанил по стеклу, помуслил палец и написал на стекле: *огурцы*, потом быстро стер это слово, и, закинув обе руки на затылок, пошел было к двери, но вернулся, схватил щетку и начал чесать себе голову. Чесал, чесал долго, кстати и комод почесал, вдруг бросил щетку, сел на диван и закрыл себе лицо руками. Через несколько минут он открыл лицо, уперся локтями на колени и уставился в пол. Опять встал, тихо подошел к зеркалу, и, глядя в него, осторожно, не торопясь, но совсем, повидимому, бессознательно, снял галстук, расстегнул жилет и хотел было снять сюртук, но тут же опять вздернул его на себя так, что подкладка затрещала, и ушел. В темном коридоре он остановился перед комнатою своей жены и хотел было отворить дверь, но она была заперта.

— Кто там? — спросила Марья Николаевна.

— Можно войти? — нерешительно спросил Щетинин.

— Зачем?..

Щетинин молчал. Из комнаты тоже ответа не было. Он постоял еще немного, тихо отнял руку от двери и вернулся в кабинет. Медленно сел на диван, развернул книгу, подпер голову рукой и стал смотреть в книгу; осторожно соскоблил муху, приплюснутую между страницами, перевернул лист, не замечая, что книга лежит вверх ногами, и опять углубился в чтение.

Прошло полчаса. Наконец он вздохнул, отодвинул книгу от себя, посмотрел кругом и пошел во флигель.

Рязанов лежал на кровати и смотрел в потолок. На стуле подле него горела свеча; тут же, у кровати, валялась на полу развернутая книга.

— Ты что? — спросил его Рязанов.

— Я, брат... вот что: история тут вышла...

— Какая история?

Рязанов повернулся на бок; Щетинин стоял над ним и рассматривал свечу.

— А такая, что... как бы это тебе сказать?.. Там, знаешь, это бывает...

— Где бывает?

— Да в городе. Как они. Чорт? Как это называется?.. съезды. Ну да, съезды. Мировые съезды бывают.¹

— Так что ж?

— Ну, поедем!

— У тебя дело что ли там есть?

¹ Съезд мировых посредников, собиравшихся под председательством уездного предводителя дворянства.

— Какое, к чорту, дело? На кой мне их?

— Так зачем же ты меня зовешь?

— Да я тебя зову, видишь ли, зачем...

Щетинин отошел к окну

— Я тебя, любезный друг, зову... — продолжал он, поднимая с полу книгу и перелистывая ее, — чтобы... понимаешь, не скучно было. И мне веселей, и тебе веселей. Понял? Ну да. Коптеть тут в деревне. Что хорошего? Так ведь? — говорил Щетинин, складывая книгу и отдавая ее Рязанову.

Рязанов пристально посмотрел на него и взял книгу.

— Что ты такое мелешь? — наконец спросил он. — Ты должно быть болен, что ли.

— Да, брат; у меня ужасно голова болит. Прощай.

Рязанов посмотрел ему вслед, пожал плечами, опять раскрыл книгу и принялся читать.

Щетинин, вернувшись домой, прошел прямо в спальню, зажег свечу и сел на стул у кровати. На подушках лежала ночная кофта и чепчик Марьи Николаевны. Постель, как была постлана, так и осталась неизмятою. На столике, рядом с подушками, стоял графин с водою. Щетинин налил стакан, выпил и долго, со стаканом в руке, глядел на подушки, потом поставил его на столик, поправил одеяло и ушел в кабинет.

На другое утро приказчик несколько раз приходил за делом, — Щетинин все спал. Часов в десять подали самовар. Марья Николаевна

вышла в столовую, заварила чай; в передней показались мужики. Наконец разбудили Щетинина, приказчик вошел в кабинет. Барин сидел за письменным столом, протирая глаза, и ничего не понимал. Приказчик постоял у двери, поглядел, сделал шаг вперед, поклонился, подождал, подождал и, кашлянув, решился спросить:

— Лексан Васильич.

— А?

— Во флигаре прикажете потолки настилать, или погодить до вас?

— Погодить. Погодить...

— Стало быть сами изволите быть?

— Ну, да. Конечно.

Щетинин все протирает себе глаза, и никак не мог их протереть.

Приказчик еще немного помолчал.

В это время Щетинин уже начал дремать, сблокитившись на стол. Приказчик кашлянул еще раз; Щетинин вздрогнул и открыл глаза.

— Насчет Крюковских мужиков будет ваше приказание? — спросил приказчик погромче.

— Как же, как же, брат...

— Леску позволите им отпустить?

— Что ж, пусть их!

— Все маленько почистится лесок.

— А?

— Почистится, мол.

— Ну, да. Чего тут еще...

— Глядеть так-то быдто лучше, веселей.

— Хх! Отличная, брат, штука!

Щетинин улыбнулся и сейчас же опять задремал.

Через несколько минут приказчик спросил:
— Так когда же изволите приехать?

— Куда?

— А на футор-с?

— Ну, вот еще! За коим чортом я туда поеду? Не видал я твоего футора, — говорил Щетинин недовольным голосом и опустил голову на стул.

— Что ты к нему пристаешь? — из столовой вполголоса сказала приказчику Марья Николаевна. — Разве ты не видишь, что он спит?

— Кто спит? Я сплю? Это неправда! — вскочив со стула, говорил Щетинин. — Я не сплю.

Приказчик стоял все еще в дверях. Щетинин широко открыл глаза, потянулся, посмотрел вокруг, наморщил брови и задумался.

— Да, — как будто припоминая что-то, произнес он. — Это так...

Потом, — заметив приказчика, прибавил:

— Ты брат, вот что... ты там... как это сказать, — ты, любезнейший... ну, да; ты вели лошадей поскорей заложить, — говорил он, совершенно очнувшись. — А насчет дел, это там после, мы увидим. Ступай!

— Мужички тоже было... — заговорил приказчик, указывая на мужиков, стоявших в передней.

— Гони их! — крикнул Щетинин.

Пришел Рязанов; Щетинин наскоро выпил стакан чаю, умылся. Во все это время никто из них не сказал ни одного слова. Как только выехали в поле, Щетинин заснул и проспал до самого города.

V

Действительно, в городе был мировой съезд и, к тому же, крестьянская ярмарка. По улицам бродили пьяные мужики и разряженные бабы; на базарной площади стояли палатки и шалаши с товарами; в подвижном трактире играла музыка и пели песни; солнце пекло, пыль тучею стояла над толпою мужиков, двигавшейся во все стороны; между возов пробирался на паре карачковых исправник, с верховым полицейским служителем позади. В толпе продирались управляющие, барыни с узлами и с раскрасневшимися лицами.

В сторонке, у весов стояло шесть человек гарнизонных солдат в суконных галстуках и в белых холщевых мундирах. Перед ними прохаживался капитан: он делал им смотр и ругался, а сам был пьян. Солдаты тоже были пьяные и, вздыхая, равнодушно посматривали на проходящих. Тут же стояли дрожки, на которых приехал капитан. Он все собирался уехать; несколько раз подходил к дрожкам и поднимал ногу; но сейчас же опять возвращался и опять принимался ругаться. На правом фланге стоял солдат с заплаканным лицом. Он был пьянее всех, стоя в вытяжку, он плакал и не сводил глаз с своего командира.

— Я тебе по-ка-жу, твою мать, я тебе покажу! — кричал капитан, наступая на солдата.

— Готов, завсегда готов, — вытягивая лицо вперед, отвечал солдат.

— Молчать!

— Слушаю, вашскорродье ...

— В гроб заколочу!..

— С радостью...

Бац.

Солдат заморгал глазами и выставил свое лицо еще больше вперед. Проходящие мужики остановились. Солдат всхлипывал и, не утирая слез, прямо смотрел в глаза начальнику.

— У! праспротак, — рычал капитан, косясь на солдата и подходя к дрожкам.

— С моим, с удовольствием, — крикнул солдат.

— Молчать, — заревел капитан, снова подлетая к солдату.

По улицам ездили и бродили помещики; в домах тоже везде виднелась водка и закуска; из открытых окон вылетал табачный дым вместе с смехом и звоном графинов.

В этот день назначено было открытие по возобновлении дворянского клуба, с переименованием его в соединенный, так как в новом клубе предполагалось соединить все сословия. Мировой съезд помещался в том же здании, а потому у ворот и на крыльце толпились мужики, вызванные посредниками в город по делам.

Щетинин с Рязановым прошлись по ярмарке и отправились в клуб. На дороге им попались дворяне; они шли вчетвером, обнявшись, в ногу и наигрывали марш на губах.

Впереди маршировал маленький толстенький помещик и размахивал планом любовного размежевания, вместо сабли.

— Здравия желаем, ваше-ство-о! — гаркнули дворяне, поравнявшись с Щетининым, и пошли дальше.

— Спасибо, ребята, — крикнул высунувшийся из окна помещик.

— Рады стараться...

— По чарке на брата! Идите сюда! — кричал он, махая рукою.

— Правое плечо вперед, — марш! — командовал начальник, и отряд завернул в ворота.

По улице пронесся легонький тарантас, запряженный тройкою маленьких лошадок. В нем сидел полный мужчина в военной фуражке, но с бородою, и делал Щетинину ручкою. Он поклонился.

Щетинин шел молча и рассеянно глядел по сторонам, рассеянно отвечая на поклоны. В клубе у подъезда стояли и лежали сельские власти: старшины, сотские, старосты и прочие; некоторые пристроились в тени, а шляпы их торчали на заборе. Заседание мирового съезда еще не кончилось. В зале, по середине, стоял большой стол, за которым сидели посредники с цепями на шее и с председателем во главе. Вокруг них толпились помещики, управляющие и поверенные, прочие дворяне бродили по зале и, повидимому скучали. Из буфета слышался бойкий разговор, смех и остроты.

— Да будет вам, — уговаривал один помещик посредников. — Ну что, в самом деле, пристали. Водку пора пить.

— Погодите, — с озабоченным видом отвечали посредники. — Не мешайте!

— Позвольте мне, господа, прочесть вам, — громко заговорил один из посредников, обращаясь к съезду, — письмо, полученное мною на днях от землевладельца, господина Пичугина.

— Слушаем-с, — ответил председатель и сделал серьезное лицо.

Посредник начал читать:

«Милостивый государь, Иван Андреевич, не имея я чести быть лично с вами знаком, имею честь довести до сведения вашего следующий анекдот: 1863 года, мая 12-го числа, крестьянин собственник сельца Ждановки, Антон Тимофеев, придя ко мне на барский двор в развращенном виде, с наглостию требовал от меня, чтобы я отдал ему его баб, угрожая мне в противном случае подать на меня жалобу мировому посреднику. И когда я выслал ему сказать через временно-обязанную женщину мою Арину Семенову, что по условию я могу пользоваться его бабами все лето, то он за это начал женщину мою всячески ругать, называя ее с т е р в а и притом показывая ей язык. После этого что же, всякая скотина может безнаказанно наплевать мне в лицо! Конечно, они теперь вольные и могут все делать. Но я этого так не оставляю и буду просить высшие власти о защите меня от притеснения и своеволия мужиков. Нет, это много будет, если всем их пошлостям подражать. Им и без того отдано все, а мы лишены всего. Имею честь быть и проч.»

— Господа! — воскликнул один из стоявших у стола помещиков. — Господа, кому угодно, пари, что господин Пичугин этого, как его, собственника-то, собаками затравил?

— Ну, вот!

— Да не угодно ли на пари? Я его знаю. Вы не верьте тому, что он пишет. Это он всё врет, всё сам сочинил.

Начался спор. Собрание между тем, поручив посреднику исследовать дело на месте, перешло к рассмотрению проекта, представленного одною помещицею, желавшею переселить крестьян в безводную пустыню. Немец, поверенный этой барыни, развернул план и положил его на стол перед собранием. Посредники стали рассматривать план: пустыня и на плане оказалась безводною; но несмотря на это, поверенный утверждал, что иначе нельзя, что для самих же крестьян так будет лучше. Позвали крестьян. Они вошли, осторожно ступая по крашеному полу, поклонились и встряхнули волосами. Председатель начал им объяснять желание помещицы и указал на плане участок. Мужики выслушали и сказали: слушаем-с; только один из них как-то боком косился на план и, прищурив один глаз, шевелил губами. Но когда спросили их, согласны ли они на это, мужики все вдруг заговорили, полезли к плану и стали водить пальцами.

Доверитель вступился и просил председателя не позволять мужикам пачкать план. Мужикам запретили трогать его пальцами и велели отойти от стола.

— Ну, что, батенька, как у вас свободный труд процветает? — спрашивал Щетинина один помещик, доедая бутерброд.

— Да ничего, — нехотя отвечал Щетинин.

— Ну, и слава богу, — улыбаясь сказал помещик. — Мужички ваши все ли в добром здорovyи, собственнички-то, собственнички? а? То-то чай богу за вас молят? Теперь какие небось каменны палаты себе построили. Че-ево-с?

— Почем я знаю, — с неудовольствием сказал Щетинин.

— Да; или вы нынче уж в это не входите? Так-с. Нет, вот я, признаться, — немного погода, прибавил помещик: — все вот хожу да думаю, как бы мне своих на издельную повинность переманить; а там-то бы уж я их пробрал; я бы им показал кузькину мать, в чем она ходит, они бы у меня живо откупились. Да главная вещь, нейдут подлецы, ни туда ни еюда.

— Как поживаете? — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим, только что вышедшим из буфета, помещиком.

— Вот как видите, — отвечал тот. — Закусываем. Как же нам еще поживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уже по третьей прошли. Да, чорт, их не дожدهшься, — говорил он, указывая на посредников. — Господа, что же это такое, наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку выпили, уж за херес принялись.

— Да велите накрывать, — заговорили другие.

— Стол нужен.

— Господа! Тащите их от стола!

— Эй, человек, подай, братец, ведро воды: мы их водой разольем. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого вы хотите удивить?

— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание кончилось. Дела к чорту! Гоните мужиков! Эй, вы, пошли вон!

Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и утомленными лицами,

складывали дела, снимали цепи, потягивались и уходили в буфет.

— Александр Васильич, голубчик, давно ли вы здесь? — говорил один из них, подходя к Щетинину. — Позвольте вас поцеловать, душа моя. *Et madame votre épouse, comment se porte-t-elle?*¹

— Благодарю вас. Мой товарищ, Яков Васильич Рязанов; мировой посредник нашего участка, Семен Семеныч, — познакомьтесь, — говорил Щетинин.

— Очень рад, очень рад, — говорил посредник, расшаркиваясь и пожимая руку Рязанову. — Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома — Рязанов... Да. Теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили.

— Что же вы с ним всенощную или обедню служили? — спросил Рязанов.

— То есть как?..

— Я не знаю, как. Должно быть соборне.² А то как же еще? — Посредник с недоумением смотрел на Рязанова.

— Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?

— Нет; он больше в селах пресвитером служил.

— То есть...

— Попом-с.

— Да. Ну, так это не тот Рязанов, которого я знал, — конфузясь, говорил посредник.

— Я думаю, что не тот.

¹ Как здоровье вашей супруги?

² Служить соборне в церкви — при участии нескольких священников.

Стали стол накрывать. В ожидании обеда дворяне прохаживались по зале, закусывали и разговаривали.

— Господа, послушайте-ка!

— Ну!

— Не слыхал ли, или не читал ли кто, — земство, что за штука такая?

— Ну, вот еще что выдумал! Давай я тебя за это поцелую.

— Да нет, постой, братец, нельзя же.

— Чего тут нельзя! Иди-ка, брат, лучше водку пить. Разговаривать тут еще... земство! Тебе какое дело?

— Как какое дело? Это вы — отчаянные головы, вам все ни по чем, а у меня, брат, дети. Господа, нет, серьезно скажите, коли кто знает.

— Вот пристал!

— Пристанешь, брат. Ты, небось, за меня не заплатишь.

— Изволь, душка, заплачу, только пойдем вместе выпьем по рюмочке.

— Уйди ты от меня, сделай милость! Иван Павлыч, вы, батюшка, не знаете ли? Вы, кажется, журналами-то занимаетесь.

— Что такое?

— О земстве не читали ли чего?

— Как же, читал.

— Ну, что же?

— А ей-богу не знаю, голубчик.

— Да нет ли газет каких-нибудь?

— Какие тут газеты? Вон поди, в буфете спроси. Эй, человек, подай мне порцию газет!

— Черти! Всю водку вылакали. Налей мне хоть рому, что ли.

— Так как же насчет земства-то? А? Так никто и не знает?

— Спроси у предводителя.

— Предводитель, скажи, братец, на милость, никак я толку не добьюсь, какая такая штука это земство? Что за зверь? Подать, что ли, это какая? А?

— А это, вот видишь ты, какая вещь...

— Да ты сам-то знаешь ли?

— Ну, вот еще. Мне нельзя не знать.

— То-то. Смотри, не ври. Ну!

— Это дело — как бы тебе сказать? — государственное.

— Ну, да ладно. Об этом ты нам не рассказывай; а вот суть-то, главная суть-то в чем?

— Тут, брат, вся сила в выборах.

— Вот что. Кого же выбирать-то?

— Выборных.

— Да. Опять-таки выборных же и выбирать? Ну, за коим же чортом их выбирать-то станут?

— А они там это будут рассуждать.

— Да, да, да. О чем же это они будут рассуждать?

— О разных там предметах: о дорогах, о снабжении мостов и так далее.

— Да. Это, значит, по дорожной части. Ну, и за это мы им будем деньги платить. Так, что ли?

— Так.

— Ну, брат, предводитель, спасибо, что рассказал. Теперь пойдем по рюмочке дернем.

За несколько минут до обеда на улице загремели бубенчики и у крыльца остановилась взмыленная тройка отличных серых коней. В залу вошел полный румяный молодой помещик в английском пиджаке, с пледом на руке.

— Петя! Душка! Вон он, урод! Мамочка! давно ли?

— Что у вас тут такое? Сословия сблизаются? Ах, вы шуты гороховые! Где же мужики-то?

— Какие мужики? Они там, на крыльце.

— А как же сословия-то?

— Ну, вот еще, сословия!

— Зачем же вы наврали?

— Кто тебе наврал? Вон, гляди, видишь: Лаков сидит. Что же тебе еще?

На диване действительно сидел купец с красным носом и бессмысленно водил глазами.

— Да он, скотина, и теперь уж пьян. Лаков, что, брат, ты уж успел?

— Успел, — кивая головой и улыбаясь, отвечал купец.

— Экое животное!

— Нельзя . . . ярмарка.

Из буфета выглядывал другой купец и, стоя в дверях, подобострастно кланялся, не решаясь войти в залу.

— А! и ты здесь, чортова перечница! Что ж ты сюда нейдешь?

— Он не смеет.

— Я не смею-с.

— Ну, хорошо, братец; стой там, стой! Мы тебя после обеда посвятим.

— Посвятим, посвятим . . .

Купец кланялся.

Подали суп. Стали садиться за стол. Купец Лаков тоже взялся за стул.

— Что ж, господа, мне-то можно?

— Садись, чучело, садись, ничего.

Купец сел.

— Эй, половой, подай графин водки!

— За стол водку не подают, что ты? разве здесь кабак? — говорили купцу соседи.

— Ну, шампанского! Чорт-те дери!

— Много ли-с?

— Полбутылки.

— Эх ты! полбутылки! Мужик! Где ты сидишь, вспомни!

— Что ж такое? Ну, мы полдюжину спросим. Подай полдюжины.

— Слушаю-с.

— Да закусить чего-нибудь солененького. Проворней! Эх, в рот-те шило...

— Лаков, веи себя скромней, — кричали ему с другого конца.

— Я и так скромно.

— Господа, слышали, в Саратове какой слу-чай был?

— Какой?

— Поджигателей поймали. Теперь там такое дело... оказывается, что тут замешаны разные лица¹...

¹ В 1862 году в Петербурге были грандиозные пожары. Агенты правительства усердно распространяли в народе молву, будто виновники этих пожаров — поляки, студенты и другие неблагонадежные люди. Через год та же история повторилась в провинции. Корреспондент «Московских Ведомостей» сообщал, например, из Саратова: «Пожары эпидемически повторяются раза

— Эка штука. У нас мужики двоих поймали; взяли, дурачье, и отпустили.

— А что, позвольте вас спросить, — спросил Рязанова его сосед, уездный учитель, — телеграмму посылать будут?

— Я не знаю.

— Что он такое говорит?

— Я говорю-с насчет телеграммы.

— Какой телеграммы?

— То-есть от всех сословий, вот теперь во время обеда. Разве не будут?

— Нет; телеграммы не будет, а вот речь Петр Михайлович произнесет — на латинском языке.

— Ах, в самом деле! Петя, — кричал один посредник: — речь, брат, непременно сегодня речь!

— Уж это после обеда, — отвечал Петя.

— Нет, он на прошлой неделе, — мы с ним на охоте были, — уморил: собрал мужиков и им латинскую речь сказал.

— Ха, ха, ха!

После супа захлопали пробки и стали разносить шампанское.

— Господа, за соединение сословий! Лаков, слышь, чучело?

— А, дуй вас горой!

два-три в неделю. Недавно еще сгорело несколько домов на Грошевой и Немецкой улицах. Народ напуган петербургскими пожарами и весьма косо и подозрительно поглядывает на живущих здесь и недавно приехавших сюда поляков». («Московские Ведомости», 1863 г., 9 августа),

— Ха, ха, ха! Однако ты, чортов сын, не ругайся!..

— «Устюшкина мать собиралась умирать»... — затынул Лаков.

— Этих свиней никогда не надо пускать, — рассуждали дворяне. — Вот посадили его за стол, а он и ноги на стол.

— «Умереть не умерла, только время провела!» Что ж такое? Я за свои деньги... Ай у нас денег нет?

— Иван Павлыч, ваше здоровье, — чокались через стол помещики.

— Эх, драть-то вас на шест, — кричал между тем Лаков.

— Господа, что ж это такое?

— Mais, mon cher, que voulez-vous donc? C'est un paysan.¹

— Эй, послушай, ты, мужик, — говорил Лакову один помещик. — Если ты, скотина, еще будешь неприлично себя вести, тебя сейчас выведут.

— Ты недостойн сидеть с порядочными людьми за столом.

Лаков струсил.

— Будешь смирно сидеть?

— Я смирно... Истинный бог... Подлец хочу быть — смирно.

— Ну, так молчи же, не ругайся.

— В тринклятии провалиться — не ругался.

— Господа, за процветание клуба, — провозгласил предводитель.

¹ «Но чего же ты хочешь, мой милый? Ведь это простой мужик!»

— «Устюшкина мать . . .» — заревел Лаков. — Ай у нас денег нет? Всех вас куплю, продам и опять выкуплю.

— Нет, это из рук вон. Его нужно вывести.

— Вот они деньги, — получай! Эй! Кто у вас тут получает, получай! Триста целковых . . . на всех жертвую, раздуй вас горой.

— Вывести, вывести его! — кричали дворяне.

— Стой! — говорил Лаков. — За четыре бутылки назад деньги подай! Ладно. Ну, теперь выводы!

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне: все что-то говорили друг другу, кричали, пели и требовали всё шампанского и шампанского. В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось два хора, так что уж никто ничего не мог разобрать, никто никого не слушал.

— Кубок янтарный . . .

— Чтобы солнцем не пекло . . .

— Полон давно . . .

— Чтобы сало не текло . . .

— Господа, это подлость! . . Ура-а! Шампанского! . .

— Пей, пей, пей! . . Позвольте вам сказать! . . чтобы солнцем . . . Пэди к чорту . . . Ура! Шампанского! . .

— Во-о-дки! — вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.

В другой комнате происходило посвящение купца Стратонова. Судья, сидя на кресле, произносил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки купца Страто-

нова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги и просил ручку. Судья накрывал его полою своего сюртука и произносил «аксиос», «аксиос»,¹ хор подхватывал; третий посредник махал цепью.

Щетинин с Рязановым вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один помощик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

По улицам бродили пьяные мужики. Ярмарка кончилась.

— Что ты такое начал рассказывать, когда я приехал, помнишь? — про какое-то социальное дело, — спросил Рязанов своего товарища, когда они выехали в поле.

— Нет, оставь это, прошу я тебя: сделай милость, оставь, — ответил Щетинин.

VI

Щетинин с Рязановым вернулись из города ночью, часу в первом; Рязанов отправился к себе во флигель, а Щетинин прошел прямо в кабинет, разделся, прочел письма, развернул газету и, облокотившись над нею, задумался.

Прошло несколько минут.

¹ «Аксиос» — по-гречески достойный. Когда в православной церкви посвящают кого-нибудь в сан священника, то многократно поют это слово, обозначающее, что посвящаемый достоин своего сана. Помещики, «посвящая» купца, в насмешку пародируют церковную службу.

— Кушать не будете? — угрюмо спросил его лакей.

— А?

Щетинин как будто очнулся.

— Кушать не будете? — тем же тоном и так же угрюмо повторил лакей.

— Нет, не буду.

Лакей хотел было уйти.

— Постой! Что... а-а... барыня уж легла, не знаешь? — сбиваясь и разглядывая газету, спросил Щетинин.

— Не могу знать.

— А-а... здоровы... здорова она?

— Не могу знать.

Щетинин нахмурился и исподлобья посмотрел на лакея: лакей, заложив одну руку за спину, а в другой держа сапоги, стоял у притолоки и исподлобья смотрел на барина.

— Что это у вас за привычка, — раздражительно начал Щетинин: — «не могу знать», да «никак нет»? Чорт знает, точно рекруты какие-то!

Лакей переступил с ноги на ногу и продолжал молча смотреть на барина.

— Просишь, кажется, ведь, — нет!

Молчание.

— Последний раз тебя прошу: не говори так, сделай милость!

— Слушаю-с.

Щетинин махнул рукой.

— Ступай! ступай уж! — говорил он умоляющим голосом.

Лакей ушел...

Щетинин поправил газету, хлопнул по ней

ладонью, и принялся было читать; но сейчас же забарабанил пальцами по столу и загляделся на подсвечник. Тихо стало: слышно, как на дворе лошадей отпрягают... вдруг где-то, в дальних комнатах, что-то стукнуло, и зашуршало женское платье. Щетинин вздрогнул, поднял голову и начал прислушиваться: пол заскрипел... шелест все ближе и ближе... вот прошла в залу... задела платьем за стул... повернула в столовую...

— Друг мой, прости меня, — говорила Марья Николаевна, входя в кабинет.

Щетинин бросился к ней и крепко схватил ее за обе протянутые к нему руки.

— Я тебя огорчила, — прости! Я сама теперь вижу, что ты все-таки хороший, хороший человек.

Щетинин положил ей на плечи свои руки и нежно смотрел ей в глаза.

— Это совсем не нужно было, что я наговорила тебе. Я ужасно раскаивалась...

Она сказала все это нежным, но твердым голосом; в глазах были слезы.

— Ну, полно, полно, — говорил Щетинин, целуя ее в голову.

— Нет, знаешь, я после, как ты уехал, целый день и тогда ночью тоже все думала, думала... Все свои мысли передумала сначала.

— Сядем, — сказал он, обняв жену и усаживая ее на диван. — Ну, что же ты выдумала?

Он вздохнул, прислонился головою к ее плечу и закрыл глаза.

— Как же ты меня измучила-то!

— Прости!

— Ну, да что тут! Это все пустяки. Нет, я уже вообразил, что . . . Впрочем, рассказывай, рассказывай!

— Что ты вообразил?

— Все вздор. Ведь уж прошло, так чего же еще? А ты мне вот что скажи: что это с тобой случилось?

— Да как тебе сказать? не знаю. Мне кажется, что со мной ничего особенного не случилось, а так вдруг представилось мне, что вот все это — лечение там и что хозяйством я занимаюсь, что все это ужасные глупости.

— Да почему же? Ведь прежде это тебе не приходило в голову.

— Прежде? Видишь ли. Как бы тебе это рассказать? До сих пор я все еще чего-то ждала, до последней минуты ждала; я не рассуждала, я и не думала даже ничего, я просто верила, что так нужно почему-то. Ты мне сказал тогда, давно еще: Маша, займись хозяйством, пожалуйста! Ну, я и стала заниматься; потом больные мужики, ты мне сказал: Маша, ты бы там пошла поглядела, что у них. Я и стала лечить. Ну, и ничего. Я так все жила и жила . . . Я точно будто во сне была все это время. А тут вдруг эти споры начались . . .

— Так это значит . . .

— Что?

— Нет, ничего, ничего. Так что же дальше-то?

— Сначала мне казалось, что это он так, нарочно; потом одно время, помнишь, когда он все советовал тебе судиться с мужиками. Ведь он смеялся тогда. В это время я не знаю что,

я просто готова была его убить. Я только не говорила тебе, а я все об этом разговоре думала, припоминала каждое слово... А ведь это все правда.

— Что правда?

— Да что он говорил. Правда ведь? Да?

— Мм...

— Нет, в самом деле, подумай: что мы такое делаем?

— Помещики как помещики.

— Меня это мучило ужасно. Ну, положим, ты вот все говоришь, что ты там пример что ли им хочешь показать, ну я не знаю. Нет, а я-то что же тут?

Щетинин ничего не отвечал. Он, нахмурившись, глядел в окно и отвертывал кисть у своего халата. На дворе начинало светать.

— Вспомнила я, — помолчав немного, заговорила опять Марья Николаевна. — Вспомнила, как мы с тобой сначала говорили там о разных жертвах, а теперь посмотрела: какие же это жертвы? Это так, забава. Занимаюсь я этим, или нет, — решительно все равно. Да и что это за занятие? Обед заказать, белье отдать выстирать, — так это и без меня само собой сделается; а там пластырь какой-нибудь дать мужику, так я еще и не знаю, что я даю. Может быть ему даже еще хуже будет от этого. Я ведь не училась быть доктором, и ничего не умею. Так что же я могу сделать?

— Ну, расскажи-ка лучше, что же ты придумала, — прервал ее Щетинин.

— А вот что, — сказала она, приложив палец к щеке и как будто во что-то всматри-

ваясь. — Я теперь все поняла. Ты тут совсем не виноват.

Щетинин немного повел бровями.

— Помнишь, тогда с мужиками ты все хлопотал, чтобы они... как это?

— Ну, да, ну, да, — нетерпеливо сказал Щетинин.

— Чтобы у них все было общее. Как это называется?

— Да все равно. Так что же ты-то думаешь теперь?

— погоди, не перебивай меня! Что я хотела? Да. Вот ведь ты тогда ошибся.

— Ошибся, — тихо ответил Щетинин.

— Ведь ты им добра желал?

— Да...

— Так почему же это не удалось?

— А потому что они дураки, — резко ответил Щетинин.

Марья Николаевна приостановилась.

— Своей же пользы не понимают, — прибавил Щетинин и, встав на локте, потянул к себе подушку.

— Так за что же ты на них сердишься? — с удивлением спросила Марья Николаевна.

— И не думаю. С какой стати мне на них сердиться?

— Ну, да! Ведь они в этом не виноваты, что не понимают. Они ошибаются. Ты и сам тоже ошибался. Их надо учить, тогда они поймут. Так ведь? •

— Конечно, — размышляя, ответил Щетинин. — Только кто их будет учить? Уж не ты ли? — поднимая голову, спросил он.

— Да, я. Что ты на меня смотришь? Ну, да. Я буду их учить. Наберу детей и заведу у себя школу. Ведь это хорошо я придумала? А?

Щетинин опять опустил голову на подушку и сказал:

— Разумеется. Что ж тут. Только я не знаю...

— Что ты не знаешь? Сумею ли я справиться с этим делом?

— То-то, сумеешь ли? Ведь тут терпенье страшное...

— Не беспокойся. Насчет терпенья я... да притом, вот и Рязанов, — ведь он проживет здесь всё лето, — он мне поможет, расскажет, как надо все делать.

— Рязанов?!... Да.

Щетинин поморщился.

— Нет, уж ты лучше с этим к нему не обращайся.

— Почему же?

— Да так. Он вообще...

— Что вообще?

— Вообще... он на это смотрит как-то странно.

Марья Николаевна задумалась.

— Да разве ты с ним говорил что-нибудь об этом?

— Нет, не говорил, но мне так кажется, судя...

— Да нет, не может быть. Он не такой. Я впрочем сама с ним поговорю.

— Да. Ну, так, стало-быть, — говорил Щетинин, приподымаясь и заглядывая Марье Ни-

колаевне в лицо: — стало-быть ты не сердишься? Это главное.

— Нет; да я ведь и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то. Ну, что же там в городе?

— Что в городе? Такая мерзость. Перепились все, как сапожники. Только всего и было. Однако уж светает.

— В самом деле, — сказала Марья Николаевна, вставая. — Так я завтра же начну это, Переговорю, во-первых, с Рязановым...

— Да, да, это хорошо.

— А потом... и начну. Только вот... Погоди!

Щетинин хотел ее обнять.

— Только вот книг нужно достать.

— Достанем, всего достанем.

— Ты в город-то ездил. Ах, какая я глупая!

— А что?

— Ты там бы мог купить.

— Что ж такое? Можно послать.

— Так ты завтра же... постой! завтра же пошли!

— Пошлю. Как же я устал-то, господи! — говорил Щетинин, потягиваясь. — Ну, теперь спать!

VII

На другой день Щетинин встал раньше всех, один напился чаю и уехал на хутор, на целый день.

Марья Николаевна долго ждала Рязанова за самоваром, наконец послала за ним во флигель, — оказалось, что он чуть свет ушел куда-то

и еще не возвращался. Она пошла было в сад, но потом вдруг вернулась домой. Придя в свою комнату, она открыла рабочий столик, достала оттуда начатые рукавички, взяла иголку и принялась было шить, потом опять распорола, выдернула иголку, оторвала кончик нитки и опустила руки на работу. Так просидела она с полчаса, отвернувшись в сторону и в раздумьи перебирая пальцами свое платье; только глаза ее медленно переходили с одной вещи на другую, ни на чем не останавливаясь и ничего не выражая, кроме одной какой-то мысли, которая не давала ей покоя. Пасмурный свет из окна, проходя сквозь зеленую занавеску, бледно ложился на одну сторону ее красивого, но и без того печального лица, неясно обозначал щеку, висок с неподвижной бровью и далеко откинутую назад темную косу.

Вошла горничная.

— Что ты, Поля? — мельком взглянув на нее, спросила Марья Николаевна.

— Блюзку запошить прикажете, или только сметать пока вперед иголку?

— Все равно. Сама увидишь, как лучше. Горничная молчала.

— Ну, запошей, что ли.

— Там вон девочку привели. — улыбаясь сказала горничная.

— Какую девочку?

— Да мать привела, крестьянскую. Больная. Горничная фыркнула.

— Что ж ты смеешься?

— Очень уж смешно. У девочки в ухе...

Горничная опять засмеялась.

— Что ж у ней в ухе?

— Горох вырос.

— Как горох вырос?

— Да извольте сами посмотреть. Обычно, ребятенки баловались, засунули ей в ухо горошину; он у ней там и вырос. Видно, извольте поглядеть, из уха росток торчит.

Оказалось, у девочки действительно из уха виднелся росток. Марья Николаевна достала шпилькою горошину и налила девочке в ухо деревянного масла. Баба вытащила из-за пазухи четыре яйца и подала их Марье Николаевне.

— Зачем это? Мне не надо.

— Ну, — сказала баба, все-таки отдавая яйца.

— Нет, право, мне не надо.

— Ну! ничаво.

Баба старалась поймать ее руку.

— Ах, какая ты! Ведь я тебе сказала, что не возьму, — говорила Марья Николаевна, спрятав свои руки.

— О? Ну, мотри же. А то возьми. Что ж? . . Ничаво.

— Не возьмет. Дура! говорят тебе, — смеясь, прибавила горничная.

— Да ведь у нас денег нету. Какие у нас деньги?

Марья Николаевна улыбнулась.

— А то я пзнички¹ принесу коли.

— Ничего мне не надо.

— Ну, благодарим покорно, — кланяясь, говорила баба.

¹ Местное название земляники.

— Целуй у барыни ручку, — сказала она своей девочке. — Проси ручку! Сопли-то утри! Скажи: пожалуйста, мол, сударыня, ручку! Проси скорей.

— Нет, нет; и этого не надо, — конфузясь, говорила Марья Николаевна. — А ты лучше вот что . . . послушай-ка.

— Чаво-с?

Баба самой себе утерла нос.

— Ты из какой деревни?

— Мы-то?

— Ну, да.

— А мы вот Каменски.

— Это недалеко ведь, кажется.

— Возле. За речкой-то вот.

— Который год твоей девочке?

— Девочки-ти? Да, мотри, никак девятый годочек пошел.

Марья Николаевна нагнулась к девочке и взяла ее за подбородок. Девочка пугливо вскинула глазами кверху и ухватила за подол своей матери.

— Как тебя зовут? — спросила девочку Марья Николаевна.

Девочка молчала.

— Что ж ты, дура, молчишь? — говорила ей мать. — Скажи: Фроськой, мол, сударыня. Говори скорей!

— Фроськой, — прошептала девочка, схватилась обеими руками за мать и уткнулась носом ей в живот.

— Послушай, милая, — вдруг как-то решительно заговорила Марья Николаевна и улыбнулась. — Отдай ее мне, я буду ее учить.

Баба взглянула на Марью Николаевну и тоже улыбнулась и, нагнувшись к девочке, сказала:

— Вон, слышишь, барыня-то что говорит? Учить, говорит. Чу, мотри не балуй! Как забалуешь, учить.

Девочка взглянула на Марью Николаевну и сейчас же опять спряталась.

— Ах, нет. Ты не понимаешь, — торопливо заговорила Марья Николаевна. — Я ведь это не нарочно говорю. В самом деле давай, я ее буду учить.

— Ох, уж барыня! Что только они выдумают! — смеясь, говорила горничная.

Баба смотрела на них в недоумении.

— Грамоте учить. Знаешь, читать и писать, — толковала бабе Марья Николаевна.

— Это на что же так-то? — не понимая, спрашивала баба.

— Она у тебя грамотная будет: будет уметь читать и писать, сосчитать когда что нужно, письмо написать...

Горничная фыркнула себе в руку.

— Какая ты... странная! Что ж тут смешного? — вспыхнув, заметила Марья Николаевна.

— Ох, уж и не знаю... — говорила баба, улыбаясь и поглядывая на горничную.

— Чего ж тут не знать? Это очень просто, — зачастила Марья Николаевна.

— Ох, нет. Ох уж незамай же она... Нет уж, помилуйте, сударыня.

— Да отчего же?

— Нет, уж сделайте божескую милость, — низко кланяясь, говорила баба. — Что с нее взять? малый ребенок.

Баба придерживала девочку, как будто у ней кто-нибудь хотел ее отнять. Девочка вдруг заревела.

— Ты, может, боишься, что ей здесь будет нехорошо?

— Нет, уж помилуйте, сударыня! Одна она у меня, девочка-то. Коли так, уж легче же я курочку вам принесу за лечение.

Марья Николаевна молча постояла перед бабою, грустно улыбнулась, посмотрела на нее и сказала:

— Не надо. Ни курочки, ни девочки твоей мне не надо. Успокойся! — и ушла опять в свою комнату.

Немного погодя она вышла на крыльцо с зонтиком в руке и отправилась в людскую.

В людской сильно пахло щами и горячим ржаным хлебом, который лежал на лавке, прикрытый полотенцем. У окна сидел кучер и курил трубку; стряпуха собралась было разуваться и поставила одну ногу на скамейку; по полу, отрывисто чавкая, бродил поросенок; рядом с кучером, на лавке же сидела двухлетняя девочка и ковыряла большою деревянною ложкою в пустом горшке, из которого каждый раз шумно вылетали мухи.

Кучер говорил девочке, дотрагиваясь до нее трубкою:

— Грушка!

— Мм! — с неудовольствием отзывалась девочка.

— Это у тебя что?

— Ммм!...

— Что это у тебя! *

— Мм-ма-а! — кричала девочка, хлопая ложкою по горшку.

— Что ты, охальник, к ребенку-то пристаешь! — кричала стряпуха.

В это время вошла Марья Николаевна. Кучер встал и спрятал трубку за спину, стряпуха тоже встала и обдернулась. Марья Николаевна поклонилась им, посмотрела вокруг и сказала:

— Как тут пахнет.

Кучер со стряпухою ничего не ответили. Марья Николаевна подошла к девочке, погладила ее по голове и спросила:

— Это Груша?

— Грушка-с, — кланяясь подтвердила стряпуха.

— Гм. Маленькая, — вполголоса произнесла Марья Николаевна, постояла еще несколько минут, взглянула на печку и заметила, что тараканов много.

— Довольно-с, — сказал кучер.

— Вы хоть бы выводили их.

— Выводили-с, — ответила стряпуха.

— Ведь это для себя же, — добавила Марья Николаевна.

— Это справедливо, — подтвердил кучер. — Насчет чистоты ежедь.

— Бог их знает. Уж и не знаю, что с ними делать, — говорила стряпуха, с сокрушением глядя на тараканов.

— Варом нет лучше, — заметил кучер, подходя к печке.

Сказав это, он сбросил одного таракана на пол и раздавил его ногою.

— До-смерти не любит, как ежели его ошпаришь: ту ж минуту помирает.

— Ну, да, — рассеянно сказала Марья Николаевна. — А где столяр? — вдруг спросила она.

— Да никак они там, с Иван Степанычем, скрипку, что ли-то, налаживают, — ответила стряпуха.

— Какую скрипку? Клетку строят для чижа, — сказал кучер.

— И то мотри клетку, а я скрипку, — поправилась стряпуха.

— В сарае балуются, — добавил кучер.

Марья Николаевна вышла на двор и послала кучера за столяром.

Пришел столяр, скинул с головы ремешок и поклонился.

— Послушай, — сказала ему Марья Николаевна: — не можешь ли ты сделать стол?

— Что ж, это можно-с, — подумав ответил столяр.

— Простой, понимаешь, совсем простой.

— Слушаю-с. А сколь велик будет стол?

— Да вот этак, я думаю.

Она показала зонтиком на земле. Столяр поглядел и сказал:

— Ничего. Это можно-с.

— И еще две скамейки такие, длинные.

— И это все ничего. Бочка, значит, в наград.¹

— Ну, я это не понимаю.

¹ Бочка — ножки в виде цельной доски. вставляемые в паз, сделанный особой пилой — наградкой.

— Всё дюйма полтора толщины доски потребуются, — говорил столяр, показывая два пальца.

После того Марья Николаевна прошла во флигель, где жил Рязанов, и велела там очистить одну пустую комнату, всю заваленную разным хламом; а сама отправилась по дороге к селу. Солнце пекло; она шла скоро, слегка шмыгая платьем, и прищурясь смотрела вперед. Неподалеку от церкви попался ей старый, проживавший в селе мещанин. Он шел с мельницы, с удочками на плече и нес на веревочке пескарей.

— Мое вам почтение, сударыня, — сказал он, низко кланяясь.

— Ах, здравствуйте!

— Гулять изволите?

— Да.

— Очень прекрасно-с.

— Вы, кажется, рыбу ловили?

— Что делать, сударыня: большую охоту имею.

— Семейство ваше как?

— Благодарю моего создателя, — слава богу-с.

— Дети ваши что делают? Старший где?

— Учится-с.

— Где же?

— Комзино село изволите знать? Ну вот-с. в мальчишках у купца в лавочке. Сам пожелал Федю моего у себя иметь, призывает. Приходим. — Какое, говорю, будет ваше положение? — А наше положение, говорит, будет вот какое: на первый раз, говорит, мы ему ничего не положим, а там посмотрим, ежели, говорит, будет стараться, тогда что положим. — Поду-

мали, подумали мы с супругой: что ж, нечем ему баловаться-вешаться, незамай же он учится. Так и отдали.

— Ну, а младший?

— Материн баловник. Махонький дома пока при матери-с. Тоже учится, родителей утешает.

— Кто же его учит?

— Сама-с.

— И охотно учится?

— Охотник смертный. И теперече, доложу вам, не то чтобы бить, а даже то есть и пальцем не трогаем.

— Как же вы делаете?

— Пряником-с. Пряником, и кончено дело-с. Возьмет это мать в руки пряник, — ну-ка, говорит, Миша, прочитай богородицу! И ту ж минуту садится, книжку берет, молитву читает. И так это чудесно мать приучила, занялся; верите ли, в одну неделю всю азбуку понял.

— Вот как. Прощайте!

— До приятного свидания-с.

Марья Николаевна пошла дальше. На селе было совсем пусто; старухи, сидевшие у ворот, вставали и низко кланялись ей издали. Под одним амбаром лежала куча ребятишек, тут же прыгала привязанная за ногу галка. Марья Николаевна заглянула под амбар и спросила:

— Что вы тут делаете?

Ребятишки притаились. Она нагнулась еще ниже, поглядела на них: они стали прятаться друг за друга.

— Приходите ко мне ужю, я вам гостинцев дам, — ласковым голосом сказала она им.

Молчат.

— Придете, что ли? . . . Зачем вы галку-то мучите? — спросила она, не дождавшись ответа.

Из-под амбара кто-то дернул за веревку, галка закричала и, ковыляя на одной ноге, скрылась под амбаром.

Марья Николаевна постряла еще немного, вздохнула и пошла. Она остановилась у священнического дома и хотела отворить калитку; на дворе залаяла собака, но калитка была заперта изнутри и не отворялась.

— Кто там? — недовольным голосом спросил батюшка со двора.

— Это я, Марья Николаевна.

— Ах, извините, сударыня! Пожалуйте!

Батюшка был в одном полукафтани, с засученными рукавами; он заторопился и, продолжая извиняться, ввел Марью Николаевну в горницу.

— Я к вам только на минуту, — говорила она, входя. — Здравствуйте, матушка.

Матушка поклонилась и вдруг бросилась сметать со стола.

— Я вам, кажется, помешала.

— Нет, ничего-с. Помилуйте! За честь почту, что удостоили. А я, признаться, тут по хозяйству было . . . Коровке вот бог дал — отелилась; ну, я, знаете, сам . . . Всё тут: и хозяин, и бабушка. Ха, ха, ха! Что делать?

Марья Николаевна улыбнулась.

— При народе-то, знаете, немножко не ловко, — вполголоса прибавил батюшка. — Так как, можно сказать, служитель алтаря, ну, оно, знаете, странно несколько. Соблазн для простых людей.

— А я было к вам за делом, батюшка, — начала Марья Николаевна.

— Самоварчик не прикажете ли? — спросила матушка.

— Нет, нет, благодарю вас! А я вот что, батюшка...

— Что вам угодно, сударыня? Вы извините меня, ради бога, что я так. Сейчас подрясник надену.

— Зачем же это? Не беспокойтесь.

— Нельзя же-с. Все, знаете, приличия требует.

Батюшка сходил за занавеску, надел подрясник, пригладил волосы, кашлянул, наконец вышел и сказал:

— Еще здравствуйте!

— Я, батюшка, к вам поговорить пришла, — торопливо начала Марья Николаевна. — У вас тут в селе школа есть.

— Да-с.

— Там ведь крестьянские дети учатся. Так я вот что придумала: мне бы самой хотелось их учить.

— То есть как-с?

Батюшка откинулся назад и прищурился.

— Да так, просто учить читать, писать; ну, вообще, что сама знаю: географию там, арифметику...

— М-да-с, — размышляя говорил батюшка. — Что же-с? это как вам угодно. Конечно...

— Вот видите ли, мне хочется занятие найти, а то ведь я что же? Я ничего не делаю. Так все равно время... а тут по крайней мере польза.

— Без сомнения, — говорил батюшка, глядя в пол.

— Ну, и девочек я могла бы рукодельям учить... Все-таки хоть что-нибудь.

— Конечно, конечно-с. Только вот изволите видеть... Теперь у нас этим самым делом писарь заведует. Человек он небогатый; ну, а крестьяне тоже много дать не могут: мучки там, или крупиц, кто что.

— Ах, да я, разумеется, даром буду учить, — перебила его Марья Николаевна.

— Нет-с, я насчет писаря-то: что ему-то оно, знаете, помощь, как бедному человеку; ну, а ежели они у вас будут учиться...

Марья Николаевна задумалась было, но сейчас же спохватилась и сказала:

— Да. Но это ничего. Ему можно заплатить. Это ничего.

— Дело ваше, — сказал батюшка и развел руками.

Посидев еще немного, Марья Николаевна встала и ушла.

— Ишь ее разбирает, — говорил батюшка, снимая подрясник.

— Ты про кого? — не расслышав, спросила матушка.

— Да все про нее же.

— Что про нее?

— Зуда. говорю.

— О!

— А это все тот жеребец настраивает — он, непременно.

— Уж это как бог свят.

Вернувшись от батюшки, Марья Николаевна зашла опять во флигель и остановилась в дверях: стряпуха, засучив платье, ходила на четвереньках по комнате и мыла пол. Марья Николаевна постояла немного, осмотрела стены, велела открыть окно и вошла в контору.

— Газеты привезли? — спросила она, входя в контору.

— Чево-с, — крикнул Иван Степаныч, высунувшись в одном жилете из своей каморки, и опять спрятался.

— Привез вчера Александр Васильич из города газеты?

— Привезли-с, — входя в комнату уже в сюртуке, отвечал Иван Степаныч. — Коканцев разбили, этих самых англичан у них отняли, — объяснял он, счищая пух с сюртука.

— Каких англичан?

— Или итальянцев, что ли. Пес их знает. Вообще европейского звания. Военнопленных. Ну, а между прочим, феферу им задали порядочного.

— Вот что, — рассеянно заметила Марья Николаевна.

— Да-с, — прибавил Иван Степаныч. — Теперь все спокойно.

— Что, Яков Васильич дома? — спросила Марья Николаевна.

— Дома, — ответил из-за перегородки Рязанов.

— Можно к вам войти?

— Войдите!

— Я еще у вас тут ни разу не была, — говорила она, входя в комнату.

Она села и посмотрела вокруг.

— Здесь ничего.

— Да, ничего, только блох много.

— А я у себя хочу школу завести.

— Вот как! Что ж, это хорошо!

— Небольшую, знаете, пока.

— Небольшую?

— Пока.

— Да. Пока, а потом и больше?

— Потом может быть и больше.

— Да, да, да.

Рязанов встал и тихо прошелся по комнате: Марья Николаевна следила за ним глазами.

— Школу, — сказал он про себя и, остановившись перед Марьей Николаевной, спросил:

— Для чего же собственно вы желаете ее устроить?

— Как для чего?

— С какой целью, то есть?

— Странный вопрос! Обыкновенно, для чего: это полезно.

— Действительно.

Рязанов еще раза два прошелся из угла в угол.

— И скоро?

— Что скоро? — быстро переспросила Марья Николаевна.

— Да школу-то заведете?

— Я завтра хочу начать. Мне бы, знаете, хотелось поскорей.

— То-то. Не опоздать бы.

— Я уж все приготовила и с батюшкой переговорила.

— Да. Уж переговорили?

— Переговорила.

— Ага. Так за чем же дело стало?

— Ни за чем не стало, только...

— Что-с?

— Да я хотела... как ваше мнение?

— Это о школах-то? Вообще я хорошего мнения. Вещь полезная.

— Нет, я хотела вас спросить о моей школе: что вы думаете?

— Да ведь ее еще нет. Или вы желаете знать мое мнение о том, что вы-то школу заводите?

— Ну, да, да. Что вы думаете?

— Что ж я могу думать? Знаю я теперь, что вам захотелось школу завести; ну, и заведете. Я и буду знать, что вот захотела и завела школу. Больше ничего я не знаю, следовательно и думать мне тут не о чем.

— А если я вас прошу подумать, — сказала Марья Николаевна, слегка покраснев.

— Это еще не резон, — садясь напротив ее, ответил Рязанов. — Почему школа, для чего школа, зачем школа, — ведь это все неизвестно. Вы и сами-то хорошенько не знаете, почему именно школу нужно заводить. Вон вы говорите, — полезно. Ну, прекрасно. Да ведь мало ли полезных вещей на свете. Тоже ведь и польза-то бывает всяческая.

— Стало быть вы находите, — подумав, сказала Марья Николаевна, — что я не гожусь на это дело?

— Ничего я не нахожу. Как же я могу судить о том, чего я не знаю?

Рязанов опять встал и начал ходить.

— Какие это у вас книги?

— Разные-с.

Она взяла одну книгу, развернула и прочла заглавие.

— Что это, хорошая книга?

— Как для кого. Для вас может быть и хороша будет.

— Что же в ней написано?

— Написано-то в ней много, да только все это в двух словах можно бы сказать.

— Какие же это два слова?

— «Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни».

— А больше ничего нет?

— Остальное все пустяки.

— Ну, так я и не буду ее читать.

— Как хотите.

После этого разговора Марья Николаевна ушла домой и до вечера просидела в своей комнате.

VIII

— С этим гуманством, ей-богу, обовшивеешь совсем, — кричал утром Иван Степаныч, швыряя что-то и бегая в конторе из угла в угол. — Гуманничают, гуманничают, точно у них в самом деле тысяча душ, а тут вот человек без рубашки сидит.

— Вы что там ворчите? — спросил его через перегородку Рязанов.

Он пил чай у себя в комнате.

— Да помируйте, это просто беда. Прачка белья не стирает: нечего надеть... Вот извольте, — говорил Иван Степаныч, входя к Рязанову. — Мое почтение! Вот не угодно ли полюбоваться: другую неделю ношу рубашку. На что это похоже? Ну, добро бы зимой, а то ведь, посудите сами, лето; тоже ведь живой человек — потеешь. Чорт их возьми, — говорил он, бегая по комнате. — Прачка! а? Сволочь? Вы видали ее?

— Нет, не видал.

— Вы поглядите! Из Москвы привезли. Так вот мразь самая несчастная, а тоже поди... Небось тоже ведь думает о себе: я женским трудом занимаюсь. А? Кальцоны мои стирает, а сама думает... а? Женским трудом... Хх! Рязанов улыбнулся.

— Не хотите ли чаю? — спросил он.

— Я не пью. Мне вредно. Вон еще школу заводить... Ах, ты! Наведут сюда... Вшей-то что будет. А? Нет, теперь все еще ничего, а поглядели бы вы прежде, как только женился — вот гуманничали-то! По три дня без обеда сидели от этого гуманства. Людишки эти до такой степени испьянствовались... Нагнется вот эдак сапоги взять, да тут же и... и сблюет. Вонь по всему дому. Господи! Всякий день драки. Это у вас какая книжка? Занимательная?

— Послушайте, — не отвечая, сказал ему Рязанов: — вы зачем собаку бьете?

— Как зачем? Нельзя. Я ей говорю: «Танкред. соте», ¹ а она не слушается; «сотё, расподлая твоя душа!» — она сейчас хвост поджала, марш под амбар. Вот подлая какая. Как же ее не бить?

— Нет, вы не бейте. Нынче новая мода пошла, — собак не бить.

— Да это вы про собачье гуманство-то. Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, так она, дьявол, и поноски подавать не будет.

— Будет.

— Да это вы должно быть аглицкого видели понтера. Они, черти, так уж и рождаются с поносской: хвост у него сейчас вот! Природная стойка. Мать сосет, а сам стойку делает.

— Какая природная! Дворняжка простая: знаете бывают лохматые такие.

— Ну?

— Сам видел.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— И подает?

— И пляшет, и поноску подает, и умирает. Что угодно.

— И умирает? Ах, пёс ее возьми! Это занимательно. Как же так это? Расскажите!

— Самая простая штука: есть не дают; и до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят его голодом, потом возьмут вот так палку, а здесь кусочек положат — с о т ё! Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет, а тут ей и дадут кусочек. И таким манером до трех раз, — потом уж и без кусочка будет прыгать.

¹ «Сотё» — «прыгай».

— Н-да. Вот что, — обдумывая, говорил Иван Степаныч: — а это в самом деле должно быть правда.

— Истинная правда.

Рязанов, напившись чаю, пошел в дом; он застал Марью Николаевну в кабинете за работою: она сидела на полу, вся в пыли, обложенная книгами. Он остановился в дверях и спросил: — Александра Васильича нет?

— Он сейчас придет, — весело ответила она. — Здравствуйте!

Она протянула было ему руку, но вдруг спохватилась.

— Ах, нет; не могу вам дать руки, — смеясь говорила она. — Видите, какая чистенькая.

— Ну, все равно! — сказал Рязанов и сел на диван.

Марья Николаевна перебирала разложенные на полу книги, торопливо перелистывала их и некоторые откладывала в сторону. В комнате было жарко, мухи лезли ей в лицо, в рот: она наскоро отмахивалась от них, ни на минуту впрочем не переставая разбирать книги. Пришел повар за сахаром: она не глядя отдала ему ключи и опять с тем же напряженным вниманием принялась за работу. Рязанов поднял с полу первую попавшуюся книгу и развернул: это была книжка «Библиотеки для Чтения» 45 года: он ее положил и взял другую: «Отечественные Записки» 52. Пересмотрев еще десяток, он успокоился; взял лежавшую на столе газету и стал читать.

— Вы читали эти книги? — спросила его Марья Николаевна.

— Читал. А что-с?

— Я прежде тоже их читала, а теперь вот начала было искать, да все как-то не могу добиться настоящего толку.

— Какого же вам толку?

— Мне, видите ли, хотелось прочесть как можно больше о народном образовании.

— А! Вам на что же?

— Да чтобы учить.

— Да! Это школу-то? Ну, так вы напрасно только руки марали: здесь вы не найдете.

— Нет, я уж нашла несколько статей и отобрала. Вот видите?

Рязанов взял поданные ему книжки журналов, конца пятидесятих годов.

— Что ж вы нашли, журнальные статьи-то?

Марья Николаевна стояла перед ним и ждала чего-то.

— Журнальные статьи нашли? — повторил Рязанов.

— Ну, да, статьи о народном образовании. Вот одна, — раз; вот другая, — видите? Вот эта тоже о народных школах. Да тут их много; а как же вы говорите, что нет?

— Я вовсе не о том говорю. Разумеется, есть тут всякие статьи: и о народном образовании должны быть; да только написано-то в них совсем не то, что вам нужно.

Марья Николаевна, держа книги в руках, в недоумении смотрела на Рязанова.

— Послушайте, я не понимаю, что вы сказали. Как, вы говорите: не то написано?

— Не то-с, — ответил Рязанов. — Вы ведь небось, по заглавиям ищете?

— Разумеется, по заглавиям. А то как же еще?

— Ну, никогда ничего и не найдете. Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.

— Как ничего не значит?

— Понимаете, это все равно вот, что вывески такие бывают; вот написано: «Русская Правда», или «Белый Лебедь», — ну, вы и пойдете белого лебедя искать, а там кабак. Для того, чтобы читать эти книжки и понимать, нужен большой навык, — вставая продолжал Рязанов. — На свежую голову, ежели взять ее в руки, так и в самом деле белые лебеди представляются: и школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая х[артия] в[ольностей], и чорт знает что... а как приглядишься к этому делу, ну, и видишь, что все это... продажа на вынос. Рязанов хотел уйти.

— Нет, постойте, — говорила Марья Николаевна, загоразивая ему дорогу. — Вы мне скажите прежде, что же тут о школах-то написано?

Рязанов сел опять на диван.

— Какие там школы? Тут дело идет о предмете более близком. Школа? Это опечатка. Везде, где написано «школа», следует читать шкур а. Вон там один пишет: трудно, говорит, очень нам обезопасить наши школы; он хотел сказать: наши шкуры. А другой говорит: хорошо бы, говорит, выделать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите? А третий говорит: ладаном.

говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство. Это все о шкурах. Ну, а публика, разумеется, так как она очень умна, то этого не понимает и думает, что в самом деле разговор идет о легчайшем способе обучения грамоте. Конечно, ей следует внушать, чтобы понимала.

Марья Николаевна, закусив губы и сдвинув брови, стояла напротив Рязанова и невольно следила глазами за движениями его рук: он медленно, но крепко свертывал в трубку какую-то книжку.

— Как же это так? — спросила она: — ведь это значит, все неправда?

Лицо ее вдруг вспыхнуло.

— Что неправда?

— Да вообще все, что печатается?

Рязанов улыбнулся.

— Что же вы улыбаетесь? Вы скажите! Неправда это все? Я уж буду знать по крайней мере.

— Нет, оно пожалуй кое-что и правда, да только...

— Что только?

— Только надо уметь читать.

— А зачем же так пишут, что нужно еще голову ломать?

— Да что ж делать? — привыкли.

— И вы так же пишете?

— И я так же пишу. Какой же бы я был писатель, если бы я так и валял все, что в голову придет. Этак всякий лавочник сумеет написать... Свет-то, видите ли, так уж устроен, — говорил Рязанов, вырезывая из бумаги какие-то

городочки: — что когда у человека болит живот, то обыкновенно об этом умалчивают: не принято. Повидимому, что ж тут такого? Самое естественное дело, однако не принято говорить о страдании брюшных органов, и кончено. Светские обычаи требуют, чтобы больной в этом случае не объявлял о своем недуге публично. Голова болит — можно сказать, и нога болит — можно сказать, даже бок болит — хоть в присутствии высоких особ можно сказать; а живот болит — нельзя: сейчас выведут. Вот подите же! И ничего не сделаешь: обычай. Светские обычаи требуют от вас, чтобы в то время, когда у вас болит живот, чтобы вы беспечно предавались разным забавам и говорили комплименты; а не можете, ну, сидите дома и скажите, что у вас нервная атака.

— Как это нелепо!

— Вы полагаете? Нет-с, позвольте. Светские обычаи вовсе не так бессмысленны, как вам кажется. Они основаны на глубоком изучении природы человеческой; а натура эта такова, что ежели позволить человеку говорить о боли в животе, тогда только и разговору будет, что об одних кишках. Что же тут хорошего, согласитесь сами! А, главное, этим дело ограничиться не может: сейчас пойдут рассуждения — как, отчего, почему болит? Что ты делал, да что ты ел? Не объелся ли? не надорвался ли с натуги? а что ты такое поднимал? да кто тебя заставлял? Почему ты не позвал другого и не велел ему поднять? — И рад бы велел, да не слушается. — Почему не слушается? — Денег нет. — Отчего у тебя денег нет? — Беден. —

По какому случаю беден? Почему же вот он не беден? Да тут в такую трущобу заберешься, что и не вылезешь.

Марья Николаевна задумалась и, как стояла у стола, так и осталась неподвижною, с книгами в руках. Наконец, она вздохнула, положила книги на стол и сказала как будто про себя:

— Почему я никогда прежде об этом не думала? — и потом прибавила: — послушайте, однако, это ужасно гадко — эти приличия.

— Чем же гадко? Цель их состоит в том, чтобы устранить всякие неприятные, докучные разговоры и сделать жизнь нашу легким и веселым препровождением времени.

— Да я этого вовсе не желаю, — запальчиво сказала Марья Николаевна.

— А! Ну, это другое дело. Так и объявите, что я, мол, этого не желаю.

Марья Николаевна наморщила брови.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной!

— А зачем же вы вздор говорите?

— Я не буду вздор говорить.

— Тогда и я не буду смеяться.

Она улыбнулась и начала перелистывать лежавшие на столе «Отечественные Записки».

— Скажите, пожалуйста, — заговорила она, положив руку на книгу: — что же вы-то здесь видите?

— В этих книжках-то? — спросил Рязанов и подумав отвечал: — вижу я битву на Куликовом поле, слышу стук мечей, стоны умирающих. «Инде татаре теснят россиян, инде россиянин теснит татарина» . . . а еще больше того

вижу подвигов гражданской глупости, собственной мирным россиянам.

— И после этого вы сами можете писать?

— А почему ж мне не писать?

— После того, что вы говорите?

— После этого-то и можно; а если бы ничего этого не было, тогда и писать было бы незачем.

Она молча постояла еще несколько минут, потом вдруг весело сказала, показывая на груды бальявшихся на полу книг.

— Ну, так давайте же убитых-то подбирать.

— Это можно.

И они оба принялись укладывать книги в шкаф.

В это время вошел Щетинин.

— Что это вы тут делаете?

— Тризну справляем, — ответил Рязанов, нагибаясь над книгами.

— Вот-вот! А я вот с живыми-то никак не справлюсь, — говорил он, отпирая письменный стол.

— С живыми труднее, — заметил Рязанов.

— Просто беда. Отпросились в город на ярмарку, да вот другой день не являются. Одного милого человека приказчик послал за покупками... (тоже и приказчик хорош!). Знает, что пьющий человек, нет; дал ему денег, а он вот сейчас только вернулся, пьяный-распьянный; ну и, разумеется, ни денег, ни покупок. Чорт его знает, где он там шляется. Поди вон добейся от него: он лыка не вяжет. Что это за гадость, — говорил Щетинин, роясь в столе.

— Ну, как же теперь быть? — спросил Рязанов.

— Да! Как быть? Нет, скажи-ка ты теперь, как быть? Ты вот все говоришь...

— Что я говорю?

— Да вот, что там взыскивать не нужно, то да сё.

— То да сё, положим, что я мог сказать: а когда же я тебе говорил, что взыскивать не нужно?

— Ну, да разумеется, — неохотно ответил Щетинин.

— Когда же это было?

— Да что тут — когда? Вообще...

— Нет, послушай, скажи, пожалуйста, зачем ты вообще делаешь на меня ложные показания? Ведь тут, брат, свидетели есть: Марья Николаевна налицо.

— Вот еще нашел свидетеля, — полушутя ответил Щетинин.

Марья Николаевна, уставлявшая в это время книги, вдруг оглянулась, опустила руку, пристально посмотрела на мужа, но, ничего не сказав, опять принялась за книги.

Щетинин не заметил этого движения, он повернулся на стуле лицом к Рязанову и продолжал:

— Нет, вот скажи-ка в самом деле: что тут делать, как поступить?

— Это с милым человеком-то?

— Да, с милым человеком. Вот ему доверили деньги, а он их пропил.

— Да ведь я тебе, кажется, говорил уж раз?

— Ты говорил там, к становому¹... это что!

¹ Становой пристав — полицейский чиновник. в ведении которого находилась часть уезда — стан.

— Как, это что? Стало быть, ты находишь законное возмездие неудовлетворительным?

— Нахожу.

— Ну, так сам выдумай какое-нибудь. Что же ты меня-то спрашиваешь?

— Я хочу знать твое мнение.

— Оно тебе ни на что не нужно. Дело идет о том, как отомстить человеку за личную обиду, так зачем же тут еще посторонние советы? Ведь ты ему доверял, он твоего доверия не оправдал, ты обижен, а не я. Я к нему ничего не чувствую. Хоть бы он тебя самого, со всей твоей усадьбой, со всеми угодами и с пустошами пропил, — мне какое дело?

— Ты представь себя на моем месте.

— Да я и представлять не хочу. На что это нужно? Я никогда в таком положении не буду, а если бы и могло это случиться, так почему я знаю, как бы я тогда поступил! Я, может быть, этого милого человека на кол бы посадил, а может ограничился бы тем, что вышиб бы ему только два зуба, а может быть еще сто рублей награждения дал бы ему за это.

— Нет, это все не то. Ты представь себе, что с тобой теперь вот, в настоящую минуту, так поступили.

— Я не понимаю, зачем тебе понадобились эти представления: они ровно ничего не объяснят. Ну, представь ты себе, что тебя в настоящую минуту кто-нибудь медом вымазал! Что бы ты сделал? Представь, что тебя колесом пере-ехали! Представляй, сколько хочешь, что же из этого выйдет?..

— Я одного только понять не могу... — не слушая, говорил между тем Щетинин, ни к кому не обращаясь.

— Чего ты не можешь понять? — спросил Рязанов.

— Не понимаю, почему не сказать прямо. Если бы он мне сказал: я еду на ярмарку, я хочу пьянствовать. Я бы ему, не говоря ни слова, целковый в руки, — ступай, батюшка! Ну, что ж, праздник! Понятное дело, человек работал целый год, трудился — почему ж ему не выпить, не повеселиться на ярмарке? Разве это преступление? Об одном прошу только — скажи прямо! Нет, обманом, видишь ли, лучше. «Помилуйте, я, говорит, теперь закаялся, капли в рот не беру». Согласились, что это подло?

— Что подло? Закаяться?

— Нет, обманывать.

— Соглашаюсь, что вообще, в принципе обманывать подло.

— Ну, вот. Я только об этом и говорю. Скажи прямо!..

— Да. Я вот буду к тебе в карты смотреть, — это ничего; а ты ко мне не смотри, — это подло. А то я, пожалуй, и смотреть не буду: скажи прямо, какие у тебя карты. Это прелестно.

— Совсем не то. Играть, так, по-моему, играть на чести.

— Я не знаю, зачем ты тут такие слова примешиваешь. На чести! Враг всегда поступает подло; и чем подлее, тем больше ему чести.

— Ну, нет, брат. Я не желаю придерживаться таких правил.

— А с твоими правилами главнокомандующим сделать бы тебя. Интересно! Отдал бы ты, например, по армии приказ: ночью напасть на неприятельский лагерь; но ведь это подло? На спящих нападать! стало быть нужно послать адъютанта сказать: ей вы, берегитесь, сегодня ночью мы намереваемся вас всех передушить; так вы смотрите же, не зевайте!

Щетинин не отвечал.

— Или ты, может быть, желаешь уподобиться Аристиду и побеждать врагов великодушием? Так это ты можешь.

— Что ж такое? Ну, желаю.

— Да. Оно, конечно, с одной стороны и возвышенно, об этом что говорить, — да только в хозяйском-то деле, я полагаю, не безубыточно.

— Это мое дело.

— Разумеется. Побеждай их своими боками, сколько угодно. Никто тебе не мешает. Ну, а вот рассчитывать на великодушие противника — это уж, брат, по-моему, штука рискованная.

— Ни на кого и ни на что я не рассчитываю, кроме одного себя, — с недовольным видом сказал Щетинин и опять принялся рыться в бумагах.

— Так о чем же ты толкуешь?

— Ни о чем не толкую, — ответил он резко, но через несколько минут одумался, запер стол, потянулся и, зевая, сказал:

— Так, стало быть, по-твоему, это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил?

— Война.

— И что крюковские мужики лес у меня воруют — это тоже война?

— Война.

— Хм! хороша война, нечего сказать!

— Партизанская, брат, партизанская. Больше всё наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воюет, и крюковские мужики...

— Это всё партизаны?

— Партизаны.

— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошеники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война; а какая она — правильная или неправильная, это уж не наше дело разбирать.

Щетинин опять замолчал.

— Это, брат, Иван Степаныч даже знает, — продолжал Рязанов: — он мне на днях еще говорил: «какая, говорит, штука! Я в «Московских Ведомостях» вычитал: на всем свете война. Вот, говорит, Персия, уж на что, кажется, прошлое государство, а даже и там, говорит, бабы взбунтовались».

Щетинин нехотя улыбнулся и, подумав, сказал:

— Это значит, по-твоему, что хороший прислуги незначем и желать. Так, что ли?

— Отчего же? Желать никому не запрещается. Можешь желать все, что тебе угодно.

— Но ты находишь, что это желание безрассудно?

— Нет. Я нахожу только, что оно немножко оригинально. Это все равно, если бы я пожелал, например, чтобы у тебя вдруг вскочил х о р о ш и й волдырь на лице или чтобы ты схватил х о р о ш у ю горячку. Согласись, что ведь это было бы очень оригинальное желание? Не правда ли?

Рязанов поднимал с полу книги и подавал их Марье Николаевне. Щетинин сидел задом к письменному столу, откинувшись на кресле и заложив руки под затылок; на лице его бродила какая-то неловкая, напряженная улыбка; он молча долго водил глазами по комнате, как бы соображая что-то, наконец кашлянул и заговорил, расставляя слова:

— Вот ты там все толкуешь — то не так, другое не так...

— Да, — нагнувшись над книгами, сказал Рязанов.

— А между тем вот уж скоро месяц, как ты приехал; было ли так хоть один раз, чтобы ты мне подал дельный, практический совет, сказал ли ты мне хоть что-нибудь такое, из чего бы я мог извлечь прямую, действительную пользу? А? Вспомни-ка!

Рязанов поднял кипу книг и, держа ее в руках, отвечал:

— Да. Если ты меня приглашал сюда затем, чтобы советоваться со мною о своем хозяйстве, так я тебя поздравляю.

Сказав это, он передал Марье Николаевне последние лежавшие на полу книги и вытер себе платком руки.

— Ну, разумеется, не за этим, — быстро заговорил Щетинин: — это ты очень хорошо зна-

ешь сам. Нет; я думал, что вообще твои мнения имеют больше... практического основания.

— И ошибся. Это жаль!

— Нет; совсем не то. Я давно знаю, что мы с тобой в некоторых вещах не сходимся; но именно на эту разность-то в наших взглядах я и рассчитывал. Я думал, что, высказывая свои убеждения, ты мне уяснишь мои собственные.

— Мм... — промычал Рязанов.

— Да, — торопливо перебил его Щетинин. — Давно известна поговорка, что *du choc des opinions jaillit la vérité*.¹

— Как ты сказал?

— Я говорю: *du choc des opinions jaillit la vérité*.

— Это не то, что *plenus venter non studet libenter*?²

— Нет, не то.

— Не то! Ну, так что же дальше-то?

— Да нет, видишь ли, — не слушая, продолжал Щетинин: — это ведь само собой как-то делается. Я говорю, ты мне возражаешь, таким образом борются два мнения. Согласись, что тогда и выходит какой-нибудь толк, когда борются два противоположные начала: свет и тьма, добро и зло, плюс на минус...

— Дает минус, брат, минус.

— Да! Ну чорт с ним! Впрочем все равно: дело не в сравнении.

— Конечно. Хорошие практики всегда бывают плохие теоретики.

¹ Из столкновения мнений рождается истина.

² Сытое брюхо к учению глухо.

Марья Николаевна улыбнулась и села.

— Да. Так вот я и говорю, — несколько недовольным тоном продолжал Щетинин:— нужно только, чтобы спорящие взаимно уважали мнения друг друга.

— Это зачем же?

— Как зачем! Если мы не будем уважать мнений один другого, что же это будет?

— Спор будет.

— Нет, уж это, по-моему, драка.

— И по-моему тоже.

— Стало быть в этой словесной драке кто кого побьет, тот и прав?

— Тот и прав. Разумеется. Других споров и не бывает.

— Нет, брат, я таких споров не одобряю.

— Ты, стало быть, такие любишь, чтобы оба были правы?

— Нет. По-моему, если спорить, так спорить так, чтобы не оскорблять противника.

— Правило похвальное. Это что говорить. Только я все-таки не понимаю, к чему ты вел всю эту канитель.

— А я хочу сказать, что вообще я замечаю в последнее время какое-то ожесточение во всех. решительно во всех.

— А прежде не замечал? Так это значит, что ты не только во мне, но и вообще разочаровался в людях. Так?

— Да нет: видишь ли. человек я смирный, я люблю людей и не могу я, ну, просто не могу смотреть на них, как на врагов, против которых надо ежеминутно принимать предосторожности, ежеминутно ждать подкопов... не могу и

этого. Ну, что ты хочешь, вот — не могу, да и все.

Говоря это, Щетинин ни на кого не глядел и перочинным ножом скоблил письменный стол.

— Да; вот, говорят, во дни Соломона, — сказал Рязанов, — жить было хорошо: всякий сидел под кушей своей и под виноградом своим, а царь Соломон сидел на престоле и судил всех сам. Ни споров, ни драк в то время не было.

— А по правде тебе сказать, ей богу лучше было, чем теперь, — заметил Щетинин.

— Кто же виноват, любезный друг, что ты с такими мирными наклонностями и принужден жить в такое военное время? Как же быть теперь? Уж я, право, и не знаю.

— Я, брат, знаю, как мне быть, — вставая, сказал Щетинин.

— Ну, а знаешь, так стало быть и разговаривать не о чем, — тоже вставая, сказал Рязанов и ушел.

Щетинин постоял у окна, посвистал, потом спрятал руки в карманы и, поглядывая себе на ноги, медленно пошел к двери.

— Послушай, — заговорила Марья Николаевна.

— Что тебе?

Щетинин, не оборачиваясь, остановился в дверях.

— По-каковски это он тебе сказал тогда?

— По-латыни.

— Что ж это значит?

— Так, вздор.

Щетинин сделал шаг вперед.

— Нет, не вздор, — вслед ему сказала она.

Щетинин остановился было на одно мгновение, но в ту же минуту поправился и ровным шагом вышел из комнаты.

IX

Наступило самое жаркое время; начался покос, рожь забурела; знойный, удушливый ветер лениво бродил по озерам, чуть-чуть нагибая верхи камышей. А то вдруг закрутит, взвьется кверху черным столбом и пойдет по полям. Небо стояло сине и безоблачно; по ночам грозы бывали.

В последнее время Щетинин стал работать еще больше прежнего. Он проводил целые дни на хуторе или в лесу; домой возвращался большей частью поздно вечером, усталый, измученный, наедался за ужином простокваши и ложился спать. Споры с Рязановым прекратились совершенно; это случилось вдруг, точно по взаимному соглашению. Оба в одно и то же время перестали спорить и кончено. Разговоры стали сводиться все больше на простую передачу сведений, возражения ограничивались легкими замечаниями вроде того, что — да, разумеется, понятное дело: ну, оно, я тебе скажу, а впрочем... конечно... и т. д. Случалось иногда, что Щетинин увлекался каким-нибудь рассказом, а Рязанов слушал молча и рассматривал в это время скатерть, а выслушав, все-таки продолжал молчать. Щетинин не выдерживал и говорил:

— Ты что молчишь? Разве я не знаю, что ты думаешь?

— Тем лучше для тебя и тем приятнее для меня, — отвечал Рязанов и сам начинал рассказывать Марье Николаевне о том, например как они со Щетининым, в бытность свою в университете, учились маршировке.

— Славное это время было, — говорил Рязанов: — кончатся бывало лекции, наслушаешься там всякого этого римского права, соберешь тетрадки и в манеж. Главное, близко, вот чем хорошо. Инспектор об одном только и просит бывало: «не заваливайтесь, господа, ради бога! сделайте одолжение, подайтесь грудью вперед!» Ну, и подашься.

— Особенно хорош, я помню, был, — продолжал Рязанов, — Троицкий один: семинарист, лет тридцати уж он был, из Оренбурга пешком пришел учиться, занимался историей, уж он теперь профессором. Так вот бывало мука-то: не может налево кругом повернуться, что хотите вот. А росту был громадного, сутуловатый, руки длинные. Инспектор пристаёт к нему: «господин Троицкий, стойте прямей! унтер-офицер, поправь господина Троицкого! Чувствуете ли вы локтем товарища?» — Чувствую-с, Федор Федорович, батюшка, чувствую с... — а сам даже зубами заскребет.

— И вы учились маршировать? — спрашивала Марья Николаевна, с особенным любопытством всматриваясь в Рязанова.

— И я учился. И гла-за на-право делал, все как следует. Как же-с.

— Ну, что это? — с недовольным видом говорила Марья Николаевна. — Зачем же вы это делали?

— А чем же я хуже других?

Впрочем, Марья Николаевна этими рассказами не довольствовалась; она всякий раз, когда оставалась вдвоем с Рязановым, старалась завлечь его в серьезный разговор, кроме того, брала у него книги и прочитывала их одну за другой без остановок. Гуляя по саду, она подходила к его окну и вызывала гулять. Иногда они уходили далеко в поле или бродили по берегу. Она расспрашивала его о том, что делалось прежде, что делается теперь, и жадно слушала эти рассказы; при этом лицо ее становилось все серьезнее и сосредоточеннее; иногда она даже плакала, но потом быстро утирала слезы и начинала махать себе платком в лицо. Один раз после такого разговора она спросила Рязанова:

— Послушайте, неужели он этого ничего не знает?

— Как не знать.

— Так почему же он мне этого никогда не рассказывал?

— Не знаю.

— Я ему этого никогда, никогда не прощу,— говорила она, и глаза ее гневно метались кругом.

Домашнее хозяйство шло своим порядком: она им почти не занималась. Щетинин этих прогулок как будто и не замечал; один раз только он спросил жену:

— А что же твоя школа?

— Да я ее отложила до осени, — отвечала Марья Николаевна. — Теперь лето. Кто же будет заниматься? — жарко.

Щетинин посмотрел ей в глаза, но ничего не сказал и начал петь. Она заговорила о другом.

— Почему вы перестали спорить с Александром Васильевичем? — спросила она Рязанова.

— Да вы видите, что ему это неприятно.

— Так что ж такое?

— Зачем же я буду безо всякой нужды раздражать человека?

— Да, это правда. Ну, так вы со мной по крайней мере спорьте. Я очень люблю, когда вы спорите.

Марья Николаевна однако не могла удержаться и иногда при муже начинала какой-нибудь разговор, имеющий свойство вызывать жаркие прения. Рязанов в подобных случаях обыкновенно прекращал в самом начале зарождающийся спор каким-нибудь коротким замечанием, против которого возражать было нечего.

Один раз вечером он сидел в своей комнате и собирался идти гулять; вдруг входит Марья Николаевна.

— Приходите к нам сейчас.

— Зачем?

— К нам гости приехали, и одна барыня тут есть. Мне очень хочется, чтобы вы ее видели.

— К чему же это нужно?

— Ни к чему не нужно, а так... Ну, я вас прошу.

Рязанов пожал плечами.

— Приходите же!

Марья Николаевна подобрала свое платье и побежала в дом.

Рязанов застал гостей на террасе; Марья Николаевна разливала чай; рядом с нею сидела

дама лет тридцати пяти, с худощавым лицом и немного прищуренными глазами, которые она старалась сделать проницательными. Тут же немного поодаль стоял знакомый Рязанову посредник, Семен Семеныч, и разговаривал с мужем этой дамы. Марья Николаевна улыбнулась и познакомила Рязанова с гостями. Он сел к столу. Приезжая дама прищурилась еще больше, но, встретясь глазами с Рязановым, заморгала и начала чесать себе глаз. Посредник в то же время говорил ее мужу:

— Что же мне прикажете делать? Их вон не легкая утаразила: три года сряду горят. Горят и кончено. Что же с них взять?

— Да нельзя ли хоть что-нибудь с них получить, — пристал помещик. — Вы в мое положение войдите: мне жену за границу нужно отправлять. Нельзя ли их переселить, что ли?

— Да вы их сколько раз уж переселяли?

— Что ж такое? Ну, два раза. Эка важность!

— Ну, как же вы хотите? Это бесчеловечно. А третий раз переселите, так и вовсе по миру пойдут.

— Да ведь не то, чтобы в самом деле, а нельзя ли по крайней мере хоть припугнуть их переселением?

— Идите чай пить, — позвала их Марья Николаевна.

— Нет, вот-с, я вам доложу, Марья Николаевна, — говорил посредник, принимая стакан. — Мерси, я без сливок. Досталось мне в участке именье, — Отрада село, — знаете? Две тысячи недоимок, третий год не платят. Что хотите вот! Предместник мой, Павел Иваныч,

бился, бился, так и бросил: ничего сделать не мог. И роту водили, и драли их, — ничего. А я в три недели взыскал все до последней копейки и пальцем никого не тронул.

— Как же это? — спросила Марья Николаевна.

— А очень просто: приехал, созвал, — деньги! Нету денег и кончено. Народ — разбойники. Так нету денег? — Нету. Хорошо. Я сейчас, кто первый попался из толпы, — сюда его. Ты не хочешь платить? — Не хочу. Взять его! Другого: ты не хочешь платить? — Батюшка, отец родной! — Без разговоров! Взять его! Да таким манером отобрал десять человек, — в амбар, на хлеб и воду! Время-то, знаете, рабочее, мужику каждый час дорог, — сиди! Старшине сказал: — ты мне отвечаешь за них. Если ты да хоть одну ракалию выпустишь, — всех сыновей твоих в солдаты! Только ты их и видел. Отлично. А сам уехал. Через неделю приезжаю, — ну что, голубчики? как? — Кормилец, батюшка, помилуй! — Ага! покаяться? что-о? — Прикажи нас наказать! — Нет, зачем же? Я вас наказывать не буду, а вот ступайте-ка вы теперь же, при мне, на село и просите своих, чтобы они вас выручили. — Пустил их: через полчаса семьсот целковых принесли. Прекрасно. Засадить их их еще на неделю! Да ведь я вам скажу, до чего-с: как щепки исхудали, глаза впалые у них сделались. Приезжаю в другой раз: опять та же комедия. В три недели все до последней копейки взыскал.

Кончив рассказ, посредник хлебнул из стакана и самодовольно посмотрел на всех.

— Да, — со вздохом сказал помещик. — Вот ведь вы, Семен Семеныч, для других делаете, а для меня не можете. Это нехорошо-с.

— Да ведь странный же вы человек, позвольте вам сказать, — воодушевляясь, заговорил посредник. — Как же вы своих сравниваете? Ваших сколько угодно сажай, ничего не будет, только с голоду подохнут. Что с них взять? ведь они — нищие.

— Нет; это что-с. Это не отговорка. Желания нет у вас. Вот главное-то что.

— И чудак же вы только, извините меня, — закричал посредник.

Начался спор и продолжался до тех пор, пока пили чай. Рязанов все время молчал.

После чаю пришел батюшка, раскланялся и спросил:

— А хозяин?

— На хуторе.

— По обыкновению.

Марья Николаевна позвала Рязанова в залу и сказала ему:

— Поговорите, пожалуйста, с этой дамой; мне очень хочется знать, что вы о ней скажете.

— Да ведь я, право, не умею с дамами разговаривать.

— Ну, ничего. А как же вы со мной-то разговариваете? Разве я тоже не дама? — смеясь, говорила она. — А знаете, в самом деле, — прибавила Марья Николаевна: — как они мне все стали противны теперь, если бы вы только знали! А делать нечего, надо итти. Пойдемте, — шепнула она ему, выходя на террасу и с улыб-

кою оборачиваясь назад. Потом она взяла гостью под руку, сошла с нею в сад и позвала Рязанова.

Они втроем пошли по аллее. Начинало смеркаться.

— Вы пишете? — спросила у Рязанова дама.

— Пишу.

— Ах, опишите, пожалуйста, здешний уезд!

— Зачем же это?

— Здесь такие гадости делаются, вы себе представить не можете; особенно в суде.

Рязанов молчал.

— Vous n'avez-pas idée, ma chère, ce que c'est, ¹ — сказала она, обращаясь к Марье Николаевне. — Сил никаких нет. Представьте, полгода мужу моему не выдают свидетельства. Пожалуйста, обличите это всё, мсьё Рязанов. Я вас прошу.

— Вот скоро новые суды будут, — заметила Марья Николаевна.

— Je vous en félicite, ² — ответила дама. — Нет, уж избавьте! Знаем мы эти новые. У нас все так. Тоже все кричали: ах, посредники, посредники! Ну, вот вам и посредники. На что они годны, je vous demande un peu. ³ Не может недоимки взыскать! Новые суды! Non, ma chère, on ne nous y prendra plus. ⁴

Они молча прошли еще аллею и повернули к дому.

¹ Вы и представить себе не можете, моя дорогая, что это такое.

² С чем вас и поздравляю!

³ Разрешите спросить!

⁴ Нет, моя милая, этим уж нас не надуешь!

— Вот еще там земство какое-то выдумали,— начала было дама. — Правду Катков говорит, *que c'est une kyrielle. C'est bien vrai, ma chère.*¹ Я не знаю, что это такое. Денег ни у кого нет, *les chemins sont atroces*²...

— Не хотите ли отдохнуть? — перебила ее Марья Николаевна, входя на лестницу.

— Нет-с, вот в Пензе случай был тоже, — говорил батюшка при появлении Рязанова. — Идет по улице духовное лицо-с, а по ту сторону мещанин какой-то пьяный, да вот эдак: — фю-фю-фю! О-го-го! говорит...

Батюшка встал со стула, подперся в бок рукою и представил мещанина:

— Нет-с, как вы полагаете? Мещанина-то ведь за эти дела... тово, сослали. А всего его слов было, что о-г-о-г-о. Так вот он что-с, — заключил батюшка, насмешливо поглядывая на Рязанова.

— Это что, — сказал посредник. — В Саратове случай был. Как я одного молодца оборвал!..

Рязанов вышел в залу.

— Послушайте, нет, вы уйдите отсюда, пожалуйста. Я их видеть не могу с вами вместе, — сказала Марья Николаевна.

— Да я и так хотел уйти.

— Мне досадно, гадко. Простите меня, что я позвала вас сюда!

Рязанов ушел во флигель и лег спать. Часу в двенадцатом пришел туда посредник. Ему приготовили постель в конторе.

¹ «... что это одна канитель. Это так и есть, моя милая».

² «... дороги убийственные».

— А я вам хочу маленькое предложение сделать, — сказал он, входя к Рязанову.

— Какое предложение?

— Не хотите ли завтра со мной прокатиться по участку? Для вас, как для столичного жителя, это будет любопытно.

Рязанов подумал и согласился.

Х

В четвертом часу утра приказчик разбудил Рязанова и посредника. Вышли на крыльцо: погода хмурая, петухи поют, того и гляди дождь пойдет; у подъезда стоит легонький тарантас. Посредник зевает и охает.

— И охота вам! Спали бы, — ворчит Иван Степаныч, в одной рубашке выглядывая из окна.

— Нельзя, батенька, служба, — отвечает посредник.

Сели, поехали.

Народ на селе собирается в поле; сонные бабы с ведрами, овцы, едкий запах свежего дыма, мужики шапки снимают...

— Здорово, — невыспавшимся голосом покрикивает им посредник и засыпает.

Выехали в поле: роса, ветерок подувает, небо с востока покраснело, из побуревших озимей вылетает перепел...

Овраг, заросший орешником, внизу — мост. Пристяжные, понутив головы, шагом спускаются под гору и дружно подхватывают в гору; вдруг сильный толчок: посредник всхрапывает, открывает глаза, бессмысленно смотрит по сторонам и опять засыпает.

Туман поднялся, все чище и чище становится даль, ярче цвета, прозрачнее воздух и встают кругом одно за другим далекие села, леса и озера... Вдруг засверкала роса, загорелась медная бляха на шлеме у коренной и побежали от лошадей по траве длинные черные тени: солнце взошло...

Рязанов глядел, все глядел, как лошади бегут, как жаворонки сверху падают в зеленую рожь и опять, точно по ступенькам, поднимаются выше и выше, как стадо пасется по ко-согору: вопь лежит в ложине свинья, а на свинье сидит ворона.

— Семен Семеныч! а Семен Семеныч!

— Мм?

— Приехали.

— А! Приехали. Где старшина?

— Я здесь, Семен Семеныч. Пожалуйста, я вас высажу.

— Самовар есть?

— Сейчас будет готов.

— Живо! Ну, как у вас? — спрашивает посредник, входя в волостное правление.

— Все слава богу-с, — кланяясь, отвечает старшина.

Писарь, в нанковом пиджаке, сметает рукавом пыль со стола, тоже кланяется и отходит к стенке.

— Хорошо, — говорит посредник, садится и все еще сонными глазами осматривает стены. Лицо у него измято, вдоль лба красный рубец.

Старшина стоит, наклонившись немного вперед и заложив руки за спину.

— Принесите-ка там портфель.

Старшина с писарем бросаются вон из избы.

Солнце начинает сильно пригревать, мухи толкуются в окне; на дворе отпрягают лошадей.

— Вот этот у меня старшина ничего, — говорит посредник Рязанову. — Только неопытен еще, расторопности мало.

— Мм, — отвечает Рязанов.

Старшина бережно, точно боится расплескать что-нибудь, вносит портфель и, положив его на стол, отходит к сторонке.

Писарь на цыпочках крадется к шкафу и вытягивается за спиною старшины.

— Ну, а недоимка у вас как? — спрашивает посредник, надевая себе на шею цепь.

— Плохо-с, — со вздохом отвечает старшина.

— Что ж ты, братец, не понуждаешь?

— Понуждаем-с, — вполголоса отвечает писарь, бесстрастно глядя на посредника.

— Мы понуждаем-с, — уныло склоня голову на бок, повторяет старшина.

— Стало быть плохо понуждаешь, — говорит посредник. — Вон помещик жалуется мне, что вы до сих пор не можете остальных пятисот уплатить с прошлого года, с октября. Ведь это срам!

Писарь стремительно подходит к столу и, порывшись в бумагах, почтительно указывает мизинцем в книгу, говоря:

— С пятнадцатого февраля сего года остается чetyреста девяносто пять рублей семьдесят две копейки-с.

— Ну, да, — подтверждает посредник. — Слаб ты, брат: вот что я тебе скажу, — обратился он к старшине.

Старшина вздыхает.

— Разве, ты думаешь. мне приятно слушать жалобы на вас?

Старшина наморщивает брови и старается не глядеть на посредника.

— Ну, опишут, продадут: что хорошего? Сам ты посуди.

— Хорошего мало-с, — рассматривая свои сапоги, отвечает старшина.

— То-то вот и есть, — наставительно заключает посредник. — Сами вы себя не бережете.

Несколько минут тяжелого молчания.

— О-охо-хо, — вздыхает посредник. — Так как же, брат?

— Чего извольте? — тревожно спрашивает старшина.

— Насчет самовара-то!

— Шумит-с.

Писарь бросается в дверь.

— Н-да, — в раздумьи произносит посредник.

— Все божья воля-с, — со вздохом замечает старшина.

— Да, брат, вот как продадут, тогда и узнаешь божью волю.

Слышно, как в сенях писарь раздувает самовар.

— Дела какие-нибудь есть? — внезапно спрашивает посредник.

Старшина глядит в дверь на писаря и манит его пальцем.

— Есть, вашескородье! — входя в комнату и обчищаясь, говорит писарь. — Жалоба временно-обязанной крестьянки Викулиной сельца Завидовки на побои, нанесенные ей в пьяном виде крестьянином того же сельца, Федором Игнатьевым.

— Разобрали?

— Разобрали-с, — весело отвечает старшина.

— Как решили?

— А так решили, что малость попужали обоих-с.

— То есть как?

— Да то есть хворостом, — уже совершенно смеясь, отвечает старшина.

— А! Это хорошо. Главное, у меня пьянства этого чтобы не было. Слышишь?

— Слушаю-с.

— Еще что?

— Еще-с... — сделав шаг вперед, доносит писарь. — Еще дело о загнании двух свиней с поросятами, принадлежащих удельного ведомства крестьянину Петру Герасимову.

— Кто загнал?

— Здешний обыватель-с. Да Петр Герасимов жалуется теперь, что так как, говорит, во время загнания, говорит, мальчишке его нанесены были побои...

— Ну!

— Но, а здешний обыватель в показании своем показал, что якобы то есть ограничился надраньем вихров-с.

— Да. Ну, так что же теперь?

— Да они, Семен Семеныч, насчет того, то есть, пуще сумлеваются, — вмешивается стар-

шина: — что которые, говорит, например, эти самые свиньи теперь загнаты...

— Да...

— То есть неправильно-с, — добавляет писарь.

— Это так точно, — подтверждает старшина. — Почему что как у них это смешательство вышло, ну, и по заметности...

— Вражда эта у них идет давно-с, — таинственно сообщает писарь. — И собственно на счет баб-с.

— Да что тут! Это прямо надо сказать, такую они промеж себя эту пустоту завели, такую-то пустоту... Ах, никак самовар-от ушел.

Старшина выбегает в сени и приносит самовар; писарь подает чашки и связку кренделей.

— Как же решили дело-то? — спрашивает посредник.

— Да никак не решили, — отвечает старшина, выгоняя из чайника мух. — Кшу, проклятые!.. хотели было они, признаться, до вашей милости доходить...

— Внушение сделано, чтобы не утруждать по пустякам, — добавляет писарь.

— Оштрафовать нужно, — решает посредник. — Ты их оштрафуй по рублю серебром в пользу церкви. Слышишь?

— Это можно-с.

Посредник заваривает чай; Рязанов читает развешанные по стенам циркуляры и списки должностных лиц.

— А главное, — продолжает посредник: — вино. У меня чтобы и духу его не было. Слышишь?

— Слушаю-с,—неохотно отвечает старшина.

— От него все и зло,—рассуждает посредник.

— Это так-с,—утверждает старшина.

Писарь сдержанно кашляет в горсть.

— Пьяный человек на все способен. Он и в ухо тебя ударит...

— Ударит. Это как есть.

— И подожжет.

— Подожжет-с. Долго ли ему поджечь?

— Вон они пожары-то!

— Да, да. О, господи!

— Народ толкует: поляки жгут...

— Толкуют, точно. Ах, разбойники!

— Нет, это не они.

— Да, не они. Где им!

— Это все от вина.

— Так, так. Это все от него, от проклятого. А что я вас хочу спросить. Семен Семеныч.

— Что?

— Теперь который мы помещику оброк платим...

— Ну?

— Народ болтает, колько, говорит, ни плати, все равно это, говорит, что ничего.

— Да. Пока на выкуп не пойдете, это все не в прок. Век свой будете платить и все-таки земля помещичья.

— Вот что! Значит, его же царствию не будет конца.

— Не будет. Что ж делать? Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки! Да еще какие дураки-то!

— Так-то, ребяташки. Сколько я вам раз говорил, — вздохнув, говорит посредник. — Сливки есть?

— Есть-с.

Старшина приносит в деревянной чашке сливки и вытаскивает оттуда мух.

— О, каторжные! Извольте, Семен Семеныч!

— Что, и у вас должно быть много мух?

— Такая-то муха, — беда, — почтительно улыбаясь, отвечает старшина. — И с чего только это она берется?

Посредник с Рязановым пьют чай; старшина смотрит в окно; писарь от нечего делать приводит в порядок лежащие на столе бумаги, перья и сургуч. Молчание.

— Ну, а школа как идет? — спрашивает посредник, прихлебывая из стакана.

— Слава богу-с.

— Учит батюшка-то?

— Когда и поучит. Ничего.

— Много учеников?

— Довольно-таки.

— А сколько именно?

— Да так надо сказать... — старшина вопросительно смотрит на писаря. — С пяток никак есть.

— Вовсе мало-с, — отвечает писарь.

— Не так, чтобы очень много-с, — кивая головой, докладывает старшина.

— Ты за этим наблюдай, — говорит посредник: — чтобы непременно учились. От этого для вас самих же польза будет.

— Известно, польза-с. Типерь который мальчик грамоте знает, и сейчас он это может напри-

мер всякую книжку читать, и что к чему. Очень прикрасно-с.

— Да, вот кабы побольше грамотных было и пьянства бы меньше. Вместо того, чтобы в кабак итти, он стал бы книжку читать.

— Книжку. Сейчас бы книжку читать. Это верно-с.

— Отчего же это так мало охотников-то учиться?

— А так, надо полагать, по глупости это больше-с.

— Что ж, твое дело им внушить, растолковать.

— Я уж довольно хорошо им внушал и батюшке тоже говорил: вы, говорю, батюшка, глядите, посредник вселел: так чтобы нам с вами в ответе не быть.

— А он что?

— Ну, а он, — хорошо, говорит, ступай! У меня вон, говорит, сено-то еще не кошено. Вон он что говорит. Опять и мужички вот тоже из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантонисты хотят.

— Это все вздор. Вы этому не верьте!

— Слушаю-с.

— А что, бумага, которую я намедни прислал, — подписали?

— С-сумляваются-с.

— Вот я тебе покажу, — сумляваются! Какой же ты старшина после этого? Дня через три я назад поеду, так чтобы к тому времени была подписана. Слышишь?

— Слушаю-с, — нетвердо выговаривает старшина.

Посредник начинает потеть и вытирает себе лицо платком.

— А вот я забыл вашей милости доложить: батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?

— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород; садовник их загнал, стало быть это, на двор, запер. Батюшка, значит, сейчас приходит: так и так, как ты мог полковницких телят загонять?

— Каких полковницких телят?

— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.

— Да.

— Ну, теперь это теща его выскочила, телят обнаковенно угнали...

— Ну, что же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: он говорит, у меня на шесть целковых обощин помял, а батюшка теперь за бесчестие с него то есть требует пятнадцать, что ли то...

— Пятнадцать целковых, — подтверждает писарь.

— За какое же бесчестие?

— Ну, тещу его, слышь, обидел.

— Как же он ее обидел?

— Слюнявой, что ли то, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты, — смеясь объясняет старшина. — Ну, а батюшка говорит: мне, говорит, это очень обидно. Пятнадцать целковых теперь с него и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.

— Ну, это я после разберу, — вставая говорит посредник. — А теперь, брат, вот что: велика ты мне лошадок привести.

— Готовы-с!

— Молодец! — говорит посредник, трепля старшину по плечу.

Старшина кланяется, потом вместе с писарем усаживают посредника в тарантас.

На козлах сидит мужик, лошади земские.

— Ты дорогу-то знаешь ли?

— Будьте спокойны.

— Гляди, малый, — толкует мужику старшина: — чуть что, так ты и того, полегоньку.

Мужик самоуверенно встряхивает шапкой.

В это время в конце села показывается небольшая кучка людей. Завидя посредника, они еще издали снимают шапки и, понутив головы, медленно подвигаются к правлению. Впереди всех идет баба, за нею молодой мужик, позади идут старики.

— Это еще что такое? — всматриваясь в них, спрашивает у старшины посредник. — Это, кажется, опять давешние муж с женой, что разводиться-то хотели?

— Они самые-с, — улыбаясь, отвечает старшина.

— Вот, батенька, — говорит посредник Рязанову, — обратите внимание, женский вопрос! Вы как об нас думаете? И мы тоже не отстаем. Можете себе представить, с тех пор, как объявили им свободу, недели не проходит без того, чтобы не приходили бабы с просьбою развести их с мужьями. Потеха.

Старшина с писарем смеются.

— Ну, и что же? — спрашивает Рязанов.

— Да у меня этот вопрос решается очень просто... Здорово, ребятушки, — говорит он просителям, которые в это время подходят к крыльцу.

Они молча кланяются.

— Что скажете?

— К вашей милости.

Баба становится на колени.

— Встань, голубушка, встань! Что валяться? Говори дело! Видно, опять накутила? Старички, сказывайте, как и что!

— Чаво сказывать-то, батюшка, Семен Семенович. Вот баба от рук отбилась совсем.

— Слышишь, что старики говорят? Как тебя, — Маланья?

— Аграфена.

— Слышишь, Аграфена? И не стыдно это тебе?

Баба не выказывает стыда ни малейшего; даже напротив того, окидывает стариков презрительным взглядом—под глазом у ней синяк. Посредник несколько затрудняется.

— Не слухатся, вовсе не стала слухаться, — шамшит сзади старик.

— Ни за скотиной, ни что,—добавляет другой.

— Такая-то озорница баба, беда, — подтверждает старшина.

Посредник качает головой.

— У них вся родня такая непутная, — замечает старшина.

— Как же это ты так, Аграфена? А? — спрашивает посредник.

Баба ничего не отвечает.

— А ты, молодец, что же смотришь? — обращается он к ее мужу. — Ведь ты ей муж, глава.

Муж встряхивает волосами. Лицо у него глупое и печальное, губы толстые.

— Ты должен учить жену, чтобы она почитала старших, — наставляет его посредник. — Да.

Муж насупливает брови и сосредоточенно смотрит в землю, держа шапку в обеих руках.

— А ежели твоя жена не будет стариков уважать, — продолжает посредник, — что же тогда будет? Ну, хорошо ли это? — подумай-ка.

— Вот и я так-то им говорю завсегда, — добавляет старшина, указывая на просителей, — потому нам в законе показано: ты бабу кормить корми, а учить учи!

— Ну, это ты врешь, — останавливает его посредник. — Этого в законе не показано; но мы должны жить в любви и в согласии, потому что так богу угодно.

— Это справедливо-с, — подтверждает старшина.

— Ну да; однако, мне некогда тут с вами растабарывать. Ты, голубушка, дурь-то из головы выкинь. Ежели кто тебя станет сбивать — приди и скажи вот ему, — старшине. А ты, молодец, присматривай за женой и внушай ей почитание к старшим. Ну, теперь поди сюда, Аграфена, и ты, как тебя?

— Митрий.

— Аграфена и Дмитрий, поцелуйтесь и живите, как бог повелевает: любите друг друга,

уважайте родителей, слушайте начальников.
Дай бог вам счастья.

— Семен Семеныч! — говорит старшина.

— Что ты?

— Да уж прикажите ее кстати поучить старичкам-то. Маненько попужать бы ее здесь, в правлении, для страху.

— Нет; пока не нужно. Итак, друзья, ступайте с богом!

Просители кланяются и уходят. Старшина с писарем усаживают посредника в тарантас.

— Ну, совсем, что ли? — спрашивает старшина.

— Совсем.

— Хорошо сели?

— Хорошо.

— Ну, господи благослови! Ямщик. трогай!

— А, дуй вас горой!

Поехали.

— Теперь еще от них много и не требуйте, — говорит Рязанову посредник.

— Да я ничего не требую. Впрочем, и теперь уже успехи заметны значительные.

Разговор не клеится. Посредник понемногу начинает напевать романс:

— «Скажите ей, как дорого мне стоит...»
Здорово! — между пением покрикивает посредник встречным мужикам.

— «И трудно мне...» Откуда везешь? — высунувшись из тарантаса, спрашивает он у мужика, везущего бревна. Мужик торопливо держит лошадь и, скинув шапку, кричит:

— Из Ключей.

— Почему покупал?

Но уже ничего не слышно, что отвечает мужик; видно только, что он дергает лошадь, разевает рот и машет рукою.

— «Скажите ей, как стр-р-рашно сердце ноет...» — снова затягивает посредник.

Едут полем; земские лошади с выщипанными хвостами бегут резво; ноги у них косматые, уши длинные.

— Эх, вы, гусары, — весело покрикивает ямщик, постегивая их по резвым ногам.

Жарко становится. В поле тишь; на небе неподвижно стоят белые облака с висющими в воздухе ястребами.

Посредник перестает петь: одолела его дремота; у Рязанова тоже начинают слипаться глаза...

— Ты что же не кланяешься? а?

Рязанов открывает глаза: деревня; лошади стоят, у тарантаса стоит мужик, посредник его спрашивает:

— Отвалятся у тебя руки—шапку снять? а?

Мужик молчит.

— Мне твой поклон не нужен, — толкует ему посредник. — Вас, дураков, вежливости учат для вашей же пользы, понимаешь?

— Понимаем, — глядя в поле, отвечает мужик.

— А вот, чтобы ты вперед помнил и со всеми был вежлив, я тебя велю на сутки в амбар. Друзья, — обращается посредник к сто-

ящим поодаль мужикам: — отведите этого невежу к старосте и скажите, что, мол, посредник велел его на сутки в холодную запереть.

Два мужика подходят, берут невежу под руки и ведут, не оглядываясь, тихо ведут, держа свои шапки под мышками. Невежа растопырил локти и переваливается из стороны в сторону; ноги у него короткие, босые.

— Трогай, — говорит ямщику посредник.

— Но! милые, — задумчиво вскрикивает ямщик.

Едут молча.

— Все еще из них эту грубость никак не выбьешь, — смеясь обращается посредник к Рязанову.

— Да, — отвечает Рязанов.

Съехали под гору. За речкой другая деревня видна. Попадаются мужики из поля, конные и пешие с косами на плечах.

— Здорово, ребятушки! Обедать, что ли? — спрашивает их посредник.

— Обедать, кормилец.

— Хлеб да соль, — вслед им кричит посредник.

Въехали в деревню. По самой середине улицы лежит что-то большое, покрытое холстиною.

— Стой! Что это? ямщик, открой!

Лежит мужичье тело, в стоптанных лаптях, брюхо у него раздуло, глаза выпучены; в головах у него чашечка стоит, в чашечке — медные деньги.

— Эй, баба, что это за тело?

— Прохожий, родимый, прохожий. Вот уж пята сутки помер, — подходя к тарантасу, от-

вечает баба. — Бог его знает, с чего это он так-то. Пришел с товарищем, начал разуваться, закатился, закатился . . .

— Где ж товарищ?

— В избе сидит, воет.

— Сотник донес становому?

— Донес.

— Что ж он?

— А бог его знает, что он.

— Пахнет покойником-то?

— И-и, беда! Ишь, раздуло как.

— Ну, царство небесное, — вздохнув, говорит посредник и бросает в чашку двугривенный.

— Трогай!

Опять полевая дорога, жара и пыль, вьющаяся из-под лошадей; чахлый кустарник вдоль оврага; мужики, вереницею далеко стоящие в траве и дружно машущие косами; жидкий осиновый лесок, с кочками, комарами и небольшими лужицами зеленоватой воды между кочек. Сейчас же за осинником начинается село, разбросанное по кособогу; за речкой стоит старый помещичий дом, с серыми стенами, зелеными ставнями и развалившеюся деревянною оградой; немного дальше, в ложине, другой маленький, новенький, с молодым стриженным садом и с купальнею на пруду. Дальше еще — барская усадьба; длинный, неуклюжий дом, с галлереями, колоннами, выбитыми окнами и провалившеюся крышею; на кособоге виднеется еще дом, с соломенною крышею, но все-

таки барский: ходят по двору тощие борзые собаки, клопочут индейки, попадаются и дворовые люди, с длинными примазанными висками, в казакилах.

— Помещиков, помещиков-то здесь . . . — как будто всматриваясь во что-то, говорит посредник.

— Много?

— Как собак.

— И хорошие помещики? — немного помолчав, спрашивает Рязанов.

— Куды к чорту хорошие! Все голь одна. Разорено! . . . Гроша ни у кого за душой нет.

— Значит, все погибло, кроме чести.

— Нет; тут все, тут уж и честь погибла. Да и какая там честь, когда нечего есть. Поверите ли, — вдруг оборачиваясь к Рязанову, говорит посредник: — обидно! за своего брата, дворянина, обидно.

— Я думаю.

— Нет, ведь что они только делали, если порассказать; да и до сих пор что делают с этими несчастными крестьянами! Вы себе представить не можете, что за народ. Где только можно прижать мужика, уж он прижмет, своего не упустит.

— Ну, а мужики-то свое упускают?

— Разумеется, если правду сказать, и мужик себя в обиду не даст: не тем, так другим, а уж доедет и он помещика.

— Стало быть здесь происходит взаимное доезжание. Ну, а вы-то что же тут?

— Как что? Да ведь роль мирового посредника состоит . . .

— В чем-с?

— Ну, в разбирательстве там разных недоразумений.

— Из-за чего же возникают эти недоразумения?

Да ведь вот вы видели: из-за разных там потрав и так далее.

— Одним словом, из-за имущества. Так ведь?

— Да, так.

— То есть одному желательно приобрести то, чего другой вовсе не желает отдавать. Из-за этого?

— Ну, да.

— Так в чем же тут может быть недоразумение? В том, что ли, что в душе-то я и желал бы отдать вам эту вещь, но мне кажется, что я не желаю. Так, что ли?

— То есть как?

— Да вот я, например, возьму у вас эту подушку и думаю себе: не отдам я ему; лучше я сам на ней буду спать. А тут приходит такой прозорливец и говорит мне: это — недоразумение. Ты хотя и думаешь, что тебе не хочется отдать Семену Семенычу его подушку, но тебе это только так кажется, а в душе ты сам этого желаешь и даже после будешь благодарить меня, что я велел тебе возвратить эту вещь ее законному владельцу. Так-с?

— Разумеется, оно... видите ли... да я вот вам случай расскажу. Есть тут у меня в участке имение, в котором я должен сделать разверстание угодий; вот я и хочу приступить, а земля-то, оказывается, принадлежит крестьянам с незапамятных времен. Деды еще их купили на свои кровные деньги; но так как они сами тогда были

помещичьи и не имели права владеть землею, то и купили на имя помещика. Тот помещик давно умер, а нынешний владелец ничего знать не хочет.

— Ну, и что же-с?

— Да то-с, что отнимут ее у крестьян, то есть не отнимут, а заставят ее выкупать.

— В другой раз?

— Да; в другой раз. Что ж прикажете?

— А вы то что же?

— Да я тут ничего сделать не могу.

— А губернское присутствие?

— И оно тоже ничего не может, потому что в подобных случаях принимаются в расчет только одни письменные документы. Нет, мое-то положение представьте себе! Я говорю крестьянам: владелец желает отдать вам вот такой-то участок, а они мне отвечают: да ведь это вся земля-то наша.

— И вы уверены, что она действительно им принадлежит?

— Да как же! Совершенно уверен.

— А все-таки говорите, что владелец дает вам такой-то участок?

— А все-таки говорю. Что ж делать-то?

— Да. Это действительно недоразумение. И все в таком роде?

— Что?

— А недоразумения-то?

— Да почти что...

— Мм... Деятельность почтенная.

В это время тарантас поравнялся с помещичьей усадьбой: новенький домик, крытый соломой под шетку, вокруг с десяток моло-

дых лип; тут же неподалеку новая изба, сарай и амбар. На дворе стоит сам владелец, седой, в архалуке, без шапки, кланяется.

— Мое почтение! — крикнул ему посредник и сделал ручкою. — Вот анафема-то, — прибавил он, обернувшись к Рязанову. — То есть такая треклятая бестия, я вам скажу, что вы и в Петербурге ни за какие деньги не сыщете. Замечательная бестия! Он какие штуки делает, например: снял он полдесятины земли у кого-то подле самой дороги, посеял там овса что ли и караульщика посадил караулить. Как только скотина пойдет мимо, уж непременно какая-нибудь заденет, или шипнет, — караульщик сейчас ее цап. Потрава! Ну, и берет штраф. Вот ведь шельма какая! А начнешь ему говорить, — помилуйте, говорит, что ж, ведь я человек не богатый; меня всякий может обидеть. Я этим только и кормлюсь. Ну, что вы тут сделаете с таким человеком? Остается плюнуть.

За усадьбою пошли крестьянские зады, с гумнами и конопляниками; кузница, мельница на пригорке.

— А вот сейчас будет дом тоже одного любопытного субъекта, — объяснил посредник. — Представьте, он что сделал: когда получен был манифест об освобождении, и он, разумеется, получил, прочел, потом сейчас же запер в стол и говорит своим людям: «если кто-нибудь из вас да посмеет только пикнуть об этой воле, — запорю».

Вправо показался помещичий дом, стоящий задом к лесу, выкрашенный дикою краскою

с белыми разводами. Собаки выскочили со двора и бросились под лошадей.

— Знаете что? — заедемте обедать к одному господину. Мне же кстати нужно к нему для соглашения с крестьянами.

Рязанов согласился; посредник велел ямщику завернуть на двор. На крыльцо вышла баба с лоханкою выливать помои.

— Дома барин? — спросил ее посредник.

— Дома, — сказала баба, выплеснув помои.

— Ну, тоже и этот гусь хорош, — сказал Рязанову на ухо посредник, вылезая из тарантаса. — Наш брат, военный.

В передней никого не было, только охотничий рог да волчья шкура висели на стене. В зале, среди комнаты, стоял сам хозяин, еще молодой человек, с подвязанной щекой, и жаловался на зубную боль.

— Ничего говорить не могу, — сказал он, придерживая щеку. — Садитесь, пожалуйста.

Посредник спросил его о деле и намекнул насчет обеда.

— А я вот ничего есть не могу третьи сутки: зуб смерть болит. Впрочем, я сейчас велю.

Подали водки и огурцов.

— Вы бы выдернули, — посоветовал посредник.

— Ммм... — застонал хозяин и замахал рукою. — Боюсь.

Посредник вздохнул и выпил водки; Рязанов тоже выпил. Помолчали. Хозяин ходил по комнате и плевал в угол. Через час принесли битки и яиц всмятку. Поели.

— Нельзя ли кликнуть мужиков? — спросил посредник.

Хозяин скрылся. Кликнули мужиков; посредник вышел к ним на крыльцо и начал соглашать их с помещиком. Мужиков было немного: всего человек пять; однако они не соглашались. Посредник несколько раз входил в комнату, весь красный и в поту, выпивал наскоро рюмку водки и, закусывая черным хлебом, вполголоса говорил хозяину:

— Ничего не поделаешь. Главное, этот, анафема, кузнец. Да вы прикажите его удалить.

— Ах, да вы не слушайте их, делайте что нужно, — отвечал хозяин, сходяв предварительно в угол.

Посредник задумался, пожал плечами и опять отправился на крыльцо, но через несколько минут вернулся, говоря, что мужики еще требуют лугов. Хозяин выслушал, не говоря ни слова, потом вышел на крыльцо, сделал из своих пальцев какой-то знак и молча показал его мужикам. Мужики посмотрели и тоже ничего не сказали.

— Ну, что, православные, видели луга? — спросил их посредник, когда хозяин вернулся в комнаты.

— Видели, — отвечали мужики.

— Вот то-то и есть.

Хозяин ходил по зале, придерживая щеку и покачивая головой из стороны в сторону. Вдруг он повернулся, опять вышел к мужикам и, сдвинув со рта повязку, сказал кузнецу в самую бороду:

— Вот только что у меня зубы, а то бы я тебе показал. Моли бога, что зубы болят.

Кузнец попятился.

Соглашение состоялось до заката солнца, и все-таки ничего из этого не вышло. Наконец посредник махнул рукой и велел подавать лошадей.

Поехали. Стало смеркаться.

— Куда ж теперь ночевать? — спросил у ямщика посредник.

— Да в волостную, к Петру Никитичу. Больше некуда.

— Ступай к Петру Никитичу.

— Там покой, — заметил ямщик.

— Что-о?

— Спокой, мол.

— Чорта там покой, — недовольным голосом сказал посредник. Он был расстроен, но, приехав в волостную, несколько успокоился действительно.

Писарь, отставной солдат, собрался было спать. Зажгли свечку, послали за старшиной.

— Поглядите, — говорил посредник Рязанову. — Сейчас придет Петр Никитич. Вот, голова-то, министр! Что, нерешенные дела есть какие-нибудь? — спросил он у писаря, уже стоявшего на вытяжке у двери.

— Никак нет, вашескородие.

— Стало быть все благополучно?

— Точно так, вашескородие.

— Вот видите, — сказал посредник Рязанову, самодовольно улыбаясь. — Уж я наперед знаю, что у Петра Никитича все в порядке; ни одной жалобы, ни драк, ни пьянства, ничего.

— Что же, тут общество трезвости, что ли? — спросил Рязанов.

— Нет, какое там общество! Тут в третьем участке вздумали было крестьяне зарок дать (это еще до меня, впрочем): ну, и чем же кончилось? — передрали только их за это, больше ничего и не вышло. Теперь опять такое пьянство пошло, просто мое почтение. А здесь нет пьянства, благодаря распорядительности Петра Никитича.

Писарь во все время неподвижно стоял у двери и только иногда подходил к столу, ловко плевал себе на пальцы и, расторопно сняв со свечи, опять уходил к двери; кашлять и сморкаться отправлялся в сени. В комнате было душно, маятник стучал медленно, поскрипывая и задевая за что-то, по стенам сидели мухи; на улице далеко где-то слышалось пение; в сенях кто-то возился и сопел...

— А что, не залечь ли нам на боковую, — зевая, сказал посредник, но в это время, мерно стуча сапогами, вошел старшина, поклонился и стал среди комнаты.

— Вот-с, вот вам рекомендую, — показывая на него рукою, сказал посредник.

Старшина, небольшой плотный мужик, с проседью и спокойным лицом, еще раз поклонился и заложив руки назад, молчал.

— Ну, Петр Никитич, как у вас, все благополучно? — спросил, улыбаясь, посредник.

— Все благополучно-с, — степенно отвечал старшина.

— Что уж и говорить про тебя! Разве у тебя бывает когда-нибудь неблагополучно?

— Случается-с.

— Ну, полно!

Старшина почтительно улыбнулся.

— А насчет той бумажки, что я прислал, как? подписали?

— Подписана-с.

— У тебя, значит, без сумленья?

— У меня этого нет-с.

— Молодец!

— Нет, вот я вам про него расскажу анекдот, — говорил посредник. — Праздник тут был в селе; мужики обыкновенно перепились. А он, надо вам сказать, заранее их предупредил: смотрите, говорит, праздник придет, пить можете, гулять сколько угодно, ну, только чтобы безобразия у меня не было никакого. Хорошо. Вот перепились мужики так, что многие валялись на улице. Он их всех велел подбирать и — в амбар. На другой день у них, разумеется, голова с похмелья трещит. Петр Никитич мой ведет их к церкви, ставит на паперть на колени и по сту поклонов каждому велит сделать. Молитесь! я, говорит, наказывать вас не буду, а вот помолитесь-ка богу, чтобы он простил ваше вчерашнее безобразие. Ну, те, делать нечего, кладут поклоны, а он стоит да считает. Так, я вам скажу, мужики мне говорили: лучше бы, говорят, он нам по двадцати пяти розог дал, только бы не заставлял поклоны класть, потому, понимаете, с пьяной-то головой каково это? Да, молодец, молодец Петр Никитич, — говорил посредник, трепля его по плечу.

Петр Никитич спокойно улыбался.

— Ну, брат, как бы нам теперь постель соорудить?

— А я уж приказал там на дворе приготовить. Спокойнее будет-с.

— Отлично, брат.

— Приказов никаких не будет?

— Нету, брат; какие там приказы? Вот завтра уж поговорим.

Старшина пожелал спокойной ночи и ушел...

— Ты, брат, тоже ложись, — сказал посредник писарю.

— Слушаю, вашескородие, — ответил писарь и повернулся налево кругом марш — спать. Посредник вышел. Рязанов посидел, посидел и тоже пошел на двор. В сенях кто-то бродил и шарил впотьмах.

— Кто это? — спросил Рязанов.

— Это я, — сказал посредник и запел: тра-ра-та-та.

Рязанов прошел на двор. Там под навесом была уже приготовлена постель. Он начал было раздеваться и вернулся опять в комнату взять пальто. В сенях он наткнулся на ямщика, которого посредник выпроваживал, говоря:

— Шел бы ты себе, любезнейший, спать к лошадям.

— А вот я зипунишко захвачу. Агафья, посто-кась, где он тут был, зипун-то у меня? — говорил ямщик сонным голосом, отыскивая впотьмах зипун. — Ах, проклят он будь! Вот он! Ты на что у меня зипун унесла? Агафья!..

На другой день рано утром Рязанов сидел в комнате и пил чай; в сенях посредник разговаривал с мужиками, приходил в комнату,

прихлебывал из стакана чай и опять уходил, и все что-то горячился. Мужики все что-то возражали сначала, но потом стали стихать больше и больше, наконец совсем стихли; остался только один угрюмый, монотонный голос, бесстрастно и ровно звучащий в ответ посреднику. Этот голос не умолкал. Посредник стал горячиться и кричать, голос не умолкал... Вдруг:

— Ах, ты!

Баб, баб, баб, — раздалось в сенях, и голос умолк. Тихо стало.

Рязанов, не допив стакана, взял фуражку и вышел из комнаты. В сенях стояла толпа мужиков и взбешенный посредник; с полу вставал мужик, дико ворочая глазами; поодаль, так же спокойно и самоуверенно, заложив руки за спину, стоял Петр Никитич.

Рязанов вышел на улицу, завернул в первые ворота и нанял мужика довести до Щетинина.

К вечеру они приехали. Марья Николаевна увидела его в окно, побледнела и выбежала на крыльцо.

— Что случилось? — крикнула она, протягивая руки.

— Да ничего, — спокойно отвечал Рязанов. — Он там драться стал... Ну, я и уехал. Бог с ним!

Щетинин тоже вышел на крыльцо.

— Что такое?

— А то, что вот он... приехал, — задыхаясь, говорила Марья Николаевна.

Она не могла скрыть своей радости.

Щетинин холодно поглядел на нее, потом на Рязанова и пошел в комнату.

XI

Марья Николаевна сидела в зале за роялью и одною рукою брала аккорды; Рязанов ходил по комнате; прямо в окна ударяло заходящее солнце.

— Что, Александр Васильевич ничего вам не говорил? — спросила Марья Николаевна, наклоняясь грудью на рояль.

— Ничего. А что?

— Н-нет. Я так только спросила.

Она взяла еще несколько аккордов и остановилась.

— А знаете, — сказала она: — вы это отлично сделали, что уехали от него.

— Что ж тут особенно хорошего?

— Понимаете, теперь весь уезд про это узнает. Скандал. Вот что хорошо.

— Я вовсе об этом и не думал.

Рязанов опять начал ходить. Марья Николаевна, размышляя и улыбаясь в то же время, говорила про себя:

«Это мне очень, очень понравилось, — потом приложила палец к губам, еще подумала немного и сказала так же тихо: — очень... вообще все хорошо», потом вдруг ударила по клавишам и громко, с лихорадочною силою заиграла марсельезу.

Эти звуки в одно мгновение преобразили ее: глаза засверкали, она вся вытянулась, подняла голову и, грозно нахмутив брови, смело бросала свои красивые загорелые руки. Сделав последний внезапный переход, она прижала педаль и с новою силою ударила по клавишам.

Все лицо ее сияло небывалою отвагою... Она кинула на Рязанова самоуверенный, вызывающий взгляд и остановилась.

Рязанов тоже остановился.

— Привычка-то что значит, — сказал он, подходя к роялю. — Вот вы заиграли марш, мне сейчас же и представилось, что вот тут, рядом со мною, ходит фельдфебель и твердит: левой, правой, левой, правой...

— Что вам за охота вспоминать об этих фельдфебелях? — с неудовольствием ответила Марья Николаевна.

— Нет, изредка ничего. Это освежает мысли.

Марья Николаевна посмотрела на него и спросила.

— Да вы знаете ли, какой это марш?

— Знаю.

— Так что же вы говорите?

— Я ничего не говорю.

— Однако, вы должны же согласиться, — вставая сказала она, — что и марши бывают разные.

— Еще бы!

— И этот совсем не то, что дармштадтский, например?

— Разумеется. Но какой бы он там ни был, а все-таки марш; следовательно, рано или поздно будет «стой — ровняйся» и «смирно» будет; и этого никогда не нужно забывать.

— Я и не забываю.

— То-то же. Стало быть не из чего и горячиться.

Марья Николаевна замолчала; постояв немного перед Рязановым и соображая что-то,

она отошла к окну и взглянула на солнце, которое в эту минуту кровавым пятном опустилось над лесом и нижним краем своим уже касалось его зубчатых верхушек; несколько минут она прямо, не моргнув ни разу, смотрела на солнце, озарявшее все лицо ее грозным красноватым светом.

— Вы понимаете, что я делаю? — спросила она, не шевелясь.

— Что?

— Я хочу его переглядеть, — она указала на солнце. — Знаете, такая игра есть: кто кого переглядит.

Рязанов ничего не отвечал; прислонившись плечом к косяку, он глядел на нее сбоку: она попрежнему стояла неподвижно, положив обе руки на спинку стула и слегка закинув голову, вся облитая горячим сиянием, и продолжала упрямо, почти с дерзостью смотреть на солнце. Наконец лицо ее стало напряженнее, брови сдвинулись, она вдруг быстро заморгала, закрыла глаза руками и отвернулась от окна.

— Ну, что? — спросил Рязанов.

— Не переглядела, — ответила она и засмеялась.

Рязанов тоже отошел от окна.

— Какая глупость мне пришла в голову, — продолжала она, не отрывая глаз, — когда я смотрела на солнце. Я вспомнила, как меня в детстве пугали господом богом: мне тогда говорили, что и на него тоже нельзя смотреть.

— И вы верили?

— Нет; я и тогда не верила. Мне все это как-то смешно было. У моей няньки иконка

была: бог-отец, сидящий на воздухе; только воздух был так гадко нарисован, точно будто Саваоф сидит на яйцах. Нянька меня, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

— А теперь-то вы не боитесь его?

— Конечно, не боюсь.

— Да так ли это? Подумайте-ка хорошенько! Может быть, это вы только так храбритесь.

— Какой вздор! Не только старика, я и вас даже не боюсь. Я вас только . . . уважаю . . .

Последнее слово она произнесла почти шопотом, как будто нечаянно обронила его, и в то же время бросила быстрый, пугливый взгляд на Рязанова.

Он стоял потупившись и щипал свою бороду.

— Пойдемте куда-нибудь, — вдруг сказала она, сделав движение к двери.

— Куда же?

— Да куда-нибудь, все равно, только уйдемте отсюда!

Рязанов пристально посмотрел на нее.

— Что же вам здесь-то не сидится? Кто вам мешает?

— Все мешает: стены, потолок, все. Я хочу теперь итти, итти куда-то дальше, дальше . . .

Она остановилась.

— А вы знаете, что я вас теперь совсем не вижу, — говорила она, прищурясь. — Вместо лица у вас теперь зеленое пятно. Ах, как это странно! Ну, пойдемте же!

Она сбежала с террасы в сад и оглянулась: Рязанов задумчиво и медленно спускался

с лестницы, продолжая одной рукой щипать свою бороду.

Она подождала его и, когда он поровнялся с нею, спросила:

— А как вы думаете, Александр Васильевич боится старика или нет?

— Я думаю, что боится.

В это время тихими шагами, с нахмуренным лицом, в зал вошел Щетинин и, засунув руки в карманы, остановился в дверях, потом вышел на террасу и начал было спускаться с лестницы, но на последней ступеньке остановился, поглядел вслед Марье Николаевне с Рязановым, приложил к носу палец, подумал и вернулся.

XII

На дворе все еще жары стоят; жнитво пошло. У Марьи Николаевны с Рязановым все разговоры идут, и конца нет этим разговорам.

— Господи, что ж это такое будет? — вслух рассуждает сам с собою Щетинин, прохаживаясь из угла в угол в своем кабинете.

Полдень. На берегу озера, под тенью, на траве сидит Рязанов и, не двигаясь, смотрит в воду; солнце печет; по ту сторону, из-за кустов, белеет песок, поросший лопушником; у самой воды, пугливо оглядываясь кругом, сидит цапля; где-то кто-то в жилейку дудит. В двух шагах от Рязанова, прислонившись к дереву плечом, с зонтиком в руке, стоит Марья Николаевна: по лицу ее и по белому платью мед-

ленно, почти незаметно бродят прозрачные тени. Глаза у нее полуоткрыты: ей трудно смотреть на свет; она утомлена зноем и тяжкою полуденною тишиною. Они оба молчат.

— Когда это лето кончится! — говорит она, безнадежно глядя в даль. — Хоть бы уехать, что ли, куда-нибудь.

— Не всё ли равно: летом везде жарко, — помолчав, говорит Рязанов.

— Я воображаю, каково теперь этим несчастным бабам жать на такой жаре.

— Да-а.

— Ужасно!

— Вы бы им зонтики купили.

Марья Николаевна нахмуривается, потом вдруг опускает зонтик и застегивает его на пуговку.

— Не хочу больше зонтика носить. Поле подарю.

Рязанов улыбается.

— Кому же это на зло?

— Никому; себе самой.

— Да ведь им-то от этого не легче.

— Кому?

— Бабам-то. Они все-таки без зонтиков останутся.

Марья Николаевна молчит и, крепко стиснув зубы, порывисто тычет зонтиком в землю.

— Зачем же вы чужой зонтик ломаете?

— Какой чужой?

— Да ведь это Полин.

— Это... это я не знаю, что такое, — быстро поднимая голову, говорит Марья Николаевна и уходит домой.

Сумерки. Рязанов сидит в своей комнате у окна и, подпершись локтями, смотрит в сад. К окну из сада подходит Марья Николаевна.

— Что вы тут сидите?

Рязанов подбирает свои локти.

— Какая скука!

— А вы бы музыкой занялись.

— Какой вздор! Разве музыка поможет.

— Ну, книжку почитайте!

— Всё это не то вы говорите.

— Чего же вам нужно?

— Сама не знаю. Мне как-то всё это... грустно мне очень.

Рязанов ничего не отвечает.

— Понимаете, — скороговоркой продолжает она: — я знаю, что все это никуда не годится, что нужно что-то такое делать, поскорей, поскорей... Ну, может быть не удастся... страдание... Что ж такое? Это ничего... По крайней мере знаешь, за что. А то, что это такое? Я хочу жить. Что же вы молчите?

— Что же мне прикажете говорить?

— Скажите что-нибудь!

— Да разве на это можно отвечать сколько-нибудь основательно: вы сами посудите!

— Да вы хоть так, неосновательно ответьте!

— Что же толку-то будет?

— Все толк, толк...

— Странная вы женщина! Да ведь сами же вы его добиваетесь.

— Ну, да, да. Разумеется. Не слушайте меня: я сама не знаю что говорю. Прощайте!

Вечер. На террасе сидит Марья Николаевна и готовится чай. Рязанов на другом конце просматривает только-что привезенные газеты. Входит Щетинин, бросает на них небрежный взгляд, стоит несколько минут на середине террасы, зеваает и говорит:

— Однако вечера-то прохладные стали. Сыро, я думаю, гулять.

Молчание.

— Не наливай мне чаю: я не хочу, — говорит он жене. Она молча отодвигает его стакан в сторону.

— А вы хотите? — спрашивает она Рязанова.

— Что-с? — очнувшись, спрашивает он.

— Чаю хотите?

— Хочу.

Он подходит к столу и, всматриваясь в Щетинина, подвигает себе стул.

Щетинин задумчиво стучит по столу пальцами.

— Ну, что в газетах? — спрашивает он, не глядя на Рязанова.

— Да ничего особенного; по части внутренних дел все хорошо: усмирение идет успешно, крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются. Ну, а в европейской политике небольшое замешательство вышло по случаю того, что Наполеон опять имел с Бисмарком дружеское шептание.¹

¹ Мечтая завладеть Рейнской Пруссией, Наполеон III сблизился с Россией и Австрией. Бисмарку было очень важно ослабить Наполеона, и чтобы спровоцировать его вмешательство в польский вопрос, он заключил 8 февраля

Марья Николаевна улыбается. Щетинин сидит, опершись на руку щекою, и смотрит на лепешки; потом берет одну из них, разламывает и говорит:

— Как этот Степан стал скверно лепешки печь — просто ни на что не похоже: точно деревянные.

На это никто ничего не отвечает.

— Маша, ты хоть бы сказала ему, что ли.

— Ты бы сам сказал.

Щетинин, не поворачивая головы, а подняв только брови и скосив глаза, долго смотрит на жену; она очень внимательно пьет чай.

— О-охо-хо, — насильно зевает Щетинин. — Когда же это мы в лес-то соберемся, — опять заговаривает он, немного погодя. — Собирались, собирались, так и не собрались. Вот и Иван Павлыч с женою тоже хотели с нами.

— Что за лес, — вполголоса замечает Марья Николаевна.

— Нет; оно бы хорошо, знаешь, съездить эдак чаю напиться, отдохнуть. А? Как ты думаешь, Рязанов?

— Да, ничего.

— Ну, вот видишь! Вот и он тоже согласен, Маша!

— Что?

— И он с нами поедет!

— Ну, и пусть его едет. Мне-то какое дело?

— Да ведь ты прежде сама это любила.

1863 года соглашение с Россией о совместном действии против поляков, в результате чего вскоре последовали совместные ноты Франции, Англии и Австрии в защиту Польши, вызвавшие охлаждение России к Франции.

— Прежде!..

— Нет; я думал... одним словом... чорт знает, ужасно как-то здесь... душно, — внезапно сдерживая с себя галстух, говорит Щетинин и встает из-за стола.

— Вот осень придет, — рассуждает он сам с собою, стоя уже на другом конце террасы и глядя в сад: — здесь еще нужно акаций подсадить, а то пусто как-то оно... выходит. Опять эти мужики проклятые, — раздражительно произносит он, заметив подходящих к крыльцу мужиков, — когда они меня оставят в покое? — говорит он, хватаясь за голову, и уходит.

На террасе опять наступает молчание. Рязанов, прочитав письмо, рассматривает конверт.

— Что вы рассматриваете? — спрашивает его Марья Николаевна.

— Печать смотрю. Скверный какой нынче сургуч стали делать.

— А что?

— Да не держится.

— Послушайте, сколько стоит дорога отсюда до Петербурга?

— Это смотря по тому, как ехать.

— Ну, самый дешевый способ?

— Рублей пятьдесят.

— Только-то! Это ничего.

— Уж вы не собираетесь ли?

— Н-не знаю. А что?

— Ничего...

Марья Николаевна пристально всматривается в него.

— А что бы вы сказали, если бы я поехала?

— Ничего бы не сказал. Я не знаю, зачем бы вы поехали.

— Не знаете?

— Не знаю.

— Гм.

Марья Николаевна придает своему лицу небрежное выражение, встает из-за стола и, напевая что-то, подходит к перилам террасы; долго стоит, опершись обеими руками, и, прищурясь, всматривается в картину, широко раскинувшуюся позади сада: на синие озера, подернутые вечерним туманом, на лиловатые кучи столпившихся на западе облаков и бледное, мало-по-малу холодеющее, небо... В саду наступила тихая, росистая ночь, и на дворе совсем стало тихо; только слышно, как во флигеле Иван Степаныч играет на скрипке «Коль славен наш...»

— Любили вы когда-нибудь прежде? — вдруг оборачиваясь к Рязанову, спрашивает Марья Николаевна.

— Нет.

Она долго и недоверчиво смотрит ему в лицо.

— Отчего?..

— Некого было.

Она медленно поворачивается к нему спиной и, нагнувшись лицом к перилам, почти шопотом спрашивает:

— А теперь?..

— Н-н...

— Хоть бы ужинать, что ли? — неожиданно входя в двери, говорит Щетинин.

Воскресенье. Утром, после обедни, пришел батюшка и принес Марье Николаевне просвирку.

Подали завтрак.

— В церковь что редко жалуете? — спросил ее батюшка.

— Не хотите ли водочки? — спросила она батюшку.

Он на это ничего не сказал, только крикнул и, засучив рукав, потянулся к графину.

— Жарко, батюшка, — сказал Щетинин.

— Тепло-с, — ответил он, намазывая масло.

Щетинин ходил по комнате. Марья Николаевна сидела за столом и рассеянно крошила хлеб.

Выпив рюмку, батюшка откусил кусок хлеба и, поглядев на следы своих зубов, оставшихся на масле, спросил:

— А этот господин... студент... все еще здесь?

— Здесь, — глухо ответил Щетинин и сейчас же спросил батюшку:

— Как дела ваши?

— Что дела-с! Дела худы.

— Что такое?

— С коровой с своей никак не соображусь: молока не дает, и так надо думать, что лишится она молока совсем. Да и попадья что-то не тово: животом все жалуется.

— Это нехорошо, — заметил Щетинин и опять пошел ходить из угла в угол.

— Утомился, — сказал батюшка, усаживаясь за стол. — О, боже мой! День-то жаркий, да и сверх того проповедь сказывал.

— Какую проповедь? — с участием спросил Щетинин, очевидно думая о другом.

— Так небольшое слово сказал. Да и слово-то, признаться, давно уж оно завалялось у меня, старое слово, от тестя покойника досталось мне. Ну, все-таки, как бы то ни было. Нельзя. Строгости эти пошли...

— О чем же слово-то? — спросила Марья Николаевна.

— О любомудрии-с.

— О чем?

— О любомудрии, сударыня, — отчетливо повторил батюшка.

— Это что же такое? Это значит, если кто любит мудрить, что ли? — улыбаясь спросила она.

— Н-да-с: мудрить! — тоже улыбаясь, ответил батюшка. — Сами знаете, какое ныне время. Мне вон онамедни в городе кафедральный протопоп сказывал, — преосвященный его призывал, — уж он, говорит, уж он, говорит, мне пел, пел, так я, говорит протопоп, — вы как думаете? — насили ушел; дверей-то, говорит, не найду. Не найду дверей и шабаш. Спасибо, служка указал. Так вот оно какое дело. Гордость-то нас до чего доводит, — заключил батюшка, обращаясь к Щетинину.

— Да, — заметил Щетинин.

— Не хотите ли еще? — спросила его Марья Николаевна, указывая на графин.

Батюшка посмотрел на него испытующим взглядом.

— Гм. Да вы как вам сказать? Оно точно что... С горя нешто? Ха, ха, ха!

Батюшка выпил.

— Да; строго, строго насчет этих порядков, — говорил он, нюхая корку. — Фф! строго.

— Без строгости нельзя, — проходя мимо стола, рассеянно сказал Щетинин.

Батюшка обернулся.

— Хорошо вам говорить, Александр Васильич, нельзя. А я вот вам скажу теперь наше дело.

Щетинин остановился.

— Благочинный?

— Да. Вы как об нем полагаете?

— Так что же?

— А то же-с, что в старые годы, например, книги представлять, метрики там эти, — гусь, ну, много, много, ежели я ему поросенка сволюку, полтинник денег. И еще как довольны-то были! А теперь поди сунься-ка я к нему с поросенком-то, — осрамит. «Что ты, скажет, к писарю, что ли, пришел?» Бутылку рому, да фунт чаю, да сверх того три целковых деньгами. Глядишь, они, метрики-то эти, в шесть целковых тебе и влетят как одна копеечка. Верно. Вот что-с. Новые порядки. А попу теперь ежели еще рюмку выпить, — вдруг заговорил батюшка, переменяя тон, — то это будет в самую пропорцию. Чего-с?

— На здоровье, — сказала Марья Николаевна.

Батюшка налил рюмку и, поглядев в нее на свет, спросил:

— Дворянская?

— Дворянская, — ответил Щетинин.

— Пронзительная, шут ее возьми! — заметил батюшка, покачав головой, потом выпил и с решимостью отодвинул от себя графин.

— Ну ее к богу!

Щетинин все ходил по комнате, повидимому чем-то сильно озабоченный, и почти не обращал внимания на то, что вокруг него происходит. Он время от времени останавливался, рассеянно смотрел в окно, ерошил себе волосы с затылка, говорил сам себе «да» и опять принимался ходить. Марья Николаевна равнодушно следила за ним глазами и вообще имела скучающий вид; батюшка замолчал, начал вздыхать и вдруг собрался уходить. В то же время вошел Рязанов. Марья Николаевна оживилась и предложила ему итти провожать батюшку. Рязанов согласился. Марья Николаевна взяла зонтик, но сейчас же его бросила и торопливо повязала себе на голову носовой платок. Пошли.

Сходя с лестницы, батюшка покосился на Рязанова, потом на Марью Николаевну и, вздохнув, сказал: — грехи!

Едва успели они отойти от крыльца, как Марья Николаевна, поровнявшись с Рязановым, начала его спрашивать:

— Где же вы вчера целый день пропадали? Что же я вас не видала?

— Марья Николаевна! — крикнул сзади батюшка.

Она оглянулась. Батюшка прищурил один глаз и, подняв палец кверху, сказал:

— Не доверяйтесь ему: обманет!

Она улыбнулась и опять заговорила с Рязановым.

— А я вчера вас все в саду искала.
Они вышли на улицу.

— Поведения худого, — рассуждал батюшка, идя позади них, — так и запишем: весьма худого. Гордость, тщеславие, презорство, самонение, злопомнение... Нехорошо...

Марья Николаевна шла, не обращая внимания.

— Господин Рязанов!

Рязанов оглянулся.

— Квоускве тандем, Катилина¹... «Доколе же однако?»... По-латыни знаешь? А? Как небось не знать! Пациенция nostra... утор, абутор, абути — испытывать, искушать. Худо, брат, садись! А вы, барыня, тово... Вы меня извините.

— Что вы тут городите? — сказал Рязанов, отставая от Марьи Николаевны.

— Сшь!

Батюшка взял Рязанова под руку и подморгнул ему на Марью Николаевну.

— Не пожелай²!.. Понятно? Парень ты, я вижу, хороший, а ведешь себя неисправно. А ты будь поскромней! С чужого коня — знаешь — середь грязи долой. Согрешил, ну и кончено дело. Тащите.³ Сшь. И прииде Самсон в Газу, и нечего тут разговаривать.

— И шли бы вы лучше спать, — сказал Рязанов.

— И пойду. Захмелел... Что ж с меня взять, с пьяного попа? Мы люди неученые.

¹ Начало речи знаменитого римского оратора Цицерона, обращенной к его врагу Катилине: «До каких пор, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение?»

² Первые слова Моисеевой заповеди «Не пожелай жены ближнего твоего».

³ «Молчите».

— Прощайте, батюшка, — сказала Марья Николаевна, останавливаясь у церкви.

— Прощайте, сударыня. Вы меня извините, бога ради. А тебе... — батюшка обратился к Рязанову, — тебе не простится. Мне все простится, а тебе нет. Вовек не простится. Нельзя. Никак невозможно простить, потому этого презорства в тебе много. Вот что. Адью!

Батюшка сделал ручкой и запер за собой калитку.

Расставшись с батюшкой, они долго шли рядом и оба молчали. Тропинка, по которой они шли, вывела их к мельнице. Запертая, по случаю праздника, вода глухо шумела внизу, пробираясь сквозь щели затвора; в пруде полоскались утки. Перебравшись через плотину, они очутились по ту сторону реки, на песчаном берегу, в кустарнике. Высоко стоящее солнце жарко палило широкие заливные луга; усеянные зелеными кочками и темные, подернутые зеленою плесенью воды; сквозь прозрачно-волнующийся воздух четко виднелся противоположный гористый берег, густо заросший мелким лесом и залитый ярким полуденным светом. Марья Николаевна остановилась в кустах и села на траву. Рязанов тоже сел.

— Славно как здесь! — сказала она, усаживаясь в тени.

Рязанов опустил на один локоть и посмотрел вокруг. Марья Николаевна подумала и улыбнулась.

— Как это странно, — сказала она, — что меня все это теперь только забавляет. Право. И этот поп. Прелесть как весело!

Она повернулась к воде, ярко блестящей между кустов, и жадно потянула в себя свежего воздуха.

— Хорошо здесь, — повторила она, — прохладно, а там, видите, на горе какой жар? Деревья-то. Видите, как они стоят и не шевелятся. Их совсем сварило зноем. А?

— Вижу.

— И трава вся красная... — прищуриваясь и всматриваясь, говорила она. — Мелкая травка... а там точно лысина на бугре. Вон лошадь в орешнике! Видите, пегая лошадь стоит? И ей, бедной, тоже тяжело... Хорошо бы теперь, — помолчав, продолжала она, — хорошо бы, знаете, что? на лодке уехать туда, вверх по реке; заехать подальше, подальше и притаиться там в камышах. Тихо там как!.. А? Поедьте, — вдруг сказала она, решительно вставая.

— Что это вам вздумалось? Да и лодка-то рассохлась, течет.

— Так что ж такое?

— Намочитесь.

— Вот еще! Велика важность.

— Как хотите.

— Мы вот что сделаем: заедем туда, за острова, и пустим лодку по течению; пусть она несет нас куда хочет.

— Да ведь дальше плотины не уедем. Опять сюда же нас принесет.

— А впрочем... — сообразив, сказала она, —

впрочем, в самом деле уж это я что-то очень . . . расфантазировалась. Пойдемте! Домой пора. Но мне все-таки весело, — начала она опять, когда они прошли через плотину, — мне сегодня как-то особенно легко. Мне хочется со всеми помириться, простить всем моим врагам. Ведь можно! Как вы думаете? Только на один день заключить временное перемирие? На один день? а? Ведь можно?

— Да вы знаете ли, зачем хорошие полководцы заключают временные перемирия?

— Зачем?

— А затем, чтобы под видом дружбы высмотреть неприятельскую позицию и дать отдохнуть войскам.

— Ну, и я хочу высмотреть позицию: пойдемте по селу, — смеясь сказала она и, свернув с дороги, пошла мимо амбаров в солдатскую слободу.

— С кем же это вы воюете? любопытно знать, — спросил Рязанов.

— Сама с собой пока.

— А!

Место, по которому они шли, было глухое, не смотря на то, что находилось вблизи большого села: какой-то косогор, внизу лужа с навозными берегами, навозный мосток. В луже, подобрав портчѣнки, бродили ребята; по берегу торчали кривые оципаные метлы;° сквозь их жидкие листья белели крошечные, сбитые в кучу, криво лепившиеся по косогору мазанки одиноких солдаток, с огородами, в которых тоже кое-где стояли обломанные и загаженные птицами деревья; с разоренных плетней шумно

кинулись воробьи. Дальше в одну сторону пошел овраг, заросший чахлым кустарником; в овраге валялась ободранная собаками дохлая лошадь. В другую сторону — крестьянские гумна и село.

Марья Николаевна остановилась на площадке и, подняв руку над глазами, посмотрела кругом.

— Как я, однако, давно не была здесь, — сказала она, как будто удивляясь чему-то.

И чем дальше они шли, тем серьезнее становилось ее лицо, тем внимательнее и тревожнее начала она оглядываться по сторонам, как будто она нечаянно зашла в какое-то незнакомое место, как будто она припоминает что-то и не узнает, совсем не узнает, куда это она попала...

Пустынная сельская улица, ярко освещенная солнцем, была мертва и безлюдна: мужики кое-где лениво слонялись у ворот; бабы и девки, притаившись в тени, шарили в голове друг у дружки; маленькие девчонки забрались в новый избяной сруб и, сидя в нем, что есть мочи визжали какую-то песню; на крышах неподвижно торчали ошалевшие от зноя галки.

Марья Николаевна сняла с головы платок и пошла по холодку край дворов. Рязанов шел за нею следом, глядя в землю.

В одном проулке, у плетня, кучей сидели девки и затаили было «ох и уж и что»... но, заметив господ, остановились. Марья Николаевна подошла к ним и ласково спросила:

— Что ж вы остановились?

Девки встали.

— Что ж вы не поете?

Девки, ничего не отвечая, глядели по сторонам.

— Мы бы вот послушали, — уже не так твердо прибавила Марья Николаевна.

Девки вдруг начали фыркать, зажимать себе носы и прятаться друг за дружку.

Марья Николаевна с сожалением поглядела на них, потом взглянула на Рязанова и пошла дальше.

Девки захохотали. Марья Николаевна оглянулась: они затихли и вдруг всею кучею бросились бежать от нее на гумно. Марья Николаевна слегка нахмурилась и пошла.

Миновав несколько дворов, она остановилась и начала присматриваться к избе. Изба была ветхая, с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками; в отворенные ворота глядела старая слепая кобыла с отвисшею нижнею губою и выдерганною гривой. Она стояла в самых воротах и, качая головою из стороны в сторону, потряхивала ушами. Тут же перед избою стоял мальчик лет четырех и держал длинную хворостину в руках.

Марья Николаевна подошла к мальчику и погладила его по головке: мальчик не трогался с места и не шевелился.

— Где твоя мать? — спросила его Марья Николаевна.

Он ничего не ответил и даже не поглядел на нее, только поднял плечи кверху и стал языком доставать свою щеку, потом бросил хворостину и ушел в избу. Марья Николаевна взглянула в ворота: на дворе валялся всякий хлам, на опрокинутой сохе сидела курица.

— Мамка ушла к тетки Матлены, — вдруг крикнул тот же мальчик из окна.

Марья Николаевна подошла к окну, но в избе было темно и со свету ничего нельзя было разглядеть; только пахло холодною гарью и слышно было, что где-то там плачет еще ребенок. Марья Николаевна начала всматриваться и понемногу разглядела черные стены, зипун на лавке, пустой горшок и зыбку, висящую середь избы; в зыбке сидел ребенок, весь облепленный мухами. Он перестал кричать и с удивлением смотрел на Марью Николаевну; мальчик, которого она видела у ворот, дергал зыбку и приговаривал:

— Чу! Мамка скола плидет. Чу!

— Это брат твой, что ли? — спросила Марья Николаевна.

— Это Васька, — ответил мальчик.

Мальчик, сидевший в зыбке, ухватился руками за ее края и покачивался из стороны в сторону, вытаращив испуганные глаза на Марью Николаевну, — посмотрел, посмотрел и вдруг закашлялся, заплакал, закричал...

— Он у нас хваляит, — заметил мальчик и опять принялся его качать.

Марья Николаевна хотела было еще что-то спросить, но поглядела в окно, подумала и пошла. У ворот попрежнему стояла слепая кобыла и, потряхивая ушами, беззаботно шлепала своею отвисшею губою.

Рядом с этою избою стояла другая, точно такая же; и дальше все то же: гнилые серые крыши, черные окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые,

покачнувшиеся плетни с висящими на них посконными рубахами. Людей совсем почти не видно было, только среди улицы стоял, выпучив бессмысленные глаза и развесив слюни, Мишка-дурачок и, покачиваясь, тянул: — лэ-лэ-лэ...

Марья Николаевна шла все скорее и скорее, опустил глаза и стараясь, по возможности, не взглядывать по сторонам.

— Что вы приуныли? — шутя спросил ее Рязанов.

Она ничего не ответила, только вскинула на него своими черными, печальными глазами и опять сейчас же опустила их в землю.

— А как же перемирие-то? Или уж раздумали?

— Раздумала, — тихо сказала она, кивнув головой, и пошла еще скорее.

В самом конце села, у волостного правления толпился народ. Марья Николаевна остановила какую-то старуху и спросила ее:

— Что это они там делают?

— А господь их знает, родима. Должно судьбища у их там идет. Промеж себя что-нибудь.

Марья Николаевна пошла было прямо, но потом остановилась и, сообразив, обошла вокруг пожарного сарая, подкралась сзади к плетню и посмотрела. Рязанов подошел и тоже стал смотреть; сквозь щели видно было все, что происходит на дворе: на крылечке в рубашке сидел старшина; неподалеку от него, опершись на палочки, стояли старики в затасканных шля-

пенках с медными бляхами на зипунах; дальше толпился народ. Время от времени на крыльце появлялся писарь, спорил с мужиками, кричал кому-то: «нет, ты поди сперва почешись! Почешись поди, знаешь, где? а потом уж я с тобой буду разговаривать», — и опять уходил. Мужики что-то кричали ему вслед и спорили между собою. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом понемногу дело разъяснилось: спор шел о податях; спорила и горячилась собственнo толпа, должностные же лица в это дело не мешались; старшина, сидя на приступочке, зевал и рассеянно поглядывал по сторонам, старики разговаривали между собою, ковыряя батошками землю. Но тут же, у стены, только поодаль от прочих, стояли еще два мужика без шапок и в спор не вступались. Один из них, высокий, черноватый, с широким, угрюмым лицом, скрестив на груди руки и подавшись немного вперед, внимательно вслушивался в говор толпы, тревожно поворачивал голову то правым, то левым ухом и в то же время то поднимал, то опускал, то сдвигал свои густые черные брови; у другого лицо было совсем бабье, дряблoе, с жиденькою белокурою бороденкою и маленькими красными глазками. Он преспокойно смотрел вверх и очень внимательно следил за воробьями, как они скачут по крыше пожарного сарая и что мочи орут, стараясь отпять друг у дружки какую-то корку. Ему даже это смешно стало...

— Ну, так как же, братцы? — громко спросил один старик, отходя от стены и оглядывая всю толпу. — Колько ни толкуй, а видно тово...

Оба мужика встрепонулись — и вытянулись.
— Да нет, ты погоди! Нет, постой, — опять заговорили в толпе.

— Чаво стоять-то? Отбузунил их, да и к стороне.

— Знамо. Рожна ли тут еще? — подтвердил другой.

— Им потачки давать нечего.

— Зачем потачку давать?

— Что на них глядеть? Да пра.

— Гляди — не гляди, а подать за них всё плати.

— Ишь они ловки!

— Мир за них плати, а они этому и рады.

— Что ж, неужели им теперь плакать? Ах, братцы мои, — пошутил кто-то.

Все засмеялись, даже старшина полюбопытствовал:

— Чаво это?

— А мы про то, ваше степенство, что мол попужать их маненько. Эдак то лучше, — скромно доложил один маленький мужичок.

— Это не вредно. — подтвердил старшина и опять зевнул.

— Для страху, чтобы страх знали, — заметил один старик.

— Опосля сами благодарить станут, — прибавил мужичок.

— Обнаковенно.

Вдруг все замолкли: совсем тихо стало, только слышно, как старик какой-то кашляет и кто-то все еще бормочет про себя недовольным голосом: «ишь ты... на-ка что... так-то...» Чернобровый мужик притаился и,

зажмурился, не трогаясь с места; другой, с полуоткрытым ртом и наклоненной на бок головою, тоже остался недвижим... Но тут старшина встал и, потягиваясь, произнес:

— Что ж, драть так драть: чорта ли проклажаться?

Народ колыхнулся; неплательщики, стоявшие у стены, оба в одно время взглянули на старшину и потупились. Опять начался бестолковый говор, кто-то крикнул: «погодить бы», — но уже никто никого не слушал, толпа задвигалась; мужики всходили на крыльцо, пугались, некоторые пошли вон из ворот. Из правления вышел сотский, неся под мышками два пучка хворосту: перед крыльцом опросталось место.

— Кого вперед? — спросил один десятский, снимая с себя зипун и расстилая по земле. Толпа расступилась, потому что в это время один из неплательщиков (чернобровый) продирался одним плечом вперед, выпучив глаза и с ожесточением потряхивая бородой; маленький выборный мужичок держал его за рукав. В то же время на этого чернобрового мужика наскочили двое и хотели его повалить, но он отчаянно замахал руками и повалился перед стариками на колени, без толку мотая головой и говоря захлебывающимся голосом:

— Отцы! голубчики! кормильцы! батюшки!

Позади его, слезливо поглядывая на стариков и придерживая рукою гашник, стоял другой неплательщик.

— Клади его, — тихо сказал старшина.

Чернобровый мужик заметался, но на него навалилось несколько человек, окружили, толпа

осела посередке и глухо завожилась над ним, «батюшки» в последний раз, но уже тихо, как будто под землею простонал тот же голос; толпа отшатнулась, что-то жикнуло и вслед за тем раздался дикий, безобразный крик...

Марья Николаевна взвизгнула и в ужасе, схватив себя за голову, бросилась от плетня. Она бежала без оглядки, заткнув себе уши, по улице, мимо церкви, сбивая с ног встречаемых, ничего не видя, добежала домой, бросилась в свою комнату, упала на кровать и зарыдала. К ней вошел Щетинин:

— Что с тобой? Что случилось?

Она махнула рукой:

— Уйди! Все уйдите!...

XIII

Марья Николаевна целый день не выходила из своей комнаты; Щетинин взъерошивал себе волосы и ломал руки; наконец велел накрывать на стол и послал Рязанова звать обедать, а сам в волнении ходил по комнате, — и не выдержал, — пошел к нему во флигель, но встретился с ним на крыльце, взял его под руку и повел в залу. Войдя в комнату, он поглядел на дверь и, путаясь в словах, сказал:

— Послушай! Ты знаешь между нами там... несходство в убеждениях, но это ничего не значит... Я тебе верю. Слышишь ли?

— Ну, слышу.

— Я знаю, что... ты меня обманывать не станешь... Мое положение... Ты понимаешь. войди в мое положение. как это для меня важно

знать причину того, что тут вышло. Я уверен, что ты объяснишь мне все. Ты мне этим докажешь свою... дружбу.

— Это я могу.

— Растолкуй же мне, сделай милость, что это с ней случилось. Какая причина?

— Причина очень простая, — спокойно отвечал Рязанов: — увидала, как мужика дерут!

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Честное слово?

— Чудак! Да ведь сам же ты сказал, что мне верить.

— Да!..

Щетинин хлопнул себя по лбу.

— Пойдем обедать, — прибавил он, вздохнув. — А я-то сдуру вообразил...! Впрочем, и ты, брат, хорош, — говорил он весело, садясь за стол. — Как же это ты позволил ей присутствовать при этой экзекуции?

— То есть как?

— Почему же ты ее не увел оттуда?

— Зачем?

— Да ведь согласишься, что... такая картина хоть кого перевернет.

— Ну так что ж?

— Да ведь ты с ней был?

— Так ты-то что же думал? Ты надеялся, что я с твоею женою поступлю в этом случае так, как поступают осторожные маменьки с своими неопытными дочками, то есть даст ей книжку и говорит: — на вот, душенька, это ты можешь читать, а вот что пальцем закрыто, того тебе нельзя. Так я тебе скажу, друг любезный. что.

во-первых, я за это никогда не брался, а во-вторых, такой штуки, брат, пальцем не закроешь.

— Да ну, положим, что по-твоему оно может быть и так, только все же . . . да, как ты хочешь, неприлично наконец.

— А! ну, это уж твое дело. Напрасно же ты ей прежде не внушал, что благородной даме неприлично смотреть на мужиков в то время, когда их порют.

В продолжение дня Щетинин несколько раз подкрадывался к жениной комнате и прислушивался, но, ничего не расслышав, объявил прислуге, что барыня почивает, и не велел ее беспокоить. Вечером он вздумал было заняться делом, но не мог: порылся в бумагах, постучал на счетах, взял книгу, почитал . . . Нет, что-то не читается; начал лампу поправлять: вертел, вертел ее, только и сделал, что наचाдил полную комнату, наконец погасил совсем. Зажег свечу, отобрал несколько номеров газет и, осторожно ступая, отправился в залу. В зале целый день были закрыты окна, а потому было душно, как в бане, и пахло как-то странно, краской не краской, а вообще каким-то кадетским корпусом. Щетинин открыл окна, сел у стола и долго просидел так, с газетою на коленях, присматриваясь к своей собственной зале и беспрестанно прислушиваясь к чему-то.

Поздно вечером, часов в одиннадцать, вошел Иван Степаныч.

— Тише, тише, — махая рукой, шопотом сказал ему Щетинин. — Вам что?

— Пожалуйте ружье!

Щетинин удивился.

— Зачем?

— Чего-с?

— Зачем вам ружье?

— Для собаки-с. По селу бешеная собака ходит, так нужно ее застрелить.

— Как же вы теперь ее застрелите: темно.

— Я завтра пораньше. Да еще ведомости одолжите, когда прочтете. Мне там очень желательно продолжение насчет стриженных девок. Читали, как их ловко отделявают? Это одна мать. Она прямо об себе говорит: я, говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте!

Щетинин ничего не ответил и, помолчав, спросил:

— Послушайте, кого это там в волостной сегодня наказывали, вы не знаете?

— Не знаю-с.

— Как это глупо, однако, — продолжал Щетинин. — Чорт знает что такое! Хоть бы вы им сказали, зачем они это делают? Неужели так уж другого места нет: непременно на улице.

— Это что, — смеясь, ответил Иван Степаныч, — я у исправника жил, у Петра Иваныча, так вот пороли-то мы их, — страсть! Уж можно сказать, что пороли. Бывало выйдет на крыльцо, трубку закурит...

— Ну, да; знаю, — перебил его Щетинин.

— Чего-с?

— Слышал. Так вы возьмите ружье-то: оно там, у Агафьи в кладовой... Да тише только, пожалуйста: Марья Николаевна почивает.

Иван Степаныч с ружьем зашел к Рязанову в комнату и застал его за писаньем.

— Что это вы? сочиняете?

— Да, сочиняю.

— Ну, сочиняйте! А я какую штуку хочу устроить!

— Какую?

— Сельскую стражу хочу завести из крестьянских ребятишек.

— Зачем же это?

— А собак бить бешеных. Я уж их набрал штук двадцать, этих ребят; всем велел, чтобы палки у них были. Такие палки завел с шишками, форменные. И учу их. Вот потеха-то! Учу. Они у меня называются, знаете как? — «гмины. Эй ты, гмина. Я кто такой? — Иван Степаныч. — Сейчас за виски, чтобы не смели Иван Степанычем звать, — солтыс. — Кто я такой? — Солтыс. — Ну, так; молодец! Сахару ему. Ха, ха, ха! И комиссия мне только с этими ребятишками, я вам скажу. Прощайте!

Просидев часу до второго ночи, Щетинин заснул, не раздеваясь, в кабинете на диване: на другое утро проснулся поздно. На дворе было пасмурно, шел мелкий, почти невидимый дождик; в окна пробиралась гнилая холодная сырость. Щетинин протер глаза, посмотрел вокруг себя и хотел было потянуться, как вдруг увидал на столе запечатанное письмо. Он взял его, повертел, пожал плечами и распечатал. В письме было написано:

«Я уезжаю. Не старайтесь меня уговаривать, потому что это ни к чему не поведет: я уж давно все обдумала, на все решилась и знаю теперь, что мне нужно делать. Я вам теперь скажу, что я вас не люблю; да и не только вас, но и вообще все, что здесь делается, все эти люди... я их ненавижу, мне все это гадко. А вас я разлюбила за то, что вы (сознательно или бессознательно — все равно) заставили меня играть глупую роль в вашей глупой комедии. Я давно уж догадывалась об этом, но вчера один случай окончательно показал мне, в каком гнусном деле вы заставили меня принимать невольное участие. Вы, разумеется, этого не понимаете; но тем хуже для вас. После всего этого я не могу здесь жить и не хочу, и кроме того... да, одним словом, не хочу. И больше, пожалуйста, вы со мной не объясняйтесь...»

Пробежав письмо, Щетинин несколько минут стоял среди комнаты с полуоткрытым ртом, держа себя одною рукою за голову, потом бросился в комнату к Марье Николаевне, — дверь заперта. Он постучал и просил позволения войти; ему сказали: «нельзя». Постояв у двери, он пошел и написал записку, в которой повторил просьбу позволить ему переговорить об очень важном деле; через несколько минут на той же записке был получен ответ: «после».

Он скомкал записку и, засунув ее вместе с рукою в карман, постоял среди комнаты, подумал и пошел во флигель, к Рязанову: оказалось, что его дома нет. Щетинин вышел на двор и без шапки отправился, глядя в землю, прямо, мимо конюшни, мимо сада, через до-

рогу, по меже, в поле... Дождик его стал мочить; он все идет, не оглядываясь, не поднимая глаз. Шел, шел и пришел на какой-то пчельник. Тут он остановился, сел на траву, вытащил из кармана руку со сжатою в ней запискою, развернул ее и вдруг припал лицом к земле и заплакал как дитя, катаясь по траве и оглашая одинокий пчельник своими безумными рыданиями.

XIV

Серый, ненастный день почти незаметно превращался в сумерки; в воздухе сеялась мелкая изморозь. Неподалеку от села, узкой лесной тропинкой, засунув в сапоги панталоны и заложив руки за спину, шел Рязанов. Рядом с ним шел юноша лет семнадцати (дьячков сын) в белом холщевом пальто и босиком: сапоги он нес с удочками вместе на плече, а в другой руке на нитке висели у него караси; впереди бежал, без толку мыкаясь из стороны в сторону, большой легавый щенок с коричневыми ушами и неуклюжими толстыми лапами. Он то-и-дело забивался в кусты, но сейчас же являлся обратно, повидимому для того, чтобы показать свою губастую морду, и, поколотив по ногам дьячкова сына длинным, необрубленным хвостом, сейчас же опять исчезал. Тропинка, по которой они шли, вела их разными изворотами почти по самому краю обрыва, густо поросшего орешником и мелким дубом: она то заводила их в глубь перелеска, в непроходимый кустарник, где вдруг обдавало их

крупными каплями падавшей с листьев росы и где они должны были, нагнувшись, пробираться сквозь мокрую чащу и ломать по дороге сучья; то выводила их эта тропинка на простор, на самый край крутого обрыва, заросшего в этом месте короткой, скользкою травой, изрытого дождевыми потоками, усеянного мелкими камнями; и тут открывалась перед ними картина подернутых сероватым туманом полей и лугов с посиневшими озерами. Внизу, под обрывом, темными кучами виднелись крестьянские избы.

Дьячков сын шел, не глядя себе под ноги, не засматриваясь по сторонам и только в крайнем случае разводя попадавшиеся навстречу ветви. Он очень скоро и озабоченно что-то объяснял Рязанову, рассуждая при этом рукою, в которой были у него караси:

— Нет, я еще хочу испытать одно средство, — говорил он, подумав.

— Какое же это? опять убеждение?

— Да ведь что же делать-то, Яков Васильич; больше средств никаких нет.

— Вы вот все лето его убеждаете, да что-то плохо он поддается на это. Что же он вам вчера сказал?

— Все то же. Обыкновенно у него разговор: ты, говорит, несчастный осел, вот женить, говорит, тебя нужно, и больше нечего с тобой разговаривать.

— И вы все-таки надеетесь, что он убедится и пустит вас в университет? Чем же вы его убедите, любопытно знать?

— А я тут в книге нашел одно такое место...

— Да?

— Там очень хорошо развита эта мысль, что родители сами становятся поперек дороги своим детям и лишают их счастья.

— Ну, так что же из этого?

— Там и примеры есть.

— Это все пустяки. Никакие убеждения, никакие примеры для родителей не существуют. Вы придаете книгам значение, а для вашего отца все это — чепуха, которую пишут такие же шелопаи, как и вы; так что ж тут с книгами соваться!

Дьячков сын задумался.

— В таком случае зачем же он давал мне возможность развиваться?

— Никогда не давал. Он вам доставил возможность сделаться попом, Христа славить, требы исправлять. Он, как отец, желал вам счастья, которое, по его мнению, для вас доступно.

— Какой он мне отец, он враг мой, больше ничего, — сказал юноша, с ожесточением ломая ветку, загородившую ему дорогу.

— А коли враг, так вы с ним так и поступайте. К чему же тут убеждения? Тут просто нужна интрига, военная хитрость, коли на то пошло. Чего ж вы смотрите?

— Я тут один ничего не могу сделать, Яков Васильич, вот если бы...

— Что?

— Если бы вы мне помогли убедить его, совсем бы другая музыка пошла. А что же я один?..

Рязанов молчал и чесал в затылке; дьячков сын смотрел ему в лицо и ждал.

— Гм! Хорошо. Пойдемте, — сказал Рязанов.

Дьячков сын весело свистнул: щенок в ту же минуту выскочил из-за куста, и они все трое стали спускаться с обрыва.

Через час Рязанов вернулся домой, усталый и по колено в грязи. Проходя по двору, завернул в кухню и попросил себе самовар.

Когда он пришел во флигель, совсем уже почти смерклось: в комнате было темно и пахло сыростью; в саду шумели деревья, падавшие с них капли дождя глухо ударили в окно. Рязанов зажег свечу и, не снимая фуражки, остановился среди комнаты, задумчиво осматривая стены, деревенской работы кровать и стол с разбросанными на нем книгами и листами писанной бумаги. На перегородке, оклеенной старыми газетами, неподвижно стояла его собственная тень с перегнувшейся на потолке головою; за перегородкою, спросонья судорожно вздрагивая и шурша крыльями, возился чиж в новой клетке.

Постояв несколько минут, Рязанов снял с себя мокрое платье, надел теплое пальто и, пожимаясь, сел за стол. Бумага, лежавшая перед ним на столе, была исписана мелким неразборчивым почерком и закапана чернилами. Он развернул новую книжку журнала, порывшись в бумагах, отыскал какую-то черновую тетрадь и долго сличал ее с книжкою, пощипывая бороду одной рукой, а другою водя по строкам, потом захлопнул книжку, вместе с тетрадью

швырнул ее на окно и задумался. Вошел лакей и принес на подносе чайный прибор; только что Рязанов принялся наливать, как за перегородкою послышался шорох женского платья.

— Можно войти? — спросила за дверью Марья Николаевна. — Что это вы, нездоровы? — с озабоченным видом говорила она, скоро входя в комнату.

— Нет, ничего, озяб только. Сыро. Был в лесу, ну, и промок.

— Как же вам не стыдно, что вы себя не бережете! — говорила она, качая головою. — Хотите малины? Постойте, я вам налью. Давайте сюда, вы не умеете. А не лучше ли велеть здесь затопить? а? Я сейчас скажу.

— Да вы не хлопочите! Я вот напьюсь горячего и все пройдет.

— Ну, да. Как же! Так сейчас и прошло. Разве можно этим шутить?

— А вы, кажется, и серьезно меня больным считаете. И зачем вы сюда пришли?

Марья Николаевна оглянулась.

— Вы что же этим хотите сказать? Я вам мешаю?

— Нет, я сказал потому, что вот вы ходите по сырости, ноги промочите.

— А вам какое дело до моих ног? Вот это мило. Может быть я нарочно хочу их промочить, может быть я умереть хочу.

— Да! ну...

— Что ну-то?

Рязанов улыбнулся.

— Смешная вы женщина, — сказал он, застегивая пальто на все пуговицы, и сел к столу.

Марья Николаевна тоже села, налила ему стакан малины и поставила перед ним графин с ромом.

— Если я и умру, так обо мне плакать будет некому, — сказала она, складывая на коленях руки.

Рязанов взглянул на нее исподлобья и ничего не ответил, потом взял графин и, наливая себе рому, сказал:

— А Александр Васильич-то?

Марья Николаевна махнула рукой.

— Это мне все равно.

Рязанов положил сахару в стакан, помешал и спросил:

— А другие не все равно?

— Разумеется.

— Стало быть, вы не то хотите сказать. Плакать-то будут, только не те, кому следует, вы и боитесь, что, в случае вашей смерти, на этот счет может выйти беспорядок. Так, что ли?

— Ну, да. Однако какой глупый я разговор завела: об смертях там об разных... Бог знает что!

— Чем же глупый? Нет, ничего; разговор подходящий: сумерки, погода скверная; самое время о смерти рассуждать.

Она молча покачала головой; Рязанов подождал, что она скажет, и хлебнул из стакана. В это время где-то за садом грянул ружейный выстрел. Марья Николаевна вздрогнула.

— Что это такое? — тревожно спросила она.

— А это должно быть, Иван Степаныч забавляется.

Она подумала и, пугливо посмотрев вокруг, сказала:

— Нет, не хочу я умирать, не хочу.

— Да вас, кажется, никто и не принуждает.

— Давайте вот что... давайте лучше говорить о чем-нибудь другом, о хорошем. Я ведь знаете зачем к вам пришла?

— Ну-с!

— Я хочу поговорить с вами об одном очень важном для меня деле.

— Так что же?

— Прежде всего я хочу поговорить собственно о вас.

— Обо мне? Ну, это предмет еще не слишком интересный.

— Для меня, напротив, очень, тем более, что с ним связаны и другие еще там разные.

— Да-с. Так что же вам угодно от меня?

— Во-первых, мне угодно, чтобы вы со мной не разговаривали таким образом.

— Каким?

— А вот этим тоном. Я очень люблю, когда вы с другими так говорите, только не со мной.

— Да ведь тон... как вам сказать? это такая вещь, которая зависит не от одного желания.

— От чего же?

— Да больше, я полагаю, от окружающей нас жизни.

— Вы хотите сказать, что в этой жизни диссонансы?

— Нет, я хочу сказать, что тон задается жизнью, а мы только подпеваем. Пожалуй,

можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас осадит.

— Так вы находите, — подумав, сказала Марья Николаевна, — что в этой жизни (она показала рукою вокруг себя) нет ничего такого, что бы заставило вас говорить хотя немножко не так, как вы привыкли. Хорошо. Положим, что это так. Ну, а прежде? Неужели в вашей жизни не было таких случаев, каких-нибудь там происшествий, так чтобы вы рассердились, или пришли в восторг? а? Были?

— Конечно были, да что из этого?

— Ну, а теперь? вот здесь? Ну, что вы думаете теперь, в настоящую минуту? О своем положении, например, что вы думаете? Скажите!

— О моем положении-то? Да что ж о нем думать? Вообще живу я теперь на летнем положении, в деревне, время провожу приятно; простудился было немного, но теперь напился малины и начал потеть; ну, вот еще думаю, что сидит передо мною женщина, хорошая женщина, и пересыпаем мы с нею из пустого в порожнее. Вот и все.

— Нет; вы не так меня поняли.

— Очень может быть.

— Я хочу знать, как вы смотрите на все, что окружает вас здесь, в деревне, на все, что здесь происходит. Неужели с тех пор, как вы приехали сюда, не случилось ничего такого, что бы могло вас поразить, удивить, обрадовать или огорчить?

— Не помню, право. Должно быть, не было. Да я не знаю, что это вам кажется странным.

Если бы вы захотели подумать, вы убедились бы и сами, что нет тут ничего такого особенного. Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может. Чему же радоваться, о чем сокрушаться? В риторике Кошанского есть такой пример (и бог его знает только, как он туда попал): «вот, говорит, медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли сок получает; а лев, говорит, и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает». Вот это порядок. Теперь какие же тут могут быть случайности? Разве что резал волк овцу, да не дорезал, потому что самого в это время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его?.. Такие случайности бывают, — это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу.

— Это я все понимаю, но почему же, когда вы говорите об разных там делах, — у вас выходит так, как будто вы находите, что все это так и должно быть. Я, конечно, этому не верю.

— Напрасно.

— Как напрасно? Да ведь вы это говорите нарочно, для них.

— Напротив, я и для них, и для вас, и для всех говорю именно то, что думаю.

— Стало быть, вы находите, что все эти гадости так и должны быть.

— Какие гадости?

— Да вот, что... ну, я не знаю... Одним словом, все это хозяйство: ну, вот, что надо

мужиков наказывать, давать им за работу как можно меньше и прочее.

— Я никогда не говорил, что так надо и что иначе и быть не может.

— Но ведь вы находите, что все это очень естественно и натурально.

— А вы не находите? Так это потому только, что вы не хотите подумать. Если, положим, человека посадят в угарную комнату, и он там угорит, — так это, по-вашему, будет неестественно? Если ему не дадут есть двое суток и у него живот подведет, — так это, по-вашему, будет не натурально?

— Ну, конечно так; только согласитесь, что уж это вовсе не естественное желание морить другого голодом?

— Я с этим никак не могу согласиться, потому что если на двоих отпущена только одна порция хлеба, и из этих двоих один сильнее другого, то со стороны сильнейшего будет самым естественным делом — отнять этот хлеб у слабейшего. Что же может быть натуральнее этого побуждения? И это однако нисколько не мешает человеку в другом случае самого себя лишать пищи в пользу другого, т. е. следовать совершенно противоположному побуждению, которое в свою очередь тоже очень естественно и натурально. Все зависит от условий, в которые человек поставлен: при одних условиях он будет душить и грабить ближнего, а при других — он снимет и отдаст с себя последнюю рубашку. Видимые результаты всегда естественны и натуральны, когда причина их известна; да сила-то не в них.

— А в чем же?

— В том, чего мы не видим и не знаем; икс такой есть — неизвестный; так вот в нем-то вся и штука, а это все . . . все это гроша медного не стоит.

Рязанов замолчал и выпил залпом стакан остывшей малины.

— Вот вы говорите, — начал он опять, — вы говорите, почему вот я не ужасаюсь, не радуюсь, не удивляюсь тому, что вижу здесь. Хорошо. Но что же я здесь вижу? какие могут быть здесь такие удивления достойные картины? Ну, вот прежде всего я вижу прилежного земледельца, вижу я, что этот земледелец ковыряет землю и в поте лица добывает хлеб; затем примечаю я, что в некотором отдалении стоят коротко мне знакомые люди и терпеливо выжидают, пока этот прилежный земледелец в должной мере насладится трудом и извлечет из земли плод; а тогда уже подходят к нему и, самым учтивым манером отобрав от него все, что следует по правилам на пользу просвещения, оставляют на его долю именно столько, сколько нужно человеку для того, чтобы сохранить на себе зрак раба и не умереть с голоду. Это картина № 1-й. Чему я тут могу удивляться? я вас спрашиваю. Прилежанию земледельца? — Но ведь он потому собственно и называется прилежным; это качество ему присвоено издревле; он так и по-латыни даже называется: *sedullus rusticus* — прилежный земледелец; стало быть тут и разговаривать нечего. Теперь уж поздно: рад не рад, а будь прилежен, потому что реноме такое заслужил.

И удивляться нечему. Еще чему же? Великодушию моих знакомых? Но если бы они не были великодушны и сразу отняли бы у него все, ведь они лишили бы его возможности впредь наслаждаться трудом, они утомили бы его с голоду; тогда кто же бы стал трудиться на пользу просвещения? Стало быть, надо было свеликодушничать; стало быть, и тут удивительного мало. Необходимость! Вот и все. И вы, надеюсь, тоже не удивляетесь? Нет? Прекрасно. Что же еще я вижу здесь? Вижу я других моих знакомых, вижу их сидящих на реках вавилонских, сидящих и плачущих, выкупными свидетельствами горьки слезы утирающих. Это картина № 2-й. Но причина их скорби, вероятно, и вам известна: опять нужда, опять-таки необходимость; стало быть и тут... да нет, знаете ли, — оживляясь, заговорил Рязанов: — знаете ли, что вся эта механика до такой степени проста, что ведь серьезно нужно удивляться тому, что есть еще на свете люди, которые над такими пустяками ломают голову, не понимают, удивляются. Ведь после этого что же? После этого надо удивляться и тому, что я вот напился потогонного да вдруг и вспотел. Как это странно в самом деле?

— Все это так. Положим. Но ведь согласитесь, что нельзя же на все это смотреть хладнокровно, нельзя не скорбеть, что все это так.

— Да что толку в этой скорби? Я знаю многих, которые скорбят о том, что вот, дескать, народ, такой великий, доблестный народ, что столько сил, надежд и прочего, и все это, можно

сказать, ни за нюх табаку пропадает. Отлично. Это все равно, что я вот пойду в лес, стану перед дубом и буду рассуждать: «ах, боже мой! такой прекрасный дуб и весь загажен птицами, черви-то его, беднягу, точат, и свиньи тут же кстати пользуются провиантом; а кабы этот самый дуб да в хорошие руки, что бы тут можно добра наделать? Одних полозьев сколько бы тут вышло, не говоря уж об ушатах, бочках, ведрах и прочей разной домашней утвари. Да и паркет, пожалуй, вышел бы отличный». А? Как вы находите, прискорбно это, или нет?

— Ну, да. Я понимаю. Это значит, что здесь нечего делать.

— Нет, это значит только, что есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть. Вы желали знать мой взгляд на вещи, так вот он самый к вашим услугам. Но обыкновенно люди этого не любят и, как нарочно, выбирают такие дела, в которых чорт ногу переломит, потому что, хотя толку от этого бывает мало, зато на каждом шагу можно удивляться, радоваться и ужасаться. Ну, время-то и проходит, и кажется, что как будто в самом деле живешь.

Марья Николаевна задумалась.

— Да; это правда, — наконец сказала она: — лучше жить хоть как-нибудь, хоть глупо да жить, чем так...

— Однако вот эта жизнь уж перестала вам нравиться. А почему? Вы поняли ее нелепость и уж не можете жить этою жизнью. Стало быть, чем больше вы будете узнавать жизнь

вообще, тем больше и больше будете лишаться возможности жить, как люди живут.

— Но что же тогда? — почти с ужасом спросила Марья Николаевна. — Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?

— Остается... — Рязанов посмотрел кругом, — остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой.

— Нет, погодите! Скажите мне: есть же у вас какая-нибудь жизнь, которой вы живете?

— Конечно, есть.

— Ну, вот мне бы хотелось только узнать ее, какая она.

— Напрасно. Не стоит.

— Но почему же?

— А потому, что это и не жизнь, а так, чорт знает что, дребедень такая же, как и все прочие.

Она остановилась.

— Нет; не может быть.

Рязанов пожал плечами.

— Я вам не верю. Вы не хотите только мне сказать.

— Поймите же, что нечего сказать.

— Неужели я этого не стою? Послушайте, — вдруг заговорила она и протянула ему руку. — Хотите вы быть моим другом? а? хотите?

Он молча, не глядя ей в лицо, пожал ее руку, потом осторожно освободил свою и положил ее на стол.

Марья Николаевна, покачнувшись к нему, ждала, что он скажет.

— Да, — наконец, выговорил он: — это, конечно, очень приятно, только...

— Что?

— Только я, право, не понимаю, какая же между нами может быть дружба, — кончил он вполголоса, как будто сам с собой рассуждая. — Ничего из этого не выйдет.

— А если вы не понимаете, — скороговоркой прибавила она: — так я вам скажу, что я уезжаю отсюда.

— То есть как? Совсем?

— Да, совсем. Между мной и моим мужем все кончено. Я свободна.

— Вот как, — глядя в пол, тихо произнес Рязанов.

— Теперь бы я желала только одного, — все больше и больше одушевляясь, говорила Марья Николаевна: — я бы желала устроить так мою жизнь, чтобы я могла все силы, все способности мои употребить на то, чтобы хоть в чем-нибудь вам быть полезной. Я много не желаю, мне хотелось бы только хоть чуть-чуть помогать вам в ваших занятиях. Что вы мне скажете, то я и буду делать. Сначала, конечно, мне будет нужна ваша помощь, потому что ведь я ничего не умею, а потом я привыкну понемногу. Таким образом мы и будем помогать друг другу...

— В чем?

— Как в чем?!...

— Подумали ли вы, в чем же это мы с вами будем помогать друг другу? И какое это такое занятие вы нашли, я не понимаю хорошенько... Учиться, что ли, мы будем друг

у друга, или так просто жить?.. Да нет; стойте! прежде всего вот что: вы-то собственно, зачем вы едете?

— Вы все-таки не знаете?

— Все-таки не знаю.

— Хорошо. Я вам скажу. Я еду для того, чтобы начать совсем новую жизнь: мне эта опротивела; эти люди мне тадки, да и вся эта деревенская жизнь. Я могла жить здесь до тех пор, пока я еще ждала чего-то, одним словом, пока я верила: теперь я вижу, что больше ждать мне нечего, что здесь можно только наживать деньги, да и то чужими руками. К помещикам и ко всем этим хозяевам я чувствую ненависть, я их презираю, мужиков мне, конечно, жаль, но что же я могу сделать? Помочь им я не в силах, а смотреть на них и надрываться я тоже не могу. Это невыносимо. Ну, скажите же теперь, ведь это правда? Ведь незачем мне больше здесь оставаться? да?

— Да, разумеется; если уж это вам так противно.

— Вы это так говорите... Мне кажется, вы не желаете, чтобы яехала?

— Напрасно вам это кажется. Напротив. я желаю, чтобы вы делали именно то, что вам хочется; но кроме того я еще желаю получить ответ на вопрос, который я вам сделал: зачем вам хочется туда?

Он показал в окно.

— Что вас влечет dahin, dahin.¹ Уж не думаете ли вы серьезно, что там растут лимоны?

¹ Dahin по-немецки — туда. Рязанов цитирует «Песнь Миньоны» Гете: «Туда, туда, где цветут лимоны».

— А знаете ли, в самом деле, как я представляю себе, что такое там? Я всегда воображала себе, что там где-то живут такие отличные люди, такие умные и добрые, которые все знают, все расскажут, научат, как и что надо делать, помогут, приютят всякого, кто к ним придет... одним словом, хорошие, хорошие люди...

— Да, — в раздумьи говорил Рязанов: — хорошие, хорошие люди... Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

— И теперь пожалуй еще с пяток наберется.

— Как? Отчего же так мало? Где же они?

— Гм! Странно как вы спрашиваете! Да разве они не люди? Разве они тоже не подвержены разным человеческим слабостям? Одни умирают, а другие не умирают...

— Так что же?

— Так просто погибают...

— Погибают?

— Да так вот, пропадет — и кончено. Вон как в балетах: все танцует, танцует, найдет на такое место — вдруг хлоп! пропал.

Марья Николаевна вздохнула и задумалась.

— Да, подобрались покрупнее-то которые, подобрались, — рассуждал между тем Рязанов, — осталась одна мелкота. Впрочем, вы на нее не смотрите, что она мелкота. Это нужды нет. Она, мелкота-то эта, все дела справит и все эти артели заведет... на законном основании; они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что... да, впрочем, сами увидите.

— А вы? — с удивлением спросила Марья Николаевна.

— Нн-ет, я уж так как-нибудь обойдусь, собственными средствами.

— Да почему же? Разве вы не верите в успех этого дела?

— Как не верить? Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно, только мы-то вот, кажется, немножко того... немножко опоздали для этого успеха.

Рязанов медленно обвел глазами комнату и, откинувшись на спинку стула, провел рукой по волосам; Марья Николаевна напряженно следила за каждым его словом, и не сморгнув, пристально смотрела ему в лицо.

— Да, — снова заговорил он: — жизнь штука любопытная, я вам скажу. Так вот всю видишь, кажется, ее насквозь и человека знаешь вдоль и поперек — чего бы кажется еще? Так нет; все мало. Еще чего-то нужно. Страсть нужна. Тут нужно просто притти и взять... однако, я вот говорю, говорю, а сам все эту малину прихлебываю, да и забыл совсем, что она с ромом, чорт ее возьми! Пьян напился.

Он отодвинул от себя стакан.

— То-то я замечаю, как-то уж очень я тово... фигурно стал выражаться, — прибавил он, выпрямляясь на стуле.

И действительно, на лице у него выступили багровые пятна, а глаза беспокойно и подозрительно переходили с одного предмета на другой. Он встал и сделал несколько шагов по комнате, видимо стараясь ступать как можно тверже.

— А я было хотела спросить вас еще об одной вещи, — нерешительно сказала Марья Николаевна.

— О какой вещи?

Рязанов обернулся и, засунув руки в карманы, остановился перед Марьей Николаевной.

— Что ж, спрашивайте! Да только я-то вот закутил по случаю сырой погоды.

— Это ничего.

— Впрочем, вы ведь, кажется, желали даже видеть меня в ненормальном состоянии? — так вот вам отличный случай.

Марья Николаевна подняла голову и посмотрела ему в лицо.

— Что вы смотрите? Вы думаете, я буду откровеннее? Нет, на меня вино производит совершенно обратное действие: я становлюсь еще недоверчивее, грубее. Да я, кажется, и в трезвом-то виде не слишком деликатно обращался с вами. А? Марья Николаевна, так ведь? Грубо я с вами поступал? Вы на это не сердитесь! это все пустяки...

— Сядьте, — тихо сказала она, взяв его за руку.

— Ну-с, так какая же это вещь, о которой вы хотели спрашивать, — говорил он, садясь опять на прежнее место.

— Вы мне все-таки не сказали... Вы мне ничего положительно не сказали о том... — она замаялась и, все ниже и ниже нагибаясь к столу, с расстановкой, почти шопотом, прибавила: — неужели вы не знаете до сих пор...

— Я знаю только одно, — перебил ее Рязанов, — и самым положительным образом знаю, что я завтрашний день отсюда уеду.

— Куда? — быстро поднимая голову, спросила Марья Николаевна.

— Да это смотря по тому, как... вообще в разные места.

Марья Николаевна не спускала с него глаз и все еще ждала чего-то.

— Больше к югу, — прибавил Рязанов.

Она не шевелилась, даже не вздрогнула и продолжала попрежнему смотреть на него, хотя по глазам ее видно было, что она уже не ждет ничего и мысли ее полетели дальше.

— Время подходит ненастное, — продолжал Рязанов, глядя в окно: — дождь идет. Видите, погода-то какая сволочь!

Марья Николаевна все смотрела на него и должно быть не слушала; взгляд ее перешел с Рязанова на стену и остановился; на лице у ней ничего не выражалось: оно было совсем неподвижно и только вдруг как-то осунулось, точно после трудной болезни. Рязанов замолчал и начал пристально всматриваться в нее: слегка нахмурив брови, он водил глазами по всему ее лицу, по вытянутым и неподвижно лежащим на столе рукам ее, а сам в то же время основательно и не торопясь мял свои собственные руки, так что пальцы на них хрустели; потом хотел было вздохнуть, набрал воздуха, но сейчас же закусил губу и подавил этот вздох, потом встал и задел за столовую ножку.

— А? — вдруг очнувшись, пугливо спросила Марья Николаевна.

Рязанов молча доставал с окна какую-то книгу.

Она провела по лицу рукой, посмотрела вокруг и, наступив себе на платье, — ничего не замечая — сделала было несколько шагов к двери, но тут она остановилась и обернулась. Рязанов стоял потупившись у окна, с книгою в руке. Марья Николаевна взглянула на него и ровным, холодным тоном сказала:

— Прощайте!

— Куда вы? — тихо спросил он.

— Я еду... то есть теперь я иду домой, а потом поеду...

— Туда?

— Да, туда, — твердо сказала она и пошла к двери.

— Желаю вам успеха, — не трогаясь с места, проговорил он уже в то время, когда она уходила из комнаты, и почти в то же мгновение изо всей силы швырнул книгу под стол, и, схватив себя обеими руками за волосы, бросился вперед... но тут же остановился, опустил руки, покачал головой, улыбнулся и стал ходить по комнате.

XV

Ночью шел дождь и к утру погода совсем расклеилась: небо все сплошь заволокло тучами, пошла слякоть.

Щетинин сидел в кабинете на диване, поджав под себя ноги и задумчиво смотрел в окно. В последнее время он очень изменился и похудел; да и в самом костюме его стало заметно

неряшество: он был без галстука, в старом за-
тасканном пиджаке и в туфлях. Тут же на ди-
ване около него валялась книга; за письменным
столом сидел Иван Степаныч и дописывал ка-
кую-то бумагу; из передней слышался мужичий
кашель и отрывистое чавканье грязных сапог.
Щетинин взял было книгу, подержал ее в ру-
ках, посмотрел, даже помуслил палец для того,
чтобы перевернуть страницу, но тут же опять
задумался и загляделся в окно; хотя собственно
говоря там решительно не на что было смо-
треть; по двору с ноги на ногу пробирались по
кирпичикам какие-то мокрые люди; по крышам,
нахохлившись, сидели воробьи и уныло встря-
хивали мокрыми крыльями.

— Дописал-с, — резко произнес Иван Сте-
паныч, кладя перо на стол. — Извольте под-
писать!

Щетинин нехотя встал с дивана, лениво взял
перо, подписал с одного маху «Землевладелец
коллежский секретарь, Александр Васильев сын
Щетинин» — и опять сел на диван.

— А я шкуру-то эту отдал выделать, — за-
говорил Иван Степаныч, засыпая песком бу-
магу.

— Ага, — равнодушно произнес Щетинин.

— Шапку хочу сделать — собачью. Скунсо-
вая аккурат будет. Что застрелил-то я.

— Мгм.

— Нет, я вас хочу спросить, — вставая го-
ворил Иван Степаныч, — Александр Васильич.

— Что?

— Вы науки знаете?

— Знаю.

— Я хочу вас спросить, что правда это, или нет?

— Да что?

— Ведь она бешеная была.

— Кто?

— Да шапка-то. Ведь она от бешеной собаки.

— Ну, так что ж?

— Я слышал, что ежели, говорят, ее близко к воде поднести, так она вся вот эдак, шапка-то, дыбом встанет шерсть-то на ней. Вы об этом в книжках не читали?

— Нет, не читал.

Иван Степаныч задумался.

— А может, и врут. Да мне чорт их возьми совсем, я все-таки сошью, — решил он, махнув бумагой. — А то еще, пожалуй, воротник выйдет к шинели. А? Собачища страшенная. Вы как думаете, выйдет? Вот эдакая вот!

Он показал руками.

— Да, выйдет. Я знаю, что выйдет, — говорил Иван Степаныч, стоя перед Щетининым: — вот одно только нехорошо, — заметил он, покачивая головой.

— Что нехорошо? — очнувшись спросил Щетинин.

— Да, говорят — в церковь нельзя в этой шинели ходить.

— Почему же?

— Да ведь он собачий, воротник-то.

— Ну, это ничего, — заметил Щетинин: — а вы вот что: вы отдайте бумагу-то мужикам, да перетолкуйте там с ними о делах.

— Эх, уж эти мне толки, — с неудовольствием сказал Иван Степаныч и отправился в переднюю. Через минуту оттуда уже слышалась брань.

Щетинин опять задумался. В это время вошел Рязанов. На лице его заметно было желание казаться как можно равнодушнее, а потому оно выходило уж как-то слишком беззаботно. Щетинин, заметив его издали, поморщился было немного, но, взглянув ему в лицо, спросил:

— Что ты, я слышал, нездоров?

— Нет. Я пришел проститься, — отвечал Рязанов, садясь с ним рядом на диван: — я еду.

— Как? Уже?

Щетинин привстал.

— Вместе?..

— Я еду один, — отчетливо сказал Рязанов.

Щетинин снова опустился на диван.

— Когда же? — спросил он, переводя дух.

— Когда лошадей приведут. Я уж послал.

Щетинин молча щипал подушку.

— Что ж тебе за охота в такую погоду? — с притворным участием спросил он наконец.

— Да за одно уж мочиться-то: не сегодня, так завтра, не все ли равно?

— Возьми тарантас хоть, по крайней мере, до города доехать.

— Вот еще! О пустяках толковать.

Рязанов махнул рукой.

— Ну, как знаешь. Куда ж ты, — в Питер?

— Нет, так, куда придется. Да не в этом дело. Я ведь вот зачем собственно пришел...

Щетинин еще раз вздохнул и, поджав под себя ноги, обернулся к Рязанову, стараясь впрочем не глядеть ему в лицо.

— В последнее время, — начал Рязанов: — у нас с тобой там какие-то недоразумения вышли. Мне-то это все равно, но ты, кажется, имеешь повод быть мною недовольным, так я вот объясниться хотел на прощаньи.

Щетинин пожал плечами.

— Я право не знаю, какое же у нас с тобой может быть объяснение. Впрочем, конечно... я одно только могу сказать, что я этого не ожидал от тебя.

— А я думаю, напротив, что этого всегда надо было ожидать.

Щетинин вспыхнул.

— Чего же ты хочешь от меня наконец? — закричал он, вскакивая с дивана. — Ты меня лишаешь всего: ты отнял у меня энергию, спокойствие, мало того, ты разрушил мое семейное счастье... Ведь как бы то ни было, вот ты находишь, что глупо там, но ведь как бы то ни было, да жил же я до сих пор, делал дело, ну, глупое дело, по-твоему, да я по крайней мере знал, что я тружусь, что я не даром небо копчу... а ты тут с этими своими разговорами... и еще вдобавок я же виноват во всем. Вот это мило!

Щетинин бегал по комнате и сильно размахивал руками.

— Да кто тебя винит? Успокойся, сделай милость, — сказал Рязанов, тоже вставая с дивана. — Разве тут может быть кто-нибудь виноват?

— Так что же это по-твоему, судьба, стало быть, такая?

— Судьба не судьба, а во всяком случае

ведь неизбежная. Рано или поздно, а это должно было случиться.

— Не будь этих разговоров, ничего бы и не было.

— Что ж разговоры? Ты думаешь — это и бог знает что — разговоры?

— Еще бы! Если целый день, целый день, с утра до ночи в уши дудят: то не так, другое не так... женщина молодая, неопытная, понятно, что должна была увлечься.

— Однако, ты вот не увлекся же.

— Я! я совсем другое дело.

— В том-то и штука. Тут сила, брат, не во мне. Не со мной, так с другим, не с другим, так с бабой с какой-нибудь поговорила бы по душе, все то же бы вышло. Не теперь, так через год, а уехала бы все равно. Вот разве совсем запретить разговаривать, да, впрочем, и то надо принять в расчет, что книжки такие есть. И без разговору всю эту штуку поймет. Ничего не поделаешь.

Щетинин задумался.

— И напрасно это ты только стараешься найти виноватого, — прибавил Рязанов: — я уж об этом думал: тут, брат, как не кинь, все клин.

— Да за что же, наконец, за что? — снова оживляясь заговорил Щетинин: — что я такое сделал против нее? Ведь нужно же все-таки хоть какое-нибудь основание. Не тряпка же я в самом деле, чтобы мною помыкать: то люблю, то не люблю.

— Основание тут, брат, жизнь. Жить хочет женщина; а мы с тобой так только, в качестве благородных свидетелей, участвуем в этом деле.

И роли-то наши самые пустые: ты ей нужен был для того, чтобы освободиться от матери, а от тебя освободил, а от меня уж она сама освободилась; теперь ей никто не нужен—сама себе госпожа.

Щетинин стоял у окна и водил пальцем по стеклу.

— Стало быть, ты с нею не едешь? — тихо спросил он наконец.

— Я тебе сказал уж, что еду один и притом совсем в другую сторону.

— Хм, — размышлял Щетинин: — так это совсем другой разговор выходит.

— Разговор тут самый простой, — заметил Рязанов:—«спящий в гробе мирно•спи, жизнью пользуйся живущий!»

— Что ж, не умирать же в самом деле?

— Умирай, не умирай, это как ты хочешь, а на жизненном пиру тоже мы с тобой не очень раскутимся. Места-то наши там азняты давно.

— Ну, нет, брат, шалишь! Я еще жить хочу. Я так дешево не расстанусь. Не удалось семейное счастье, ну, что же делать, попытаем что-нибудь другое. Жизнь-то еще впереди. Что ж, мне тридцать лет всего. Эка штука!

Рязанов молчал.

— А я вот тут с горя-то, — продолжал Щетинин, значительно понизив тон: — книжонка тут одна мне попала, я и стал ее перелистывать от нечего делать...

— Да?

— Ничего. Книга дельная.

— Ну, и что же?

— Да я нахожу, что автор совершенно прав:

он говорил, что без капитала никакое серьезное прочное дело невозможно.

— Так.

— Что, говорит, прежде всего необходимо сосредоточить большие денежные средства, а потом уж, как деньги у тебя в руках, тогда что хочешь делай...

— Да. Ну, а тебе-то какое же до этого дело?

— А такое, что эта книга наводит меня на совершенно новые предположения: она мне показала, что еще не все потеряно. По правде тебе сказать, я на тебя совсем и не сержусь. Что сделано, того уж не воротишь. Но сидеть сложа руки и плакаться на судьбу я тоже не могу: мне нужно дело, нужно занятие, и я придумал такое дело.

— Любопытно.

— Да, брат, будет и на нашей улице праздник: авось бог даст и мне порадеть на пользу общую; дай срок мне только разбогатеть, а с деньгами мы все эти дела обработаем.

— Давай бог!

Щетинин почти повеселел: измятое лицо его оживилось; он начал ходить по комнате и, задумчиво улыбаясь, поглаживал себя по голове, потом вдруг остановился.

— Да! что ж я? Ведь ты едешь. Я и забыл. Закусить что-нибудь?

— Я не хочу.

— Да нельзя, братец. Хотя мы с тобой и соперники в некотором роде, — шутя говорил Щетинин: — а проводы все-таки следует справить по чину; по крайней мере бутылочку распить.

Он приказал подать вина.

— Так-то, брат, — уже совсем повеселев, сказал Щетинин и хлопнул Рязанова по коленке. — Вот осень подходит, стану хлеб скупать, а к весне овец заведу. Главная вещь — денег сколотить как можно больше, а там... Вот тогда я погляжу, что ты скажешь, погляжу.

— Я все равно и теперь могу сказать.

— Что же такое?

— Старую ты песню поешь: «разбогатею, а потом начну благодетельствовать человечеству».

— Да если и старая, так что-ж тут дурного? Ведь я тебе говорю же, куда я употреблю эти деньги.

— Понимаю. Цель-то, положим, что и хорошая, да средство это такое...

— Чем же? Деньги — это сила.

— Сила-то она, конечно, сила, да только вот что худо, — что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит на то, чтобы расплатиться. Да главное, что и расплачиваться будет как-то уж неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги нужно будет уж от тебя насильно отнимать.

— Зачем ты непременно везде все видишь зло? А разве не могу я честным образом?

— Мм — трудно. Впрочем, мне один знакомый протодиакон рассказывал, — такой был случай, как одна благочестивая девица и невинность соблюла, и капитал приобрела. Да, бывают такие случаи, но редко.

Лакей принес на подносе бутылку рейнвейну и два стакана.

— Тебя послушать, — говорил Щетинин, наливая в стаканы вино, — так в самом деле только и остается, что камень на шею да в воду. Давай-ка выпьем мы с тобой: дело-то вернее будет.

— Это, конечно, верней, — заметил Рязанов и чокнулся со Щетининым. — Но овед-то ты все-таки ведь заведешь?

— Заведу, брат; это уж ты меня извини.

— Ну, да. И хлебом барышничать все-таки будешь?

— Буду, брат; что делать?.. Буду. Нельзя, потому наше дело торговое, в убыток продавать не приходится.

— Разумеется. Так ты не слушай! Мало ли что говорится, всего не переслушаешь. Однако мне пора. Вон и лошадей уж привели.

Щетинин взглянул в окно: на дворе у флигеля стояла телега, запряженная парюю шершавых крестьянских лошадемок; на козлах сидел мужик.

— Да куда же ты стремишься-то однако? а? — спросил Щетинин. — В какие страны?

— А сие нам доподлинно неизвестно, — улыбаясь ответил Рязанов. — Ну, прощай же!

— Прощай, брат, прощай, — как-то задумчиво и вместе нараспев протянул Щетинин, пожимая ему руку. — А знаешь ли, что я тебе скажу? Вот хочешь ты мне веришь, хочешь нет, — это ты как хочешь; а ведь мне ей богу жаль тебя, то есть душевно жаль. Честное слово.

— Верю, — тихо сказал Рязанов и стал торопливо завязывать носовым платком себе шею.

— И что бы я взял теперь вот эдак мыкаться по белу свету, — рассуждал между тем Щетинин, заложив руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону: — то есть кажется осыпъ меня золотом, чтобы я согласился, — да ни за что! Без приюта, без пристанища, ничего позади, ничего впереди...

— До свиданья, — отрывисто сказал Рязанов и вышел. Проходя через переднюю, он заглянул в залу и увидел Марью Николаевну; она стояла в дверях, прислонившись к косяку и, повидимому, ждала его. Он подошел к ней.

— Я хотела с вами проститься, — сказала она, отходя от двери и приглашая его войти в залу.

— И я тоже хотел, — отряхнув фуражку, сказал Рязанов.

Он взглянул ей в лицо: оно было совершенно спокойно, даже как будто немного торжественно и напоминало то выражение, какое было на нем три месяца тому назад, когда Рязанов только что приехал в деревню.

— Мы с вами, — начала она: — столько говорили все лето, что...

— Все уже переговорили, — подсказал Рязанов.

— Нет, еще не все, — сухо заметила она. — Так как говорили больше вы, а я все больше слушала, то теперь ваша очередь выслушать, что я вам скажу.

— Слушаю-с, — наклоняя голову, сказал Рязанов.

— Я хотела . . . во первых, я хотела поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и кроме того еще за вчерашний разговор.

Рязанов стоял перед ней, наклонив голову, опустив глаза и слушал.

— За это объяснение я особенно вам благодарна.

На слове о с о б е н н о она сделала ударение.

— Этим объяснением вы предостерегли меня от очень важной ошибки. В эту ночь я пережила душевный кризис, но теперь я уж совсем здорова. Вы помогли мне в этом. Вы, может быть, и сами не знали, какую оказали мне услугу. Но я вам должна сказать еще одну вещь, которая, вероятно, вас очень удивит. Слушайте! Все наши рассуждения, все, всё решительно я помню, я не забыла ничего, каждое ваше слово я помню и знаю, что это так, что вы мне правду говорили . . .

— Да-с.

— Но странное какое дело, — представьте, что сегодня я уж вам не верю; то есть я как-то вам именно не верю. Это вас удивит конечно?

— Нет,—поднимая глаза, отвечал Рязанов.— Я знаю еще другой подобный случай, мне одна барыня вот тоже говорила: я, говорит, знаю, что земля кругла, но я этому не верю.

Марья Николаевна закусила губы и торопливо заговорила:

— Ну, да; и я знаю, что у вас на это хватит остроумия, только вы напрасно трудитесь: на этот раз я говорю совсем серьезно.

— И я на этот раз так же серьезно отвечаю вам, что в моем сравнении нет ничего для вас обидного; напротив, это так и следует: не верьте никому и мне в том числе; тем лучше, меньше будет душевных кризисов, меньше ошибок.

— Нет, я на это несогласна.

— В таком случае как вам угодно, а я должен ехать, потому что пока мы здесь беседуем, один прилежный земледелец, приглашенный мною, чтобы довезти меня до города, потеряет много золотого времени.

— Ах, я вас не держу.

— Вы не имеете ничего больше сообщить мне?

— Н-ничего.

Марья Николаевна покачала головой.

— Прощайте!

Она протянула ему руку. Рязанов еще раз мельком взглянул ей в лицо: оно было совершенно холодно.

— Прощайте, Иван Степаныч, — сказал Рязанов, входя во флигель.

— Куда вы? Едете? Ну, вот! Не ездите!

— Что же делать, надо ехать.

— Эх, вы! А я было собирался с вами за зайцами? А? Как бы закатились! Ну, так постойте же, я вам завяжу, — говорил он, вырывая у Рязанова узел. — Ничего вы не умеете.

Рязанов принялся застегивать чемодан.

— Да что, в самом деле, — говорил Иван Степаныч: — и я сам погляжу, погляжу, да и

тово... уеду тоже куда-нибудь, в Польшу, — вдруг решил он, поднимая узел. — А? Как вы думаете? отличная штука! Вы тоже в Польшу? Поезжайте, поезжайте! Вот там места-то, говорят.¹

— Да, места, — не слушая ответил Рязанов, нагнувшись над чемоданом.

Пока Рязанов с помощью Ивана Степаныча укладывал свои пожитки в телегу, ко флигелю подошла старая дьячиха и привела сына, одетого в заячий тулупчик. Она долго крестила его, и, усадив в телегу, все еще кутала и прикрывала старым ситцевым одеялом, торопливо доставала из-за пазухи какие-то узелочки и, будто украдкой от кого-то, совала ему в карман; наконец, сняла с себя платок и повязала ему на шею.

Марья Николаевна все время стояла у окна, и когда мужик задергал вожжами и замахал на лошадей хворостиной, она вздохнула, опустив голову, тихо и задумчиво прошла в свою комнату и стала укладываться в дорогу.

¹ Правительство Александра II, усмирив польский мятеж, решило заменить польских чиновников русскими. Газета Каткова высказывала надежду, «что в настоящее время все должности в западном крае будут заменяться людьми, крепко привязанными к православию», и требовала, чтобы этим православным чиновникам значительно повысили жалованье. Эта мера была введена летом 1863 года, и таким образом для всевозможных проходивших чиновничьи места в царстве польском стали соблазнительной приманкой.

ПИСЬМА ОБ ОСТАШКОВЕ

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ОБРАЗЕЦ ГОРОДСКОГО УСТРОЙСТВА В РОССИИ

Ни об одном из уездных великорусских городов не было писано в последнее время столько, как об Осташкове.

Всякий, кому случалось бывать в этом городе, считал непременною обязанностью печатно или изустно довести до всеобщего сведения о тех диковинах, которые ему пришлось в нем увидеть: о пожарной команде, библиотеке, театре и проч., то есть о таких предметах роскоши, о которых другие уездные города пока еще не смеют и подумать.

Всякий, посетивший это русское Эльдorado, по мере сил и крайнего разумения отдавал должную справедливость заботливости городских властей и хвалил жителей за примерное благонравие. Затем благородный посетитель не упускал случая поставить осташковскую мостовую и пожарную команду в пику всем прочим уездным городам русского царства и намекнуть в конце, в виде нравоучения, что почему бы, дескать, и другим городам не взять примера с Осташкова и не завести у себя и то и другое, и пятое и десятое; желательно было бы.....

и прочее, как это обыкновенно говорится в подобных случаях.

Такого рода похвалы и советы, без всякого сомнения, делали честь благородному посетителю, обличая в нем желание наставлять нерадивые города на путь истины, но вместе с тем они отчасти и повредили Осташкову во мнении прочих городов. Благородный посетитель, как будто нарочно, всегда старался изобразить Осташков каким-то благонаправленным мальчиком, у которого и волосики гладко причесаны, и курточка не изорвана, и тетрадошки не закапаны салом, за что начальники его всегда хвалят и ставят в пример другим, нерадивым мальчикам, и за что товарищи его терпеть не могут. Но если бы благородный посетитель потрудился дать себе отчет в том, что он видел, и пожелал бы узнать причины — почему, например, один город сидит себе по уши в грязи, и грамоте даже учиться не хочет (как Камышин), а другой — без театра и библиотеки немислим? Почему осташковская мещанка, кончив дневную работу (большею частью точание сапог), надевает криолин и идет к своей соседке, такой же сапожнице, и там ангажируется каким-нибудь галантным кузнецом на тур вальса, или идет в публичный сад слушать музыку, а какая-нибудь ржевская или бежецкая мещанка, выпавшись вплотную на своей полосатой перине и выпив три ковши квасу, идет за ворота грызть орехи и ругаться с соседками? Почему вышневолоцкий сапожник сошьет сапоги из гнилого товара, и еще на чайек за это попросит; а осташковский сошьет хорошие сапоги и, вместо

чайку, попросит почитать книжечку? Почему Осташ называет себя гражданином, а не Митькой, Прошкой и т. д.?

Если бы благородный посетитель задавал себе такие вопросы и добился бы на них положительных ответов, то, во-первых, он перестал бы хвалить Осташей за благонравие и, во-вторых, не стал бы укорять других за нерадение; потому что уже самое желание решить эти вопросы — избавило бы Осташей от похвал, от которых им ни тепло, ни холодно, а жителей нерадивых городов от нареканий, которые им кажутся крайне оскорбительными и пользы видимо никому не приносят.

Осташков, действительно, один из замечательнейших русских городов, даже единственный в своем роде; но замечателен он вовсе не тем, на что, обыкновенно, туристы и хроникеры стараются обратить внимание публики. Осташков выходит из ряда обыкновенных уездных городов; но не тем, что в нем есть театр, мостовая и доморощенные музыканты-кузнецы, чем любит похвастаться осташковский житель; не тем, потому что все это крайне плохо и не могло бы удовлетворить действительным потребностям города, — если бы таковые существовали и если бы все эти учреждения были вызваны именно потребностями развитого общества. Благосостояние Осташкова представляет чрезвычайно любопытное и поучительное явление в русской городской жизни. Осташков, с его загородными гуляньями, танцами и беседками, можно рассматривать, как одну из тех драгоценных картин-игрушек, на которую

потрачено много труда и денег, и на которой удивительно искусно изображены: рыбак с удочкой, крепость, мальчишки, идущие в школу, и барышня в беседке, с цветком в руке. Все это чрезвычайно мило, и если завести ключом скрытый позади картины механизм, то рыбак начнет ловить рыбу, мальчишки пойдут в школу, а барышня и крепость останутся на месте, и при этом можно будет слышать марш. Но как бы это ни было мило, тем не менее картина все-таки останется игрушкой, и будет только делать честь и — главное — удовольствие ее изобретателю; что же касается людей, изображенных на картине, то им, надо полагать, ничего больше и не остается делать, как ловить рыбу, ходить в школу и сидеть в беседке. И если бы вдруг рыбаку вздумалось посидеть в беседке, а мальчишки сочли бы за лучшее заняться рыбной ловлей, то, вероятно, встретили бы непреодолимые препятствия, потому что такая перемена ролей не входила в план изобретателя, и самовольная отлучка с указанного места послужила бы признаком неисправности механизма.

Но с другой стороны почему не предположить, что найдется еще искусник — и перехитрит первого, и сделает такую картину, на которой, вместо рыбака, будет сделан турок, курящий трубку идвигающий глазами, барышня же хотя и будет, но не станет сидеть в беседке, а поедет на осле и за ней побежит собачка, мальчишки же, вместо того чтобы идти в школу, будут плясать. В этом случае все, как видно, зависит от искусства и фантазии изобретателя, и если перевернуть надлежащим образом извест-

ное изречение Пинетти,¹ то можно будет довольно удачно выразиться о таких картинах или о таком городе, говоря следующим образом: здесь нет жизни; здесь только механизм, пружина и колесики. Доказательства тому читатель найдет в письмах, которые за этим следуют.

Взгляд на Осташков, метафорически высказанный выше, сложился не вдруг, а выработался медленно, после многих и самых курьезных заблуждений, хотя у автора этих писем было в руках много средств доискаться истины и разрушать разного рода мистификации. Но все-таки хлопот и недоразумений было много, потому что механики не любят открывать секретов, доставивших им известность, и принимают строжайшие меры против непрошеного любопытства, в чем читатель также будет иметь случай убедиться ниже.

А в т о р

¹ Пинетти — фокусник.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

НАРУЖНОСТЬ ГОРОДА

Третьего дня, поздно вечером, я приехал в Осташков и на другой же день пошел знакомиться с городом и его жителями.

На первый раз мне хотелось сделать визиты разным должностным и другим лицам, пользующимся в городе особенным почетом; к некоторым же из них у меня были и письма. С вечера привезли меня на постоялый двор (гостиниц здесь нет), где дали мне чистую, действительно очень чистую комнату с постелью без клопов и с отлично вымытым полом. Все было пошло хорошо. Встаю на другой день, посмотрел в окно: дождь идет, грязь непроходимая на улице; спрашиваю: есть ли у вас извозчики? — Нет извозчиков. — Что ж я буду делать? А раки есть? — есть. Надо заметить, что Осташков славится раками. Я заказал себе раков к обеду, а между тем от нечего делать разговорился с коридорным... или, не знаю, как его назвать, одним словом, с хозяйским братом, который здесь в доме занимается счетной частью, чистит сапоги, ставит самовар и просит на водку.

Хозяйский брат, — некто Нил Алексеевич, —

с первого же знакомства поразил меня изумительной юркостью движений и необыкновенным сходством с бессрочно-отпускным солдатом, хотя он просто-напросто здешний мещанин и даже в ратниках не бывал.

Впоследствии, впрочем, сколько я ни замечал, оставшковские мещане, или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороду бреют, носят усы, осанку имеют воинственную и когда говорят, отвечают — точно рапортуют начальнику. Вообще, дисциплина в нравах. Так вот, Нил Алексеевич, к крайнему сожалению моему, сообщил мне, что Федор Кондратьевич¹ уехал в Петербург и неизвестно когда вернется, но что лучше всего понаведаться к ихнему братцу и от него узнать о возвращении Федора Кондратьевича. Все же прочие, кого мне нужно было видеть, были в городе. Погода между тем начала поправляться, но все-таки на улицах было грязно, хотя я и жил на главной, так называемой Каменной улице. Сидя в грустном уединении у окна и глядя на камни, потонувшие в грязи, я имел возможность самым очевидным образом убедиться в справедливости пословицы: «славны бубны за горами», — до такой степени эти камни, обязанные изображать собой мостовую, дурно исполняли свою обязанность.

После обеда однако небо совсем прояснилось, и я, несмотря на грязь, пошел бродить по городу.

¹ Савин. оставшковский городской голова. *Прим. Савцова.*

Осташков, как вам известно, стоит на берегу озера Селигера, или, лучше сказать, Осташков стоит на полуострове и с трех сторон окружен озером; а так как город выстроен совершенно правильно и разделен на кварталы прямолинейными улицами, то вода видна почти отовсюду и притом озеро кажется как будто выше города, чему причиной служит неизменность почвы.

Город весь в воде, и даже с четвертой стороны у него огромное болото. Над озером стоит туман и дальние берега чуть-чуть мелькают: с одной стороны виднеются какие-то деревни, да несколько ошипанных кустов; в другую сторону, к югу, лежат острова: Кличин, еще какой-то с обвалившейся красильней; Житный монастырь тоже на острове. За этими островами темною полосой синее опять остров — Городомля с сосновым лесом, а за этим лесом уже не видно Ниловой пустыни.

Население расположилось в разных частях города по промыслам и ремеслам, так что весь город можно разделить на три части.

Если смотреть на Осташков с севера, т. е. с материка, так, как он является каждому, въезжающему в город, то увидим, что правую и левую сторону его берегов заняли рыбаки; южная оконечность полуострова, вдавшаяся в озеро, застроена кожевенными заводами; в центре находится торговая площадь, присутственные места и кузницы; сапожники же разбросаны по всем остальным улицам и переулкам, идущим во все направления.

Такая сортировка по занятиям вполне соот-

ветствует и потребностям каждого ремесла или промысла, взятого отдельно.

Так, например, рыболовный промысел, по существу своему естественно связанный с озером и требующий простора, занял две трети всех берегов, но так как и этого оказалось недостаточно, то невода и сети повисли над водой, потому что дома их вешать негде.

Кожевенники же удовольствовались одной третью берега, доставшейся им от дележа с рыбаками, которые составляли первоначальное население города, — и так как воды им нужно гораздо меньше, только бы она была под руками, то они и настроили себе разных амбарчиков и клееварен на самой воде, на сваях, и мочат кожи, почти не выходя из дому, только отворяют двери и прямо в озеро.

Для кузнецов отведено открытое место внутри города, что, впрочем, нисколько не мешает им замазывать сажей и углем соседние улицы, отчего самая грязь на этих улицах имеет свойство чернить сапоги даже без помощи ваксы. Близость кожевенных заводов тоже легко узнается, во-первых, по кислому запаху и, во-вторых, по кучам старого и уже негодного корья, разбросанного по этим улицам. (По поводу корья я буду иметь случай рассказать впоследствии один очень любопытный анекдот об оставшковском либерализме, хотя, повидимому, между корьем и либерализмом не может быть ничего общего.)

¹ Корье — дубильная кора для выделки кож: ивовая, дубовая и пр.

Что же касается сапожников, то, я полагаю, всем известна невзыскательность ремесленников, промысляющих сапожным изделием; это особенно заметно в Осташкове, где сапожничеством занимаются почти в каждом доме, в особенности женщины, и где это ремесло дает только-что насущный хлеб, следовательно об удобствах тут и разговора быть не может. Если есть поларшина места для скамейки, так будут и сапоги, или о с т а ш и, как их называют.

Из первого поверхностного обзора города в этот день я извлек очень немного. Когда я вышел на торговую площадь, то прежде всего мне бросилось в глаза новенькое деревянное строение, выкрашенное желтой масляной краской: о б ж о р н ы й ряд. Подходя к нему, я слышал еще издали крик, и из любопытства заглянул туда. В проходе между лавками с разным съестным товаром торговли обступили двух проголодавшихся деревенских мужиков, в холстинных кафтанчиках и в низеньких па-стушьих шляпках, которых я никогда прежде не видывал, и друг перед другом старались насовать им в руки пирогов с рыбою, кренделей и еще каких-то драчен; мужики, оглушенные и заваленные пирогами и драченами, долго жмурились, отмахивались от торговки и старались отделаться, но торговки не давали им выговорить слова и пирогов назад брать не хотели; тогда мужики, потеряв терпение, плюнули, бросили пироги и ушли, а торговки стали браниться.

Из опасения, чтобы и меня не постигла та же участь, я поспешил скорее уйти и прямо из

обжорного ряда попал на бульвар. Но об этом предмете мне хочется рассказать подробнее. Бульвар устроен действительно очень мило (он тянется от торговой площади по направлению дома городского головы—Савина) и содержится в большом порядке: березки все подстрижены и с подпорками, дорожки усыпаны песком; даже сбоку приделан небольшой пруд с крошечным островочком, и на островочке березка. На самой середине бульвара по одну и по другую сторону стоят по два столбика, выкрашенные белой краской; на столбиках очень искусно сделаны ерши, по три ерша на каждом, всего: трижды-четыре — двенадцать ершей на бульваре.¹ На самой же верхушке каждого столбика сделана деревянная же урна с красным пламенем, очень натурально. Резчики в Осташкове свои, так оно и неудивительно.

Одно только меня несколько затруднило: при входе на бульвар в маленьких воротцах устроено что-то в роде капкана, или лабиринта, таким образом, что прежде, нежели попасть на бульвар, необходимо пройти между барьером направо, потом налево, потом назад, а потом уж можно выбраться и на бульвар; так что если человек с нетерпеливым характером случайно встретится в этих термопилах с другим нетер-

¹ Эти ерши заимствованы из осташковского городского герба, нижняя часть которого изображает голубую воду, где слева направо плывут «три серебряные рыбы, изъясняющие промысел — обилие рыб».

² Фермопилы или Термопилы — узкий проход по дороге из Фесалии в Среднюю Грецию, прославившийся в древне-греческой истории во время нашествия персов.

пеливым человеком и ни один не захочет уступить другому, то, по всей вероятности, должен произойти скандал; но бульварных капканов в Осташкове никто еще не ломал, и о таких случаях здесь не слышно, из чего прямо можно заключить, что нетерпеливых людей в городе нет, а если и есть, то они на бульварах не ходят, так же как и осташковские коровы, для которых собственно и назначены эти лабиринты.

Впрочем, занявшись бульваром, я забываю о других осташковских редкостях, а они здесь на каждом шагу. С бульвара, или, лучше сказать, с площади, — потому, что бульвар на площади, — по прямому направлению идет улица на строящуюся пристань; тут же в базарные дни производится торговля на лодках деревянной посудой, корзинами и овощами, привозимыми крестьянами прибрежных деревень.

Пристань с маленьким молом строится из булыжника и известняка, которым изобилует осташковский уезд, но строится, как видно, очень медленно по недостатку средств, или не знаю почему. Кроме этой пристани, в городе есть еще несколько малых пристаней с деревянными плотами для причала. Так как погода поправилась, то на озере и у берегов показались лодки, в которых большею частью женщины исполняли должность гребцов.

Недалеко от главной площади, на берегу, видел я театр — большое, но неуклюжее здание, переделанное из кожевенного завода. А там по южному берегу пошли уже вплоть все

заводы, совсем вылезшие в озеро. В одном месте даже капуста посажена на пловучем огороде.

Сюда, ближе к центру, показался собор с безобразнейшей колокольной в виде столба; рядом с собором — так называемый «публичный сад». Я было сунулся ко входу, — опять капкан! и опять ерши! В саду оказалось деревьев больше, нежели на бульваре, есть и скамейки, павильон, в котором играет иногда доморощенная музыка и еще какие-то особенного устройства длинные скамейки для простого народа, на которых можно очень весело проводить время, покачиваясь как на рессорах. Тут же, в саду, я встретил одиноко гуляющую козу, которая, вероятно, не затруднилась входом и просто-напросто перескочила через перегородку, из чего я вывел уже положительное заключение, что козы не входили в расчет при устройстве лабиринтов, которые исключительно предназначены для коров. Выбравшись без особенных приключений из публичного сада, я пошел по главной улице, в этом месте почему-то высыпанной песком, и вдруг увидел большое каменное здание, красного цвета, с палисадником; на главном фасаде две вывески: на одной, побольше и повыше, написано золотыми буквами: *Дом благотворительных заведений общественного банка Савина*, а на другой, поменьше и пониже: *Училище для девиц* (основанное Ворониным, — как я узнал впоследствии). Я обошел здание с двух сторон и заглянул на двор и там все очень удобно устроено; чистота изумительная, двор вымощен; для дров даже

сделано особое помещение.¹ У самых ворот стоит ящик в роде бюро; я полюбопытствовал взглянуть внутрь его и нашел там солому. Какая-то девочка, выходявшая в это время из дома благотворительных заведений, объяснила мне, что ящик этот выставляется на ночь за ворота для подкидышей; для этой же цели и колокольчик проведен от ворот в странно-приемное отделение.

— Ребеночка в ящик положат и дернут за колокольчик; оттуда сейчас выйдут и возьмут ребеночка, — объяснила мне чрезвычайно бойко девочка, причем я мог заметить, что она в кринолине и в руках у ней книга. Девочка опрятная, с воротничком и в белом фартуке, но что-то бледна уж очень. Впрочем, сколько я ни встречал сегодня женщин, — все ужасно худы и бледны.

— Вы, душенька, из училища? — спрашивал я девочку.

— Из училища-с.

— Можно туда взойти, посмотреть?

— Можно-с.

— А где найти смотрителя?

¹ По словам «Московских ведомостей» того времени, в доме благотворительных заведений были сосредоточены: 1) убежище для подкинутых младенцев, 2) богадельня для престарелых неимущих обоего пола, 3) школа для девиц, 4) Воронинское приходское училище, основанное г. Ворониным. Все это помещается в красивом кирпичном здании у общественного сада близ церкви Воскресения («Московские ведомости», 1862, № 148). Дом был построен в 1856 году, стоил около 20.000 рублей. (В. Покровский. Историко-статист. описание города Осташкова. Тверь, 1880, стр. 91).

- Он теперь в классе-с.
- И долго там пробудет?
- Часа полтора просидит-с.

Я простился с девочкой и пошел дальше, предполагая зайти в училище часа через полтора. Мне хотелось воспользоваться хорошей погодой и обойти по крайней мере правую сторону полуострова. Но какое же здесь множество часовен! Считал, считал и счет потерял. Иду к оконечности города, вдавшейся в озеро, и бессознательно читаю билеты на воротах: Савина, и по другую сторону Савина, опять Савина и еще Савина, и таким образом вплоть до самой дамбы, ведущей из города на Житный остров. Подхожу к воротам, — опять капкан! Что ж это значит? Неужели же и в монастырь коров не пускают? Повертелся, повертелся я тут у входа, однако прошел и очутился опять на бульваре, а бульвар этот в сущности дамбато и есть; отличная насыпь, укрепленная с обеих сторон сваями и диким камнем.¹ На половине насыпи сделан пролив, через который ведет красивый деревянный мост. Взошел я на мост — опять ерши на столбах!

А какой вид с моста на город, особенно теперь, когда солнце ударяет прямо в эти заливы, застроенные разным заводским строением и наполненные лодками. Рыбак, стоя в лодке, развешивает на кольях сети; прибрежные крестьяне разъезжаются с базара; две бабы везут

¹ В 1853 году на пожертвования разных лиц через пролив к Житному острову, вместо прежнего моста, устроена широкая дамба в 125 саженей длиною.

мужика и работают веслами совсем не по-бабьи: видно, что они выросли на воде, но зато мужик, возвращающийся с базара, под хмельком, знать ничего не хочет: лег себе на какие-то мешки, которыми нагружена лодка, — и ругается на чем свет стоит. Однако бабы в обиду не даются и очень ловко плещут на него веслом и всего обдают водою, отчего мужик начинает еще хуже ругаться, а бабы хохочут.

На берегу между тем кто-то вышел из двери, ведущей с завода прямо в озеро, опустил в воду крюк и вытащил оттуда мочившуюся шкуру. Левее виден гористый и пустынный Кличин, недалеко от него торчит из воды огромный камень, похожий на лодку; за камнем мелькает парус, чайки выются над озером. Однако нужно еще поспеть в монастырь. Подхожу к Житному острову, — при входе опять ерши! Да когда же это кончится? Впрочем на столбах, кроме ершей, надписи. На правом написано:

«Покорнейше просят цветов и деревьев не ломать и собак не водить».

«Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех».

А на левой стороне:

«Кто умеет уважать себя, тот умеет дорожить благоустройством общественным».

Часть острова, ближайшую к городу, занимает монастырь с огородом и памятником потомственного почетного гражданина и коммер-

ции советника Кондратия Алексеевича Савина, отца нынешнего градского главы.¹

В монастыре только и есть замечательного, что этот памятник, устроенный в виде часовни; перед иконой, как видно, прежде горел газ, проведенный с фабрики братьев Савиных; но газовый рожок в настоящее время, кажется, испорчен.

Другую половину острова занимает сад, разбитый необыкновенно затейливо, с павильонами и мостиками в виде колеса, до такой степени красивыми и крутыми, что по ним даже и ходить нельзя, с прудами величиною с порядочную лоханку, башенками и проч. Есть даже домик для пустытника, оклеенный берестой, в котором живет сторож, или даже кажется никто не живет, хотя домик и заперт на замок. Я зашел в одну беседку, стоящую на самом мысу, а из нее по лесенке взобрался в павильон, — и опять вид на город и окрестные острова, и еще лучше, нежели с моста.

Белые стены павильона все исписаны различными стихотворениями и акростихами, в которых туземное остроумие, сколько я мог заметить, все больше проходится насчет одного известного лица. Монастырская братия, заботясь,

¹ Богатейший из местных купцов Кондратий Алексеевич Савин был вначале минувшего века четыре трехлетия городским головою Осташкова, основал осташковский общественный банк (в 1819 г.). Кроме кожевенного завода, изготовлявшего обувь для армии и очень ценные сорта так наз. красной юфти, у него был сахарный завод, чугуно-литейное заведение, бумаго-прядильная фабрика и проч. Имел целую флотилию кораблей и вел торговлю с Индией и Соединенными Штатами.

как видно, о чистоте нравов и павильона, изглаживала по мере сил и возможности хулы и предерзостные писания; но чья-то неукротимая рука и тут-таки не унялась и начертила перочинным ножом неизгладимые сквернословия.

— Кто так искусно устроил все это? — спросил я гулявшего по саду монаха.

— Это все Федор Кондратьевич занимаются, дай бог им здоровья,—отвечал монах.—Здесь у нас прежде рощица была, самая жалкая рощица; признаться, не так чтобы г о р а з н о было. По праздникам ч е р н я т ь гулять к нам ходила, да больше всё пьяные, — безобразно. Ну, а Федор Кондратьич нам садик развели, будочек понастроили, деревца насадили, кусточки: ишь ты как г о р а з ж е пригляднее стало, как можно. Гулять теперь к нам все больше господа ходят, особенно летом.

— А могу я у вас попросить карандаш или перо и кусочек бумаги?

Монах заметался и похлопал себя по карману.

— Как быть? Перушка-то у нас и не сыщешь, и чернилицы тоже нету. Ах, головушка горькая! Нету! Нету! Вот у просвирника должна быть ч е р н и л и ц а-то, за здоровье пишет, да не, должно в ц е р к в и она у него з а п е р ш и. Пообождите малость, вот я схожу поспрошаю. А вам это на что? Письмо, что ли, писать?

— Нет, мне бы вот хотелось эти надписи, что на столбах-то у вас, списать.

— Ну так, так. Вот я схожу, может и сыщу.

Пока монах ходил за ч е р н и л и ц е й,

я опять загляделся на озеро и заслушался шума набегающих волн. Монастырский сад лучшее место в Осташкове, да и не в одном Осташкове: не хочется уйти. Наконец, несет монах чернильницу с обедком пера.

— В с и л у отыскал, — говорил он, подавая мне ее. — Один у нас есть такой, тоже этим делом занимается, у него выпросил. Не хотел было давать: зачем, говорит, тебе? Прольешь. Пишите, пишите, — это хорошо тут написано.

— А кто это написал? Ваш настоятель?

— Нет! Это все Федор Кондратьич¹. Вы, должно, нездешние?

— Я из Москвы.

— Из М о с к в е: так, так.

— Прощайте. Извините, что беспокоил.

— Ничего! Час добрый.

На возвратном пути в город встретил я на

¹ Федор Кондратьевич Савин (1816—1890), осташковский городской голова, был в то время популярнейшей личностью в городе, принадлежал к старинной династии богатейших промышленников. Эксплуатируя местное население на своих заводах и фабриках, он пользовался в то же время репутацией мудрого и просвещенного администратора, осыпавшего благодеяниями своих неимущих сограждан. При нем замощено много улиц, устроены общественные сады и бульвары, усовершенствована пожарная часть, создан целый ряд благотворительных учреждений и проч. Как человек честолюбивый, избалованный богатством и властью, он был очень нетерпим и деспотичен; на это указывалось даже в тогдашних официальных изданиях. Так, например, «Памятная книжка Тверской губернии за 1863 год» открыто протестует против той «монополии влияния», которой пользовался он во всей местности (стр. 186).

дамбе гражданина и офицера. Гражданин, почтенной наружности, чисто выбритый, сейчас же обратил внимание на приезжего человека, оглядел меня с головы до ног и с достоинством поклонился; офицер же запел что-то и, легкомысленно помахивая тросточкой, пошел далее. А в училище так и не удалось побывать мне в этот день.

На первый раз я ограничился прогулкой по городу; да и хорошо так устроилось, что я ни у кого не был сегодня, по крайней мере внимание не разбрасывалось; впечатление, произведенное на меня внешней стороной города, свежо, ясно и не развлекалось сближением с людьми. В сумерки я прошелся по восточному берегу, потом обогнул город с северной стороны вплоть до самого кладбища; следовательно, я видел почти весь город; не осмотренной осталась одна только Америка (северо-западная часть полуострова), которая, по свидетельству Нила Алексеевича, только тем и замечательна, что там окружной живет.

Попробую я теперь дать себе отчет в том, что я видел сегодня. А знаете, что меня всего более поразило в наружности города? Как вы думаете? — Бедность... Но вы не знаете, какая это бедность. Это вовсе не та грязная нищенская, свинская бедность, которой большею частью отличаются наши уездные города, — бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; это бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный

сапог с дырой. На первый взгляд вас приятно поразит и мостовая, и бульвар, и эти громкие вывески: *общественный банк, общественная библиотека, публичные сады, благотворительные заведения* и т. д.; даже и на этих ершей, на это обилие ершей, на все эти декорации вы смотрите снисходительно, добродушно улыбаясь, потому что все это пахнет чем-то таким новым, свежим, благоустроением. Стриженные березки, капканы, решетки, просьбы цветов не рвать, собак не водить, — все это вам давно знакомо; вам даже почему-то приятно встретить в захламлении, в Осташкове, этих старых чудаков, как иногда приятно бывает встретить какую-нибудь глупую няньку, которая вас бивала в детстве. Но все эти приятные ощущения быстро сменяются тяжелым раздумьем, как только вы свернете в одну из второстепенных улиц. Вы вдруг замечаете ужасно резкий переход, как будто вам подавали все трюфели да фазанов, а тут вдруг хрен!.. У вас и глаза было разлакомились, вам уж начало было казаться, что и дальше все то же будет, а тут и пошли, и пошли: и хижины бедные, богом-хранимые, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бумагой, и бледные, изнуренные лица с неизлечимой анемией, — одним словом, все это горе-злосчастье, с холодом, да голодом, да с лихими напастями, от которых вы было вообразили так дешево отделаться. Что же это значит? тоскливо думается вам...

Город расположен чрезвычайно искусно, и надо быть очень непроницательным, чтобы не обратить на это внимания.

Если вы захотите всмотреться пристальнее, то вы непременно заметите, что тут прошлась чья-то искусная рука, что кто-то так ловко скомпоновал все эти *objets d'art*,¹ что они неминуемо вам должны броситься в глаза. Вы непременно заметите, что для каждой вещи выбрано именно такое место, на котором она больше выигрывает и привлекает на себя ваше внимание. А что делается в отдаленных улицах, того вы не увидите, потому что туда вам и идти незачем, да и мостовых там нет, там болото. И если вы можете понять и достойно оценить все это, то вы отдадите должную справедливость художнику, потратившему много труда и соображения на то, чтобы произвести на вас самое отрадное впечатление во время вашего кратковременного пребывания в Осташкове. Но я предполагаю, что вы приехали в город безо всякой особенной цели и не имеете ни малейшего желания видеть сквозь видимый смех невидимые миру слезы, — вы приехали так себе, ни за чем, либо угоднику поклониться. Само собой разумеется, что вы едете на постоянный двор, или остановитесь у кого-нибудь из ваших благородных знакомых, живущих непременно в центре города; следовательно вы неминуемо должны ехать по главной улице.

Уже при самом въезде в город вас приятно поражает на правой стороне какое-то высокое, красивое здание, вовсе непохожее на острог, который в свою очередь видится вам в приятном отдалении.

¹ Произведения искусства.

— Что это за дом? — спрашиваете вы у ямщика.

— А это казармы.

— Как казармы? Так, стало быть, казенный дом? — пристааете вы к ямщику.

— Никак нет, — отвечает он вам.

— Так чей же это дом? — продолжаете вы допрашивать.

— Общественный! Как, значит, прежде солдаты очень уж одолели, так как Федор Кондратьич их и вывели за город, да казармы им и выстроили, чтобы уж они свое место знали.

«Вот как! Это хорошо!» — думаете вы и едете дальше, а тут уже между тем началась мостовая. Хотя вам и сильно поколачивает бока, но так как, во всяком случае, как бы то ни было, ведь это все же таки мостовая, а не киселевидная грязь, которую вы проклинали во всю дорогу от самого Волочка, то уже один вид мостовой должен произвести на вас отрадное впечатление; и действительно производит, и вы говорите, одобрительно улыбаясь: «ого! Посмотрим, что дальше будет».

Вы едете дальше и, поравнявшись с перулком, случайно бросаете взгляд направо и не без сердечного удовольствия примечаете, что и в соседней улице тоже мостовая; вы смотрите налево и видите, что налево травка, но вы уже так довольны, найдя в Осташкове две вымощенные улицы, что великодушно прощаете этой травке и думаете: «ну, бог с ней! Пусть ее растет; невозможно же вымостить целый город. Ведь на это сколько денег нужно? Страсть...»

А между тем вы не оставили без внимания и постройку. Дома, мимо которых вы едете, все такие крепкие, хорошие дома, в нижнем этаже — лавочки; на воротах пожарные значки: ведро, крюк, лестница, даже лошадка в одном месте нарисована. Лошадка очень недурно сделана, точно картинка.

— Как славно! однако здесь рисуют пожарные значки! — замечаете вы про себя. А тут постоянные дворы.

— К кому въезжать на двор? к Коновалову, что ли?

Но так как у вас нет в городе никакого спешного дела, а в комнате одному сидеть скучно, к тому же все виденное вами так успело уже расположить вас в пользу Осташкова, то вам вдруг приходит в голову фантазия сейчас же, не откладывая, проехаться по городу и проглотить его разом.

— Нет, брат, ты вот что: ты проезжай-ка лучше так по городу, знаешь? Я тебе дам на чай. А потом уж и на постоянный двор.

— Куда же ехать-то? — спрашивает вас ящик, не понимая, чего вы хотите, и предполагая, что вас укачало дорогой, а потому и нашла на вас блажь.

— Да ты здешний, что ли?

— Здешний.

— Ну, так проезжай немного по огороду: мне хочется посмотреть улицы.

— Да, да, да. Так бы вы и говорили. То есть вам это собственно, как вы приезжий, — значит, вам очень лестно посмотреть.

— Ну да, ну да!

— Это что ж? это ничего.

И обрадованный возможностью похвастаться родным городом, ямщик вывозит вас на площадь.

— Вон оно, озеро-то! — говорит он, самодовольно указывая кнутом на озеро, показавшееся вправо.

Площадь, впрочем, на первый взгляд ничем особенно вас не поражает, но, оглядывая ее пристальнее, вы вдруг замечаете бульвар, прудок с островком, гуляющих дам в модных костюмах, красивый обжорный ряд, лавки... вы видите, что в лавке сидит женщина и вяжет что-то...

«Ого-го!» — думаете вы. Ямщик между тем берет влево и везет вас вокруг всей площади.

— Что это за сарай с колокольчиком?

— Это пожарная команда.

«А! Это та самая знаменитая пожарная команда, о которой я так много читал в «Московских Ведомостях», — думаете вы¹ и в то

¹ В других городах пожарные команды создавались главным образом из старых солдат. В Осташкове еще в 1843 году была основана Общественная пожарная команда. По этому поводу в «Московских Ведомостях» была напечатана очень хвалебная статейка Ф. Савина, превозносящая самодеятельность граждан Осташкова (1860, № 194). В 1862 году команда была воспета в стихах Ив. Лажечниковым. Потому-то Слепцов и называет ее знаменитой. Отметим кстати, что несколько лет спустя (в 1868 году) в Осташкове произошел грандиозный пожар, в котором погибло больше двухсот домов и около шестидесяти лавок. При тушении этого пожара пресловутая пожарная команда не оправдала своей репутации.

же время с удивлением и не без удовольствия читаете вывеску:

*Осташковская общественная библиотека
основана с 1832 года*

— Каково? — говорите вы уже вслух: — с 32 года и притом общественная!.. а в других-то городах!.. — но тут вы вдруг начинаете столбенеть.

— Что это? телеграф? — вскрикиваете вы. — Ямщик! глаза мои меня не обманывают? это точно телеграф?

— Верно, — успокаивает вас ямщик, совершенно довольный вашим восторгом.

— Кто же его устроил?

— Федор Кондратьевич.

— А куда проведен этот телеграф?

— Из думы к Федору Кондратьевичу. Ну, куда ж теперь ехать?

— Вези, куда знаешь, — говорите вы рас-
тоганным голосом.

Объехав всю площадь и выказав вам один за другим все красивые каменные домики, которыми обстроена площадь, ямщик везет вас в прежнем направлении, то есть по главной же улице, пересекающей площадь. Но уезжая с площади, он указывает опять-таки кнутом на озеро и обращает ваше и без того напряженное внимание на строящуюся пристань. Вы высунулись из экипажа и видите движение, народ, возят песок, сваливают камень, в пристани стоят две огромные лодки, похожие на суда, развеваются паруса, вы слышите где-то свист парохода; озеро

синее и блестящее, точно взморье, так и манит вас к себе, а на том берегу виднеются деревни, лес синее вдали.

— Экое место! Что за природа! — восклицаете вы. — Воздух-то, воздух какой!

А между тем в то время, как вы смотрели на озеро и наслаждались природой, слух ваш поражается звуками отдаленной музыки.

— Что это? ученье? — спрашиваете глубоко-мысленно вы, сообразив, что если уж и есть музыка в Осташкове, то не иначе, как военная.

— Нет; ученья у нас никакого нет, — снисходительно замечает вам ямщик: — а музыка у нас своя играет в саду.

— Как в саду? что ты говоришь?

— Я врать не стану, сами посмотрите.

Но чем ближе подвигаетесь вы к музыке, тем удивление ваше возрастает все более и более. Немного не доезжая сада, вы снова видите здание совершенно такое же, как и казармы; на здании красуется огромная вывеска:

Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.
--

— Что здесь, в этом доме?

— Воспитательный дом, богадельня для престарелых и увечных, уездное училище, женское училище, воскресные классы!

— Недурно!..

А музыка слышится все громче и громче. Вы уже ясно слышите, что это не какой-нибудь паршивый квартетишко из отставных дворовых музыкантов, вы уже можете догадаться, что это

целый оркестр; вы видите толпы гуляющих дам и кавалеров, шум, говор, изящные наряды; вот стоит карета, вот еще несколько экипажей, а тут народ. Сколько народу! Да это просто Тверской бульвар.

— Нет, это выше сил моих! Я этого не вынесу! — говорите вы, окончательно подавленный таким неожиданным сюрпризом.

— Да откуда же у вас музыканты? — спрашиваете вы наконец у ямщика.

— У нас свои музыканты; граждане играют на музыке.

— Как граждане? Какие граждане? Где граждане?

— Так точно. Осташи, граждане.

— И ты гражданин? — вдруг, почему-то струсив, спрашиваете вы ямщика.

— Справедливо. И я гражданин.

— Несчастный, что ты сказал?.. Да где ты живешь?.. — говорите вы шопотом.

— У хозяина живу, у Ивана Прохоровича.

— Замолчи, тупой человек!

— Да что ж вы, в самом деле? У нас, в городе, все грамоте знают. Вот ведь вы опять не поверите?

— И ты знаешь?

— Знаю.

— И читаешь книги?

— Читаю.

— Врешь?..

— Ей-богу читаю. Да что вы, не верите? Вот я вам сейчас покажу человека. Вон наш ямщик стоит у решетки: хотите, я его при вас спрошу?

Вы крайне заинтересовываетесь.

— Парфен? Подъ сюда! Вон барина я привез, не верит, что у нас все грамоте знают. Слышь, хвастаете, говорит. Скажи ему, какую я книжку читал.

— Это точно, ваше благородие, что он «Трех мушкетеров» прочитал. Будьте без сумления. Мы тоже для праздника хвастать не станем, — подтверждает другой ямщик.

— Да, нет, слышь, Парфен, и про музыку не верит, что граждане играют. Вот он у меня чудной какой! — и ямщик смеется.

— И насчет музыки, это верно он вам докладывает.

В это время вдруг грянул хор; человек 50 великолепнейших голосов начали разом какой-то торжественный гимн:

Славься, славься, наш Осташков!...¹

долетает до вас, и вы слышите, как несколько страшных басов забирают верха.

— А вот певчие... ведь это кузнецы поют, — доколачивает вас ямщик.

Вы уничтожены, вы неподвижно лежите в тарантасе, ничего не видите, не слышите, и только в изнеможении, покачивая головой, говорите:

— Боже! Боже мой! И кто бы мог поверить? Осташков, уездный город... ямщики романы

¹ Гимн сочинен известным романистом Лажечниковым — специально для Осташковской пожарной команды.

Славься город наш Осташков,
Славься город наш родной,
Славься не своим богатством,
Не торговлею своею,
А любовью, крепким братством,
Ты своей семьи детей (?)

От конца в конец России,
Ты отмечен уж молвой
Из уездных городов России
Ты стоишь передовой.
Славься город наш Осташков,
Славься город наш родной...

Дюма читают, кузнецы гимны поют... благотворительные заведения... банк... воспитательный дом!.. И Европа этого не знает!..

— Ступай, ступай, брат, скорее! Что ж ты стоишь? Вези меня к Коновалову, что ли, куда знаешь.

Но ямщик, смекнув в чем дело, не дает вам опомниться, и хочет угостить вас уж за один раз всеми редкостями, которыми справедливо гордится Осташков. Ямщик везет вас все же таки по главной улице и, повернув налево, мимо каменных домов, кожевенных заводов, часовен и Никольского подворья, потом, захватив немного берегу, останавливается у входа на дамбу. Побывав на Житном, испытав высокое эстетическое наслаждение от созерцания природы, изумленные делами рук человеческих, и подкрепив дух чтением поучительных надписей, — вы чувствуете непреодолимое желание увидеть по крайней мере то место, где обитает этот великий маг и волшебник, велением которого творятся такие чудеса.

— Ямщик! — восклицаете вы решительным голосом, садясь опять в экипаж. — Ямщик! вези меня к Федору Кондратьевичу!..

— Как-с? — переспрашивает ямщик, думая, что он обслушался. — К Федору Кондратьевичу?..

— Ну да, да! К Федору Кондратьевичу, к вашему градскому голове; разве ты не знаешь?

— Как не знать! — сомнительно отвечает ямщик, и насмешливо косится на вас через плечо, как будто думает про себя: «чудно что-то это он говорит, братцы мои! Ей-богу. Уж не за

качало ли и вправду, а может, не поднесли ли ему там, на Житном, святые отцы?» Но встретив ваш отважный и решительный взгляд, и вдруг сообразив что-то, ямщик пугливо схватывает вожжи, отвечает вам: «слушаю, ваше сиятельство!» и скачет во весь дух по бульварной улице, да поскорей, да поскорей, а сам потряхивает головой, как будто говоря: «а чорт его знает, кто он такой! Может и точно Федора Кондратьевича знает; пожалуй, еще в шею накладет гражданину...»

Перед вами быстро замелькали: аптека, стриженные березки, ерши и капканы; бульвар кончился; экипаж несется мимо банка; влево показали: фабрика, кожевенный завод, литейный завод, газовый завод; телеграфная проволока пересекла улицу и пошла куда-то влево.

— Чьи это заводы и фабрики? Куда это проведен телеграф?

— Федора Кондратьевича, все Федора Кондратьевича, ваше сиятельство, а телеграф к ихней сестрице в вотчину проведен.

По обе стороны улицы, вместо тротуара, пошли липовые аллеи; толпа разной челяди и четыре огромных водолаза сидят у ворот какого-то барского дома; тут же вы увидели газовые фонари, сарай склада товаров, множество сараев, и вот, наконец, перед вами дворец, обращенный главным фасадом к озеру.

— К парадному подъезду прикажете, ваше сиятельство? — почтительно спрашивает вас ямщик; и тут только вы начинаете замечать всю глубину уважения, которой мгновенно проникся он к вашей особе.

— Нет, нет, — торопливо останавливаете вы его, — не нужно. Я только так хотел посмотреть.

— А чтоб вас... совсем! Право! — так же быстро изменяя тон, начинает ворчать ваш ямщик.

— Тоже.. к Федор Кондратьичу; ну, куда тебе?!.. — бормочет он, поворачивая лошадей, но бормочет так, чтобы вы могли расслышать: — ишь ведь, что вздумал? А тут сейчас и назад.

— Что ты говоришь? — спрашиваете вы, не вслушавшись в ворчанье.

— Ничего. Сиди знай! На постоянный двор, что ли? Так-то лучше. А то на-ко что: к Федор Кондратьичу... — и вы ясно уже слышите, как ямщик вас передразнивает.

Но даже и это последнее обстоятельство насколько вас не оскорбляет, и ни на волос не охлаждает в вас этого горячего чувства расположения к Осташкову, которым вы успели проникнуться. Вас даже радует, отчасти, это грубое неуважение к вашей личности, выраженное сейчас ямщиком. В нем, в этом неуважении, вам видится та неизмеримая высота, то обожествление, так сказать, возведение в идеал, почти что в миф таинственной личности человека, выше которого бедный сын Селитера ничего не может себе и представить; человека, имя и деяния которого составляют справедливую гордость Осташкова... Вы даже чувствуете сильный позыв за только-что нанесенное вам оскорбление, за эту грубость — дать ямщику на чай, и довольный, веселый едете на постоянный двор. До

вас все еще долетают звуки музыки, вы ясно можете слышать:

Славься, славься, наш Осташков!..

— Веселись, ликуй, Европа!.. — вдруг раздается насмешливое восклицание туземного мифистофеля, возвращающегося с гулянья.

Но и это не поражает вас и не забавляет ни сколько; вы даже и не заметили ядовитой насмешки, скрытой в последней фразе; вам даже кажется, что второй стих вовсе и не пародия, что так именно и нужно петь, и что Европа действительно должна веселиться и ликовать, и даже сами в сладком самозабвении припеваετε: «Веселись, ликуй, Европа!..»

Поезжайте, добрый человек, к Коновалову; там отведут вам чистую, очень чистую комнату, за 40 копеек в сутки; дадут вам ухи из налимов, и ночью клопы кусать вас не будут. И там же Нил Алексеевич расскажет вам, что он умеет танцевать кадрили, и что у них в городе все свое: и пожарная команда, и певчие, и кузнецы, и рыбаки, и сапожники, и резчики, и золотильщики, и что даже фотография есть своя, что по зимам бывает клуб, танцевальные вечера, музыкальные вечера, а на театре «Горе от ума» и «Разбойников» представляют; а завтра утром съездите вы поклониться угоднику, а потом уезжайте скорей из Осташкова. Когда вы вернетесь домой — вы всем расскажете, что вы видели, а может быть даже и статейку об этом напишете, в которой, как очевидец, самым убедительнейшим образом будете доказывать, что в Осташкове все есть, решительно все, что

нужно порядочному городу; даже больше, нежели сколько нужно; что Осташков передовой город и по развитости жителей, и по богатству, и по красоте местоположения; одним словом, во всех отношениях; и что другим городам должно быть очень стыдно. Города сдуру возмут да и покраснеют, а мы вам так сейчас и поверим.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

ВИЗИТЫ

Сегодняшний день я посвятил визитам к разным более или менее важным лицам в городе, к которым были у меня рекомендательные письма.

Одни из этих лиц должны были принести мне пользу своим знанием города, другие могли указать пути, познакомить с кем нужно или растолковать, чего я не пойму. Вообще все с вечера было хорошо обдумано, на письма я возлагал надежды не малые, и весь следующий день был у меня рассчитан, но при первой же встрече с действительностью, как это часто случается, теория спасовала.

Накануне, с вечера, я отдал Нилу Алексеевичу два письма: первое—к некоторому должностному лицу, а другое — к одному почтенному ремесленнику, с тем, чтобы эти письма он снес на другой день утром, и кстати бы узнал, когда и кого можно застать дома. Нил Алексеевич отнес их чуть свет, а утром, только что я успел открыть глаза, слышу — уж кто-то меня спрашивает, вбегают ко мне Нил Алексеевич и точно фельдфебель докладывает: «г. Ф[окин]! Прикажете принять?»—Входит

очень чистенький старичок с ясным взором, в длинном сюртуке, с воротничками à l'enfant и рекомендуется: Ф[окин], то есть тот самый ремесленник, к которому было послано письмо. Я было немножко сконфузился, стал извиняться, но Ф[окин] оказался до такой степени любезным, симпатичным и готовым сделать с своей стороны все, что можно, для облегчения мне знакомства с городом, что я успокоился. Напились мы чаю и сейчас же отправились.

День был праздничный, а потому мы пошли прежде всего к обедне в *** церковь. Погода с вечера еще разгулялась, озеро покойно, народу на улицах и на воде множество. Мужчины-граждане всё бритые с усами, высокие, больше черноволосые; в синих чуйках, другие и в пальто; женщины в ярких шелковых платках и в шубейках, или в кринолинах, бурнусах и шляпках. Кое-где офицер пройдет, неестественно вывертывая плечи: проедет купец в ваточном картузе с большим козырьком, в старинной, неуклюжей пролетке и медленно, не поворачивая головы, кланяется знакомым. На базаре висят желтые невычерненные о с т а ш и (крестьянские сапоги) с острыми носами, продаются корзины для сушеной рыбы, деревянная посуда и капуста; народ галдит, бабы, сидя на земле, торгуют брусникой и баранками.

Когда мы пришли в церковь, обедня уже началась. Народу было много; но публика рассортирована: почище впереди, посерее сзади, мужчины направо, женщины налево; певчие на обоих клиросах и голоса очень сильные, особенно басы, о чем свидетельствуют отчасти и

здоровенные шеи кузнецов с подбритыми затылками, стоящих на клиросе. Впрочем пение бестолковое: всё по нотам, всё по нотам, fortissimo беспрестанно, andante и allegro почти различить невозможно, мелодии никакой. Церковь старинная, стены сверху донизу покрыты резьбой, но все это очень грубо, аляповато и без всякого вкуса. Иконостас в одном стиле, а стенная резьба в другом; огромное закопченное паникадило; над дверьми и между окнами множество херувимов с раскрашенными лицами; кисти разные, шнуры по стенам вперемешку с арабесками домашней работы. Вообще заметно желание налепить как можно больше всяких украшений, не разбирая — идет одно к другому или нет. Живопись тоже плохая. Пока мы пробирались вперед, Ф[окин] успел уже кой-кому шепнуть что-то обо мне, так что когда мы стали позади правого клироса и я оглянулся, то встретил уже несколько любопытных взглядов и даже два-три поклона. Стою, вдруг сзади кто-то спрашивает:

— Вы надолго изволили приехать в наш город?

Я оглянулся.

— Не знаю, — как придется.

— Честь имею рекомендоваться, такой-то.

— Очень приятно.

Спустя несколько минут опять:

— А ведь в нашем городе, я вам скажу, любопытного мало.

— Неужели?

— Ей-богу. Невежество это, знаете, грубость какая-то.

— Мм!

— За охотой ходить здесь хорошо . . . Вы не охотитесь с ружьем?

— Нет.

— А вот у нас С. К. все стреляет, — охотник смертный.

Я посмотрел на С. К., а мой сосед фыркнул себе в горсть. С. К. заметил, что смеются, в недоумении обвел вокруг себя глазами и начал усердно молиться. Сосед мой однако не успокоился; немного погодя нагнулся мне к самому уху и спрашивает:

— Вы любите стихи?

Я ничего не ответил.

— У нас тут есть стихотворец свой, доморощенный, самородный эдакий талант, и какие же стихи качает — страсть. Вот бы вам прочесть.

Я молчу.

— Если угодно, я могу достать вам тетрадку — любопытно. Что ж такое? отчего же от скуки и не прочесть?

Но видя, что я не отвечаю, он вздохнул и стал подтягивать певчим.

После обедни Ф[окин] пригласил меня к себе пить кофе и оставил даже обедать. Тут, впрочем, узнал я немного нового: Ф[окин] все хлопотал о том, чтобы я как можно больше ел, а жена его, оказавшаяся отличной хозяйкой, до такой степени суежилась и старалась угодить, что мне даже стало совестно: точно я генерал какой-нибудь. После обеда, когда мы сели на диван, Ф[окин] рассказал, что в городе много

купеческих капиталов,¹ но что все они, кроме двух-трех, ничего не значат, потому что в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности; что город записали было по числу капиталов в первый разряд, но голова поехал в Петербург хлопотать о том, чтобы выписать город из первого разряда, так как купцы не в силах нести всей тяжести возлагаемых на перwokлассный город обязанностей.

— Наш городок маленький, жалкенький, где нам за другими тянуться? — говорил Ф[окин], сидя на другом конце дивана и добродушно, кротко улыбаясь.

— Как же вы говорите, что город ваш беден? Ведь у вас промыслы большие: кожевенный, кузнечный, рыболовный.

— Это все так, только нам все-таки до Ржева или до Старицы далеко. Всякие промыслы, всякие ремесла есть у нас; каких-каких мастеров у нас нет, а ведь ни одного такого промысла нет, чтобы во всей силе, настоящий, значит, был. Есть вон, пожалуй, — спохватившись, заметил он, — есть, точно, фабрика бумажная, да ведь городу от нее пользы никакой и работают-то на ней больше чужие, не здешние.² Ну, кузнечики точно, что еще туда-сюда, поколачивают, а

¹ В Осташкове, в 1860 году, было 307 купеческих капиталов третьей гильдии, два капитала второй и один — первой. *Прим. автора.*

² Должно быть Слепшов имеет в виду бумаго-прядильную фабрику Савиных, основанную в 1839 году; на ней перерабатывалось до 17.000 пудов хлопка, привозимого Савиными из Ост-Индии, Египта и Америки (В. Покровский. Историко-статист. описание города Осташкова. Тверь, 1880, стр. 88).

настоящий только один и есть Алексей Михайлович Мосягин. Беднеет наш городочек, — заключил он, — очень беднеет. Торгуем больше по привычке, для виду, этими там сапожками да рыбкой. Гордости у нас много, потому и торгуем. Рыбкой и то обеднели: повывелась рыбка совсем.

— Ну, а как же банк-то? Откуда же там 200 тысяч?

Ф[окин] улыбнулся.

— А как бы нам кофейку, — закричал он в другую комнату. — Как бы хорошо теперь кофейку со сливочками.

— Сейчас, сейчас, сливки греются, — слышно из залы.

Там уж давно гремели чашки, мальчик бегал, осторожно ступая по отлично вымытому полу, и вот опять является поднос с чашками и с какими-то особенными, сушеными булками.

— Пеночек-то, пеночек побольше берите! — угощает меня супруга Ф[окина], вся красная от хлопот по хозяйству. Она тоже берет чашку и садится с нами пить кофе.

— А что у вас папаша с мамашей есть? — спрашивает она с участием.

— Мамаша есть, а папаша нет.

— Ах, скажите, какая жалость!

Я начинаю скоро, скоро размешивать ложечкой кофе и стараюсь наморщить брови.

— Как у вас женщины хорошо одеваются! — говорю я, желая свести разговор с этого чувствительного предмета опять на Осташков. — Я сегодня видел у обедни: какие шляпки, какие бурнусы!

— Да, уж у нас бабеночки любят принарядиться, — лукаво подмигивая мне, отвечает Ф[окин]. — Театры, гулянья, да наряды просто их с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит; хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обедне не пойдет.

— А разве у вас есть закладчики?

— У нас местечко такое есть: что хотите возьмут. Что кокошничков старинных с жемчугами, поднизей, сарафанчиков парчевых снесли туда наши бабеночки; все принимают, ничем не брезгают. Мода такая у нас есть; опять танцы, публичные садочки, театры; ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: — осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде, да к обедне в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает не разгибаясь, и ручки-то у ней все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар итти, посмотрите, как разоденется, точно чиповница какая.

А тут опять является поднос с вареньем, брусникой и мочеными яблоками. Наконец, я начинаю чувствовать, что наелся до изнеможения, что к продолжению беседы оказываюсь неспособным и потому отправляюсь домой спать.

Странный человек этот Ф[окин]! Родился, учился и состарился в Осташкове, мастерство свое сам, собственными усилиями, довел до замечательного искусства; у него очень много вкуса, страсть ко всему изящному. На старости лет вздумал учиться музыке и самоучкой выучился играть на фортепьяно.

Вечером я сделал еще три визита с рекомендательными письмами.

Прежде всего пошел к одному сановнику, проживающему в городе, и застал его гуляющим по зале с каким-то гостем. Я отдал письмо. Сановник прочел и пригласил меня в гостиную.

— Не прикажете ли трубку?

Я отказался.

— Так вот-с, — начал сановник, свертывая письмо мое фунтиком: — вы приехали собственно затем, чтобы посмотреть на нас — оставшей, — как мы тут живем?

— Об Осташкове столько писано, столько говорят... — начал было я.

— Да, стоит, стоит, нарочно стоит приехать посмотреть: любопытный город! Нет, я говорю, — обратился он к гостю, который тоже уселся поодаль—я говорю, что значит Россия-то матушка?

— Да-с.

— Да вот хоть бы наш Осташков. Что такое? Вдруг где-то там в захолустьи, на болоте стоит уездный городишко, растет, богатеет, заводит у себя свою пожарную команду, банк... понимаете? — банк! ведь это что такое? театр!... библиотеку для чтения!... а? ну, где это видано? Наконец, живет самостоятельно, как будто там какой-нибудь Любек, что ли. И никто об этом знать не хочет. А ведь будь это за границей, уши бы прожужжали, а у нас нет. Самолюбием бог нас обидел, вот горе! Я вон депешу сейчас прочел в газетах: дают знать, что королева Виктория проехала из Винзора в Осборн (она туда каждую неделю ездит); ведь депеша, не за-

будьте! телеграф сообщает такое важное событие, а мы сдуру сейчас печатаем, что вот какое событие: королева проехала в Осборн. Да на кой чорт мне это нужно?.. (слово чорт сановник произнес ч х о р т). Ты вот мне лучше о родном городе напиши, чтобы я знал, что вот в таком-то городе такие-то улучшения, а он мне про королеву Викторию...

— Ведь это все Федор Кондратьич... — заметил гость.

— А? да, вы про улучшения. Да, ну не совсем. Он, конечно, имеет на них большое моральное влияние и многое может сделать для города. Да чего же лучше? Теперь, пожарная команда есть. Своя ведь у нас пожарная команда, не казенная, из обывателей, — сообщил он мне.

— Как же-с, я знаю, — поспешил я ответить.

— Нет, я ему говорю: что ты не выхлопочешь себе полиции из обывателей? Его же там в Петербурге все знают: мог бы выхлопотать; и ведь разрешат.

— Отчего же не разрешить? — заметил гость.

— Как?

— И я говорю, что отчего же не разрешить? — повторил гость погромче.

— Ну да, разумеется. Ведь они могут быть покойны. Знают, кому разрешить. Другому, конечно, не позволят... Эй! подай мне трубку! — вдруг крикнул сановник.

— И мне, братец, тоже, — сказал гость.

Старый лакей, с длинными седыми висками, принес две трубки и зажженую бумажку. Подал трубки, подержал бумажку и потом погасил ее пальцами.

— Я слышал, что город, кажется, изъявлял желание провести железную дорогу от Осташкова до Вышнего Волочка? — решился я спросить.

— Был проект, как же, — держи янтарь в губах, отвечал сановник. — Только не город, а частное лицо хотело взять на свой счет половину издержек, а другую половину предлагало другому лицу, но тут вышли какие-то недоразумения и дело не состоялось. Конечно, это было бы хорошо. Я говорю: соедини только Осташков с Петербургом и Москвой, — ведь он на полдороге стоит, — вы понимаете, как бы это подняло город? Теперь одних богомольцев перебивает здесь до 10 тысяч; сколько же наедет, если провести дорогу? Потом вся промышленность этого края оживится; Осташков же будет служить ей центром.¹

— Сколько я знаю, — заметил я опять: — промышленность города и окрестных сел очень незначительна, кроме рыбной, которая тоже, говорят, слабеет, вследствие неправильного лова. И мне кажется, что упадок промышленности края происходит не от недостатка путей сообщения; напротив, их слишком много: вода; а от недостатка капиталов.

— Ну, этого нельзя сказать, чтобы у нас не было капиталов. У нас есть банк, в котором лежат 200 тысяч, у нас есть кроме того богачи — Савины. Они на своих собственных кораблях привозят хлопок для своей филантропной фа-

¹ Железная дорога через Осташков (Бологое—Седлец) начата постройкой лишь в 1902 году, — пятьдесят лет спустя.

брики из Америки и Ост-Индии.¹ У нас есть кожевенные заводы, кузнечное производство, потом мужик везет свой продукт тоже в город, а здесь покупает сапоги. Наконец, вот вам еще: мы имеем здесь прекрасную рыбу; мы имеем судаков, лещей, мы имеем налима. Нет, я вам расскажу интересную вещь: сегодня утром (сановник опять обратился к гостю), — говорю я сегодня повару: ступай, говорю, братец, на базар и принеси ты мне леща...

Но, к несчастью, окончания этого интересного рассказа о леще узнать мне было не суждено, потому что вошел человек и доложил о приезде еще двух гостей.

Пошли разговоры о мировых съездах, споры о недобросовестности посредников и о невежестве мужиков; но так как мне хотелось поспеть в шесть часов к одному должностному лицу, которое обещало меня ждать, то я откланялся и ушел.

¹ Савины — богатейшие осташковские купцы и промышленники, были в сущности хозяевами города. Из рода в род распоряжались они всей его общественной жизнью. Родоначальник этой династии — Гаврила Савин — был градоправителем Осташкова еще в 1822 году. Местные историки неизменно изображали этих удачливых и ловких дельцов благотворителями города Осташкова, «главными двигателями всего, что там есть хорошего и полезного». В тогдашних газетах постоянно указывалось, что если в этом захолустном городишке, отстоявшем вдали от железных дорог, есть бани, публичная библиотека, дом благотворительных учреждений и прочее, то всем этим город обязан единственно своим покровителям Савиным. Как видно из дальнейших страниц этой книги, Слепцов дал совершенно иную оценку их благотворительной деятельности.

Солнце уже село, и по всему озеру разлился тот великолепный фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье. Не мог я не заглядеться на озеро, на дальние берега, на сети, развешанные над водой. В воздухе пахнет рыбой и мокрым деревом; рыбаки, вернувшиеся с ловли, выгружают добычу, стоя по колени в воде; лодка несется под парусом, ближе и ближе, и сразу врезалась носом в берег. Чайки уныло кричат, ребенок плачет где-то в рыбацкой избушке. Так я дошел до самого дома должностного лица и позвонил. Застал я его за чаем, в обществе двух офицеров и одного красивого молодого человека в штатском платье. Пошли опять те же вопросы:

— Так вы собственно посмотреть на Осташков приехали? и т. д.

— Не стоит, — говорило должностное лицо, развалиясь в кресле. — Самый подлый городишко. Вы не верьте, что вам об нем рассказывали, — врут.

— Чем же он нехорош?

— Да всем. Первое — жизнь дорога, климат убийственный, говядина гнусная, общества никакого; раки только вот одни и есть; да еще воры здесь отличные. Вот это правда.

Офицеры дружно засмеялись.

— Новоторы — воры, да и осташи хороши, — как будто про себя сказал красивый молодой человек, покачиваясь на стуле.

Я делаю легкое возражение и указываю на поголовную грамотность в Осташкове как на факт весьма знаменательный.

— Помилуйте! что ж тут знаменательного?

это все вздор! — отвечает должностное лицо в припадке отрицания. — Все вздор! Невежество полнейшее. Да и какого он чорта будет читать? позвольте вас спросить.

— А библиотека?...

— Библиотека... — иронически повторяет должностное лицо. — Нашли библиотеку... Да вы не знаете ли... извините, не имею чести знать вашего имени...

— Василий Алексеевич.

— Знаете ли вы, почтеннейший Василий Алексеевич, что такое библиотека?

Пауза. Мы смотрим друг на друга.

— Ведь это, батюшка, 4.238 томов. Понимаете? 4.238 томов, ну и конечно, и весь разговор. У нас-де вот 4.238 томов; у нас 200 тысяч в банке; у нас его превосходительство всегда довольны остаются. Ведь это все у нас, а у вас что? У вас этого нет. У! у! У вас нет, у вас нет! А у нас есть, а у нас есть! Вот вам и библиотека.¹ Помилуйте, что тут может сделать грамотность, когда у меня в брюхе пусто, дети кричат, жена в чахотке от климата и точа-

¹ Осташковская публичная библиотека была действительно мизерным учреждением: «библиотека падает за недостатком подписчиков, несмотря на то, что их привлекают... разными принудительными мерами со стороны власть имущих» — сообщали, например, «Тверские губернские ведомости» в 1863 году (№ 17). Книги выдавались только на дом, так как вся библиотека помещалась в одной тесной, крохотной и темной комнатке. В 1874 году газета «Голос» указывала, что в городе с 11-тысячным населением, где почти все поголовно грамотны, Осташковская библиотека терпит большой дефицит («Голос», 1874, № 210).

ния голенищ? Что толку в том, что я грамотный, когда мне и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут? Ведь это Ливерпуль! Та же монополия капитала, такой же денежный деспотизм; только мы еще вдобавок глупы, — сговариваться против хозяев не можем — боимся; а главное, у них же всегда в долгу. А праздник пришел, я первым долгом маслом голову себе намажу и к обедне, потом гулять на бульвар, или в театр. Нельзя же, у меня развитой вкус; тщеславие дурацкое так и прет меня врозь. Баба готова два дня не евши сидеть и детей поморить голодом, только бы на бульвар в шляпке сходить, да на Житном в беседочке посидеть. Разврат! Девчонка, вон она... (он указал на печку). От земли не отросла, а тоже в училище без кринолина ни за что не пойдет. Вот вы говорите там: грамотность, библиотека, школы... Ну хорошо-с. Ведь уж учат, кажется, на что лучше: и грамматике, и географии, и истории, и чему-чему не учат; и там в школе они все это отлично знают, и гимны там разные поют, а не угодно ли послушать — как он говорит, когда выйдет из школы? Отчего же это от г о р а з н о, да от г о р а ж ж е, да от разные там п т и ч ь и да е д ч и никак он отвыкнуть не может? Поглядите вы на него в школе, где он вам об Тургеневе расскажет, и потом послушайте его через год по выходе из училища, когда уж он в работу пошел и начнет в в о д ы шкуры мочить, или из в о д е рыбу таскать. Вот вы тогда и увидите, какую пользу ему грамотность принесла. А тут вот еще просветители-то радеют. — Он указал на офицеров.

— Ваши солдатики-с!

Офицеры, занявшиеся было своим разговором, стали вслушиваться.

— А что? — спросил один.

— Да разные художества развивают в наших мещанах, то бишь гражданах. Все забываю. Ведь они у нас не мещане, а граждане.

— Что ж? я дурного еще ничего не вижу в том, что они граждане.

— Да и я не вижу; только гражданами-то у нас мещане себя называют. Вчера еще он был гражданин, а сегодня, положим; в гильдию записался; попробуйте-ка его гражданином называть, так он на вас просьбу подаст — оскорбили. Сегодня уж он купец, а не гражданин. Вы думаете, он понимает, что это такое гражданин? Он себя потому гражданином называет, что эта кличка все-таки лучше, нежели мещанин, так же вот, как лакей у богатого барина никогда не назовет себя лакеем, а говорит: я камердинер, я дворецкий. Вы, батюшка, не обольщайтесь этими штуками: банками там разными, да театрами, — это все блески. Вот вы поживите здесь, да копните-ко хорошенько, вот и увидите, что Осташков — это маленький Китай, с той только разницей, что мы еще мышей не едим, а то ни в чем не отстали.

— Скажите, пожалуйста, — перебиваю я, — как же теперь согласить этот китаизм, как вы говорите, с теми успехами, которые заметны здесь в городском устройстве?

— А вот поживете, узнаете, какие мы тут успехи оказываем, как мы эти разные современные польки вытанцовываем. Я вот вам как

скажу: осташ кровно убежден в том, что лучше его города быть не может, что Осташков так далеко ушел вперед, что уж ему учиться нечему, а что Россия должна только удивляться, на него глядя. Кроме своей пожарной команды и Федора Кондратьича, осташ знать ничего не хочет; он не шутя уверен, что там, дальше, за Селигером, пошла уже дичь, степь киргизская, из которой время от времени наезжают к нам какие-то неизвестные люди; одни затем, чтобы хапнуть, а другие, чтобы подивиться на осташковские диковины и позавидовать им... Потом он знает еще, что где-то там за Селижаровской есть город Питер, и что ежели в Осташкове что-нибудь нездорово, то Федор Кондратьич съездит в Питер и отстоит своих осташей.

— Это так, — подтвердил красивый молодой человек, а хозяин, прихлебнув из стакана, продолжал:

— Вот хоть бы вы теперь приехали, как вы думаете? Что они о вас говорят? Собрались где-нибудь и толкуют: «вот, мол, приехал, нарочно приехал посмотреть на нас. Стало быть мы, братцы, известны всему свету, и все только о нас и говорят, только и думают». Впрочем нет, и это вздор, они о вас думают просто, что вы шпион, только никак понять не могут, от кого и зачем вы подосланы. Какой тут прогресс! Помилуйте! — подумав немного, сказал он. — Застой, самый тнусный застой и невежество, с одной стороны, и нищета, с другой. Вот стуколка здесь процветает, — это правда! — вдруг неожиданно завершил он, обратись к офицерам. — Так ли я говорю, господа?

Офицеры, осовевшие было во время разговора, встрепенулись и отвечали одобрительной улыбкой.

— А что? не стукнуть ли нам и всерьез? — спросил он меня. — Вы не упражняетесь в сем душеспасительном занятии?

— К несчастью, нет. Да мне и пора. Нужно еще побывать у одного господина.

— Ну, делать нечего. Желаю вам веселиться. А мы вот с господами офицерами стукнем. Здесь, батюшка, без стуколки просто бы смерть. Делать нечего, читать нечего. Из библиотеки журналов не добьешься, нету. Что прикажете? Лежат там у кого-нибудь неразрезанные, а тут жди целый месяц, да когда еще по иерархической линии очередь дойдет. А вам бы уж дожидаться возвращения Федора Кондратьича из Петербурга, — говорил он, провожая меня, — он бы вам все это систематически разъяснил: он на эти дела мастер. До свидания.

Третий визит нужно было сделать одному бывшему влиятельному лицу в городе.

Пока я дошел до него — уже совсем почти смерклось. На бульваре попались два-три чиновника с женами, а за бульваром пошли заборы и фабрики; улица усажена липами; у ворот большого каменного дома толпятся люди. Я подошел к одному дворнику и спросил: дома ли**? — Дворник пристально посмотрел мне в лицо и тоже спросил:

— Ты от кого?

— Сам от себя.

— Зачем?

— Дело есть.

— К самому?

— К самому.

— Сам-то он у нас не любит, у нас все в контору. Ну, да вот я как тебе скажу. Слушай! Коли хочешь ты себе добра, ступай ты, — вон видишь подъезд, — стань ты у подъезда и дожидайся. Он сейчас выйдет, — вон лошадь подана. Как выйдет, чтобы ты был тут безотменно и сейчас можешь просить, что тебе нужно. Ну не мешкай, ступай. Я вижу, ты парень хороший.

Поблагодарив дворника за добрый совет, я однако вошел на крыльцо и позвонил. Вышел лакей.

— Дома?

— Пожалуйте! Я сейчас узнаю.

Я вошел в приемную, большую комнату с лоснящимся полом, старинной мебелью и фарфоровыми игрушками на горках. Лакей пошел с принесенным мною письмом и через несколько минут возвратился, говоря, что скоро выйдут, — занимаются. В ожидании выхода, я стал ходить по комнате. Из приемной дверь отперта в большую залу, выкрашенную желтой краской, на стенах газовые рожки и узенькие старинные зеркала в позолоченных рамах, пахнет киндер-бальзамом.

Минут через десять вышел ко мне человек лет сорока пяти, с небольшой лысиной и недоумевающим лицом, держа в руках мое рекомендательное письмо. Мы вошли в залу и сели у окна.

— Вы... — начал он, — вы, как я понял из

письма, определяетесь к нам в город учителем?...

Я вытаращил глаза.

— Как? неужели это могло быть написано в письме?...

Но в ту же минуту я догадался, в чем дело. Ясно было, что он не понял написанного в письме. Взглянув пристально в лицо человеку, который сидел против меня и в недоумении смотрел мне в глаза, я сообразил, что он легко мог спутать выражения: изучать город и учить в городе. Такая ошибка вовсе не удивительна в человеке, который, как видно, никогда никого не учил и ничего не изучал. Однако, я поспешил разрешить недоразумение и тут же стал объяснять, зачем собственно я приехал в Осташков.

Но в то же время мне пришло в голову: если уж этот господин, на которого главным образом возлагались мои надежды, так дико отнесся к моему делу, чего же ждать от других? От него я надеялся получить разные официальные сведения, и кроме того меня уверили, что он с своей стороны может сообщить мне много интересного, как человек влиятельный и коротко знающий, по крайней мере, современную ему эпоху из истории цивилизации Осташкова.

— А! да-с; я понимаю-с, понимаю-с, — заговорил он скороговоркой. — Это значит: вам нужны сведения. В таком случае не угодно ли вам будет обратиться в нашу контору; там вам все это... да там уж знают-с. У нас бывали такие случаи. Это можно-с. Очень хорошо-с. Я велю-с.

И все это так скоро, скоро, с озабоченным видом. Самое благоразумное, что можно было сделать после такого полезного разговора, это — поблагодарить за обещание и удалиться, что и сделал я. Тем и кончились в этот день мои покушения на знакомство с осташковскими властями.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

ШКОЛЫ

Впродолжение этой недели я видел и слышал столько, что вдруг всего и сообразить не могу. А тут еще скверная привычка — систематизировать все на свете и от всякого вздора добиваться смысла — только сбивала меня с толку.

Беспрестанные противоречия и в словах и на деле с каждым днем осложняются все больше и больше, а вместе с ними сильнее и неотступнее мучит меня вопрос: что такое Осташков?

И чем проще стараюсь я разрешить его, тем более теряюсь в этой путанице противоречий, которые как нарочно случаются самым непонятным, самым невозможным образом.

Наконец, мне приходило в голову, что все эти господа, с которыми я здесь вижусь, — все более или менее врут. Убедившись в этом, я взялся за факты, за цифры — и они врут! Понимаете ли? врут официальные сведения, врут исследования частных лиц, врут жители, сами на себя врут. Вы понимаете, как это должно раздражать любопытство, как это поголовное вранье подстрекает и поддразнивает, и до какой степени вопрос, — что такое Осташков? — становится интересным.

— Теперь я решился просто записывать, что вижу и слышу, записывать все, не сортируя, не анализируя фактов и слухов. Делайте с ними что хотите, освещайте их как угодно, я буду только записывать.

В хронологическом порядке прежде всего следует рассказать о женском училище.

Попал я туда нечаянно: шел мимо и зашел. Поднялся на лестницу, вижу — дверь в сени отворена; я туда. В сенях девочка стоит и пьет воду. — Можно войти посмотреть? — Говорит: — можно.

— Есть кто-нибудь в классе?

— У нас в старшем классе смотритель сидит.

— Ну и отлично!

Я снял пальто и прямо в класс, вслед за девочкой. Девочка только успела сказать о моем приходе смотрителю, как я уж вошел. Смотритель сидел на скамейке, а вокруг него столпились ученицы и смотрели в книгу: он им что-то там показывал. Появление мое было все-таки очень неожиданно; все вдруг всполошились и смотритель тоже не знал, что подумать. Тут только я вспомнил, что поступил не совсем вежливо: не предупредив никого, вошел в класс, а потому поспешил извиниться и просил позволения послушать, как они занимаются. Сначала класс немножко было сконфузился, но скоро все пришло в порядок: девочки сели по местам и смотритель начал делать им вопросы.

В классе, — в очень светлой и чистой комнате, — помещалось девочек 30, не моложе 10—12 лет, все очень тщательно одетые и

причесанные, в чистых воротничках. И так как я застал их врасплох, то наверное можно сказать, что заранее приготовленного ничего не было. С первых же двух-трех вызовов можно было догадаться, что ученицы размещены по успехам. На первой скамейке сидели девочки постарше и отличались перед прочими даже некоторой изысканностью туалета. Для первого опыта вызвана была девочка лет двенадцати, сидевшая с краю на первой скамейке, с круглым лицом, тщательно одетая, в белом фартуке, с бархаткой на шее; по всей вероятности, очень скромная, старательная, но не с бойкими способностями девочка.

— Раскройте книгу на такой-то странице, — сказал смотритель.

Все в одну минуту отыскивали требуемую страницу.

— Читай!

Девочка начала читать какой-то исторический отрывок, кажется, из руководства Паульсона, где упоминалось что-то о финикиянах.

— Ну, довольно, — сказал смотритель. — Вот мы сейчас прочли о финикиянах. Не можешь ли ты мне сказать, чем занимался этот народ.

Девочка опустила книгу на стол и, бесстрастно глядя на смотрителя и вытянув шею, начала говорить очень скоро, не прерывая голоса:

— Финикияне, финикияне, они занимались, они занимались тор-тор-торговлей.

— Так, торговлей, — одобрительным тоном подтвердил смотритель.

— Ну, а почему они выбрали именно этот род занятий? Что их побудило к этому?

Девочка продолжала смотреть прямо в глаза смотрителю и, не шевелясь, опять зачастила:

— Их побудило, их побудило к этому то, что они...

— Ну, что?

— То, что они избрали это занятие, — опять было начала девочка и остановилась.

— Почему же они избрали именно это занятие? — допытывался смотритель, притопывая ногой на слове э т о.

Девочка молчала, не спуская своих белых, бесстрастных глаз с смотрителя.

— Жили на берегу моря, на берегу моря... — шепчет кто-то сзади.

— Потому что они жили... — опять начала было девочка.

— Ну, где ж они жили?

— Они жили...

— На берегу моря... — подсказывают сзади.

— На берегу моря, — нерешительно говорит девочка, вдруг изменив тон.

— Ну да. Потому что они жили на берегу моря, — одобрительно покачиваясь, заключает смотритель.

— Потому что они жили на берегу моря, — успокоившись, как будто запоминая уже про себя, повторяет девочка.

— А какие они сделали изобретения?

— Они изобрели меру и вес.

— Хорошо. А еще что они изобрели?

— Компас, — шепчут сзади.

— Еще они изобрели компас, — торопливо отвечает девочка.

— Так, компас, — подтверждает смотритель, моргая от нюхательного табаку, и, обратившись ко мне, говорит вполголоса:

— Многого, знаете, от них и требовать нельзя: мы еще недавно принялись за эту систему. Не угодно ли послушать? вот я еще других спрошу. Довольно! — сказал он отвавшей ученице. — Петрова!

Петрова, сидевшая на второй скамейке, должно быть шалунья страшная, быстро вскочила, обдернула фартук, сложила руки на желудке и как солдат вытаращила глаза.

— Петрова! Скажи, что такое компас?

— Компас — это астрономический инструмент, употребляемый мореходцами для того, чтобы не сбиться с пути, — бойко однообразным голосом отрапортовала она и сразу оборвала на последнем слове.

— Что он показывает?

— Он показывает страны света.

— Сколько стран света?

— Четыре: север, юг, восток, запад.

— Хорошо. Иванова! Какие еще изобретения сделали финикияне?

Иванова, — бледная, золотушная девочка, очень бедно одетая, встала и печальным монотонным голосом объявила, что финикияне изобрели еще пурпуровую краску.

— А кто был, как говорят, причиной этого изобретения? Матвеева!

Матвеева, занявшаяся было ковырянием

стола и должно быть не слушавшая, встала, спрятав руки под фартук, и покраснела.

— Кто же был причиной?

— Собака, — шепчут сзади: — собака...

— Соболь!.. — не расслушав, пискнула Матвеева нерешительно и в недоумении посмотрела на всех.

Девочки фыркнули в книги.

После того вызвано было еще пять или шесть девочек, и многие отвечали очень хорошо. Видно было, что они, если не все, то очень многое понимают из того, что отвечают. Потом вызвана была одна девочка к доске; ее заставили написать под диктовку басню, — без знаков препинания, — другая расставила знаки очень удовлетворительно; хотя заметно было, что и эта басня, и расстановливание знаков им давно знакомы. В ответах, несмотря на их точность и ясность, не понравилась мне какая-то казенная манера отвечать по-солдатски, вытянув шею и бесстрастно глядя в глаза тому, кто спрашивает. Да и эта излишняя, книжная точность ответов, несвойственная детскому возрасту, показалась мне очень подозрительной. Вообще, рассуждения, — как я убедился и после, — не в духе принятой здесь системы.

После этого испытания девочки принесли мне посмотреть разные воротнички, рукавички и юбки своей работы; потом взяли ноты, стали передо мной в кучку и запели: «Боже, царя храни»; потом смотритель сказал мне, что они в виде забавы учатся и светскому пению.

— Ну-ко, девицы, кукушку!

Все зашевелились, достали другие ноты, стали опять в кучку и затаили старинную песенку, сочиненную каким-то монахом: «Ты скажи, моя вещунья»; при чем одна высокая, худощавая девочка делала соло: — Ку-ку! Ку-у-ку-у! Ку-у-ку! Ку-ку! Ку-ку! и делала в это время такое наивное и сосредоточенное лицо, что я чуть было не засмеялся.

Наконец, узнав, что пению обучает диакон, и поблагодарив смотрителя и учениц за доставленное мне удовольствие, я собрался уходить, но смотритель повел меня еще в младший класс, где супруга его занималась с девочками рукоделием. Тут я опять имел случай видеть огромное количество воротничков, чулок и проч., очень искусно сделанных девочками лет 9—10.

Оттуда мы прошли в приготовительный класс, небольшую комнату, где человек пятьдесят, уже совсем маленьких девочек, учились читать. Тут были всевозможные девочки и в самых разнообразных костюмах: девочки, еще носившие на себе явные следы родного запечья и не успевшие еще усвоить себе ни этой прилично-бесстрастной наружности, ни приторно-школьной беспечности; девочки вовсе еще невыделанные, с большими животами, разинутым ртом и в родительских обносках.

Но и тут показал мне смотритель одну только что приведенную и уже совсем испорченную девочку, дочь достаточных родителей, которая отлично умела читать по знакомой книге, когда ей говорили первое слово, но, начав читать, она не могла уже остановиться, а остано-

вившись, не могла начать с середины, или указать слово, которое она только-что прочла.

Постояв несколько минут в классе и подивившись успехам звуковой системы, вышли мы в сени, где кучей лежало детское платье. Смотритель предложил мне пройти с ним в другое отделение дома и взглянуть на уездное училище. Впрочем, там особенно замечательного мы ничего не нашли. Все было в порядке: в первом классе законоучитель объяснял мальчиками катехизис; во втором классе несколько глуховатый наставник просматривал написанную на аспидных досках басню: «Лягушка и вол», а в третьем — маленький, но необыкновенно шустрый мальчик во все горло доказывал равенство прямоугольных треугольников. Мальчик удивительно бойко подскакивал к доске и, подымаясь на цыпочках, ловко постукивал мелом по буквам, написанным на доске, крича, что есть мочи:

— В предыдущий раз показаны были условия равенства всех треугольников вообще, а посему они относятся и к прямоугольным. Но равенство сих последних, как более определенных по своей форме, может быть доказано и при других условиях, которые недостаточны для треугольников вообще.

— А как доказать равенство прямоугольных треугольников? — в том же тоне и так же громко спрашивал учитель, стоя в некотором отдалении и указывая издали мизинцем на треугольники, нарисованные на доске.

— Для того, чтобы доказать требуемое, предположим, что... и т. д. Если докажем, что

$AE=DF$, то вместе с тем докажем предложение, — повернувшись на каблуках, кричал бойкий мальчик. — Для доказательства выше-сказанного мы можем принять три случая.

Кончив все три случая и крикнув в заключение: «что и требовалось доказать», мальчик поклонился, вытер себе руки и самодовольно сел на место.

Прощаясь с зрителем, я спросил его, чем можно объяснить такое огромное число желающих учиться в осташковских школах.

— Да как вам сказать? — отвечал он. — Должно быть, сознаем пользу, что ли. Уж бог знает.

— Мне кажется, что главной причиной этому служит грамотность родителей, — заметил я.

Он немного помолчал и, наконец, как будто раздумывая о чем-то, сказал:

— Вот, видите ли! О родителях я могу вам рассказать такой случай: приходит ко мне, например, какая-нибудь там сапожница, что ли, приводит мальчика или девочку и говорит: «возьмите их, сделайте милость. Мне с ними, с пострелятами, смерть пришла. И без них тошно. Смотреть за ними некому: того и гляди друг дружке глаз выколют; а как они половину-то дня в училище просидят, мне все свободнее». — Ну, вот, я их и приму. И пошли они ходить — учиться. И ведь такие случаи беспрестанно повторяются, чуть ли не каждый день. Мать сама ему не дает лениться, чтобы он ей не мешал. У нас, как вам известно, бедные мещанки все до одной заняты работой целый день; разумеется, ей некогда с детьми

возиться. В 4 часа он пришел домой, мать его опять сажает за книгу: учи к завтраму урок; а потом спать. Вот и целый день.

— Всё это так; но согласитесь, что и в других городах та же бедность и те же дети?

— В других городах, видите ли, не то: там во-первых, у матерей больше свободного времени, потому что в других городах мещанки обыкновенно ничего не делают; следовательно имеют возможность сами возиться с ребятишками; а во-вторых, потому, что там и училища большею частью так устроены, что родители боятся посылать туда своих детей. То, глядишь, учитель клок волос у мальчика вырвал, то смотритель велит сказать отцу, чтобы к празднику непременно гуся принес, а не то, говорит, сына запорю. Ну, а у нас этого нет. У нас все это, знаете, облагорожено. Ну, да что тут. Поживёте, увидите, — заключил он, махнув рукой, и мы расстались.

Из вышесказанного, что следует заключить? — рассуждал я по выходе из училища: — что вопрос о народном образовании сводится на вопрос экономический. Но тут же вспомнил о возложенном мною на себя обете — удаляться по возможности от рассуждений и не произносить приговоров о том, что мне приходится видеть и слышать, а потому непосредственно после этого благодушно занялся обозрением того, что было у меня перед глазами, т. е. разных зданий и вывесок. Шел я без всякой определенной цели, завернул в почтовую кон-

тору, спросил, нет ли писем из Москвы, поклонился неизвестно по какой причине поклонившемуся мне лавочнику и вдруг на одном перекрестке наткнулся на Ф[окина]. Он отыскивал меня по всему городу и спешил сообщить новость, что он у какой-то вдовы нашел тетрадку, в которой, как я мог догадаться, заключались разные исторические, статистические и этнографические сведения об Осташкове, писанные каким-то умершим священником. Я поблагодарил его за услугу, и мы пошли вместе.

— Ну, куда ж мы теперь пойдем? — спросил я его.

— Да куда хотите. Я было приготовил тут уж человечка три насчет рыбного-то промысла. Эти ничего, они могут рассказать; я их успокоил, чтобы они не боялись; что тут ничего такого нет. Они согласились; ну, а вот насчет кожевенного производства уж и не придумаю, как нам быть. Есть один, да не скажет, боится, и ничем его не успокоишь. А то вот знаю я тут еще одного старика. Он бы мог, если бы захотел, не только о своем деле, но и обо многом бы другом мог рассказать, да нет, никак не уломаешь.

— Вы только познакомьте, может как-нибудь и уладится дело.

— То-то, боюсь, бог его знает. В какой час попадешь: изругает ни за что. Уж я думал, думал...

— Что это за дом? скажите, пожалуйста!

По ту сторону улицы, из деревянных домиков самой обыкновенной, провинциальной наружности, так и вырезывался какой-то старинный, каменный, двухэтажный дом, выкрашенный

желтой краской, с неуклюжими окнами и крутой железной крышей.

— А это духовное училище.

— Знаете что? Нельзя ли туда зайти — посмотреть? Я ни разу не бывал в этих заведениях.

— Я думаю, что можно. Пойдемте, спросим.

Тут только я вспомнил, что на-днях я познакомился с одним из учителей этого училища, и мы прошли к нему в квартиру, тут же в училищном доме. В это время была рекреация, и мы застали его. Не без некоторого сердечного волнения проходил я коридором, где попались нам несколько человек учеников, в затрапезных халатах, с коротко остриженными, точно выщипанными, головами и с затасканными книжонками в руках. Когда мы вошли в убогую комнатку учителя, он пил чай, встретил меня уже как знакомого и предложил чаю. С Ф[окиным] он не был знаком, несмотря на то, что Ф[окин] знает весь город. Учителя духовного училища живут особняком и ни с кем почти не знают, кроме духовенства. Я объяснил ему мое желание — видеть училище, но он сказал, что не может меня ввести в класс без позволения инспектора, который был тут же в училище и исполнял должность преподавателя греческого языка.

— Погодите, я схожу, спрошу.

Он ушел. Я стал рассматривать тетрадки учеников, кучей лежавшие на окне. Это был перевод из Салюстия.¹ На другом окне лежал

¹ Гай Крисп Салюстий — древне-римский историк.

табак, чай, вакса и другие принадлежности туалета. За ширмочками кровать; на стене какая-то жалкая картина духовного содержания; у стены стол, диван, несколько стульев да самовар за занавеской. Вот и все.

Вернулся учитель с разрешением, и мы все трое пошли по каменной лестнице, с обшарканными ступеньками, наверх; и так как рекреация уже кончилась, то мой знакомый учитель привел нас в свой класс. Он учил латинскому языку. Ученики вскочили и старший прочел молитву. Я попросил заставить кого-нибудь переводить для того, чтобы мне удобнее было рассмотреть учеников. Боже мой, что это такое?.. И еще, говорят, в Осташкове духовное училище одно из лучших в этом роде. Во-первых, меня порастил особенный запах, который так и бросается в нос, только что отворишь дверь в класс. Что это за запах, трудно определить. Это какая-то смесь, букет какой-то, составленный из запаха капусты, кислых полושубков и дегтярных сапог, смешанный с запахом живого человеческого тела, и притом такого тела, которое бог знает с которых пор не было в бане и страдает изнурительной испариной; только испарина эта уж остыла и прокисла. Это не тот прелый запах жилого покоя, который всем известен, а другой, уже успевший сконцентрироваться, прогоркший, страшный запах.

Комната нетоплена, и ученики сидят кто в чем пришел: в халатах, тулупах, в кацавейках, с бабьими котами на ногах, другие даже в лаптях, простуженные, с распухшими лицами

и торчащими вихрами. Уныние какое-то на лицах, точно все ждут наказания.

В другом классе шла арифметика. Учитель вызвал ученика к доске и задал задачу. Ученик вылез из парты, поклонился учителю, как будто остерегаясь, чтобы тот его по шее не ударил, и поправил себе штаны. Другой ученик подошел к учителю, точно так же поклонился и подал мел. Наконец, в третьем классе, где ученики были уже постарше и относительно лучше одетые, преподавал сам инспектор, молодой человек очень робкого вида.¹

Когда мы вошли в класс — ученики встали, и не садились до тех пор, пока им не велели сесть. Один ученик делал конструкцию, а другой, уж не знаю зачем, молча стоял за ним и смотрел в книгу. Поблагодарив инспектора за позволение, мы вышли в коридор; вдруг бежит за нами инспектор.

— Милостивейший государь!..

— Что вам угодно?

— Осмелюсь утруждать вас моей всепокорнейшей просьбою.

— Сделайте одолжение.

— Я имею некоторое дело, о котором желал бы переговорить с вами без свидетелей.

Я записал его адрес и обещал на-днях зайти.

¹ Инспектором духовного училища в то время был Влад. Петров. Успенский, которому тогда было уже около 35 лет. О нем см. ниже, на стр. 466—467.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Однако, город, несмотря на свою стойкость, начинает сдаваться понемногу. На скрытность, как видно, надежда плоха: нет, нет, да и проврешься. И чем долее я живу здесь, тем чаще представляются случаи видеть, как осташи провираются, а уж на что, кажется, лукавый народ.

Сегодня, между прочим, даже без всякого с моей стороны желания, пришлось быть незримым свидетелем одной из тех сцен, которые разыгрываются на разный манер по всему русскому царству. Хотя дело это и не относится прямо к городу, но тем не менее я считаю долгом его сообщить.

Рано утром разбудил меня разговор в соседней комнате. Еще сквозь сон слышу, кто-то ругается. Такая досада меня взяла: спать хочется, а не дают! Однако, нечего делать, проснулся. слушаю. Что за чорт! ничего не разберу. Ходит кто-то по комнате и орет.

— Ах, разбойники! Ах, разбойники!.. Уморили!.. совсем уморили!.. Ничего не понимают!.. Ничего... Ах, мошенники!.. Велик оброк... А? Велик оброк!.. Ах, мошенники! Да ведь земля-то моя? Анафемы вы эдакие! а?

Моя земля? А? Моя она, что ли? А? Понимаете вы? Понимаете? А? А? А?..

— Это точно, что... — уныло отвечает несколько голосов, и в это время слышится скрип мужичьих сапогов, происходящий, по всей вероятности, от переминания с ноги на ногу.

— Ну, так что же вы? — продолжал тот же голос. — Ну что же вы? а? а?

— Да мы, Ликсандра Васильич, — мы ничаво, только что вот...

— Что же «только-то»? А? Только-то что же? Черти! черти! Что же только-то? А?

— Мы про то, что трудновато быдто... — нерешительно отвечает мужичий голос.

— Землицы нам еще бы, то есть самую малость, — робко вступается кто-то.

— Не сподручна она, земляца-то эта.

— А-а! Так вам земли еще давай и оброка с вас не спрашивай! Ах, разбойники! а? не сподручна! а? Ах, мошенники! трудновато! а? ах, негодяи! Да ведь вы прежде платили же оброк? а? платили?

— Платить-то мы точно что платили. Платили, Ликсандра Васильич. Это справедливо, что платили. Как не платить, — отвечают все в один голос.

— Мы завсегда... — добавляет еще кто-то.

— И больше платили? а? Платили ведь и больше?

— Больше. Ликсандра Васильич.

— И не жаловались? нет? Ведь не жаловались? а?

— Что ж жаловаться! Ликсандра Васильич, дело прошлое...

— Мы жаловаться не можем, — опять добавляет кто-то.

— Так что же вы? Что же теперь-то? А?

— Мы ничаво, Ликсандра Васильич, — мы только насчет того, что которая земля, то есть, к нам теперича отходит...

— Ну!

— Ну, что, значит, она супротив той-то, прежней-то...

— Ну, ну!

— Скупенька земляца-то эта, — вкрадчиво замечает еще один голос.

— Камушек опять... Камушку-то очень добре много.

— А вы его вытаскайте, камень.

— Помилуйте, Ликсандра Васильич. Где ж его вытаскать? Ведь он скрозь, все камушек.

— Ну, так навозцу, навозцу подкиньте!

— Позвольте вам доложить, Ликсандра Васильич, — начинает один мужик, выступая.

— Ну, что тебе?

— Сами изволите знать: какой у мужика навоз? Скотинешка опять, какая была, — поколемши.

— А-а! Ну, так что ж мне делать? Как знаете, так и делайте.

Пастушило молчание. Слышно было, что барин ушел в другую комнату, а мужики стали шептаться. Шептались, долго шептались; потом закрипели сапоги: мужики принялись откашливаться. Постояли, постояли и ушли.

Вижу я, что больше ничего, должно быть, не дождешься: встал, оделся и вышел на улицу. Куда идти? Утро отличное: свежее, сухое.

Озеро чистое и голубое мелькнуло между домов. Лавочник стоит у своих дверей, кланяется.

— С добрым утром!

— Здравствуйте!

В первый раз вижу я этого лавочника.

— Раненько изволили на прогулку выйти.

— Да погода уж очень хороша.

— Погода чудесная. Вон, изволите видеть тот берег?

— Да.

— Близко?

— Ну, так что же?

— Погода устоится. Мы вот все по этому замечаем. Как если берег теперича кажется близко, ну и значит будет ведро; а коли если ушел берег вдаль и деревья вон того не видно, то и жди мочи.

— Да, это хорошо. До свиданья.

— Мое вам почтение-с.

Куда ж итти-то однако? Да! в библиотеку. Прихожу в библиотеку: маленькая, проходная комната, полки с книгами, газеты на столе; молодой человек стоит за прилавком. Всё, как следует, в порядке.

— Вы библиотекарь?

— Нет-с: я помощник.

— Не можете ли вы мне дать чего-нибудь почитать?

— Что вам угодно?

— У вас есть каталог?

— Есть. Помощник дал мне каталог, из которого я мог усмотреть, что в библиотеке порядок примерный. Всех книг налицо 1.097 на-

званий в 4.238 томах. Книги разделены кем-то на XXII отдела, в состав которых вошли книги: богословские, философские, детские, правоведение, политические, свободные художества, увеселения, языкознание, сочинения в прозе и стихах, сочинения просто в стихах, театральные (это особ. отдел), в стихах, театральные (это особый отдел).

Я полюбопытствовал взглянуть на книги по части увеселений, но, к несчастью, таких в библиотеке не оказалось, и по какому случаю эти увеселения значились в каталоге, узнать я не мог. Зато показали мне «снимок с рукописного реймского евангелия» (Le texte du sacre de Reims), полученный в 1850 году от г. министра народного просвещения,¹ и «Карту Венгрии», принадлежавшую Гертею, командовавшему венгерским войском в 1848 году,² она была подарена им генералу Беваду, а после смерти последнего продана с аукционного торга и попала к севастопольскому 1-й гильдии купцу Серебряникову, которым и была подарена в оставшковскую публичную библиотеку.

Взялся было я за газеты, в надежде, что кто-нибудь придет, но не дождался никого и ушел,

¹ Министром народного просвещения был тогда князь П. А. Ширинский-Шихматов, известный мракобес и ханжа. Копия реймского евангелия была издана в Париже в 1843 году.

² Артур Гергей — предводитель венгерской повстанческой армии. После его побед над австрийцами в Венгрии была провозглашена республика. В 1849 году Николай I, озабоченный восстановлением монархии, послал в помощь австрийцам русские войска. Гергей принужден был сдаться. Венгерская республика пала.

попросив помощника библиотекаря сделать для меня выписку о том, какого рода книги больше читаются и кем именно.

Из библиотеки я пошел было в думу, но на бульваре встретил Ф[окина], который заходил ко мне и пошел отыскивать меня по городу. Он предложил мне зайти к одному капиталисту-промышленнику, занимающему в думе очень важную должность. Место жительства его отыскать было не трудно: нужно знать только улицу, а дом и сам найдешь.

Улица, где живет капиталист, с самого заворотка, вся сплошь засыпана сажей и углем; и чем дальше идешь, тем гуще становится слой угля, покрывающий землю. Наконец, почва до такой степени чернеет, что уж совсем превращается в какие-то угольные копи. По правую руку идут все кузницы и кузницы. Тут же в одной из них и капиталист живет и хотя она отчасти походит на дом, но стены закоптелые и двор весь завален углем. Мы опустились в подземные сени: тут попалась нам какая-то женщина.

— Дома А[лексей] М[ихайлович]? — спросил ее Ф[окин].

Женщина пошла узнать, но сейчас же вернулась, отвела Ф[окина] в угол и стала с ним шептаться: затем опять ушла.

Наконец нас впустили. Комнаты низенькие, мрачные; тяжелая, старинная мебель: в первой комнате стоит диван. На диване сидит сам хозяин. Когда мы вошли, хозяин встал, поклонился и подал руку. Хозяин мрачно улыбнулся и попросил сесть.

Я сел и неловко стукнулся локтем обо что-то твердое, звякнувшее на столе. Тут лежали топоры для морского ведомства.¹ Теперь только я заметил, что в комнате сидит еще одно лицо, — гость, и что мы своим приходом прервали их разговор. Одного взгляда на гостя было достаточно, чтобы напомнить мне знакомый тип петербургского чиновника. Полный, чисто выбритый и остриженный под гребенку, в форменном вицмундире, сидел он, положив свои круглые и мягкие пальцы на такие же круглые и мягкие коленки. И каково же было мое удивление, когда вдруг оказалось, что это осташковский 3-й гильдии купец, К[озочкин]. Узнав, что он служит в думе, я стал расспрашивать его о городе. На все мои вопросы гость отвечал как-то необыкновенно уклончиво и все больше общими местами, в таком роде, что город благодаря попечениям господина градского головы, Федора Кондратьевича Савина, находится в отличном порядке, храмы божии украшаются, искусства и промыслы процветают

¹ Хотя Слепцов не называет фамилии этого «капиталиста», но, благодаря указанию на «топоры для морского ведомства», можно не сомневаться, что здесь он имеет в виду фабриканта Мосягина, в руках которого был самый обширный из железных заводов гор. Осташкова. Особенно славилась мосягинские топоры для постройки судов; их покупали в огромном количестве Северо-Американские компании и Петербургское Адмиралтейство. Вообще третья часть всей железоделательной продукции города падала на завод Мосягина («Памятная книжка Тверской губернии», 1861 г., стр. 88). Ему принадлежало в то время также большое кожевенное дело, которое существовало уже больше столетия («Памятная книжка Тверской губернии», 1963, стр. 69).

и граждане благодарствуют; одним словом, ничего не сказал.¹

Ф[окин] во все время беспокойно вертелся на своем кресле, барабанил пальцами по столу, безо всякой нужды заглядывал под диван и беспрестанно обращал ободряющие взоры то к хозяину, то к гостю; наконец, не вытерпел и сказал:

— А мы к вам, А[лексей] М[ихайлович], насчет одного дельца.

Хозяин мрачно улыбнулся.

— Какое же такое ваше дело?

Ф[окин] стал подкашливать, подмаргивать и закивал пальцем хозяину в другую комнату. Они вышли. В отворенную дверь слышно было, как Ф[окин] уговаривал его вполголоса:

— Вы не опасайтесь! Что ж такое? Ну, да. Ваше дело такое. Ну, да.

— Да мне что же? — отвечал капиталист: — я ничего не боюсь. Мое дело такое.

— Ну, разумеется.

— Понятное дело.

— Да-с; так вот, А[лексей] М[ихайлович], — начал Ф[окин], выходя и указывая на меня: — как они очень любопытны узнать все об нашем городке и как они много наслышаны, то вы им все это, если можно...

— Это ничего, — ответил хозяин, с улыбкою

¹ Алексей Михайлович Козочкин — гласный Осташковской городской думы, делопроизводитель общественного банка Савиных, пробившийся в люди из мелких писцов магистрата. Отсюда его чиновничий облик, столь удививший Слепцова.

посматривая на меня. — Впрочем, ведь все это уже напечатано в отчете министерства.

— Об кузнечиках-то, об кузнечиках. Да, да. Вы расскажите! Ведь это все для славы нашего города. Следственно, можно надеяться? Так вы будьте благонадежны! — успокаивал он меня.

Я поблагодарил и тут же кстати обратился с просьбою к служащему в думе гостю. Мне хотелось добыть городской бюджет за минувший год. Гость ответил мне на это, что ведомость о городских доходах и расходах ежегодно представляется куда следует и что если мне это нужно знать, то лучше всего обратиться... т. е. обратиться куда следует. Из этого я не замедлил вывести заключение, что с подобными требованиями в Осташковскую городскую думу обращаться не следует; но, несмотря на это, попытался однако убедить гостя, что дело это совершенно невинное и что опасаться тут решительно нечего. Гость подумал немного и сказал:

— Это все так-с. Только вот Федор Кондратьич уехали, а то бы они вам это всё разъяснили в лучшем виде.

— Так, стало быть, без Федор Кондратьевича ничего сделать нельзя?

— Вот извольте видеть, что-с...

Ф[окин] давно уже, стоя позади меня, делал гостю разные гримасы и заманивал его в другую комнату. Наконец, гость это заметил и ушел с ним пошпаться. Через несколько минут он вернулся и сказал, что может дать мне записку в думу, и там сделают для меня все что можно.

Я взял записку и простился. Ф[окин] пошел со мною.

— Ну, слава богу! — сказал он, когда мы уже были на улице: — дела наши улаживаются понемножку.

Новая роль, которую он взял на себя добровольно, до такой степени занимала его, что он даже начал уж мои дела считать нашими делами.

На дороге попадались нам беспрестанно разные люди и кланялись. Некоторых Ф[окин] останавливал, отводил в сторону и с озабоченным видом сообщал что-то.

— А, а! Да, да, да... Ну, так, так, — отвечали обыкновенно встречные, делали сосредоточенные лица и задумывались.

— Здравствуйте! — здоровался Ф[окин] с каким-то чиновником, идущим к должности.

— Куда это вы? — спросил чиновник.

Ф[окин] нагнулся к воротнику его шинели и шепнул ему, указав на меня глазами.

— Мм! Вот она какая история! — глубокомысленно сказал чиновник.

— Да, — самодовольно заметил Ф[окин]. — Только вот, как вы нам посоветуете? Сходить ли нам прежде к Михал Иванычу, или уж прямо обратиться к Петру Петровичу?

Чиновник задумался.

— Дело мудреное, — проговорил он, наконец: — как сами знаете. Мой совет, побывать прежде у Михал Иваныча.

— Ну, вот, вот! И я так же думаю. Да. Так до свидания.

— Мое вам почтение.

Чиновник пристально посмотрел на меня и пошел своей дорогой, в раздумьи покачивая головой.

— Что вы беспокоитесь? — сказал я Ф[окину], — ведь дали же мне записку.

— Дали-то дали. Это, конечно; только, знаете, все бы лучше побывать вам у одного человека.

— Да зачем?

— Эх, какой вы! Да уж положитесь на меня.

— Ну, ведите, куда знаете.

Мы вошли в какой-то грязный переулок, кончавшийся большим вязким болотом.

Кособокие домики, с прогнившими крышами, окружали его с четырех сторон.

Болото это, в сущности, должно было по плану изображать площадь. По ту сторону болота стоял дом, ничем не отличавшийся от прочих, а в нем жил тот человек, у которого, по мнению Ф[окина], нам необходимо нужно побывать. На дворе накинута на нас собачонка, но Ф[окин] сейчас же заговорил с ней, и она успокоилась. На этот лай вышла кухарка и повела нас в переднюю. Ф[окин] пошел предупредить о моем приходе и вернулся в сопровождении хозяйки дома, очень полной женщины, в большом клетчатом платке, которая начала подозрительно осматривать меня с головы до ног. Нужного человека не было дома, а потому мы и отправились прямо в думу. У церкви остановил нас печник:

— П. Г.! Что ж ты? Я тебя, братец мой, дождался, дождался, ажно исть захотил, — сказал он моему спутнику.

— Постой! Не до тебя. Дела у нас тут пошли такие, спешные.

— Что мне за дело? Я глину замесил.

— Погоди немножко: я сейчас.

— То-то, смотри, проворней справляй дела-то свои! Рожна ли тут еще копать, — кричал нам вслед печник.

— Может быть, я отвлекаю вас от занятий? — спросил я Ф[окина]. — Вы, пожалуйста, не стесняйтесь! Теперь я и один найду дорогу в думу.

— Нет; это ничего. Еще я успею. Тут, видите, печка строится в алтаре, так я взялся показать. Вот он и пристаёт ко мне.

— Так что ж ему дожидаться? Право, вы для меня напрасно беспокоитесь.

— Нет, нет. Я вас одного в думу не пущу. Вы не знаете.

— Ну, как хотите.

Наконец, пришли мы в думу. В темной передней встретил нас высокий, седой старик, в доголом сюртуке, и сердито спросил что надо?

— Я показал записку. Старик взял её, велел мне подождать и ушел куда-то. Ф[окин] сказал мне: «постойте-ка, я тут в одно место ебегаю», и тоже ушел. Я остался в обществе двух мещан, которые, как и я, ждали чего-то и от скуки терлись об стену спиною. Через несколько минут выглянул из двери писец и, внимательно осмотрев меня, сказал:

— Да вы бы сюда вошли.

Я вошел. Писец сел на свое место и начал меня рассматривать. Я смотрел на писца.

— Вы, должно быть, нездешний?

— Нездешний.

— Чем торгуете?

— Я ничем не торгую.

— Прошу покорно садиться.

Я сел. Писец принялся перелистывать бумаги и подправлять буквы, сделав при этом чрезвычайно озабоченный вид. Но по лицу его сейчас же можно было заметить, что его мучит любопытство. И действительно, он не выдержал, взялся чинить перо и, рассматривая его на свет, спросил меня равнодушным тоном:

— Вы по каким же собственным делам?

Я объяснил, что вот так и так, от К[озочкина] записку принес.

— Мм.

В это время вернулся сердитый старик.

— Отнес записку? — спросил его писец.

— Отнес.

— Ну, что?

— Ничего. А вы зачем на пол плюете? Нет вам места окромя полу.

— Ну, ну, не ворчи.

— Чего не ворчи? Ходи тут за вами, убирай.

Старик опять куда-то ушел. Я сидел, сидел, скука меня взяла: нейдет Ф[окин]. В отворенную дверь видно было, как в передней мешане вздыхают, потягиваются и рассматривают свои сапоги. Пришел еще писец и принялся писать. Я отворил дверь в другую комнату; там было присутствие: большой стол, покрытый сукном. зеркало, планы развешаны по стенам. Я вошел в присутствие и стал рассматривать план Осташкова. Удивительно правильно выстроен, совершенно так, как строятся военные поселения: всё прямоугольники, улицы прямые, площади

квадратные. На столе лежит книга; я посмотрел: «Памятная книжка Тверской губернии за 1861 г. Цена 85 коп.»

— Эй! ступай вон! — вдруг закричал кто-то позади меня.

Я оглянулся: в дверях стоит старик.

— Нешто можно в присутствие ходить?

Я вышел держа книгу в руках.

— Брось книгу-то, брось! Зачем берешь?

— Я хочу ее купить.

— Купить? Ишь ты, покупатель какой!

Я отдал старику книгу и спросил писца: нельзя ли мне приобрести один экземпляр? Писец сказал, что можно; я отдал ему деньги и потребовал сдачи. Писец взял было трехрублевую бумажку, но другой, вдруг сообразив что-то, вырвал у него деньги и возвратил их мне; потом взял книгу, отвел в сторону первого писца и стал с ним перешептываться; потом позвал старика и послал его куда-то с книгою. Старик заворчал, однако, пошел. Тут же явился Ф[окин].

— Где это вы пропадали?

— Да все хлопотал по нашему делу. Устал до-смерти. С этой запиской такая возня была Ну, да, слава богу, уладил. Сейчас секретарь придет.

С книгою тоже началась возня. Старик ходил кого-то спрашивать, можно ли продать? После долгих совещаний, наконец, решили, что продать книги нельзя, хотя она имелась в числе нескольких экземпляров и назначалась собственно для продажи.

Вся эта путаница начала меня выводить из терпения.

— Поймите же вы, — убеждал я писца: — поймите же вы, что эту книгу я могу купить везде. Ведь не секрет же это какой-нибудь!

На все мои убеждения писец пожимал плечами и отвечал:

— Это, конечно, так-с... Само собой разумеется.

Тем не менее книги продать не решался. Ф[окин] опять побежал куда-то и вернулся с секретарем, который обещал мне наконец составить выписку из приходорасходной ведомости и отдал мне книгу, но опять-таки затруднился: взять деньги, или нет. Для решения этого вопроса посылали еще куда-то; вышло решение: взять деньги. Я получил книгу и ушел.

— Скажите, пожалуйста, отчего они не хотели продать книгу? — спросил я у Ф[окина], когда мы сходили с лестницы.

— Боятся. Что с ними станешь делать?

— Чего ж они боятся? Разве это что-нибудь запрещенное? Ведь она прислана для продажи.

— Так-то оно, так. Да уж у нас порядок такой. Бог его знает! Ведь оно, конечно, пустяки, ну, а вдруг спросит: «кто смел без моего позволения книгу продавать?» Как тогда за это отвечать?... Так куда же теперь?

— Да мне бы хотелось воспитательный дом посмотреть, только, право, мне совестно, что я отвлекаю вас от занятий.

— Уж вы обо мне не хлопочите. Вот мы как сделаем: сходим теперь в воспитательный дом, а оттуда ко мне обедать.

— Отлично.

Вышли мы на главную улицу, миновали площадь и бульвар. Проехали дрожки с дамою.

— Полковница . . . — таинственно шепнул мне Ф[окин].

— Какая полковница?

— А наша-то.

— Да, да. Ведь у вас тут полк стоит.

Только в воспитательный дом мы тоже сразу не попали. Зашли мы почему-то в лавку к одному купцу, а оттуда вдруг, совершенно неожиданно, очутились в какой-то горенке, где застали водку на столе. Я не успел еще опомниться, как уж хозяин, почтенный старец в синем кафтане, стоит передо мною с подносом и, низко кланяясь, просит откушать. Я в замешательстве выпил рюмку и закусил каким-то мармеладом. Только что я успел притти в себя, гляжу — хозяин уж опять стоит с подносом и опять просит мадерой. От мадеры я хотя и отделался, но должен был зато рассмотреть коллекцию старинных монет и жетонов, в числе которых находилась и подлинная грамота Дмитрия Донского, отлично сохранившаяся, написанная, должно быть, древним алицарином¹ на древней же невиской бумаге.

Надо заметить, что страсть к археологии и нумизматике здесь в большом ходу и служит вечным и бесконечным поводом к разного рода препираниям и ссорам. Я рискнул было усомниться в подлинности грамоты, но, приметив в лице хозяина происшедшее от того недо-

¹ Красящее вещество красного цвета, содержащееся в корнях растения марены.

вольствие, замолчал, не желая разрушать заблуждение, на котором только и держится, может быть, все его дряхлое существование. А тут на мое горе нашелся добрый человек, который, бог его знает, — из желания ли сделать мне любезность или просто обрадовавшись случаю поспорить, — счел за нужное меня поддержать и тоже усумниться в подлинности этой несчастной грамоты. Хозяин, сделавший мне легкую гримасу, не стал стесняться перед тем гостем и прямо обругал его, приняв недоверчивость за личное для себя оскорбление. Гость ожидал, вероятно, поддержки от меня и затеял спор, просто, ради искусства; но, не будучи поощряем мною к продолжению его, умолк и надулся. Хозяин копался в монетах и сердито укладывал их на место, ворча себе под нос:

— Знатоки! Много вы смыслите!.. Как же!.. Ученые!.. — и прочее в этом роде.

Таким образом я невольно внес дух отрицания и раздора в дом почтенного гражданина, который, может быть, и пригласил-то нас собственно для того, чтобы мы похвалили его коллекцию. После этого осталось одно: подмигнуть Ф[окину] и благоразумно удалиться, что я и сделал, разумеется, предварительно поблагодарив хозяина за угощение. Однако, совесть меня мучила. Погруженный в сознание только что сделанной ошибки, идя рядом с Ф[окиным], я и не заметил, как мы подошли к воспитательному дому.

— Что же деточек-то наших посмотреть хотите? — спросил меня мой спутник.

— Ах, да. Пойдемте.

Убежище для сирых и убогих помещается в том же большом каменном доме, где и училище, в доме с красновато-казенной наружностью и огромнейшею золотою вывескою: Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.

Мы вошли на двор и поднялись на крыльцо. В сенях встретила нас очень свежая на вид нянька, с кружкою квасу в руках, и дружески сказала моему спутнику:

— А! П. Г! Что это вас давно не видать? В кой-то веки заходите.

— Вот деточек ваших пришли посмотреть.

— Что же, милости просим. Пожалуйте. Да что их смотреть? Какие на них узоры?

— А вот господин чиновник желают видеть, — сказал Ф[окин], указывая на меня.

— Что вы, П. Г.? Какой же я чиновник? — воскликнул я с отчаянием; но дело уже было сделано: слово вылетело и произвело свое действие. Нянька вдруг начала прикрывать фартуком кружку, как будто в ней было что-нибудь запрещенное: стала обдергивать платок на голове и вообще старалась придать себе наиболее форменный вид. Впустив нас в кухню, она схватила, бог знает зачем, полотенце и начала смахивать им со стола и утирать носы детям сидевшим за столом и ковырявшим пальцами кашу. Все эти хлопоты были очень смешны и в то же время обидны, тем более, что приготовления к нашему приему совершались, тут же, на наших глазах, и уже тогда, когда мы застали няньку, так сказать, на месте преступления.

Впрочем, я и не понимаю, из-за чего она хло-

потала, потому что преступления-то в сущности никакого не было, только дети, изумленные происшедшей внезапно тревогою, ничего не могли понять и, вытаращив глаза и разинув рты с непрожеванной кашей, в испуге смотрели на нас. Один мальчик с подобранной в виде куртки рубашкою и вымазанным лицом, держа огромную деревянную ложку в руке, поглядел, потлядел, да вдруг как заревет и пополз по лавке, крича и хлопая ложкою. Нянька нашла такой поступок питомца неприличным в присутствии таких почтенных посетителей, закричала на него и унесла в другую комнату.

Однако, как ни старалась она показать свое рвение изгладить по возможности все признаки жизни с семейной картины, которую мы успели захватить, но местный колорит все еще уцелел настолько, что давал совершенно удовлетворительное понятие о патриархальном быте, который, подобно язве, вкрался в заведение помимо воли начальства.

Благотворители, как видно, не сообразили, что дети, хотя и незаконнорожденные, ни в каком случае не могут быть рассматриваемы, как медные пуговицы, отлично вычищенные суконкой. В ту минуту, когда мы входили, в кухне за столом сидело трое детей, из которых одна девочка лет семи, другие же только что отнятые от груди. Они, как видно, обедали. Мы застали на столе чашки и горшок с кашей, в котором они копались преспокойно, запустив в нее руки по локоть.

У окна сидела другая нянька с маленьким ребенком на руках и, разжевав немного пшен-

ной каши, собиралась отправить ее с помощью пальца ребенку в рот. Мы ее так и застали с разжеванной кашей на пальце. Как ни желал я помешать старшей няньке произвести порядок, как ни торопился застать ее врасплох, все-таки рвение ее опередило нас, и в следующей комнате мы уже не нашли никаких признаков жизни: тут уже все было готово к нашему приходу; только по заспанным лицам кормилиц и по усиленному их дыханию можно было догадаться о той суворовской тревоге, которая подобно вихрю пронеслась по всему дому и все сгладила, сравняла в мгновение ока.

Кроватки с сонными детьми, вытянутые в линию, почтительно стояли в два ряда по обе стороны; кормилицы, подобно ефрейторам, торчали через каждые две кровати и как-то невыразимо странно делали какой-то бабий фронт. До этой минуты я никогда не мог себе представить, чтобы из кормилиц в платках и в ситцевых сарафанах можно было сделать нечто парадное; но я и до сих пор не могу себе представить ничего глупее и нелепее той роли, которую мне пришлось, по милости моего проводника, разыграть перед этим строем детских кроваток, перед этими несчастными детьми, которые и не подозревают, в какой пошлой комедии должны они участвовать с самого почти дня рождения и каким горьким унижением платят они за право жить и есть разжеванную нянькой кашу.¹

¹ Смертность в этом воспитательном доме была ужасающая. По словам В. Покровского, из младенцев, помещаемых там, выживала едва ли десятая часть. Тем не

Оскорбленный и сконфуженный, нагнулся я к одной из кроваток, чтобы скрыть таким образом смущение, против воли выступившее у меня на лице, и посмотрел на спящего ребенка.

Кормилица удивительно ловко отдернула полог и опять вытянулась, прямо и бодро глядя мне в глаза. Старшая нянька шепталась с Ф[окиным]; я стал прислушиваться: она называла по имени мать этого ребенка. В то же время вошла семилетняя девочка, которую мы видели в кухне, и стала ласкаться к няньке.

— А вот эта у нас дворянка, — сказала нянька, указывая на девочку.

— Так вы барышня? — шутя спросил ее Ф[окин].

Девочка положила палец в рот и спрятала лицо в платье няньки. Нянька вытащила ее за руку и, поставив перед нами, сказала:

— А, дура! Что же ты прячешься? Слышишь, дядя спрашивает. Говори, кто твоя мать?

— Девочка молча вертела угол своего фартука.

— Ну! Что же ты?

— Гуфнанка, — шопотом проговорила она и опять спряталась за няньку.

— Губернанка, — пояснила нянька; — а отец у ней помещик... такой-то (она назвала фамилию).

менее оставшковцы находили возможность гордиться тем, что у них воспитательный дом был открыт раньше, чем в каком-либо уездном или губернском городе. За привоз подкидыша доставившие его из уезда получали в награду рубль.

Из воспитательного отделения прошли мы в странноприимное, где застали уже всё в отменном порядке.

В первой комнате вскочили перед нами какие-то увечные старики, в серых халатах, и с тупым изумлением поглядели на нас; в другой, очень большой и светлой комнате, с лакированным полом и портретом коммерции советника Савина в великолепной раме, мы нашли с десятков кроватей удовлетворительно казенной наружности, со стоящими подле них тоже достаточно убогими старухами, с чулками в руках, которые пытались было в свою очередь отдать нам подобающую честь, но я от этой чести успел во-время ускользнуть.¹ Все это, бог знает почему, было мне до такой степени противно, что я почти выбежал из дома благотворительных заведений и тут только вздохнул свободнее.

Того, что я видел и слышал в этот день, было для меня слишком много, и потому, положив руку на сердце, я счел себя в праве пообедать.

Ф[окин] опять окормил меня какими-то рижскими пирогами и кроме того угостил меня великолепною коллекциею разного рода гравюр, относящихся до его специальности, коллекциею, состоящею из огромного собрания фресков, орнаментов и множества архитектурных рисунков, скопленных им в продолжение многих лет. После

¹ Осташковская богадельня основана еще в первой половине XVIII века. В 1860 году она стала получать содержание из прибылей Осташковского банка и получила имя «Богадельни Общественного Банка Савина». Число призреваемых в ней не превышало сорока человек.

обеда повел он меня в мастерскую, где я наглядным образом мог убедиться в том, что у этого человека бездна вкуса и удивительно разнообразные способности.

Я видел несколько моделей иконостасов его собственного сочинения и особенно понравились мне чрезвычайно простые, но в то же время необыкновенно легкие и художественные изделия по этой части для сельских церквей.

После чаю ушел я домой, т. е. на постоянный двор. Только что успел отворить дверь, слышу, — опять за стеной та же история, как и утром, и опять те же вопли; мужики попрежнему ничего не понимают, помещик попрежнему орет: — Ах, губители! Уморили... А? Ах, губители...

За стеной происходит, так называемое, добровольное соглашение. Помещик старается, как слышно, во что бы то ни стало растолковать мужикам необходимость выкупа и для этого решился прибегнуть даже к наглядному способу, каким учат детей арифметике.

— Антон! — кричит измученный и уже отчасти охрипший помещик: — Антон! поди сюда! Сюда, ближе к столу. Да чего ты, братец, боишься?

Слышен скрип мужичьих сапогов.

— Давай сюда руки! Что ж ты? Давай же! Я ведь не откушу. Где твоя шапка?

Мужичий голос говорит шопотом.

— Матвей! Давай свою! Вот, Ликсандра Васильич, эта шапочка будет превосходнее. Извольте получить.

— Все равно. Ну, да хорошо. Давай ее сюда. Теперь, Антон, держи эту шапку крепче.

Мужик вздыхает.

— Представь себе, что эта шапка—земля... Понял?

— Так-с.

— Эта шапка — моя земля, и я тебе эту землю отдал в пользование. Понял?

— Слушаю-с.

— Нет, не так. Постой! Я возьму шапку. Представь, что тебе нужна земля, то есть эта шапка. Ведь она тебе нужна?

— Чего-с?

— Дурак! Я тебя спрашиваю: нужна тебе шапка, или нет? Можешь ты без нее обойтись?

— Слушаю-с.

— Ах, разбойник! Да ведь я тебе ничего не приказываю, глупый ты человек! Я тебя спрашиваю: чья это шапка?

— Матюшкина.

— Ну, хорошо. Ну, положим, что Матюшкина, но ты представь себе, что это шапка моя.

— Это как вам будет угодно.

— Дура-чорт! Мне ничего не угодно. Я тебе говорю: представь только.

— Я приставлю-с.

— Ну, теперь бери у меня шапку. Ну, бери, бери! Ничего, ничего, не бойся! Бери! что ж ты?

Мужик не отвечает.

— Что ж ты не берешь?

Молчание.

— Губитель ты мой! Я тебя спрашиваю: что ж ты не берешь? А? А? А?

— Да коли ежели милость ваша будет...

— Фу, ты, господи! Ах, разбойники! Уморили! Ничего, ничего не понимают! — завопил опять помещик и начал ходить по комнате.

Несколько минут продолжалось молчание. наконец, один из мужиков спросил:

— Ликсандра Васильич!

— Ну, что тебе?

— Позвольте выйти на двор!

— Зачем?

— Оченно взопрели.

— Ступай.

Немного погодя попросился и другой. Я отворил немного дверь в сени и стал слушать.

— Ну, как же теперь это дело понять? — шопотом спрашивал один у другого.

— Известно, жилит. Прямо, то есть, сказать не может, потому воли ему теперь такой нет; ну, он, братец мой, и хочет, значит, чтобы, то есть, обманом. Слышал про шапки-то?..

— Да. Что такое? Не пойму я никак, что это он про шапки-то?

— Эво-ся! Рожна ли тут не понять? Вот сейчас оберу, говорит у вас шапки и до тех пор не отдам, поколе, то есть, не будете согласны.

— Ишь ты, ведь чорт! Да. А я так думал, что это он пример только делает. Ах, волки тя ешь! Матюшкина-то шапка значит аминь. Новая... Ну, хорошо, парень, я свою не дал! Ровно мне кто в уши шептал: не давай, мол, пути не будет! А твоя здесь?

— Вот она!

— Так что ж ты? Давай убежим! Я теперь так запалю: на лошади не догнать.

— Ой ли?

— Да ей-богу!

— Валяй!..

— Что вы там долго прохлаждаетесь? —
отворив дверь, закричал вдруг помещик.

Мужики вошли в комнату и опять начались разговоры в том же роде. Я слушал, слушал и, наконец, заснул.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

ЗНАКОМСТВА

После всех моих бесплодных хождений по разного рода присутственным местам и прочим общественным заведениям, с более или менее казенной обстановкою, я, наконец, догадался, что, идя этой дорогой, я ровно ничего не узнаю; что с этой стороны город достаточно укреплен и почти неприступен; что официальная ложь стоит при входе и не допускает любопытного проникнуть в тайную мастерскую осторожного механика.

Соображая это, я нечаянно попал хотя и на самый битый, но зато и самый верный путь, и именно: шляться по домам и просто слушать все, что ни попало. Для приезжего человека, непричастного местным интересам, даже сплетни и всякого рода самая пустая болтовня имеют огромную цену, особенно если умеешь обращаться с этим материалом.

Как, повидимому, ни ничтожны эти данные, но я убежден, что они только так кажутся ничтожными на первый взгляд. Согласитесь, что ошашковские сплетни, например, — имеющие, разумеется, все-таки более или менее серьезный характер, — способны созреть

только на местной, только на осташковской почве и, следовательно, должны неминуемо заключать в себе соки породившей их среды. должны отражать в себе местный взгляд, местные интересы.

Что же касается неизбежного в этом случае преувеличения и даже искажения фактов, то я убедился, что, при внимательном сличении нескольких экземпляров, все лишнее, не характерное слетает подобно шелухе и в результате остается все-таки голая истина.

В продолжение трех дней пришлось мне познакомиться с несколькими промышленниками средней руки. Все мои визиты к этим, так называемым, гражданам удивительно похожи друг на друга. Мне случилось как-то в один день быть в трех домах, и эти три дома до такой степени ничем почти не отличаются один от другого, что после, дня два спустя, мне нужно было ужасно напрягать память и воображение, чтобы дать себе отчет: в каком доме и что именно я видел и слышал.

Даже расположение комнат и вся внутренняя обстановка домов чрезвычайно однообразны. В передней непременно темно и пахнет шубами. в зале чистый, крашеный пол, жиденькие стульчики под орех, два ломберных стола красного дерева, на которых стоят по два подсвечника аплике.

В гостиной кожаный диван, такие же кресла. бисерный поддонник на круглом столе с одной качающейся ножкой; иной раз портрет какой-нибудь на стене; чаще изображение Нила преподобного, стоящего на воде, с виднею-

щесюся позади его пустыню. Из гостиной дверь куда-то, вероятно в детскую, потому что оттуда всегда тоже выходит какой-то кисловато-прелый запах молочной каши. Из этой же двери время от времени выглядывают, точно зверьки, два, а иногда и четыре маленькие глаза и долго с пугливым любопытством рассматривают гостя; и во все это время слышится за дверьми торопливый шопот, отпирание комода и сдержанные восклицания: гость, гость.

Затем отворяется заветная дверь, и хозяин, большею частью человек средних лет, в долгополом сюртуке, с бритым подбородком и недоумевающим лицом, покорнейше просит садиться. Через пять минут на круглом столе, вместо бисерного поддонника, является мадера, мармелад, а иногда и просто водка с солеными огурцами.

И говорить нечего, что все эти люди — народ чрезвычайно общительный и гостеприимный, но, разумеется, в том только случае, если гость может представить более или менее благонадежную рекомендацию. Зная это условие, я запасался всякий раз проводником из тех же граждан, который мог бы поручиться, что я не шпион. А заручившись таким проводником, я уже мог проникнуть всюду. И что это за милый народ, эти граждане! Куда вдруг деваются у них и эта мнительность, и это тупое сосредоточенное пересыпание из пустого в порожнее? Мрачный, неразговорчивый на первый взгляд человек вдруг оказывается необыкновенно любезным, откровенным и чистосердечнейшим малым, готовым рассказать всю подноготную с той

самой минуты, как только убедится вполне, что вы нигде не служите и с городскими властями не имеете ничего общего.

Но замечательно, что пока говоришь с ними о промышленности или просто болтаешь о разных мелких предметах, все идет хорошо; но как только сведешь речь на городское управление, на достоинства и недостатки их общественной жизни, так в то же мгновение человек как-то свихивается и начинает молоть бог знает что. Осташков и его учреждения — это для них какой-то пункт помешательства. Только что весело и даже остроумно говоривший о всякой всячине человек, при одном имени Осташкова, сейчас задумывается, начинает смотреть куда-то вбок и потом вдруг ударяется в безобразнейшее и пошлейшее хвастовство своим городом и его заведениями: певчими, бульваром и проч., или впадает в желчное расположение духа и со злобным, ядовитым смехом начинает беспощадно язвить свой родимый город.

Я старался замечать: чем собственно они хвастаются и что бранят? и заметил следующее. Хвалится осташ своим озером, паникадилами, рыбою, танцами и павильонами. Чем-нибудь, да уж непременно хвалится: это здесь какая-то повальная болезнь. Кто поразвитее, те обращают ваше внимание на банк, библиотеку, театр и кринолины, указывая в особенности на последние (т. е. театр и кринолины), как на самые очевидные и несомненные признаки той высокой степени цивилизации, на которой стоит Осташков.

Хвалится осташ своим городом, больше по

привычке хвалиться, потому что похвальбу своим городом он с детства привык считать своей священной обязанностью и знает, что все его хвалят. Ругается же он или вследствие скептического мирозерцания, привитого ему долгими странствиями по чужим городам, или потому, что уж очень допекут его разные удобства и общественные учреждения: но это бывает редко; чаще всего ругается Осташ в тех случаях, когда бывает оскорблен и мелкое самлюбьишко его уязвлено каким-нибудь мелким случаем.

Что касается хвастовства, то мне особенно бросилось в глаза вот какое обстоятельство.

Общественная пожарная команда, как известно, составляет справедливую гордость Осташкова, но, замечательно, что хвастаются ею только люди, по своему положению не обязанные принимать участия в тушении пожаров, т. е. служащие и вообще достаточные люди. От тех же, которые составляют пожарную команду, я не только не слыхал похвалы, но даже просто не мог добиться толком: каким способом производится это тушение. Я не знаю, отчего это делалось? Оттого ли, что я не умел спросить, или оттого, что эти люди до такой степени привыкли смотреть на свои общественные обязанности, как на дело очень обыкновенное, что даже ни разу не потрудились дать себе отчет, как это делается.

Мне второе кажется более вероятным потому, что и в других подобных случаях я замечал то же самое. Так, например, сапожники умели отлично рассказать мне все, что касается танцев

или павильонов, но я никак не мог узнать от них: каким порядком попадают они в кабалу к своим хозяевам-капиталистам; и узнал это уж от посторонних людей, вовсе не занимающихся сапожным мастерством.

Точно такая же история и с банком; например, люди, не имевшие надобности прибегать к его помощи, хвастаются им напропалую: у нас-де банк, у нас 200 тысяч!.. Тот же, кто отнес туда последнюю ризу с родительского благословения, ничего о пользе банка сказать не может, или просто молчит, или замечает:— да, оно хорошо; когда деньги нужны, отнес вещь и сейчас денег дают.

О разорительных для города свойствах банка узнал я тоже от посторонних людей, никогда не имевших в нем нужды.

Что же касается недовольных, то надо признаться, что их тоже не мало в Осташкове. Их тоже, как и хвастунов, можно разделить на два разряда. Примется, бывало, кто-нибудь ругать город, ну, я, разумеется, и слушаю: на что он станет налегать. При этом я заметил, что из недовольных люди, не страдающие от существующих в городе порядков, являются большею частью самыми толковыми ругателями и всегда могут представить очень основательные причины своего недовольства, хотя обвинения их и выходят всегда более или менее желчны и насмешливы. Но есть другой разряд ругателей: это люди с уязвленным самолюбием, люди кем-нибудь задетые, обойденные какими-нибудь милостями и вследствие этого одержимые завистью. Эти обыкновенно ругают все

наповал, все, что не касается их самих. Но ругательства и нападки их отличаются в то же время удивительною односторонностью и узостью взгляда, так что, послушав их раза три-четыре, можно всегда более или менее верно определить: кем и чем они недовольны; и всегда оказывается, что причина их недовольства в сущности какой-нибудь вздор, а до сограждан им нет никакого дела.

Зато люди, действительно потерпевшие и постоянно терпящие, обыкновенно тупо молчат и, поняв безвыходность своего положения, признают его даже законным и необходимым для славы своего родного города.

На-днях познакомился я с одним рыбаком. Случилось это следующим образом: на той неделе, часов в 10 утра, по заведенному мною обычаю, не дождавшись Ф[окина], прихожу я к нему; вижу, он собирается.

— Куда вы?

— К одному гражданину в гости. Пойдемте со мною.

— Как же я пойду? Ведь я с ним незнаком.

— Ну так что же? Познакомитесь.

— А и то правда.

Пошли. Рыбак, как и следует рыбаку, живет у самого почти озера, в грязной прибрежной улице, в беленьком каменном домике, с высокими воротами на старинный манер. Гражданин-рыбак, к которому мы отправились, один из крупных промышленников и ведет большую торговлю соленою и вяленою рыбою; кроме того, занимается изготовлением рыболовных

снарядов на продажу. Встретил он нас в халате и повел в залу.

— Прошу покорно садиться.

Ф[окин] сделал обо мне свою обычную рекомендацию:

— Как они очень любопытны и прочее, — и сейчас же прибавил: — ты нам насчет рыбки-то порасекажи. Кто же и может разъяснить это дело, кроме тебя?

Хозяин задумался.

— Да, уж разумеется, кроме меня разъяснить это дело некому, — сказал он, наконец, обращаясь к Ф[окину].

— Еще бы. Ведь ты у нас... известно...

— Так, так, так, так. Что и говорить. Все дело в наших руках. Ну, как же теперь? С чего же начинать?

— Уж это как сам знаешь.

— Так, так, так. Знаю, знаю. Я и начать-то с чего знаю.

— Мне тебя не учить.

— Так, так. Где тебе меня учить? Да. Знаю, знаю, — говорил он, — как бы соображая что-то. — Да не прикажете ли кофею? А то, может, водочки не угодно ли?

— Какая теперь водка? Что ты? Давай нам кофею.

— Это можно. Велим кофей заварить.

Он вышел.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я между тем у Ф[окина], — отчего же этот не ломается и не скрытничает.

— Уж такой человек, — отвечал Ф[окин]. — Характер имеет легкий и никого не боится.

Через несколько минут вернулся хозяин, говоря:

— А я, брат, признаться хотел-то железа купить — сукционное; только вижу я, что купить его, значит, врага себе нажить. Пусть пропадает.

— Да и я ходил, видел: лежит железо, а купить нельзя. Бог с ним. А ведь дешево.

— Еще бы. Потому-то мы и не можем его купить, что уж очень оно дешево. Это, брат, не нам, не нам, а имени твоему.

— Ну, да что об этом толковать, — сказал Ф[окин], — ты лучше про дело-то нам.

— Про какое дело?

— Да зачем мы пришли?

— Зачем вы пришли?

— Ах, чудак! А о рыбе-то?

— О! Да что ж об ней рассказывать? Известно, рыба. Вот ежели солить, это другой расчет. Сейчас заготовим посуду, рассол сделаем и солим. Такие мастера у нас есть.

Хозяин, видимо, не знал, с чего начать.

— Ну, а сушить? — спросил его Ф[окин].

— Сушить? Сушить, я тебе скажу, тоже надо умеючи. Ежели теперь ты не досушишь, а как, значит, свалил ты ее в ворох, то она сейчас должна паром изойти.

Мы все трое затруднялись. Он не знал, что нам нужно, а мы не знали, как спросить, и потому все трое замолчали, томительно ожидая чего-то друг от друга.

— И опять-таки, — начал снова хозяин, по-прежнему обращаясь к Ф[окину]: — опять-таки и сушить без соли нельзя, — сгноишь.

— Ну, это так, — сказал Ф[окин]: — а как же теперь это?

— Что?

— Как ее ловить — рыбу?

— Ну, и ловить можно всячески. Какая рыба? на всякую^{*} рыбу свой особый припас. Потому нам без припасу никак невозможно.

Мы опять затруднились. Ф[окин] посмотрел на меня, желая, вероятно, спросить: — какую же рыбу тебе нужно? Я вдруг догадался об этом и в голове у меня завертелись слова.

— Какую рыбу? Никакой мне рыбы не нужно. Хозяин тоже смотрел на меня, ожидая вопроса. Я сделал над собою усилие и, совершенно неожиданно для самого себя, спросил:

— Какие же у вас припасы?

Сделав этот вопрос наобум, я нечаянно попал в точку. Хозяин сейчас же оживился и начал:

— Невода есть, сшивка есть, одинок плавной, летний; одинок снетковый, в полторы сети; тянем бойчее и пужаем. — Мережи межточные¹ о двух крыльях и о трех крыльях, глядя по месту; бывают и о двух горлах и о трех горлах; мережа хвоявая, то бескрылая, ставим для плотвы и уклей, во время на роста между свежей ели; ну, еще редуха, для крупной рыбы; норот, без крыльев, плетется из прутьев; обор, обереж, у берега значит, пужаем болтком. Ну, вот я вам все сказал, что же еще? Спрашивайте!

¹ Межток — пролив. Прим. автора.

— Я подумал, подумал и опять спросил наудачу:

— Где вы берете невода?

— Гм. Невода нам брать негде. Невода и всякий припас мы сами сряжаем. Вяжут сети в уезде мелкими частями и разной длины, а сшиваем и смолим уж мы сами. Вот я вам как скажу: есть у нас такая книга. Нужен вам теперь, хоть бы к примеру невод; вот вы и пишете мне: так и так, чтобы значит изготовить невод — такой длины, такой ширины! И мы ту ж минуту в книгу все это и вносим. И уж что там написано, то верно. Через десять лет, через двадцать лет, а уж вы получите свое. Я вам ее покажу.

Хозяин вышел, а нам между тем принесли кофе. Через несколько минут он вернулся, неся записную книгу и еще какой-то большой сверток бумаги и сказал:

— А вот я захватил кстати показать вам одну вещьцу.

С этими словами он положил на стол сверток и открыл его. На столе вдруг очутилось несколько сот штук серебряных и медных монет и жетонов.

— Ах, я и забыл совсем о них, — сказал Ф[окин]: — показывай! показывай!

Я стал рассматривать монеты, что доставило хозяину видимое удовольствие, и хотя я в них ровно ничего не смыслил, однако, внимательно разбирал подписи в роде: де-н-га, мон. рубль, и даже почему-то счел нужным похвалить их.

Хозяин совсем забыл о книге, верней которой, по его словам, быть ничего не может, и,

увлекаясь все более и более, начал уж рассказывать мне разные, по его мнению, любопытные подробности о том, как ему досталась та или другая монета, и сожалел только о том, что у него нехватало экземпляра времен Иоанна III.

— Ну, это все хорошо, — сказал, наконец, Ф[окин], когда ему надоело рассматривать монеты: — ты нам о рыбе-то порасскажи, а мы послушаем.

— Можно и о рыбке, — самодовольно сказал хозяин, усаживаясь на диван... — Рыбка-то, она, я вам скажу, вот какая вещь. Самое пустое дело.

Мы принялись слушать. Хозяин помолчал немного и продолжал:

— Будем так говорить. Кто ее не знает — рыбу? Что такое есть рыба? Ну, однако, мудрейшей этого дела нет. Теперь хоть бы вас взять. Спрошу я вас: где рыба живет? В воде. Так. Карась в воде, налим в воде, уклея там что ли, опять-таки в воде. Верно. Так стало быть все они там в куче сбимши и лежат? Понадобился мне ну хоть налим; сейчас закинул я в воду припас и тащи? Так что ли? По-вашему так, а я скажу, что нашему брату за это следует в глаза наплевать. Потому какой я рыбак, когда я не знаю, где какая рыба живет, в какую пору, в какую погоду, в каком месте жительство свое имеет и какое такое имеет себе продовольствие?... Все это я должен знать, как Отче, и ошибиться ни под каким видом не могу. Опять, какая рыба строга и пужлива? какая глупа? какая прожора? И это должен я знать. Теперь вот, к примеру, надобец мне ерщ. Хо-

рошо. Знаю я: — ходит ерш поверху, мошкой питается, комарём. Сейчас я различил частицу,¹ опустил на самое дно, потянул ее кверху, — нет ничего. Что за оказия?.. Опять опустил, потянул, — опять нет. Худо. Как быть? Коли нет, стало быть, и искать его тут — в пустяках время проводить. Ну, нет, погоди! Я рассуждаю об этом деле не так. Погляжу я на нёбушко, попытаю: откуда ветерок? а и того лучше, навязал на палку конопли, сейчас мне и видно: — вон он куда потянул! Греби к берегу! Там под бережком, под кусгиком, в затишьи комара ветром страсть что нанесло. Рябью, да холодом сбило его в кучу и лететь ему некуда. Стой! Вот он где ерш! Ну, это летняя пора. Летом пища у ней была скоромная: червяка, мошки всякой вволю. Лепесток она весной гложет, а летом травы там какой-нибудь и даром не надо. Ходит рыба поверху, целное лето шутя живет. А осень пришла, и совсем рыба стала не та. Пришло видно и ей поститься. Ни комаря, ни мухи и в заводе нет. Стужа пошла, ветра пали крепкие. Но и в эту пору все еще ей не так трудно, потому как зерна всякого много ветром наносит. Ну, все уж не летняя пища. Совсем другой расчет. И бойкости в ней этой уж нет: ходит как сонная, нехотя зернышки клюет. Выйдет, выйдет наверх, сиверкой-то ее хватит и сейчас опять вниз. А зима пришла, пала рыба на самое дно... Да. Ах, кофей-то я и забыл. Еще по чашечке?

¹ Раскинул. Частица — частая льняная часть.

— Нет, благодарю покорно.

Ф[окин] сидел рядом со мной на диване и заслушался.

— Ишь ты как расписывает! — сказал он, наконец: — в какой это ты книжке вычитал?

— Эта книжка, брат, мудреная, — я тебе скажу. По ней учиться, надо много мочиться. Вот оно, озеро-то! Книга любопытная, и рассудку требует не мало. Селигер называется. А вот про книжку-то ты мне напомнил. Что я в сочинении Карамзина вычитал? Ну, я так считаю, ошибка там у него есть.

— Какая ошибка? — спросил Ф[окин] и так удивился, как будто его это ужасно поразило, что у Карамзина ошибка нашлась.

— А вот какая. Сказано у него: Литва воевала Серегер. Смотри: степенная книга, часть вторая, страница... страницу забыл. Хорошо. Серегер—это озеро. Теперь спрашивается: как его можно воевать — озеро? Понятное дело, что воду воевать нельзя. Вот я и рассуждаю, что, значит, город был, или жители то-есть по озеру.

— Да, — подтвердил рассеянно Ф[окин].

— Так ведь?

— Так, так.

— Ну, и сейчас это пишет Карамзин... Вот, постойте, я принесу книгу. По книге это дело видней будет.

Он пошел за книгою.

— А не пора ли нам? — спросил меня Ф[окин], повидимому, уже начинавший скучать. Но хозяин уже нес Карамзина и, помуслив палец, смотрел в книгу, говоря про себя:

— У меня тут это место заложено. Где оно? шут его возьми совсем! Да. Примечание 102, страница 494. Вот, вот — «в 1216 году сам князь новгородский Мстислав Мстиславич, шел с войском на зятя своего Ярослава Всеволодовича Новоторжского»... Постой! постой! нет не здесь. Том пятый, страница 444. — Нет, ты послушай, любопытная, брат, вещь. Собираюсь я об этом написать, да все некогда. Вот оно! Послушайте-ка! «В исходе XIV столетия великий князь Василий Дмитриевич, из Кличенской волости»... — Слышишь? из Кличенской волости... Вот ведь это истинная правда. «Дал в Симоновский монастырь, с некоторыми деревнями, озерами и угодиями, слободку Рожок, что был после монастырь». Это тоже справедливо сказано: — «деревнями, озерами и угодиями». Рожок-то ведь и теперь существует, но только не слобода, а погост.

— Это так, — подтвердил Ф[окин], задумываясь все больше и больше и отыскивая глазами картуз.

Хозяин прочел еще несколько мест из Истории Государства Российского, но я все-таки никак не могу понять: в чем собственно заключается ошибка Карамзина. Дело шло, разумеется, об Осташкове. Наконец, Ф[окин] остановил хозяина, сказав ему:

— А вот что я тебе скажу.

— Что?

— Мы лучше в другой раз придем. Ты нам тогда это всё разъяснишь. Теперь нам некогда.

— Ну, хорошо, — с неудовольствием сказал хозяин, прерванный на самом интересном

месте:—так когда же вы зайдете? Я вам это всё докажу. Такая мне досада! Читал, читал, — все хорошо; вдруг,—ах, ты пропасть! ошибка!.. — говорил он, хлопнув рукою по книге.

— Очевидная ошибка! Да вот вам еще доказательство!

И помуслив палец, он уже замахнулся было им, чтобы отыскать эту самую убедительную страницу, но Ф[окин] поскорее надел калоши и закричал:

— Прощай, прощай, брат. В другой раз.

— Ну, так до свидания. Будьте знакомы!

На другой день после визита к рыбаку я ездил в Нилову пустынь и чуть было не утонул. Случилось это, т. е. собрался я, совершенно неожиданно. Началось с того, что сижу я в своей комнате и думаю: куда бы мне пойти? Вдруг вбегают Нил Алексеевич¹ и говорит:

— Ваше благородие, позвольте вас побеспокоить?

— Что вам нужно?

— Не будет ли у вас на рубль мелочи: с постояльцем нужно расчесться.

— Нету. Четвертак есть.

— Ну, так позвольте хоть четвертак.

Рубля я ему не дал потому, что на другой день по приезде моем в Осташков он сделал со мной точно такую же штуку, и потом сестры его, хозяйки постоялого двора, убедительно просили не давать ему денег. И эту хитрость он употреблял со всеми почти неопытными посто-

¹ Хозяйский брат, он же и слуга. Прим. автора.

ьяльцами: вдруг прибежит с озабоченным видом, возьмет на рубль мелочи и потом пропадет дня на два. А тут же кстати капустный сезон подошел: бабы и девки собираются друг у друга капусту рубить, песни поют, а кавалеры посылают за водкой и устраивают угощение.

Я знал очень хорошо, на что Нилу Алексеевичу понадобилась мелочь и, по поводу капусты, вспомнив об увеселениях, спросил его: есть ли в городе трактир? Оказалось, что есть один, но только господа там не бывают. Поэтому-то я туда и отправился немедленно. Это было около шести часов вечера. На улицах тьма непроглядная, только в булочной на окне горит сальный огарок и освещает связку баранок, да сквозь закоптелую дверь кабака видны какие-то тени, слышны голоса: не-то песни поют, не то ругаются.

Отыскать трактир вечером было довольно трудно: на улицах ни души, спросить не у кого: ходил, ходил я, и, наконец, отыскал дверь, ведущую куда-то во мрак. В этом мраке виднелся где-то вдали потасавший ночник. Я пошел прямо на него и наткнулся на собаку. Собака заворчала и отошла в сторону. Ощупью взобрался я на лестницу и стал шарить по стенам. Слышу где-то близко голоса, а никак не могу понять, — где они. Шарил я тут долго, наконец, это мне надоело, и я стал кричать: отоприте! На голос мой отворилась дверь, и половой со свечкой в руке, прищуриваясь и всматриваясь в меня, сказал:

— Что ты? Очумел что ли? Двери не найдешь? Иди скорей!

Я вошел и в первой же комнате увидел такую сцену.

За прилавком стоит гражданин лет пятидесяти в волчьей шубе, с трубкой в руке, пьяный и придирается к девице, тоже порядочно выпившей и сидящей на столе. Она болтает ногами и ругает гражданина самым неприличным образом. Буфетчик моет чашки и в то же время принимает живейшее участие в ссоре, покрикивая время от времени:

— Ишь ты ведь шкура какая! Упрямая — дьявол! Пашка! А, волки ты ешь! Не хочет гостя уважить.

Позади гостя стоит половой, высокий и краснощекий малый, в долгополом сюртуке и в валеных сапогах и, держа в одной руке графин с водкой, а в другой рюмку, равнодушно смотрит на ссорящихся. Тут же у прилавка стоит небольшого роста полицейский служитель в коротеньком полушубке, и закинув одну ногу на другую поигрывает втихомолку на гармонии. У кухонной двери виден прислонившийся к притолоке повар с бородой и трубочкой в зубах. Позади повара в кухне уныло шипит куб. Из другой комнаты слышны звуки шарманки.

В зале, освещенной одной сальной свечкой, я застал за шарманкой ямщика. В углу молодой чиновник, с красным шарфом на шее, пил пунш. Так как в трактире было довольно холодно, то все сидели в чем пришли. Половой предложил мне пройти в особую комнату, но так как там никого не было, кроме необыкновенно жирной голый женщины в сладострастной позе, написанной масляными красками, то я и

остаться в зале, где была шарманка, и спрочил чаю.

Ямщик между тем проиграл: «Уж как веет ветерок» — и стал налаживать другую песню; но что-то у него не клеилось. Сходил он за свечкой; поковырял, поковырял в шарманке, завертел: опять все то же. Ямщик плюнул и стал кричать полового. Вместо него, пришел пьяный гражданин с девицею, все еще не перестававшей ругаться; за ними следом шел половой с графином и, равнодушно поглядывая на нас, пел какую-то песню. Немного погодя пришел полицейский служитель с гармониею и, наигрывая на ней, припевал:

Уж ты шуточка-машуточка моя...

Пьяный гражданин остановился посреди комнаты и подбочился. Из-под расстегнутого жилета его торчали выбившиеся углы ситцевой манишки, шуба сваливалась с плеч. Он нерешительно посмотрел на всех своими красными глазами, не зная, к кому бы придраться, и только морщил брови и сопел; наконец сказал: ёрники вы, ёрники! и, вспомнив о водке, велел налить себе рюмку. Половой налил и, заткнув пальцем графин, запел басом:

Уж вы, горы, горы крутые!...

Девушка между тем под села к столу против чиновника и стала делать ему глазки. Чиновник робко поглядывал то на нее, то на пьяного гражданина и дул в стакан. Ямщик, потеряв терпение, вдруг опять заиграл: веет ветер.

рок, а полицейский служитель пустился плясать, подпрыгивая и приговаривая:

Уж ты шуточка-машуточка моя...

Служителю, должно быть, ужасно хотелось чем-нибудь поразвлечься, и он несколько раз пробовал развеселиться, но все у него как-то не выходило: засеменит, засеменит ногами, захочет выкинуть штучку помолодцоватее и тут же запнется.

Гражданину, однако, эта веселость не понравилась, и он сейчас же поймал развеселившегося служителя за шиворот, крича:

— Пошел вон! Я тебе не велю здесь быть.

Служитель попробовал было обидеться: поправил талстух, отошел к стороне и надулся, а через несколько минут забыл оскорбление и опять стал наигрывать, но, не решаясь плясать, только притоптывал ногой.

Гражданин, справившись с солдатом, обратился опять к девице, и видя, что она кокетничает с чиновником, потребовал, чтобы она бросила его и полюбила его, гражданина. Девица между тем имела явное намерение сесть к чиновнику на колени, чего впрочем чиновник, кажется, и сам не желал, опасаясь гражданина, который уже стоял за его стулом и, размахивая чубуком над головою чиновника, кричал через него девице:

— Я тебе говорю, иди сюда!

— Поди ты к чорту! Пьяная твоя рожа, — отвечала девица. — Ну, что ты со мной сделаешь? Ну?

Гражданин замолчал, соображая, вероятно,

что бы ему сделать с девицею, да так и задумался с трубкой в руке, глядя на огонь. Он, по видимому, решительно не знал, за что взяться. И вдруг стало тихо. Среди этой тишины только слышно было гнусливое гудение гармонии, да полицейский служитель, стоя у двери, вполголоса припевал свою шуточку-машуточку. В зале было темно и холодно; буфетчик в первой комнате уж ложился спать и, сидя на прилавке, стаскивал с ноги сапог, кряхтя и говоря про себя:

— А, варвар, не лезет.

Ямщик, наигравшись досыта, взялся делать себе папиросу. Он подошел поближе к моей свечке и вытащил из кармана щепоть табаку, превратившегося в какой-то зеленый песок. Насыпая табак в бумажную трубочку, он сбоку заглянул мне в лицо и улыбнулся, лукаво подмигнув мне на гражданина. Не знаю почему, но мне стало от этого как-то ужасно неловко, — такая тоска меня взяла...

И ничего вы, горы, не поро-одили...

запел половой, стоя с графином среди комнаты.

Под тяжелым влиянием всего, что происходило передо мною, я задумался бог знает о чем. Взглянул я на них, и мне вдруг показалось, что всех их томит страшная, гнетущая, безвыходная скука...

— Милостивый государь, позвольте у вас папиросочку просить! — сказал у меня над ухом чиновник.

Я вздрогнул и предложил ему чаю. Он отказался, но сел у стола, и мы понемножку разго-

ворились. Чиновник оказался приезжим по казенной надобности и, не имея знакомых в городе, пошел развлечься в трактир.

— Эдакая пошлость в здешнем городе эта ресторация, — жаловался он мне.

— Чем же?

— Помилуйте! спрашиваю пуншу, с французской водкой подают. Нет, у нас такой подлости никогда не сделают. Как можно с Торжком сравнить, а уж об Ржеве и говорить нечего. А здесь и город-то весь какой-то оглашенный: ничего достать нельзя. Сижу третьи сутки, лошадей не дают.

Разговорившись с чиновником, я узнал от него, что так как ему придется пробыть в городе еще сутки, то желательно было бы побывать в Ниловой пустыни, угоднику поклониться. Я рассудил, что и мне не мешало бы съездить туда, и мы условились на другой день отправиться вместе.

На другое утро, только что я успел проснуться, гляжу, входит мой вчерашний знакомый.

— Ну, так как же? Едем?

— Едем-то едем, да только не советуют: озеро очень разыгралось; ветер силен. Я уж ходил на пристань, справлялся.

— Что же, не везут?

— Нет, отчего же? только, говорят, опасно, можно утонуть: три целковых просят.

— Стало быть, за три целковых можно утонуть, а за два дешево, — не стоит. Это хорошо.

— Вот вы подите, потолкуйте с ними.

Пошли мы толковать. Пришли на пристань, озеро действительно разыгралось: волны так и хлещут, так и заливают пристань, но лодочников мы не нашли. Спросили, где нам взять лодку?

— А вон там, в лавочке спросите арендателя.

Пришли в лавочку.

— Здесь арендатель?

— Здесь. На что вам?

— К угоднику ехать хотим.

— Постойте, мы приказчика кликнем.

Кликнули приказчика.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— К угоднику лодку дайте нам.

Опять тот же разговор:

— Меньше трех рублей взять нельзя, потому очень опасно.

— Ну, а если мы утонем?

— Да уж если возьмемся, так не утонем.

— А если мы трех рублей не дадим, так утонем?

— На что тонуть? Мы этого никому не желаем, чтобы утонуть. Авось, бог даст, живы будем.

— Ну, а как же такса-то? Ведь вы обязаны за два рубля везти.

— Это точно. Только время теперь такое. Не ровен час, долго ли до греха?

Спорили, спорили, наконец, порешили на том, что возьмут с нас по таксе, но зато посадят еще двоих и оттуда, если будут попутчики, и чтобы гребцам полтинник на чай. Поехали сначала на веслах, все держались берега, обр-

гнули заводы, и во все время наш шкипер перекликался с каким-то мещанином, который бежал между тем по берегу и должен был сесть к нам в лодку тайком от хозяина. Наконец, оставились мы в каком-то закоулке и посадили еще бабу; выгреблись под ветер и поставили парус. Чем дальше выбирались мы на середину озера, тем волнение становилось сильнее. Баба, храбριвшаяся было вначале, присела на дно, зажмурила глаза и ужасно сердилась на нас за то, что мы не боимся бури. Мы все сидели молча, закутавшись и надвинув шапки на лоб, потому что ветер действительно разошелся не на шутку. Шкипер прежде всего пугал нас для того, вероятно, чтобы показать, что лишние деньги взяты не даром, но под конец перестал и, не спуская глаз с волны, строго покрикивал на гребцов, помогавших с одной стороны веслами. Мещанин отыскал на дне лодки какую-то дощечку и тоже усердно болтал ею в воде.

По небу неслись темные тучи, прорываясь время от времени, и осеннее солнце вдруг обдавало холодным блеском сероватые волны. Гребцы, шурясь и отворачиваясь от него, с мокрыми волосами, дружно налегли на весла, и лодка наша, покачиваясь и поскрипывая, быстро неслась по озеру. Наконец, влево из-за синего бора показался остров, необыкновенно красиво выступивший из воды, с каменными берегами и лесом позади. Через четверть часа долетел до нас заглушаемый ветром далекий благовест, а еще минут через двадцать мы уже входили в пристань и поспели еще к обедне.

Церковь в монастыре старинная, с темными стенами и тусклой живописью; тихое, необыкновенно растянутое пение и, странная вещь, у всех монахов, не исключая и самого отца архимандрита, стриженные усы. После обедни я подошел к архимандриту и сказал, что приехал издалека и желал бы видеть монастырь, о котором много слышал и проч. Отец архимандрит, вместо ответа, подал мне крест и пригласил к себе пить чай. Спутникам моим отвели даровой номер в гостинице и принесли обед. Отца архимандрита я застал в зале сидящим на диване; на стульях же, по стенке, сидело еще несколько человек приезжих; я тоже сел. В дверях показалась монахиня, вся закутанная разными платками. Она молча поклонилась в пояс и остановилась у дверей.

— А, — сказал отец архимандрит: — ну, что? собралась совсем?

Монахиня опять поклонилась.

— Ну, хорошо. Ступай с богом!

Монахиня получила благословение и, поклонившись еще раз, ушла. Подали чай. Высокий и плотный прислужник в сером сюртуке разносил чашки и сейчас же вслед за чаем подал завтрак, состоящий из разных водок и закусок. Мы в благоговейном молчании сидели у стены и как будто ждали чего-то. Наконец, отец архимандрит встал и, благословив закуску, сказал: прошу покорно! После завтрака он повел нас в другую комнату и показал нам какие-то планы предполагавшихся построек; при чем объяснил нам, что стоила ему переделка келий и устройство набережной. Мы всему этому очень

удивлялись и хвалили планы. В то же время слышен был где-то тоненький свист, похожий на свист кулика. Это меня заинтересовало, и я решился спросить о причине этого свиста. Отец архимандрит рассказал нам, что некоторый доброхотный датель пожертвовал было монастырю маленький пароход, для того, чтобы возить на нем богомольцев даром, но что город вступился в это дело и запретил, на том, будто бы, основании, что оттого может произойти убыток городу. Тогда доброхотный датель пожелал узнать, сколько город от этого потеряет? Оказалось, что с лодок получается в год около 400 рублей.

— Вот вам 400 рублей, — сказал доброхотный датель.¹

— Не хочу, — сказал город (то есть осташковская дума). Деньги пожалуй взять можно, а пароход все-таки чтобы не смел ходить и богомольцев чтобы не возил.

— Почему ж так!

— А потому, — озеро городское.

— Как так городское? Озеро божье. По воде ездить никому не запрещается.

— Мало что, не запрещается? Архимандрит с братиею не замай катаются, а за богомольцев плати деньги.

¹ Под именем «доброхотного дателя» Слепцов разумеет купца Степана Дмитриевича Воронина, который в 1859 году подарил местному населению пароход для перевоза богомольцев. Пароход был маленький, в 10 лошадиных сил, у него не было палубы, так что волны хлестали внутрь и вообще плаванье на нем было небезопасно («Памятная книжка Тверской губернии за 1863 год», стр. 199).

— Какие же деньги? Ведь вам дают 400 рублей? Чего ж вам еще?

— То доброхотный датель дает, на то его воля; а по закону за причал с каждого богомольца 5 копеек подай.

— За что ж за причал? Ведь у нас пристань в городе своя?

— Так что ж, что своя? Да ведь она в городе?

— Ну вот и разговаривай тут с ними! — заключил отец архимандрит. — Прошу покорно хлеба-соли кушать!

Не успели мы позавтракать, как уже вновь явились перед нами: уха стерляжья, налимы маринованные, налимы отварные, налимы жаренные, грибки и соленья всякого рода и отличное монастырское пиво.

Во время обеда один из богомольцев, до тех пор смиренно молчавший, вдруг заговорил. Что такое? Знакомый голос! Прислушиваюсь и узнаю моего соседа помещика, жившего рядом со мною на постоялом дворе в Осташкове. Но какая перемена! Как он ругался и кричал там на своих мужиков, и как униженно и подобострастно говорит он здесь! По всему было заметно, что на отца архимандрита он почему-то смотрел как на какого-то начальника; только время от времени прорывалась у него дурная привычка после каждой фразы говорить — а?

— Ваше высокопреподобие, какая у вас отличная рыба! А? Отличное пиво! А? — что входило очень смешно.

Мы так долго засиделись за обедом и от

монастырского пива в голове у меня так загудело, что мне и не удалось осмотреть здешние достопримечательности. По свидетельству Памятной книжки Тверской губ., издан. в 1861 году, в Ниловской пустыни 7 каменных церквей и 26 других каменных зданий, между которыми есть гостинный двор, два конных двора, три хлебных амбара, три бани, ремесленный корпус, квасоварня с солодовнею, рыбный садок и другие хозяйственные постройки; несколько десятков пуд серебра, драгоценных камней и множество золотых вещей. Здесь бывает питейная выставка пять раз в год. Кроме братии, живет в обители довольно значительное число трудников, наемных рабочих и вкладных людей. Под именем вкладных людей известны были крестьяне, присланные туда помещиками ради спасения своей (помещичьей) души и на неопределенное число лет, и даже вольноотпущенные, с обязанностью прослужить условное время в пустыни.

В сумерки вернулись мы благополучно в город и узнали, что за час до нашего приезда вытащили пятерых утопленников, возвращавшихся с базара мужиков. Вечером в тот же день попал я к одному купцу на именины. Об этом событии расскажу в следующем письме.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

ИМЕНИНЫ

Никто, вероятно, не сомневается в том, что знакомства самые разнообразные, в самых широких размерах служат одним из надежнейших способов изучения нравов.

Никакие статистические данные, никакие внешние наблюдения и впечатления не дают такого ясного, осязательного понятия о жизни какой-нибудь местности, как личное сближение с так называемым живым материалом. Но, несмотря на все превосходство этого способа перед прочими, а может быть и потому, что я лично чувствую к нему наибольшую склонность, мне несколько раз приходилось убедиться собственным опытом, что это один из самых трудных и самых шатких способов. Личное знакомство с предметом изучения, как и всякий другой прием, в таком только случае дает вполне удовлетворительные результаты, когда наблюдатель относится к изучаемому предмету совершенно свободно, ни на одну минуту не стесняясь своими личными симпатиями, и пока знакомство для наблюдателя остается только средством, а не целью. Но как скоро он позволил себе втянуться в интересы

изучасмой им среды и принял в них хоть малейшее участие, так сейчас же знакомство теряет для него свое поучающее значение и получает совершенно бесплодный смысл. Наблюдатель из наблюдателя превращается в действующее лицо и, как заинтересованный в деле, уже лишается возможности видеть жизнь во всей ее полноте и неприкосновенности.

К подобным же результатам приходят и те легкомысленные наблюдатели, которые не могут воздержаться от желания разыгрывать роль наблюдателя. Такие люди никогда ничего узнать не могут, потому что они прежде всего заняты сами собой и выполнением своей роли, не говоря уже о том, что самый вид наблюдателя заставляет каждого скрытничать и притворяться. Следовательно, каждый, смотрящий на дело изучения серьезно и желающий извлечь из наблюдения существенную пользу, должен поставить себе за правило: выбрать себе по возможности самую ничтожную, самую невыгодную роль и скромно пребывать в ней, почти не показывая признаков жизни. Если я хочу застать чужую жизнь врасплох, то понятно, что я сам должен уничтожиться и пританить дыхание, чтобы не возмутить покоя в интересующем меня болоте.

В некоторых случаях, разумеется, такое чисто объективное отношение к предмету изучения встречает большие затруднения со стороны самого предмета, а иногда становится и совсем невозможным, но городская, да и всякая русская жизнь вообще, сколько я мог заметить, до сих

пор еще не слишком противится пытливому взору всякого мало-мальски искусного наблюдателя. Большинство у нас до сих пор еще так неспособно к объективному взгляду на жизнь, и в то же время до того поглощено своими домашними нуждами, что ему даже и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь мог серьезно заниматься наблюдением и изучением общественной жизни просто для того только, чтобы наблюдать и изучать.

Подсматривать, подслушивать и после снаушничать, или, наконец, поднять на смех — это еще понятно; но бескорыстного, совершенно безучастного наблюдения большинство не понимает и даже в других допускает с трудом, считая подобное занятие совершенно пустым и праздным делом; а потому и не дает себе труда остерегаться и скрываться от наблюдения. Да к тому же и остеречься-то очень трудно. Как тут остережешься, когда бог его знает, что нужно скрыть и что обнаружить. Если же иной раз изучаемый субъект и догадается, что его изучают, спохватится и начнет скрытничать, то большей частью и это ни к чему не ведет, потому что, даже струсив и съездившись, он невольно обнаруживает такие свойства, скрыть которые уже решительно невозможно. И чем больше он скрытничает, чем хитрее старается обмануть вас, тем больше помогает вам. Так что во всяком случае уйти от наблюдения трудно.

И притом надо заметить, что осторожных людей вообще мало, т. е. действительно осторожных; большинство же везде составляют люди

легкомысленные и до крайности беспечные. В известных случаях действительно общество впадает и в другую крайность; так, напр., иногда целый город вдруг ни с того ни с сего заражается страшною подозрительностью по поводу какого-нибудь приезжего или какого-нибудь слуха. Подозрительность в это время совершенно принимает вид эпидемии и свирепствует некоторое время дико, безобразно, поглощая очень часто и таких людей, которые в другое время вовсе не способны верить всякой сплетне. Заподозренному в подобных случаях лучше всего отмолчаться и переждать грозу. Как легко появляется эпидемия подозрительности, так же легко она и проходит. Переждешь неделю, другую, и все пойдет по-старому. Но и для подозрительности, как и для всякой другой эпидемии, бывает известный период зрелости, когда появление ее становится возможным, и признаки заболевания начинают носиться в воздухе.

Я приехал в Осташков как раз впору, прожил в нем ни много ни мало, а именно столько, сколько нужно было для того, чтобы насмотреться, послушаться вдоволь, сойтись со всеми и ни с кем не сблизиться, и уехал. Вследствие крайней невзыскательности моей относительно знакомств всякого рода, число их с каждым днем возрастало. Этому возрастанию очень благоприятствовало еще и то обстоятельство, что самые подозрительные люди скоро поняли, что мне в сущности ничего не нужно, что я ничего не ищу, ни о чем очень не стараюсь. Этого было вполне достаточно для начала и хватило на тот

короткий период времени, который я пробыл в городе, а признаки заболевания подозрительностью обнаружиться еще не успели.

Только что успел я вернуться из поездки в Нилову пустынь, как узнаю, что заходил за мною мой знакомый, Иван Иванович. В сумерки я пошел к нему узнать, зачем он заходил. Оказалось, что в тот день были именины одного рыбного промышленника, и знакомый хотел предложить мне отправиться вместе к нему на вечер. Я, разумеется, с удовольствием согласился, и мы пошли.

Хозяин встретил нас в сенях со свечою и провел в кухню. Здесь мы застали хозяйку, хлопотавшую что-то над пирогами, и мальчика,ковырявшего свечку. В следующей комнате, на комодѣ стояла водка, и два старика, тоже рыболовы, разговаривали в углу. В гостиной, посреди комнаты, учитель уездного училища, два чиновника и один старый купец играли в стуколку; несколько граждан стоя смотрели на игру. В зале виднелись сидящие по стенке дамы в желтых и зеленых платьях. Они наклонялись друг к другу и вели тихий разговор. Да и вообще было очень тихо; только играющие, пристально и серьезно следя за картами, восклицали иногда: — Стукну! Свежих! и проч.

Хозяин, кланяясь и несколько конфузясь, пригласил нас к водке, а когда мы выпили, — попросил сесть на диван. Мы сели, а хозяин стоял возле нас, прислонившись к косяку спиною и заложив руки за спину. На нем был новый долгополый сюртук и красный платок на

шее. Мы с Иван Ивановичем стали глядеть на гостей, отчего они, т. е. неиграющие, начали понемногу вздыхать, задумываться и подергивать плечами, а некоторые даже вышли из комнаты. Мы так долго сидели. Наконец, Иван Иванович спросил у хозяина: как его дела? Хозяин покраснел и сказал, что славу богу, помаленьку, и подумав немного, спросил:

— Да не угодно ли еще по рюмочке?

Мы отказались.

— А то выкушайте. Что ж такое?

— Нет, уж благодарим покорно.

— Ну, как угодно.

Далее разговор не продолжался. Иван Иванович вынул табакерку и очень старательно начал нюхать табак; а я все рассматривал лежащий передо мной на столе бисерный поддонник и чувствовал, что язык у меня после балыка сделался совсем гладкий, точно суконный. Я время от времени начинал коситься в залу, на дам, и замечал, что и они тоже на нас косятся; но, встретясь глазами, мы сейчас же отворачивались, и я серьезно рассматривал поддонник, а через несколько минут опять принимался подсматривать и опять встречался с любопытными взорами дам. Это было весело.

Когда мы достаточно, по мнению хозяина, посидели, он предложил нам пройтись. Мы прошлись по зале, но дамы при нашем появлении замолчали, при чем многие из них даже стали отмахиваться от мух, хотя их вовсе и не было. Мы поспешили уйти и, посмотрев на играющих, направились в ту комнату, где стояла водка. Там горела свеча на комоде, и граждане, увидя

нас, встали, так что нам оставалось только одно: опять сесть на диван, что мы и сделали. Хозяин, прогулявшись за нами по всем комнатам, тоже прислонился к косяку и снова принялся тоскливо смотреть за гостями. Его, по видимому, томила скука смертная, но варвары гости этого не замечали. Но вдруг лицо хозяина стало оживляться: он наморщил лоб, заморгал глазами и скрылся, через несколько минут вошел мальчик, неся на подносе чай. Мы взяли по чашке. Иван Иванович в то же время нагнулся ко мне и сказал шопотом:

— Вы знаете этого господина?

Он указал глазами на одного из игравших.

— Знаю. А что?

— Не советую быть знакомым.

— Почему же?

— Да так. Будьте осторожны. Конечно, мне не следовало бы говорить о знакомом; но что ж делать, надо сознаться, что это не человек, а чудовище, изверг рода человеческого.

— Мм!

Я посмотрел на изверга рода человеческого с любопытством и подумал: — отчего же это прежде я ничего не замечал чудовищного, да и теперь чудовище преспокойно записывало мелом и, помуслив большой палец, отбирало карты.

— Сделайте такое ваше одолжение! — вдруг сказал мне хозяин, стоя передо мною с рюмкой хереса и мармеладом.

Гости, между тем, уходили в ту комнату, где стояла водка, и возвращались с куском пирога. Игра понемногу стала оживляться. Один старик, набирая в руки карты, говорил всякий раз:

— Ну-ка, дава-кась я посморкаю (т. е. по-смотрю).

— Ах, чорт тебя возьми совсем, старый хрен! — помирая со смеху, восклицал всякий раз после этого один чиновник.

Иван Иванович заговорил с хозяином о его сыне, том самом мальчике, который подавал нам чай. Хозяин очень обрадовался этому случаю и все просил, чтобы Иван Иванович как можно больше порол его сына.

— Зачем же? — сказал Иван Иванович: — лучше увещаниями действовать. Он и так послушается.

— Нет, уж сделайте божескую милость! Как чуть что, сейчас драть. Дерите, сколько душе угодно. Что их баловать.

— Это что у тебя? а? — спросил вдруг хозяин у своего сына, вытаскивая у него из-под жилетки какую-то тесемку. — Пошел, вели матери пришить. Ишь болван! так это все делает мышионоально, — и хозяин хлопнул сына по затылку, желая этим, вероятно, показать Ивану Ивановичу свое усердие.

Надоело мне сидеть, и я стал опять бродить по комнатам. В это время вошел старый заштатный причетник.

— А, Иван Матвеич, — весело закричал ему Иван Иванович: — садитесь сюда! что я вам скажу.

Причетник недоверчиво поглядел на Ивана Ивановича.

— Что вы? подойдите! Не бойтесь!

Причетник подошел и нагнулся. Иван Иванович сказал ему что-то на ухо, отчего тот очень

рассердился, замахал руками и ушел в залу, ворча что-то себе под нос.

— Ну-ка, дава-кась я... — вдруг воскликнул было игравший в карты старик, но, заметив, что я стою сзади его, кашлянул и замолчал.

Наконец, в зале поставили большой стол и подали ужин. Игравшие рассчитывались и шумели. Потом все пошли к водке. Хозяин оживился и стал ежеминутно бегать в кухню. Хозяйка, красная и захлопотавшаяся до поту лица, выглядывала из двери и вполголоса кричала сыну, несшему блюдо:

— Смотри, не пролей.

У комода один из гостей, тот самый, на которого указывал мне Иван Иванович, взял меня за руку, отвел в угол и таинственно сказал:

— Вы будьте осторожны с тем господином, с которым вы пришли.

— Почему же?

— Да так уж. Поверьте.

Иван Иванович, между тем опять уж успел рассердить Ивана Матвеича, так что он стал плевать и ушел от него в кухню.

Начался ужин. Дамы взяли тарелки и уселись в гостиной, а мы остались в зале одни мужчины. Во время ужина, впрочем, не случилось ничего особенного; только подразнили немного Ивана Матвеича, напомнив ему о каком-то шесте. Хозяин все хлопотал, потчевал и давал сыну подзатыльники, чтобы он скорее ходил.

— И чудак этот у нас Иван Матвеич, — говорил мне смеясь Иван Иванович. — Что только с ним делают! Вы спросите его: как ему сажи

в рукавицы насыпали, поглядите, как разозлится.

Но я не решился спрашивать его об этом, тем более, что старик вдруг захмелел и начал ругаться.

— Что ж еще рюмочку? — спросил меня хояин.

— Нет-с, благодарю.

— Да вы так мышионоально.

— Не могу.

— Ну, принуждать не смею.

— Давай, я выпью. Принужу себя и выпью, — покачиваясь и махая руками, говорил Иван Матвееч; потянулся к рюмке и разлил вино.

— Ха, ха, ха! — покатались гости.

После ужина сейчас же все стали расходиться, и я ушел.

У ворот постоянного двора встретил меня Нил Алексеич, пропадавший без вести несколько суток сряду и только что вернувшийся из продолжительного странствия по кабакам, а потому необыкновенно услужливый, но в то же время грустный и прикидывающийся казанскою сиротою. Он сейчас же объяснил, что дожидался меня и нарочно не ложился спать по этому случаю, побежал со свечью отпирать дверь, бросился снимать с меня пальто и вообще употреблять все зависящие от него средства, чтобы мне понравиться. Я очень хорошо понимал, что эта услужливость означает только, что у Нила Алексеича от пьянства болит голова, и, следовательно, нужно опохмелиться; я и дал

сму на шкалик. Так как было еще рано, то я и сказал сму, чтобы он, опохмелившись, зашел ко мне на минуту. Взял было я книгу, начал читать; входит Нил Алексеич, уже веселый, и вытянулся у дверей.

— Пришел-с.

— Вот что: возьмите-ка вы мои сапоги: да еще я хотел спросить вас об одном деле.

— Слушаю-с.

— Видите ли: собираюсь я ехать на этой неделе, так нельзя ли мне заранее подыскать попутчика до Волочка?

— Это можно-с.

— Так устройте это, пожалуйста, да разбудите меня завтра пораньше.

— Слушаю-с.

Я замолчал. Нил Алексеич постоял, постоял и вдруг сказал:

— Ваше благородие!

— Что?

— Осмелюсь вам доложить: это пустое дело — попутчики.

— Как пустое дело?

— Да уж... так как мы здесь, можно сказать, вот с этаких лет при этом деле, довольно хорошо понимаем, что к чему.

— Нет, уж вы пожалуйста...

— Нет, позвольте-с. Это как вам угодно, ну, только я так рассуждаю, что вам это нейдет, совсем нейдет, чтобы с попутчиками ехать. А вот как ежели сейчас приказать тройку — тарантас, ямщика подрядить до места: по крайней мере спокой. Чудесное дело-с. А между прочим, как угодно.

— Ну, да мы об этом после поговорим. Скажите-ка вы мне лучше вот что: где здесь у вас продаются осташи?¹

— Осташи-с? в лавке-с.

— Да ведь у вас здесь их в каждом доме делают. Так нельзя ли на дому у мастера купить? Ведь это будет дешевле.

— Это справедливо. На дому совершенно дешевле. Ну, только не продадут-с. А вам много ли требуется?

— Одну пару.

— Не продадут-с. Извольте говорить, осташи. Осташи вам нейдут-с. Как вам угодно. А вот у нас такие мастера есть, особенные, которые вытяжные сапоги могут сделать. На городничего и на прочих господ тоже потрафляют. Но осташи, конечно, только теперь, как я понимаю, совсем, можно сказать, не к лицу.

— Нет, это я не для себя. А почему же вы говорите, что на дому не продадут? Кто же может мне запретить, если я сам купил товар, сам сшил?

— Это невозможно-с. . Хозяин запретит.

— Какой хозяин?

— Как какой? Хозяин, т. е. вот хоть бы я, к примеру, завел мастерство, ну я шить могу и на дому, а товар у меня хозяйский и должен я представить работу хозяину. Ваше благородие! осмелюсь вас обеспокоить, одолжите покурить!

¹ Осташи — крестьянские сапоги здешней работы.
Прим. автора.

— Возьмите. Так, стало быть, ваши граждане из хозяйского товара шьют?

— Так точно-с. Из хозяйского.

— Кто же эти хозяева?

— А тоже граждане-с, которые купцы, капитал у себя имеют и торгуют.

— А много ли таких?

— Нет, не много-с. Человек пять настоящих хозяев, а то все мелочь, все больше из-за хлеба дома сапожишки ковыряют.

— А почему же эти мастера сами не торгуют?

— Где же? Помилуйте! Бедность. И опять же, нет такого мастера, который чтобы хозяину не был должен. У нас уж такое заведение. Еще банковские должники — вот тоже. Кто ему не должен? Как в яму, в этот банк так и валятся. А все лучше нет. Который если задолжал, пришел срок, — не могу заплатить, ну льготу дают; льгота прошла — шабаш: отдают тебя какому-нибудь хозяину, работай на него! Ну, известно дело, хозяину век не заработаешь. Ты зарабатываешь, а он приписывает, ты заработал, а он приписал. Так и пойдет до скончания века. И дети все будут на хозяина работать.

Нил Алексеич в три приема вытянул всю папиросу, сразу выпустил целую кучу дыма, поперхнулся и сказал решительным голосом.

— Ваше благородие, позвольте вам сказать.

— Говорите.

Он несколько минут соображал что-то, потом сделал шаг вперед, спрятал руки назад и опять сказал:

— Ваше благородие! Я понимаю-с, очень даже понимаю, что вам требуется.

— Что же вы понимаете?

— Я вам вот доложу-с. Все-с! Вы меня извольте спросить, и я вам могу даже то есть до нитки рассказать.

Нил Алексеич подошел ближе и начал шептать:

— Вот как теперь господин Савин и прочие, ежли что рассказать . . . что ж? Я человек маленький. Меня погубить не долго. Только это им будет стыдно. Как я вам докладываю, я всей душой перед вами. И как я надеюсь на вас. Ну, а они совсем напротив, и даже, можно сказать, стараются, как бы человеку сделать то есть вред, а не то что.

Я начал теряться в догадках: хочет ли он мне сообщить что-нибудь очень любопытное, или так, бессознательно с похмелья несет вздор.

— Какой же вред? — спросил я наудачу.

— А уж они найдут такую вину. Им это ничего не значит человека погубить. Что ж? Я молчу. Я не могу против своего начальства говорить ничего. Я молчу-с.

Я увидал, что Нил Алексеич действительно молчит и что толку от него, должно быть, не добьешься. Я взял книгу.

— Так завтра в котором часу прикажете разбудить?

— Часов в восемь.

— Слушаю-с. А что я хочу еще попросить ваше благородие.

— Что? еще на шкалик?

— Никак нет-с. На табачок.

Дня через два после описанного вечера проснулся я утром и даже как-то обрадовался, услышав за стеною знакомый голос помещика, которого я видел в Ниловой пустыни. В продолжение этих двух дней я почти не сидел дома. Возвращался поздно, а потому и не знал, что у нас делается. В это время уже успело произойти так называемое соглашение, и, судя по тому, что долетало до меня из соседней комнаты, можно было предположить, что соглашение совершилось к общему удовольствию; по крайней мере, помещик уже не кричал и не ругался, а так просто ходил по комнате и кротко разговаривал с посредником. Время от времени слышался звон затыкаемого графина и веселое побрякивание, обыкновенно следующее за выпивкою. В передней скрипели сапоги и в дверную щель влетал в мою комнату запах дегтя и овчины, по которому всегда можно еще издали узнать о присутствии мужиков.

Поговорив с посредником, помещик выходил в переднюю и разговаривал с крестьянами следующим образом:

— Ну, что? а? Ну, вот и кончили, благодаря бога. Довольны? а? а? довольны?

— Благодарим покорно. Что ж? — отвечали крестьяне.

— Ну, да. То-то. А? Барин вам зла не пожелает. Не хотели, а теперь сами благодарите. А? Благодарите ведь? а?

— Так точно, Ликсандра Васильич, благодарим покорно.

— Мы за вас, Ликсандра Висильич, должны

вечно бога молить, — вмешался какой-то на-
зойливый, тоненький голосишко.

— Иван Петрович, — обращаясь к посред-
нику, говорил помещик: — вот я говорю, не хо-
тели, а теперь сами благодарны. А?

— Да, да, — из другой комнаты отвечал по-
средник.

— Своей пользы не понимают, глупы, —
продолжал помещик. — Ведь вы глупы? а?

— Это справедливо, Ликсандра Васильич, —
со вздохом отвечал тот же тоненький мужичий
голосишко.

— Ну, да. Вот вас на волю отпустили. Ну,
да. Вы теперь будете вольные. А? Вот я зла
не помню. Ведь я вас люблю, даром, что вы
мошенники, — говорил помещик, рыгая и ви-
димо смягчаясь все более и более. — Вот я ка-
кой! а? А почему я вас люблю? Потому что
вы моей жены-покойницы. Да, — заключил он
и пошел в другую комнату.

После непродолжительного молчания, мужики
пошептались и один из них кашлянул и сказал,
подойдя к двери:

— Мужикам, Ликсандра Васильич, как при-
кажете, домой? или как ежели насчет чего при-
казывать изволите?

— Каким мужикам?

— А, то есть нам-то-с?

— А ты кто ж такой?

— Я-с? Гм, мужик-с.

— Так что ж ты? чучело!

Барин смягчился совсем и даже стал шутить.

— Нет, постойте. Я вам сейчас велю водки
дать. Эй! кто там? Подать водки моим мужикам

по рюмке . . . Вот видите, — продолжал он из другой комнаты: — я зла не помню. Бог с вами. Я вам все прощаю. Я за вас хлопочу, а вы что? Вы моим лошадям овса пожалели. Бесстыжие ваши глаза! а? Не стыдно? а? Мошенники! мошенники! а? И не стыдно? а? Овса пожалели!

Мужики молчали.

— Антон! и не стыдно тебе? Богатый мужик. Меры овса пожалел. А?

— Виноват, Ликсандр Васильич, — расстроенным голосом отвечал мужик.

— А ведь я вас люблю. Ведь я вам отец. А? не чувствуете? Ну, чорт с вами! Пейте, подлецы, за мое здоровье, — заключил помещик и ушел в другую комнату.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

ОСТАШКОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Попалась мне рукописная книжка «Летопись города Осташкова», писанная каким-то священником.

Много было хлопот и беготни, чтобы отыскать ее. Ходит она в городе по рукам уж очень давно, и все ее знают чуть не наизусть, но добыть ее, если кому понадобится, трудно. Лежит она у кого-нибудь, а у кого, бог знает. Иногда и тот, у кого она находится в данную минуту, не знает наверное: у него она, или нет. Дети куда-нибудь заташат, ищи. Точно так же странствуют и другие рукописные тетради.

Одну из них мне тоже удалось найти — совершенно впрочем случайно. Тетрадь большого формата в лист, в переплете; на первой странице написано: *«Выписки из журналов, разных писателей, сочинений, так же К. Н. Гречникова и П. К. Стременаева. Прозы, стихи, басни, романсы и гимны. С 1835 г., а мною выписаны с 1851 года. Вин.»*

Тетрадь эта, несмотря на крайнюю бедность заключенных в ней мыслей и вообще скудость материала, а может быть, именно поэтому, показалась мне несколько занимательною.

Этот жалкий сборник состоит главным образом из произведений туземной музыки, вдохновлявшей двух друзей, гг. Гречникова и Стременаева. Один из них, Гречников, как видно из тетради, безвременно похищен раннею кончиною; и на первой же странице читатель находит грустную элегию г. Стременаева «Предсмертие», стихотворение, повидимому, написанное под влиянием смерти друга и наставника, как называет его автор. Да и вообще произведения этого поэта (г. Стременаева) отличаются грустным тоном и большею частью написаны по случаю чего-нибудь.¹

Потом следует восторженный дифирамб: «Пароход на Селигере», написанный по случаю появления в Осташкове буксирного парохода братьев Савиных, Осташа. Этот пароход, в свое кратковременное служение фабрике Савиных, наделал в городе много шума и служил вначале не малым поводом к самохвальству всего города². Но, к счастью, скоро кончил он свое поприще скандалом, по случаю которого не замедлил появиться ядовитейший, хотя и безграмотный, пасквиль.

Как видно из рассказов и из пасквиля, дело происходило таким образом: пароход был предложен одному прибывшему из губернии значительному лицу для проезда в Нилову пустынь.

¹ Петр Климович Стременаев — повар купца С. К. Савина. Сотрудничал в журнале «Маяк» и с успехом подвизался на Осташковской сцене.

² В 1847 году Савины завели пароход «Осташ» в 40 лошадиных сил. Он буксировал на озере их кладь. В 1856 г. машина на пароходе испортилась.

Отправление гостя сопровождалось, разумеется, подобающими почестями и торжественностью. Хлопот было много. Больше всего старались о том, чтобы торжество вышло как можно торжественнее; но на всякий час не убережешься. И на этот раз, как часто в подобных случаях бывает, самое ничтожное, самое пустое, непредвиденное обстоятельство вдруг совершенно разрушает всю торжественность обстановки и все хитро и задолго обдуманное приготовления. Гость взошел на пароход и отчалил от берега. Ну, слава богу! Но увы! ничто не прочно под луною. Однако, я буду лучше продолжать словами туземного юмориста:

Осташ — пароход
Насмешил весь народ . . .
Лишь от пристани пустился,
За угол бани зацепился,
Угол бани затрещал,
Людей в бане испужал,
Стена стала валиться,
Люди бросили и мыться;
Испужались, закричали,
Вон из бани побежали.
Не успели смыть я мыло
(Это верно так и было).
Бежали все нагие . . .
Слушатели дорогие . . .

и т. д.

Да. От великого до смешного один только шаг. Говорят, распорядители торжества очень сердились на эту проклятую баню. И подвернула же ее нелегкая, да притом, как нарочно, именно в такое время, когда уже все кончилось так хорошо, все приготовления удались как

нельзя лучше, и тут... Чорт знает, что такое!.. После неудавшегося торжества, пароход, разгравший такую скандальную штуку, куда-то исчез, вероятно, испугавшись насмешек.

Странная судьба этого парохода! Давно ли еще г. Стременаев приветствовал его следующими восторженными строфами:

Селигер! где дни были?
На раздольи своих вод
Ты не видишь ли впервые
Сына мысли — пароход?!

Посмотри ж, вот он дымится,
Без весёл и парусов,
Но послушный пару мчится
Прямо в грудь твоих валов.

По бокам горами пена,
Зыбь сверкает назади,
Будто вырвавшись из плена,
Он летит с огнем в груди

и проч.

Давно ли толпами ходили городские и сельские жители на пристань любоваться сыном мысли и хвастаться приезжим!

И вот, вследствие какого-нибудь ничтожного случая, те же осташи вспомнить без смеха не могут о своем пароходе. Ужасно непостоянный народ, смешливы очень. Это я заметил.

После дифирамба о пароходе следует всякая всячина: отрывок из какой-то повести (сентиментальная сцена, объяснение двух любовников); потом «Романс» г-жи Языковой:

Лиры томной звук плачевной
Выражай печаль мою!

Сладчайшее стихотворение Карамзина к Лизе, и опять «На смерть Гречникова» г. Стременаева; из этой элегии, как называет ее сам автор, видно, что с кончиною г. Гречникова

Еще не стало дарованья,
Еще безвременно угас,
Чей ум и добрые деянья
Пребудут памятны для нас!

и проч.

Из этой элегии ясно, что между двумя друзьями-поэтами существовала самая тесная и трогательная связь. Г. Стременаев, стоя на могиле умершего друга, кладет на нее

Цветок, который был посеян
Природою в моей (Стременаева) душе,
А им почившим возлелеян,
Воспитан дружества в тиши.

Цветок этот — цветок «п о э з и и с м и р е н н о й».

Что же касается музыки г. Гречникова,¹ то она вовсе не так смиренна и не ограничивается, подобно музы г. Стременаева, дифирамбами и элегиями по случаю чьей-нибудь смерти.

Сколько можно понять из прозаических и стихотворных произведений покойного, музыка г. Гречникова не только откликалась на все мало-мальски значительные случаи, которыми

¹ Константин Николаевич Гречников — бухгалтер Торгового дома Савиных — организатор местной труппы и ее режиссер. Его статья, посвященная коммерции Савина, помещена в «Москвитянине» 1841 года (ч. V, № 10). Написана она приказчицким суконным языком.

так бедна жизнь уединенного уездного города, но и рвалась даже куда-то дальше за пределы видимого мира.

Чем больше вчитывался я в затасканную тетрадь, в дождливый вечер, лежа на диване постоянного двора в Осташкове, тем яснее и рельефнее рисовалась передо мною эта глухая, бедная жизнь с ее жалкими мишурными украшениями, и не менее жалким самодовольством, и этот г. Гречников, с своею бедною поэзиею, и неясными для него самого поэзами куда-то туда. Впрочем, преобладающим мотивом этих поэзов и у него все-таки половые стремления и дальше Киприды он не идет. Хотя сам он говорит о себе в одном месте:

«Пошли, господи, в душу мою покаяние, смирение и возможность испить мою горькую чашу, которую я вполне заслужил своим *развратом и всевозможными пороками*». ¹

Такое признание могло бы привести читателя в соблазн относительно развратного поведения автора. Можно бы подумать, что автор сильно кутил, предавался всякого рода излишества, наказан за это и, приготовляясь испить горькую чашу, чувствует угрызение совести. Но на деле вышло иначе.

«Я впал в руке бога живаго! Страшно!!!» — говорит далее автор. — «Это случилось 6 апреля 1847 года».

Из этого видно отчасти, что г. Гречников был немножко романтик и, вероятно, любил преувеличивать свои страдания и смотреть на жизнь

¹ Курсив в подлиннике. Прим. автора.

несколько мрачно. Окружающая среда его не удовлетворяла; это заметно по многим прозаическим размышлениям его, помещенным в этой же тетради. Так, например, еще в 1884 году 28 октября, г. Гречников писал против преобладания материальной стороны нашей жизни.

«Признаюсь, иногда делается грустно при взгляде на странную нашу жизнь. Хотя материальность занятий наших непременно движется и живет умственностью, но самый ум наш обратился в какой-то механизм, в котором цифры прыгают будто условно, и мы щупаем их и понимаем просто незамечаемым нами животным инстинктом! Увы! Есть бухгалтеры, но только не мы с вами, которые наслаждаются и сердцем, и мыслью. А мы-то что за пешки на пестрой шахматной доске мира? Грустно, а без цифр прожить нельзя».

Но все это было еще в 1844 году. Поэт был молод, полон стремлений, хотя и неясных, но все-таки стремлений. Понятным образом развившееся недовольство окружающим, преобладание материальности в жизни возмущали его, и потому являлось желание «забыться» и искать спасения в «этом блаженном забвении». Но потребность жить действительною жизнью и пользоваться действительным счастьем все-таки не унималась, несмотря на все желание обмануть самого себя. Эта странная уродливая борьба однако была поэту не по силам и потому являлось стремление как-нибудь кончить, помириться с жизнью и устроить с нею маленькую сделку в роде следующей:

«Но хотя бы и не всем нам, землежителям,

не всем да и то изредка, залетать в мир неземной, в мир таинственный, в благоговейном восторге целовать покрывало Изиды, верить в лучшее, ожидающее нас в необъятной, непостижимой земным умом вечности» ... и т. д.

Так писал г. Гречников г. Головану в лучшие годы своей жизни, но в 1845 году читатель уже застает осташковского поэта по уши в уездной тине и уже занятым совершенно другими предметами. Поэт терзается ревностью и непонятою страстью (к актрисе, как видно из одного намека).

Моя любовь погибла безвозвратно! —
воскликает поэт.

На вопль души отзвуков сладких нет!
Как поняла она меня превратно!
Как понял страсть мою превратно свет!..

В октябре того же 1845 года поэт уже впадает в мистицизм. Склонность к романтизму, заметная в нем и прежде, под влиянием страсти увлекает его в бездну кабалистики.

«Роковые числа приближаются» ... — пишет г. Гречников в своем дневнике, — «предчувствую, что в это время нынешнего месяца совершится многое. Я потеряю ее!..»

«Так и есть. 21 числа она... Роковое число не изменило» ...

В святом невежестве бездушно расцветая,
И ада не страшась, не ожидая рая...

К. Гречников.

Но благородство чувств так свойственно высокой душе поэта:

«Пусть будет она счастлива, а мы... мы будем справедливы»... — через десять дней после рокового числа уже писал поэт.

Вскоре после описанной катастрофы г. Гречников женился, и по этому случаю произвел сладострастный перифразис в стихах, под заглавием «Милая, а потом жена». Весь интерес означенного стихотворения вертится на трех словах: «шарф, улыбка и корсет».

Перечитав сделанные мною выписки из тетради, я к удивлению заметил, что это письмо принимает вид какой-то повести из уездных нравов, где героями являются темные для меня самого личности двух друзей поэтов. Но это случилось как-то само собою, по мере того, как я читал и выписывал. Повествовательный характер получился просто потому, что тетрадь эта заключает в себе и дневник покойного поэта; а стихотворения, рассыпанные в разных местах, почти все с означением года и числа. Это обстоятельство дает возможность проследить их в хронологической связи и найти отношение их к некоторым событиям в жизни поэта. Так, например, видно, что в то время, когда достойный друг и выученик г. Гречникова упражнял свой природный дар в скромной поэзии и писал послания «Поэту» и «к своему портрету», сам г. Гречников занимался сочинением темы для повести и философскими соображениями в роде следующих:

«Мир не на час создан. И я вам скажу: — мир вечен».

8 марта 1847 года г. Гречников кончил свой журнал.

К о н е ц ж у р н а л а Г р е ч н и к о в а .

«В царство небесное не может войти ничто же скверно (Апок. XXI. 27).

«Страшно впасти в руке бога живого (Евр. X. 30).

«Вот какими ужасными словами пришлось мне заключить журнал мой! И когда же? В период полного развития внутренних сил, когда бы мне должно наслаждаться самосознанием и проч.

«Всему причиною мой разврат»... сознается автор и все более и более проникается драматизмом своей участи. Какие-то терния все мерещатся расстроенному воображению бедного поэта.

«Я вполне заслужил мои терния!.. Даже к богу страшно обратиться мне!!!»

Далее, перебирая всю бесплодность попусту растроченной жизни, поэт казнит самого себя и даже ссылается на свои прежние мысли.

«В одном месте я сам сказал: сила, сила нужна, чтоб сломать до основания великолепный храм своих мечтаний, а из новых материалов воздвигнуть простой, но несокрушимый храм действительности.

Рассматривая свои произведения, г. Гречников приходит к печальному заключению, что он «до сих пор еще не писал ни одной дельной статьи», а если что и было хорошего в них, то это всё чужое. Но чужого он не хочет, «а своих не только нет запасов, но и крох от всего того блага, которым пользовался по милости других!»

Мрачно кончил свое поэтическое поприще осташковский поэт, но благодарные сограждане и теперь еще услаждают свою скуку чтением его произведений. А ведь странное это обстоятельство: в городе есть публичная библиотека, в которой лежит 4238 томов и кроме того получается 22 экземпляра¹ разных периодических изданий, а между тем при всеобщей грамотности большинство или вовсе ничего не читает, или пробавляется песенниками и рукописными тетрадами в род: гой, о которой сейчас было говорено.

Перелистывая «Летопись города Осташкова», о которой я упомянул выше, я должен признаться, что и эта рукопись не слишком изобилует материалами для характеристики города.

Летопись писана старинным поповским почерком очень чисто и разделена на рубрики, в роде следующих: «Местоположение города. — Воздух. — Пространство озера Селигера» и проч. Исторические сведения о происхождении города и его развитии почерпнуты большею частью из Татищева, Карамзина, Пантеона российских государей, Зерцала российских государей и даже из Житий святых. Кроме того, рукопись заключает в себе кое-какие изустные предания о происхождении города и некоторых частей его и, наконец, личных соображений самого автора летописи.

Я считаю нужным заметить здесь кстати, что, как я упоминал уже в одном из предыдущих писем, в городе вообще между достаточными

гражданами сильно развита страсть к древностям; разного рода исторические данные о происхождении города служат одним из наиболее употребительных предлогов для спора или разговора с приезжими, которых хоть сколько-нибудь интересует история города.

К чести осташей нужно сказать, что всё касающееся этой истории, всем более или менее известно, и разговоры в этом роде возбуждают в городе какой-то патриотический, хотя довольно узкий, интерес. А потому «Летопись» эта не более, как сборник разных отрывочных сведений, бывших давно в обращении между здешними археологами. Священник, составлявший ее, поступил как следует всякому добросовестному летописцу, т. е. просто собрал и систематизировал все, что, по его мнению, хоть сколько-нибудь относилось к истории цивилизации Осташкова. Спорные пункты (как, напр., о названии города) он так и оставил спорными, поместив в своем труде догадки и предположения и pro, и contra. Это последнее обстоятельство, т. е. примерное беспристрастие летописца, вызвало, разумеется, неудовольствие двух спорящих сторон, так что и те, и другие равно недовольны. Но это-то, мне кажется, и служит уже некоторым ручательством добросовестности автора и придает его труду тот бесстрастный характер, который необходим для простого сборника материалов.

Из «Летописи» видно, что о первоначальном заселении полуострова, на котором стоит теперь город, никаких положительных сведений нет. В первый раз упоминается о К л и ч н е (острове

близ Осташкова) в духовной князя Бориса Васильевича, брата великого князя Иоанна Васильевича, т. е. около 1480 года. Осташков, под именем Столбова, принадлежал к Кличанской волости, по мнению Татищева; другие же (акты археографической экспедиции) утверждают, что осташковские слободы с 1587 года управлялись волостелями и тиунами под ведением ржевского наместника Волоцкого и ржевского князя Федора Борисовича. О названии города существует предание, характеристичное по простоте и наивности. В летописи оно записано так:

«Устное доселе сохраняемое [предание] то, что здесь сперва поселился якобы некто Осташка (верно Евстафий, которое имя древле и на словах, и на письме изображалось так: Иван — Ивашко, Евстафий — Осташка), и как осташка сей стал жить хорошо, то стали к нему и другие приходить сожителствовать, и место сие по имени первенца — жителя Осташки, — назвалось Осташковом. С сим и историческое предание как бы согласно».

Из истории Татищева видно, что князь Владимир Андреевич пожаловал Столбов воеводе своему, какому-то Евстафию, который и переименовал полуостров в Осташков.¹

¹ По догадкам современных археологов, самыми древними насельниками этой местности — были финны. Но в девятом веке в западной стороне Осташковского уезда уже жили славяне кривичи, а на севере и востоке — новгородцы. Через озеро Селигер лежал путь из Новгорода в Киев. В 1238 году прошли здесь татары, «посекая людей, яко траву». Раньше Осташкова существовал Залес-

Летописец приводит еще разные мнения, но как бы то ни было, Осташков тем не менее был сделан городом, а в 1651 году, по указу царя Алексея Михайловича, построена в нем деревянная крепость. Впрочем, существует основание предположить, что деревянный город, т. е. крепость с земляным валом, пушкарскими дворами, погребом с зелейною и свинцовою казною и съезжею избою существовала гораздо раньше и даже потерпела от литовского поражения. Потом городская стена несколько раз горела, возобновлялась по указам царей и великих князей окрестными крестьянами, а из грамот Михаила Федоровича и Алексея Михайловича видно, «чтобы непременно быть таможене в Осташкове и приезжие торговые люди товары свои привозили бы к таможенной избе (приказу) и являли таможенникам». ¹

«В 1753 году последовал высочайший именной указ уже повсеместно дозволить монастыр-

ский городок Кличень на острове того же названия, разоренном новгородцами в конце четырнадцатого века. В 1477 году на месте нынешнего Осташкова находились слободки, которые князь волоколамский Борис завещал своей жене Улиании. Вскоре эти слободки стали называться «деревни Осташковские». В 1557 году Иван Грозный зачислил Кличень со всеми окрестными селами в опричину.

¹ В 1607 году была дана таможенная уставная грамота городскому голове Кондратию Хлопову. О взимании пошлин там говорится: «...а оценив товары имать у торговых людей таможенных пошлин с Осташковцев и Селижаровцев со всяких товаров с рубля по 2 деньги, да мыту с рубля по деньге, а с приезжих людей всех городов — с их товаров и денег — имать тамги с рубля по 4 деньги, да за мыту по деньге».

ским в слободах крестьянам записываться в купечество. На основании одного высочайшего указа в Осташкове немедленно записались 290 душ из крестьян в купечество и в то же время испросили учредить правление свое — ратушу. Итак, еще новое разделение для Осташкова!»! — восклицает летописец и тут же утешает себя тем, что — «это, можно сказать, заря, предвещающая скорую свободу, равенство и совокупность всех в один уже состав и правление, что всегда к лучшему: потому что, как всякое разделение, в особенности по сердцу [т. е. по несогласию] происшедшее, изводит несогласие, зависть и нестроение; так и последовавшее разделение на купцов и крестьян сделалось было следствием тому, что крестьяне стали притеснять купцов в том, что живут и владеют их землею, выживали вон и не допускали до рыбной ловли; купцы не давали крестьянам производить никакого торгу, и затеялись между жителями хлопотные дела».

К сожалению, летописец не сообщает ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь осветить путь, по которому шла городская жизнь Осташкова и как она слагалась. Каковы были условия, благодаря которым город вдруг ни с того, ни с другого выдвинулся вперед. Обращая взоры свои к прошлому, автор летописи видит только, что еще в недавнее время «строение домов в городе было малою частью каменное и то старинной архитектуры и расположения; а все почти деревянное и в великом стеснении. Улицы были весьма малые и узкие, дома стояли без порядка: где каменный, где деревянный, где большой,

где маленькой. Украшением они никаким не блистали, даже внутреннее было самое простое. Самые богатые люди жили в голых стенах, сени огромные и двери узкие. Лучшее и отличное украшение в домах составляли святые иконы, обложенные серебром, а у других и позлащенные. Самые свойства, обычаи и одежда людей были тогда простые».

Простота нравов и вообще несложность и законченность общественной жизни, в период предшествующий нашему, служит, как известно, и до сих пор большим местом для всех людей тогдашнего времени. Всех наших стариков сбивает с толку не существующая нынче простота. Точно то же случилось и с осташковским летописцем. Он мог оставаться беспристрастным повествователем истории своего города до тех пор, пока дело шло о далекой старине и о предметах уже давно умерших. Но к нравам, обычаям, живому преданию и вообще к жизненному началу того общества, в котором пришлось ему жить, оставаться равнодушным он не мог, и потому, переходя к характеристике своих предков, он невольно увлекается и приписывает им такие качества, какие, по его мнению, должны бы украшать людей того времени. Так, например, под рубрикою «свойства людей» говорится, что свойства эти были следующие: «набожность, простодушие, деятельность, воздержание, бережливость и нероскошность почитались у них фундаментом всего».

Можно предположить, что автор «Летописи» в качестве священнослужителя воспользовался случаем, чтобы, по поводу древних обычаев,

сделать своим читателям приличное наставление, и, изображая качества предков, по привычке, поместил в эту рубрику тонкую мораль для назидания потомства. Далее, рисуя старинные нравы, он, очевидно, поддается также влечению своих личных склонностей к простоте и никак не может освободиться от привычки поучать. Это видно из следующего:

«Давали друг другу и угощения, пировали, веселились, — и странное обыкновение: — за столом иногда сидели от полдня до глубокой ночи, проводя время то в пении, то в разговорах, в прочем не неблагопристойных. Как знатоки церковного и нотного пения, пели за столом канты и церковные стихи; и на балах сих никогда не гремел у них чайный прибор и несколько незнакомы были с иностранными винами. Не было кухнь и повара, а всё было: пища и питье простое, свое и в чрезвычайном довольстве. Ставили на стол сначала пирог, иначе косяк, и такой величины, что малому ребенку в сажень. В таком же количестве подавали в мясоед мясную пищу, а в пост рыбу».

Этим почти совершенно исчерпывается весь запас заключающихся в «Летописи» материалов.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

ТЕАТР И НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Видел я чрезвычайно любопытную вещь, —
ошашковский театр. Намедни говорит мне
Ф[окин]:

— Есть у нас тут художничек один и желает
он очень с вами познакомиться. Хотите, он вам
театр покажет?

Я, конечно, очень был рад этому случаю и
пошел к художнику в гости.

Стоит домик на углу, почти у самого озера,
на окне налеплена вывеска: **Ф о т о г р а ф и я**.
На дворе сохнет картина на солнце, и собака
ее нюхает. Я подошел к картине, посмотрел:
Юдифь и Олоферн.¹ Олоферн совсем корич-
невый, со свесившейся рукою, а у Юдифи одна
щека красная, а другая зеленая. Треножник
тут какой-то.

— Что вы смотрите? ведь дрянь, — вдруг
сказал кто-то сзади меня.

Это сам художничек-то и был, К[олоколь-
нико]в.

¹ Когда ассирийский военачальник Олоферн осадил
еврейский город Ветилую, молодая и красивая еврейка
Юдифь добилась его доверия притворными ласками и от-
секла ему голову его же мечом (библейское сказание).

— Ах, это вы? Очень рад...

— Мне так приятно, давно желал... Милости просим!... сделайте одолжение, без церемонии... и т. д.

Взошли мы в комнату, разговорились об искусстве, о Петербурге. Художник оказался очень милым.¹ В комнате у него сидела девочка в монашеском платье за рисованием, послушница из монастыря. Она очень усердно подчищала белым хлебом нос какому-то Александру Македонскому и заправляла пятна. Заговорили, конечно, о театре. Художник с увлечением рассказывал о том, что вот у них есть театр, что есть и люди, с любовью преданные искусству, и что, как жаль, что Федора Кондратьевича нет в городе, а то бы можно и спектакль устроить. Я между тем рассматривал картины и образа, в беспорядке развешанные по стенам. Потом он повел меня наверх, в свою мастерскую, т. е. на большой чердак с манекенами, подмалеванным плафоном и неоконченной картиною. Картина, впрочем, неважная, за то вид с чердака на город и на озеро, покрытое островами, и синеющий вдали бор, вид удивительный. Холодно было в мастерской и пыльно, долго сидеть было нельзя; вот мы и сошли вниз, кофе нам принесли; К[олокольнико]в взял комедию [Алексея] Потехина: «Чужое добро в прок пойдет», стали мы ее читать.²

¹ Михаил Яковлевич Колокольников — иконописец, неклассный художник Петербургской академии художеств — принимал близкое участие в жизни осташковского театра с двадцатилетнего возраста («Памятные книжки Тверской губ.» за 1863 год, стр. 174 и 1868, стр. 465).

² Алексей Антипович Потехин — известный драматург.

— Да что тут толковать, — сказал он, наконец: — пойдемте в театр! Мы для вас устроим генеральную репетицию в костюмах. Наши все будут рады.

Однако в театр мы сейчас не пошли, а отложили до вечера, потому что нужно было повестить актеров о предстоящей репетиции, да и роли не все знали. Я пошел пока к [Успенскому], служащему в духовном училище, а К[олокольнико]в сейчас оделся и побежал к актерам.

— Я, говорит, это все в одну минуту.

На главной улице попалась мне целая толпа девочек, возвращавшихся из училища. Они шли все в чистеньких фартучках, с сумочками через плечо и, узнав меня, стали приседать и перешептываться. Потом увидел я знакомого учителя, сидящего у окна с гитарою.

— А, здравствуйте! — закричал он. — Прошу покорно, зайдите поболтать. Я болен.

— Нет; мне некогда.

— Ну, после. А то я сам зайду ужю.

— Заходите, только попозже, а то я буду в театре.

— В театре? Да что? не стоит. Охота вам. До свиданья.

Отыскал я [Успенского], постучал, впустили. Я вошел в залу и долго ходил по комнате. В это время что-то бегали, шептали дети, заглядывали в двери, а в зале было душно и пахло деревянным маслом. Потом вошел

того времени, подражатель Островского. «Чужое добра в прок нейдет» — драма из крестьянского быта.

священник в зеленом подряснике и попросил садиться. Я сел.

— Надолго изволили приехать? — начал было священник, но в то же время отворилась дверь и появился [Успенский]. Он скромно поклонился и застегнул одну пуговицу.

— Я давно к вам собирался, да все некогда было, — сказал я.

— Благодарю вас покорно-с.

— Вы мне что-то хотели сказать?

— Да-с. Это я о литературе намеревался в свободное время побеседовать.

— Так что же? Побеседуемте.

Мы замолчали. Священник, сидя в кресле, с любопытством поглядывал на нас, то на одного, то на другого, ожидая, вероятно, как-то мы будем беседовать. Наконец, [Успенский] спросил:

— Вы писатель?

— Нет, не писатель; а так немножко пописываю от нечего делать. А что?

— Да вот-с, удивляет меня дух обличения, распространенный нынче повсюду. Какая этому причина?

— Причина, я думаю, очень простая: — необходимость.

— Так-с. Но извините меня, по моему крайнему разумению, необходимости в этом не ощущалось доселе, почему же так ныне?..

— Надо полагать, время такое пришло.

— Время? Гм, время всё одно.

— Время-то, пожалуй, что одно, да люди другие.

— Люди?.. На людей полагаться трудно.

— Зачем же на них полагаться? Никто и не просит.

— Ох, люди! люди! — со вздохом сказал про себя священник и задумался. [Успенский] тоже задумался и стал водить пальцем по столу.

— На кого же надо полагаться? — спросил я, наконец.

Мы все трое опять умолкли. И долго так промолчали. Потом я спросил:

— К какой епархии принадлежит Осташков?

— К тверской, — ответил [Успенский].

— А к угоднику-то нашему ездили? — вдруг спросил священник.

— Как же, ездил.

— 27-го мая обретение святых мощей преподобного Нила Столбенского, угодника божия, бывает крестный ход.

[Успенский] между тем вышел и вернулся с толстою тетрадью в лист. Он как-то нерешительно подошел ко мне и спросил:

— У меня есть рукопись одного автора (об имени его позвольте умолчать), и он чрезвычайно затрудняется.

— В чем же затруднение?

— Собственно в том: где избрать место для напечатания. К вам, как к редактору журнала...

— Да я вовсе не редактор. Кто это вам сказал?

— А! так вы не редактор... — и он несколько отодвинулся от меня. — Извините!..

— Так что же вам угодно? Я, может быть, что-нибудь могу сделать. Что это такое?

Я взял тетрадь и начал ее перелистывать. Она заключала в себе огромное количество листов, очень тщательного письма. Это было описание монастырей тверской епархии, с означением годов основания каждой обители и перечислением всех настоятелей и настоятельница, управлявших монастырями. В ней упоминалось, кажется, даже и о некоторых чудотворных иконах преподобных святителей и угодников, наиболее чтимых в епархии и явивших заступничество свое жителям Тверской губернии. Тут же заключались подробные сведения о возобновлении храмов с приделами, а также и о пожарах и разорениях, коим подвергались обители.

Пока я просматривал тетрадь [Успенский] пристально смотрел мне в лицо. Я спросил:

— Должно быть, много труда и времени потрачено на это сочинение?

— Да не мало, — поспешил ответить [Успенский]. — А что-с?

— Я думаю, что вряд ли напечатают эту рукопись в светском журнале.

— Почему же-с?

— Мне кажется, что дело-то слишком специальное. Конечно, это труд очень почтенный и, как видно, добросовестный...

— Да. Я... мм, то есть автор имел случай пользоваться весьма редкими благоприятными обстоятельствами.¹

¹ У Слепцова — это лицо обозначено буквой N. Мы устанавливаем его фамилию по книге Токмакова «Город Осташков», где указано, что в начале шестидесятых годов инспектором Осташковского духовного училища был

— Только жаль, что автор потратил столько времени на дело, не имеющее, как бы это выразиться? — живого интереса.

— То есть какого-с?

— То есть, я хочу сказать, что тут жизни-то, современной-то жизни нет! — сказал я, хлопывая рукою по тетради, да вдруг сам почувствовал, что вышло не совсем ловко, и возвратил [Успенскому] тетрадь. Он взял ее молча, подумал, поправил загнутые углы, постоял немного и тихо вышел из комнаты. Я взглянул на священника, он тоже взглянул на меня, крикнул и забарабанил пальцами по столу.

Однако пора было в театр. Я посидел еще немного, поговорил о разных обителях и ушел.

Мой новый знакомый, художник К[олоколь-
нико]в, действительно меня уж дожидался. Я зашел только к нему на минуту, и мы сейчас же отправились в театр. Театр устроен в большом каменном здании и переделан из какого-то, кажется, кожевенного завода и потому наружности, соответствующей своему назначению, не имел. Зато внутри все устроено как следует быть театру: и ложи, и оркестр, и даже так называемый раёк, все это есть. Мы прошли

Владимир Петрович Успенский, автор многочисленных очерков по истории местных монастырей и «святень». впоследствии ставший священником. Он был большим знатоком старины Осташковского края, но уделял слишком много внимания всяким местным великомученикам и чудотворным иконам. (См., например, его брошюры и книги: «Полное житие преподобного Нила», «Описание Осташковского Знаменского женского монастыря», «Историческое описание Ниловой пустыни»).

прямо на сцену, или, лучше сказать, под сцену, в мужскую уборную, где уже топилась железная печь и театральны́й парикмахер возился с париками. Тут же встретили нас и актеры, частью уже одетые в костюмы. Портной, или, я не знаю, кто-то из театральной прислуги примеривал на одного актера кафтан, еще кто-то взял свечку и побежал освещать сцену. Все спешили. Суэта началась, веселая такая суэта. К[олокольнико]в сейчас же прицепил себе бороду и повел меня за кулисы. Актеры давно уж не играли, и были очень рады случаю поиграть, тем более, что пьеса новая и только еще ставилась. Но замечательно, что все эти актеры, музыканты и прислуга — все любители, совершенно бескорыстно преданные делу, и что почти все они никогда в жизни не видывали никакого театра, кроме своего. Только один К[олокольнико]в в Петербурге видел, как играют на сцене, остальные же все руководствовались своими соображениями и собственным художественным чутьем. Все это очень странно, тем более, если принять во внимание, что эти люди стали актерами чисто из любви к искусству, и кроме бесполезной траты времени видеть в этом занятии ничего не могли. Никто из них никогда не играл и понятия не имеет о том, как надо играть, и вдобавок никто им гроша за это не дает.

Но это-то обстоятельство, по моему мнению, и служит лучшим ручательством того, что в выборе этого занятия не было ни тени принуждения, что все эти любители-ремесленники стали актерами и выучились играть только по-

тому, что действительно очень этого желали, даже в ущерб своим материальным интересам.

Понятно после этого, с каким любопытством я, сидя в ложе, дожидался поднятия занавеса. Впрочем, нет; занавес был уже поднят давно (его и не спускали). Началось таким образом: К[олокольнико]в вышел на сцену и закричал мне:

— Вообразите себе, что занавес поднимается. Сцена представляет комнату на постоялом дворе. Вообразили?

— Вообразил, — закричал я ему из ложи.

— Ну, теперь начинается. С т е п а н Ф е д о р о в,¹ пожалуйста на место!

Вышел старик, сел на стул, и пьеса началась. Но в первой сцене все почти играет один Михайло, т. е. К[олокольнико]в, а я слышал и прежде, как он читал, и потому эта сцена меня мало занимала. Он играл как обыкновенно играют любители, т. е. копировал столичных актеров и, когда кончил свой заключительный монолог, закричал мне со сцены:

— Что, хорошо?

— Хорошо.

— Да нет. Я знаю, что скверно. Ну, все равно. После поговорим об этом. Теперь смотрите!

Вышли другие действующие лица, потом сцена Михайлы с женою. Второе действие началось без перерыва, точно так же, как и первое: К[олокольнико]в закричал: — второе

¹ Имя одного из действующих лиц драмы «Чужое добро впрок нейдет». Примеч. автора.

действие! и сел за стол. Катерина (г-жа П[етро]ва) тоже села, немножко сконфузилась, посмотрела в темный партер, К[олокольнико]в ей сказал: — ну, что же вы? и она начала свою роль.

Я слышал и прежде от многих о г-же П[етро]вой, но думал, что врут, хвастаются; а потому, разумеется, ждал криков, ломанья и жеманства.

И был просто поражен ее игрою. Такой простоты, свободы и верности я себе и представить не мог.¹

— Что? Каково? — крикнул мне К[олокольнико]в. — Идите сюда!

Я пошел на сцену.

— Ну, как П[етро]ва-то? что? видели? То-то же, — говорил К[олокольнико]в, видимо торжествуя. — Да это что? Вы бы посмотрели ее в драме. Удивительно. Войдет в роль, плачет, серьезно плачет. А тут у ней комическая роль, да и в первый раз: конфузится.

Когда кончилась пьеса, и актеры переменили костюмы, К[олокольнико]в познакомил меня со всеми. Мы разговорились о пьесе и необыкновенно скоро сошлись. Я им начал рассказывать, как я видел эту драму на других театрах, они стали спрашивать, как кто из них сыграл

¹ Ольга Петровна Запутряева — на сцене Петрова — пользовалась огромным успехом главным образом в пьесах Островского. Дебютировала в 1843 году. Ее отец, Осташковский мещанин, и три ее сестры тоже выступали на сцене. Брат ее исполнял женские роли в Осташковском «Театре друзей».

свою роль и где сделал какую ошибку, и так это весело устроилось, так мы все были хорошо настроены, что этот вечер оставил во мне самое приятное воспоминание. Главное, что тут не было решительно ничего стеснительного. Все мы прониклись одним бескорыстнейшим чувством, страстью к искусству, всех в этот вечер занимало одно желание наслаждаться искусством. Когда мы пошли с К[олокольников]ым домой, я его спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто эти господа?

— Ремесленники большею частью, есть и чиновники. Вот этот что «Степана» играл, старика, это библиотекарь.¹

Тут я только вспомнил, что действительно видел его и говорил с ним в библиотеке. Это был еще очень молодой человек, страстный любитель чтения и театра. А когда я спросил о П[етров]ой, почему она не едет в Москву или

¹ Здесь Слепцов имеет в виду Ив. Пав. Нечкина, о чем можно заключить из заметок об Осташкове, помещенных в «Московских Ведомостях» 1862 г. (№ 52), где между прочим сказано: «хвалят игру г. Нечкина, заведующего здешней общественной библиотекой». «[Нечкин] прекрасный актер на роли Мартынова и Самойлова», — писала о нем известная артистка Орлова. «Играет так, хоть бы в Петербург, и замечьте, что никогда не видел настоящего театра». В то время, к которому относятся «Письма» Слепцова, Нечкину было 24 года. «Он служит в думе, — писала о нем та же Орлова, — библиотекарь публичной библиотеки; брандмейстер в пожарной команде; еще старшина в кассе товарищества; еще певчий, еще музыкант» и т. д. Нечкин исполнял в Осташковском театре 128 разнородных ролей. (И. Ф. Токмаков. «Город Осташков и его уезд», М. 1906, стр. 181).

в Петербург дебютировать. К[олокольнико]в отвечал, что она своими трудами содержит семейство и, разумеется, оставить его не может.

— Это замечательная женщина, — говорил К[олокольнико]в. — Какая у ней душа! Сколько чувства и любви к искусству. Ведь она, — представьте себе, выучилась сама, ей даже никто никогда не показывал.

Любопытно, что когда П[етро]ва была просто мещанкою города Осташкова, то никто о ней и не думал; но когда она стала играть, сейчас же явилась толпа поклонников и обожателей, в том числе и офицеры с предложением услуг; но она их всех

Отвергла, заперлась
... феей недоступной
И вся искусству предалась
Душою неподкупной.

Только что я успел вернуться домой и, еще полный разных приятных впечатлений, начал раздеваться, как вдруг входит Нил Алексеич:

— Ваше благородие, гости. Прикажете впустить?

Взошел учитель и с ним еще какой-то длинный господин.

— Вот это Август Иванович,¹ — сказал мне учитель, знакомя меня с длинным господином.

Я протянул ему руку, и мы, держась друг за друга и кланяясь, простояли довольно долго среди комнаты. Он должно быть ждал, что я скажу что-нибудь, а я видел, что он как будто ждет, и тоже чего-то ждал. Однако, не даждавшись

¹ Вымышленное имя. Прим. автора.

ничего, мы сели, и я им предложил чаю и колбасы. Август Иванович взял ее в руки и сказал:

— Я сам колбаса, — а потом захохотал. Тут только я заметил, что гость мой немножко навеселе и действительно что-то жует и все не может проглотить.

«Что это за Август Иванович такой?» — думал я, глядя на него.

— А я вас видел вчера, — сказал он, нареывая колбасу.

— Где же?

— А в лавочке. Вы табаку покупали, а я видел.

— А может быть.

— Что у нас здесь, — скука! Вот в Торжке отлично жить, — сказал учитель. — Вы были в Торжке?

— Нет.

— Вы съездите. Я там жил. А во Ржеве не были?

— Не был.

— Напрасно.

Всё больше в таком роде шла у нас беседа. Потом уж немножко разговорились.

— Наша служба чудесная, — сказал Август Иванович. — Благородная служба. Вот я вольный казак.

Это мне показалось очень любопытно, и я посмотрел на Августа Ивановича. Но я себе представлял вольного казака вовсе не таким. Август Иванович был худой и тощий немец, с длинным носом и с длинными тонкими ногами. Во все не похож. Он между тем продолжал, принимая строгий вид:

— Спокойная служба. Я сам себе хозяин. Приказал, фють! готово.¹

— Нет, вот наша служба, чорт бы ее драл. — заметил учитель. — Хуже нет: всякому дураку кланяться. Есть нечего, а тут еще требуют: следи за наукой. Какая тут, дьявол, наука?

— Ну, да, конечно,—продолжал Август Иванович, не слушая: — распоряжение не скоро приходит. Я городничему сказал: — послушайте. Я не могу ждать. Мы без дров сидим. Когда еще там комитет!.. Городничий молчал. Я сказал: фють! сюда! Понимаете?

Я переставал понимать совсем и слышал только, что кто-то сделал фють, сюда. Вообще что-то очень странное; только я и мог понять, что Август Иванович служил в канцелярии где-то на железной дороге, а потом фють стали повторяться так часто, что уж ничего нельзя было разобрать. А под конец как-то так стало выходить, что будто чуть что, сейчас фють, и Август Иванович погиб. Чорт знает что. Я даже стал опасаться. Однако, все кончилось благополучно. Август Иванович говорил, говорил, вдруг вскочил и сказал: фють! пора спать. И они ушли.

¹ Возможно, что под именем Августа Ивановича в «Осташковских письмах» фигурирует коллежский регистратор Густав Васильевич Дальберг, смотритель Осташковской больницы. По крайней мере это был единственный немец, отмеченный в списке тогдашней администрации в «Памятной книжке Тверской губ. за 1863 год».

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

ОСТАШКОВСКАЯ ПОЛИТИКА

По мере того, как число знакомых моих с каждым днем возрастало, я все больше и больше стал приходить к убеждению, что задача: что такое Осташков? — наконец, приходит к разрешению, что доказательства более или менее исчерпаны и даже начинают уж повторяться.

Теперь, когда противоречия разного рода, так неожиданно поразившие меня вначале, почти все разъяснились, — теперь только вспомнил я о человеке, с которым я познакомился случайно, сейчас же по приезде сюда, и, который тогда на все мои расспросы отвечал одно: — «я вам ничего не могу сказать. Поживете, — увидите». В то время я счел это излишнею осторожностью с его стороны, но теперь вижу, что он был совершенно прав. Никто никогда не мог бы мне рассказать того, что я видел и слышал сам. И теперь-то, именно теперь, мне очень хотелось поговорить с ним и проверить мои наблюдения. Я застал его дома, он собирался идти гулять, и мы отправились вместе на озеро.

— Ну что? скоро вы собираетесь ехать? — спросил меня мой знакомый, когда мы вышли на улицу.

— Да, я думаю, что уж здесь больше делать нечего.

— Здесь всегда нечего делать. Все уже сделано давно. Неужели вы в этом еще не успели убедиться?

— Не хотелось бы мне в этом убеждаться.

— Ну, это другое дело. Желания бывают разные, а я говорю о конкрете, так сказать, о факте. Случается, что факты противоречат желаниям. Это я часто замечал.

— Однако, вот что, — перебил я моего знакомого. — Я думаю, что вступление такого рода лишне. Приступимте прямо к делу. Вы понимаете, что мне хочется знать, наконец, ваше мнение о том предмете, о котором мы с вами не упоминаем, — о городе.

— Да что ж, мое мнение? — сказал он, размышляя. — Мое мнение такое: исправный город. Чего ж еще?

— Дело не в исправности.

— Город смирный, — продолжал он: — благочестие процветает. Примерный город. Ну, да чорт его возьми! — совсем неожиданно заключил он. — Нет, это все вздор. Дело-то вот в чем. Я все боялся, не увлеклись бы вы всеми этими фестонами да павильонами. А если не увлеклись, так стало быть понимаете, — что это такое. Я могу вам помочь только, прибавив каких-нибудь два, три факта; тени, так сказать, усилить могу для рельефности.

А много было взору моему
Достойно и понятно, потому...

да потому, что как там они ни хитрят, а все-таки видны белые нитки. Тут какая история, я вам скажу. Корень-то всему злу, знаете что? Банк! Странно? Не правда ли?

— Да как же это так?

— Да весьма просто-с. Жил был в городе, в Осташкове, первостатейный купец богатейший, коммерции советник, Кондратий Алексеич Савин. Жил он здесь, можно сказать, царствовал, потому капиталы имел у себя несметные. И задумал этот самый купец под старость, душе своей в спасение и всему свету на удивление, соорудить казнохранилище... Да нет, это стихи какие-то выходят. Будем продолжать просто. Итак Кондратий Алексеич покойник — мужик был умный и дело затеял с толком: пожертвовал 25 тысяч на ассигнации на учреждение банка, с тем, чтобы барыши с него шли на богоугодные учреждения. Вот с этого все и пошло. А надо вам сказать, что династия Савиных ведется в Осташкове спокон веку, так что представить себе Осташков без Савиных, или Савиных без Осташкова как-то даже невозможно. Начал благодетельствовать городу Кондратий Савин, и по его смерти стал благодетельствовать по наследству сын его Степан, а по смерти и сего последнего вступил на место его второй сын, Феодор.

Заведен у нас такой порядок: граждан, которые не в состоянии уплатить долга банку, отдавать в заработки фабрикантам и заводчикам. Оно бы и ничего пожалуй, не слишком еще бесчеловечно, да дело-то в том, что попавший в заработки должник большею частью так там и

остается в неоплатном долгу, вечным работником. Уж как это устраивается, бог их знает. Известно только, что при всеобщей бедности жителей, предложение труда превышает запрос; вследствие этого, конечно, плата упадет и ценность труда зависит от фабриканта. Но вы не забудьте, что рядом с этой нищетою стоит театр, разные там сады с музыкою и проч., то есть вещи, необыкновенно заманчивые для бедного человека и притом имеющие свойство страшно возбуждать тщеславие. Теперь эти удовольствия сделались такою необходимою потребностью, что последняя сапожница, питающаяся чуть не осиновою корою, считает величайшим несчастьем не иметь кринолина и не быть на гуляньи. Но на все это нужны деньги. Где же их взять? А банк-то на что? Вот он тут же, под руками, там 200 тысяч лежат. Ну, и что ж тут удивительного, что люди попадают на этих удовольствиях, как мухи на меду?

— Но, скажите, пожалуйста, ведь эти приманки, однако, не дешево же обходятся?

— Кому?

— Да тому, кто их устраивает?

— Ни гроша не стоят. Театр, музыка, певчие, сады, бульвары, мостики, ерши и павильоны,— все это делается на счет особых сборов, так называемых темных. Это очень ловкая штука. В том-то она и заключается, что ничего не стоит, а имеет вид благодеяния. И даже, я вам еще лучше скажу, против действительных, капитальных благодеяний принимаются меры. Я вам расскажу один случай.

Надо вам знать, что оставши имеют похваль-

ную привычку, разбогатеv на стороне, под старость, насытив жажду к приобретениям, возвращаться на родину и благодетельствовать своему родному городу.

Вот и вернулся такой один, богач страшный. следовательно опасный конкурент, и принялся расточать богатые и щедрые милости нищим собратиям своим, но, как человек расчетливый, благодетельствовал экономно, больше для виду. Паникадил там наделал, позолот разных, украшений, женское училище завел, пароход Ниловой пустыни подарил для безвозмездного перевоза богомольцев.

— Ах, да. Я это знаю. Архимандрит рассказывал.

— Ну, вот видите. Пока он школу заводил да храмы украшал, то воспрепятствовать ему в этом нельзя было; а как только подарил пароход, сейчас и затеяли тяжбу. Она бог знает когда кончится, да, вероятно, и никогда не кончится, а пока пароходу запрещено возить богомольцев. Наконец! богач сделал предложение думе провести железную дорогу до Волочка пополам с городом. «Зачем же пополам?», говорят, «не беспокойтесь, мы сами проведем всю». Ну, однако не провели, а богач посмотрел, посмотрел, видит делать нечего, уехал.

А то еще другой был, тоже разбогатеvший на стороне. Это человек был нрава дикого и необузданного и притом счастьем обладал удивительным. Век свой жался и сколачивал деньгу, а как разбогатеv, вдруг и сдурел совсем, и не знает, как ему с деньгами быть, куда их деть. Натура животная, плотоядная, да и

тщеславие-то уж очень его распирает стало. Орет нечеловеческим голосом, окна бьет, шампанским пару поддает, нет, все мало. Приехал сюда. Сейчас, разумеется, двадцать пудов серебра на украшение храмов, как жар горят, дом себе выстроил, баню султанскую, завод выстроил; мучные склады какие-то ни с того, ни с сего завел, неизвестно зачем. Пирь такие стал задавать, что небу жарко. Только все это у него как-то не удавалось. Позовет весь город обедать, придут гости, а уж он пьян и бунтует, посуду бьет.

Только скоро он догадался, что поле для деятельности его здесь слишком тесно. Стал гостей к себе из губернии выписывать и с ними всё знакомство водил и бражничал. Зашиб кого-то в пьяном виде, — ну, ничего, откупился. Однако и губернские гости скоро ему надоели; думал, думал, чем бы еще удивить свет, и пожелал он иметь у себя в доме особу. Хлопот тоже было не мало. Ездил, просил, наконец, приехала особа. По этому случаю торжество было устроено неимоверное, и сам он встретил особу на крыльце в турецком халате. Понимаете? Не знал уж, чем удивить. Фрак там, или почетный кафтан, это все плевое дело, и выдумал халат из турецкой шали. Потом там у него вышла скандальнейшая штука, вследствие которой он вдруг все бросил и ускакал неизвестно куда.

По этим двум описаниям вы легко можете себе представить, какого рода благодетели расточают на нас свои щедроты.

Но последний случай замечателен еще тем,

что такой соперник, как этот, мог быть действительно опасен, и бороться с ним было бы трудно. А потому и мер против него никаких не принималось. Уже по первым выходкам его легко можно было предвидеть, что он долго не нацарствует и сам себя уходит. Следовательно благоразумнее всего было просто выждать, пока он прогорит. Так оно и случилось. И в этом случае, что касается меня, то я не могу вам достаточно выразить того глубокого благоговения, которое я чувствую к этой удивительной проницательности и находчивости наших уездных дипломатов.

Но для полноты характеристики этого господина я вам расскажу одну из последних его выходок, которая собственно не относится к делу, но зато отлично рисует характер этого человека.

После одной какой-то оргии, ночью вздумал он жену свою колотить, а дочь его, отличнейшая девушка была, вступилась за мать. Он дочь-то взял, да и выгнал ночью на мороз, в одной сорочке. Не знаю, уж долго ли она там простояла, однако, простудилась и заболела горячкою. Он на другое утро опомнился и послал в Москву и в Петербург за докторами. Приехали доктора, горячку перехватили, но у девушки все-таки сделалась чахотка, и она умерла. Отец терзался и плакал, и, не зная чем загладить свое преступление, начал делать вклады, панихиды служил, но потом вдруг все это бросил и забыл.

¹ Здесь несомненно говорится о виновном откупщике Николае Кузьмиче Абабкове, который был известен

В это время мы проходили мимо одной церкви. Мой спутник предложил мне зайти с другой стороны и посмотреть одну очень курьезную эпитафию. У наружной стены этой церкви была чугунная дверь в подвал, а на ней золотыми буквами написано следующее:

«НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

Прохожий! помяни меня дядицу екатерину,
 Когда господь бог послал мне кончину,
 Мой прах юный здесь первым положен.
 О родитель мой, бесценный, тобой сей фамильный
 склеп сооружен.

Тобою сей святой храм благолешие обновлен,
 Тобою изаменя, он светлыми облаченьми снабжен,
 Тобою сей придельный храм во имя аковицкие
 учрежден,

Под коим богато убранный мой гроб стоит
 И перед ним неугасимый елей горит,
 А сердце мое присени говорит
 Благодарение тебе, о, родитель мой милый,
 За любовь твою ко мне: не будь же ты обо мне
 унылым:

Телу моему хорошо здесь,
 А душе на небесех.

своим самодурством. Его благотворительность всегда имела характер саморекламы. Когда в 1853 году выехали в поход из Осташкова две батареи 1 гренадерской дивизии, он поставил порции сивухи для бесплатного угощения солдат на всем четырехдневном пути батареи по Осташковскому уезду. Этот патристический подвиг был сочувственно отмечен в тогдашних газетах. Его зверский поступок с дочерью отнюдь не является «одной из последних его выходок», как утверждает Слепцов, так как его дочь умерла еще в 1854 году.

Но кто, столь Добрый твой Отец
Спросишь ты, прохожий, наконец,
Осташевский 1-й гильдии купец.
Николай Кузьмич, он Абабков,
Которого за святые храмы должен помнить Осташков.
1837 года Ноября 22 дня Я рождена,
А 1854 года Февраля 8 дня. Я здесь погребена,
После семнадцатилетния на свете моего жития».

ОТЪЕЗД

Вчера я еще раз был в театре. Мы последний раз прочли вместе пьесу и простились. При расставании я просил их написать свои имена на память в мою дорожную книжку, так что оно вышло даже слишком чувствительно.

Впрочем, они все такие славные люди, и мне пришлось пожалеть только, что я не познакомился с ними раньше.

Сегодня я уезжаю из Осташкова. В продолжение этого короткого срока я так усердно изучал город, что теперь мне кажется, будто я век прожил в нем и покидаю родину. Но расставаясь с ним, я покидаю его с таким же чувством, с каким кончаешь какой-нибудь долгий и тяжелый и долго неудававшийся труд, но который-таки кончился. И рад, и жаль расстаться. Сейчас был у Ф[окина]. Он даже удивился, что я уезжаю. И ему, должно быть, уже начало казаться мое пребывание здесь совершенно естественным. Но когда я объявил о своем отъезде, то вдруг как-то так вышло, что уж нам решительно стало не о чем говорить. Точно мы оба только что догадались, что мы люди друг другу совершенно чуждые, и та искусственная связь, которая завязалась было между нами, вдруг оборвалась. Странно что-то это вышло.

Когда я вернулся домой, то художник К[оло-
кольничко] в меня уж дожидался и сейчас же
стал хлопотать укладывать мои вещи. Я послал
за лошадьми. Все готово. Я уезжаю.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СОВРЕМЕННОГО»

по поводу «Писем об Осташкове»

Хотя мода на обличения и заявления видимо всем надоела, тем не менее необходимость принуждает меня прибегнуть к помощи типографского станка для приведения в ясность одного запутанного частного дела.

Я бы мог обнародовать письмо это и в другом издании, но здесь идет речь о деле, касающемся собственно читателей «Современника», которые могли бы и не прочесть моего письма, если бы оно явилось в какой-нибудь газете.

Да притом же дело это возникло из-за статьи, напечатанной в «Современнике». Заключается оно в следующем:

В майской книге «Современника» прошлого 1862 года была помещена статья моя под заглавием: «Письма об Осташкове». Первые три письма, напечатанные в ней, составляют только незначительную часть всех материалов, собранных мною для полной характеристики города Осташкова. Так как во время разработки тех материалов оказался недостаток в разных подробностях и мелочах, о которых я не слишком заботился вначале, то я и обратился к неко-

горым мне знакомым лицам, живущим в Осташкове, с просьбою доставить мне дополнительные сведения. Таким образом устроилась у меня с этими лицами корреспонденция.

Известия о моих знакомых и о причине моей переписки с ними не могут, разумеется, интересовать всех читателей «Современника»; несмотря на это, однако, я считаю необходимым вдаваться в эти подробности, потому что ими очень интересуются некоторые читатели. Написать к ним отдельные письма я не могу по причине их многочисленности, да к тому же я и не знаю, как их всех зовут; адресовать же соборное послание просто в город Осташков для прочтения его на площадях и базарах всем гражданам Осташкова скопом — тоже не совсем удобно, так как подобное послание может иметь вид некоторого воззвания.

Продолжаю.

В июне месяце того же 1862 года известился я через одного из корреспондентов моих, что майская книжка «Современника» в Осташкове — за прещена, и, хотя «Современник» выписывается постоянно городской публичной библиотекой, однако майской книги в чтении не имеется. По случаю последовавшего о ней запрещения, всеобщее любопытство возбуждилось еще более, так что знакомые мои просили меня выслать в Осташков новый экземпляр этой книжки.

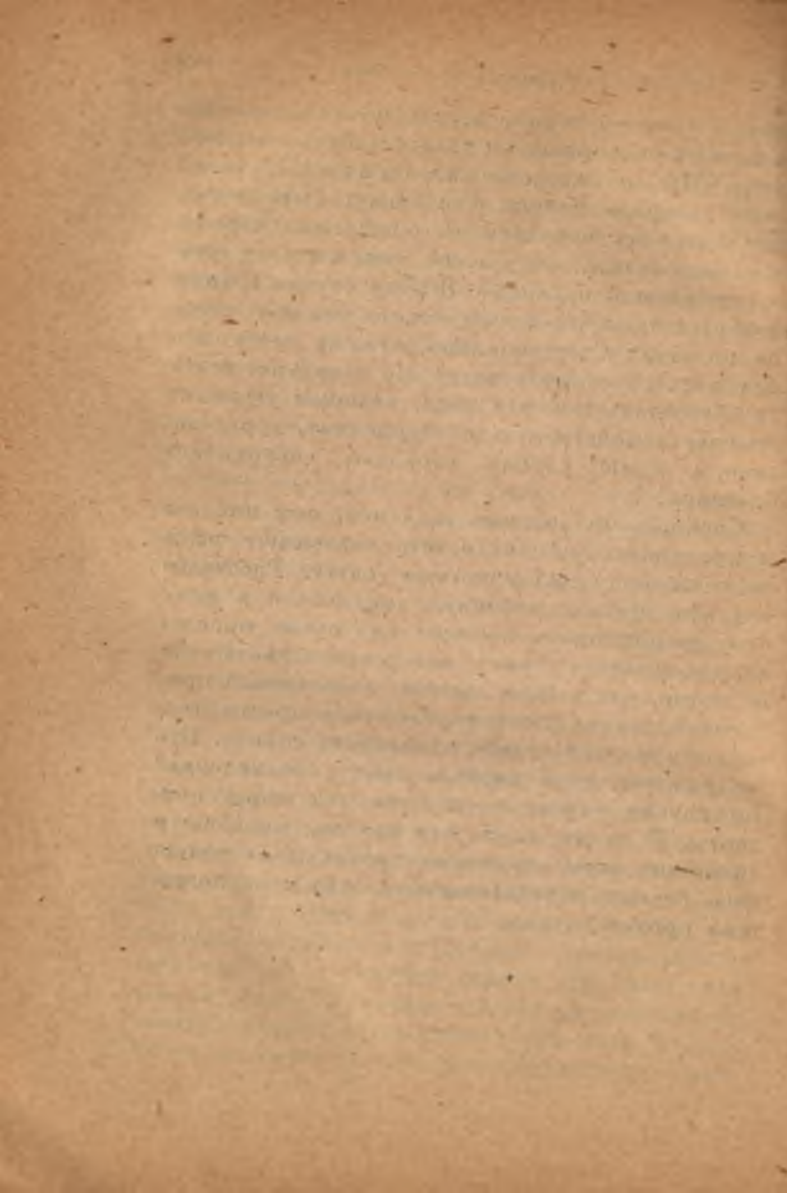
Вслед за этим дошли до меня слухи, что в Осташкове производится строжайшее исследование об открытии злонамеренных лиц, способствовавших моим разысканиям и давших мне

возможность ближе ознакомиться с некоторыми чертами осташковских нравов. Наконец явились I и II книжки «Современника» за 1863 год, в которых напечатано было продолжение «Писем об Осташкове». Вскоре после этого получил я известие, что злонамеренные лица открыты из этих «Писем» и что по наведении справок под рукою оказалось, что означенные лица действительно способствовали раскритикованию некоторых секретных свойств города Осташкова и его жителей, свойств, до сего времени составлявших, так сказать, городскую тайну.

Какие последовали по этому случаю распоряжения насчет «Современника», мне неизвестно. Что же касается моих злонамеренных корреспондентов, то я знаю, что против них приняты деятельные меры, имеющие целью лишить их на будущее время возможности выносить из избы сор. Меры эти пока заключаются в преследовании заподозренных в сношении со мною; но кроме того им угрожает опасность быть удаленными из городского общества «с очернением». Такой оборот дела многим может показаться невероятным, а угроза невозможной для исполнения. Однакож я убежден, что опасность, угрожающая многим осташковским знакомым, и возможна и вероятна. В бытность мою в Осташкове мне приходилось не раз слышать рассказы о подобных случаях, а каждый живший в уездном городе сам знает, как это делается. Удаление из города зависит от приговора членов городского общества, но кто же сомневается в том, что общественное мне-

ние в уездном городе всегда почти находится в полном распоряжении какого-нибудь сильного лица. Что же касается очернения, то об этом говорить нечего; что может быть легче, чем очернить человека, который меня чернит, или способствует очернению меня в глазах всей просвещенной публики? В этом случае границ изобретательности человеческого ума никто еще не полагал. Следовательно, кто же мне может в этом препятствовать? Но печальнее всего то обстоятельство, что лица, которым угрожает опасность подвергнуться остракизму, в рассказанном мною случае, страдают совершенно безвинно!

Сообщая мне разные сведения, они никогда и предвидеть не могли, что оказывают этим своему городу такую плохую услугу. Рассказывая мне всякую всячину, они имели в виду одну цель: помочь по мере сил своих прославлению родного города; они и представить себе не могли, что каждое лишнее славословие прибавляло только лишнее обвинение против тех, от кого зависит судьба их родного города. Кто же виноват, если картина выпала не красива? Во всяком случае не я и не мои корреспонденты. Я думаю даже, что все эти подкопы и домашние меры, принятые против моих знакомых, служат доказательством, что я не погрешил против истины.



ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Пять глав из неоконченного романа)

UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Роман «Хороший человек» был начат Слепцовым еще в 1867 году. Редактор «Отечественных записок» Некрасов, которому этот роман был обещан, возлагал на него большие надежды. Ему казалось, что «Хороший человек» будет таким же литературным событием, как и «Трудное время», напечатанное в его «Современнике» три года тому назад. Тема романа была злободневная: хождение кающегося дворянина в народ. Для «Отечественных записок» семидесятых годов то была самая жгучая тема. Предполагалось, что «Хороший человек» будет программным, партийным романом той наиболее влиятельной группы народников, которая объединилась вокруг обновленной редакции «Отечественных записок». К этой редакции Слепцов был тогда очень близок и положил ее программу в основу своего романа. Роман должен был служить воплощением боевой идеологии разночинной молодежи семидесятых годов, подобно тому, как «Трудное время» воплотило в себе боевую идеологию предыдущей эпохи. По замыслу Слепцова герой романа, кающийся дворянин Теребенев, который «дошел до края», «захирел, затосковал, законфузился» — будет возрожден и очищен соприкосновением с русским крестьянином и в конце концов уйдет в революцию для искупления своей классовой вины перед ним. Естественно, что редакция «Отечественных записок» ожидала этого романа с большим нетерпением. В переписке Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Слепцова можно найти

указания, что роман предполагалось печатать в первой половине 1868 года. Но работа над романом затянулась. В 1870 году Некрасов извещал Павла Анненкова, что Слепцов кончает «большой роман, которым он давно занят». Когда же наконец в 1871 году, после четырехлетней работы над этим романом, Слепцов поместил в февральской книжке «Отечественных записок» его первые главы, оказалось, что надежды, возлагавшиеся на него редакцией журнала, были напрасны: роман не имел никакого успеха, и критика заговорила о «печальном упадке» слепцовского дарования.

Причины неуспеха понятны. Сила Слепцова—в юморе, в беглых зарисовках и шаржах, в бойкой живости крестьянских диалогов, здесь же он пренебрег этой силой и ушел в чуждую ему область психологического мелочного анализа.

Весьма возможно, что дальнейшие главы, изображающие возвращение героя в деревню и его встречи с крестьянами дали Слепцову возможность использовать наиболее сильные стороны своего дарования, но этих дальнейших глав почему-то не появилось в печати. Роман оборвался на полуслове. Похоже, что обескураженный автор сам уничтожил его. Неудача так болезненно отозвалась на Слепцове, что он ушел из литературы совсем и до конца жизни ничего не печатал. А может быть в судьбе романа сыграла немалую роль и цензура. В архиве цензурного ведомства мне случайно попалось донесение цензора Лебедева о февральской книжке «Отечественных записок», и в этом донесении между прочим дан весьма неутешительный прогноз:

«В означенной книжке этого журнала, — доносит цензор, — обращает на себя внимание цензуры, вследствие их предосудительности, следующие статьи:

1. «Хороший человек», роман Слепцова (следует по-

дробное изложение его содержания)... Таковая завязка романа, по общему своему содержанию не представляет ничего противного цензурным постановлениям, но отдельные места, в которых помещены некоторые рассуждения героя романа, как о социальном положении современного общества, так и отзывы о России поражают своей резкостью и неблагонадежностью, заставляя предполагать в будущем развитии романа известную тенденциозность» и т. д.

Цензор оказался дальнозорким. «Будущее развитие романа» вполне оправдывало его опасения.

К. Ч.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

(Пять глав из неоконченного романа)

Часть первая

I

В начале июня 1861 года приехал в Петербург «неслужащий дворянин» Сергей Николаевич Теребенов. За три дня до этого он был еще в Гамбурге и не собирался в Россию; в Гамбург он прибыл из Женевы с тем, чтобы немедленно ехать в Америку, и вместо того очутился в Петербурге. Дел у него ни в России, ни в Европе, ни в Америке не было никаких, никто его никуда не звал, спешить ему было решительно некуда; следовательно, внезапное возвращение его на родину ничем другим объяснить было невозможно, как только разве какими-нибудь внутренними, особенно уважительными причинами. никому, кроме самого Теребенова, неизвестными. Причины эти, конечно, он имел. Впрочем, если б их и не было, то человека, подобного Теребенову такое незначительное обстоятельство стеснить не могло: он сам себя считал вполне независимым, всегда располагал собою как ему было угодно и никогда ничем не затруднялся. На этот раз, однако, у него была, в самом деле, уважительная причина вернуться

в Петербург: в Гамбурге с ним случилось одно неожиданное, хотя, впрочем, самое ничтожное происшествие, до такой степени ничтожное, что его даже не стоит называть происшествием, но которое, тем не менее, произвело на него сильное впечатление: оно вдруг дало новый оборот его мыслям и совершенно изменило все его планы.

Несколько дней тому назад он был еще в полном убеждении, что ему необходимо ехать в Америку и не только необходимо, а что просю больше ничего и делать не остается. «Или Америка, или . . . или опять-таки Америка и никаких тут и л и, никакого выбора нет и быть его не может». Ему казалось, что с Европой у него все счета кончены: он не нашел в ней того, чего искал, и пришел к тому заключению, что искать больше нечего. «Европа вся изъезжена и изучена вдоль и поперек, в Европе не осталось живого места, не осталось угла, где бы можно было преклонить голову с уверенностью, что этим самым не нарушается чье-нибудь право. Жить в Европе — это значит не уважать себя; жить в Европе — это все равно, что участвовать в какой-нибудь постыдной спекуляции, это значит волей-неволей затягиваться в игру, которой и конца не предвидится. В Европе порядочному человеку не следует оставаться ни одной минуты» . . . Одним словом, вопрос о Европе был поставлен круто.

По приезде в Гамбург — это было рано утром — Теребенев тотчас же отправился на пристань брать билет в Нью-Йорк; но контора была еще заперта, делать было нечего, он по-

шел бродить по набережной: ему не хотелось даже возвращаться в город, чтобы не отбиваться от берега. Всю дорогу от самой Женевы он волновался и спешил; он не мог дождаться минуты, когда приедет в Гамбург, так его и тянуло к морю; ему хотелось скорей увидеть воду, вздохнуть морским воздухом, ему хотелось скорее дойти до края. И наконец-то он дошел! Теперь он стоял, так сказать, на самом конце этого края! Здесь, на этом берегу, кончается старая жизнь; Европа осталась позади, тут уже море, а там впереди, за океаном, новый свет, новая жизнь...

«Скорей, скорей отсюда», — думал Теребенев, нетерпеливо прохаживаясь по набережной и жадно всматриваясь в морскую даль.

Но всю эту даль густо застилало туманом, который несло с востока; впереди только едва-едва можно было рассмотреть один огромных размеров пароход, стоявший на якоре; у самого берега дымился другой — поменьше; на пристани толпились какие-то люди. Теребенев подошел поближе — посмотреть, что там такое.

Было серое, холодное утро, в воздухе пахло гарью и морем; люди, толпившиеся на пристани, оказались переселенцами, которых в тот же день отправляли в Америку: их сажали на маленький пароход и отвозили на большой.

Гамбург — это одно из тех отверстий, через которые Европа ежегодно освобождается от лишнего бремени, выбрасывая в море людей, которых по ее расчету прокормить она не в си-

дах. С этой целью в Гамбурге, Любеке, Лондоне, Гулле и прочих больших приморских городах устроены агентства, которые занимаются отправкою желающих переселиться в Америку. Таким образом, Европа ежегодно лишается нескольких тысяч работников.

Теребенев очень хорошо знал все эти подробности и потому с величайшим вниманием стал рассматривать людей, толпившихся на пристани, тем более, что он видел в них своих будущих товарищей. Тут собрались люди всевозможных наций, впрочем, большею частью швабы; на берегу оставалось еще человек пятьдесят мужчин и женщин. Теребенева прежде всего поразило то, что почти все эти люди высокого роста, сильного сложения, с серьезными лицами, широкими спинами и здоровыми руками. Он почему-то всегда представлял себе переселенцев какими-то заморышами; ему казалось, что они должны быть такие жалкие. Теперь он сам удивился, что они оказались вовсе не такими, как он их себе представлял. Он даже с удовольствием заметил, что почти у всех выражение глаз было упрямое и жесткие волосы; у многих были крючком загнуты пальцы вроде когтей. И это ему очень понравилось. Зато багажу у них было немного: кое-кто с мешками, у остальных же ровно ничего; одни в ожидании очереди стояли у перил, засунув руки в карманы, закинув ногу за ногу и спокойно курили коротенькие глиняные трубки; другие лежали враспашку на земле, подложив руки под голову, и спокойно смотрели в небо, не обращая никакого внимания на то, что вокруг них хо-

лили, через них шагали, задевали их ногами. Они как будто и не замечали друг друга,—каждый был занят своими мыслями. Даже женщины не разговаривали между собою: собрав вокруг себя детей, они сидели отдельно на своих мешках; дети не шумели, не возились и тоже смотрели серьезно. На всех лицах, несмотря на разнообразие типов, видно было одно—спокойное сознание того, что что-то кончилось и кончилось навсегда. Да и вообще вся эта компания была похожа скорее на партию арестантов, которых отправляют в ссылку, нежели на пассажиров.

По мере того как Теребенев всматривался в то, что происходило на пристани, в голове его сами собой стали складываться совершенно новые соображения; ему показалось, что он вдруг понял то, чего не понимал до сих пор, о чем прежде даже и не думал. Во-первых, на него подействовала обстановка: утро, морской берег, разношерстная и безмолвная толпа переселенцев, поочередно уходящих с берега на паром, и, вместе с ним, исчезающих в тумане, а, главное, его поразила тишина и какая-то необыкновенная торжественность всей картины. И действительно, это был не простой отъезд: эти люди добровольно покидали родину навсегда и целыми семьями ехали искать хлеба и работы в другую часть света потому, что, в противном случае, им приходилось поневоле умирать с голода.

«А между тем, — думал Теребенев, — эти люди, эти что называется, самые настоящие работники, — крепкие, несокрушимые люди,

с детства привыкшие к постоянному тяжелому труду. Глядя на этих людей, можно наверное сказать, что каждый из них боролся до последней минуты, до последней капли крови, шаг за шагом отстаивал свое право на существование и только тогда, когда уже не оставалось ни малейшей надежды, когда в них убили всякую веру в справедливость европейского порядка, когда они совершенно ясно убедились в том, что за все терпение, за всю настойчивость, на их долю приходится все-таки ни больше, ни меньше как голодная смерть, — тогда, только тогда поняли они, наконец, что здесь, на этом берегу, им больше делать нечего. Теперь, в эту минуту, они нравственно умирали для Европы, но умирали так, как могут умирать только герои: без жалоб, без слез, без кривлянья, даже без публики».

Один человек, только один Теребенев был зрителем этой сцены, только он один видел и понимал, и удивлялся, как это просто делается. Они вот тут, на его глазах, один за другим уходили с берега; худощавые высокие женщины, с бледными детьми на руках, молча и не оглядываясь, шли за ними на пароход. Никто не плакал, никто ни с кем не прощался, потому что плакать было не о чем, прощаться было не с кем. Уходя отсюда, они уносили с собой все: и свое достоинство, и свое право на жизнь, которого в Европе за ними не признали. Все они как будто чувствовали, что здесь им нанесена такая страшная обида, которой ни один человек простить не может и после которой остается одно — уходить. И они уходили спо-

койно, с гордым сознанием того, что с своей стороны они сделали все, что могли и что правда осталась на их стороне...

Теребенев стоял у самого трапа и почти с благоговением смотрел, как они, один за другим, проходили мимо него на пароход. Теперь только понял он, что здесь, на этой пристани, он видит развязку той ужасной драмы, которая разыгрывается там, где-то — на фабриках, на чердаках, в подвалах, разыгрывается ежедневно и постоянно, круглый год. Он никогда не видал этой драмы, но он очень хорошо знал ее содержание: он знал, что драма основана на борьбе из-за куска хлеба и кончается тем, что кому-нибудь непременно приходится умереть с голода, или уйти со сцены. Здесь он видел, своими глазами, как уходят со сцены люди, которые не хотят умирать... «Вот, вот она, настоящая современная драма! — думал Теребенев. — Вот они, герои этой драмы! Теперь уж нет других героев, нет больше драмы, кроме этой, и герой этой драмы — работник».

До этой минуты Теребенев мог еще довольно спокойно стоять и оставаться зрителем того, что происходило на пристани; но тут он уже не выдержал. Это был не того сорта человек, он никогда не мог довольствоваться безучастным созерцанием жизни, его всегда тянуло туда, на сцену; и поэтому он всегда вмешивался во всякое дело, которое, по его мнению, требовало его вмешательства; а в настоящем случае это было необходимо; он нашел связь между переселенцами и самим собою и в их отъезде видел свое личное дело, к которому

нельзя же относиться безучастно. По поводу этого отъезда он вдруг вспомнил о тех страшных богатствах, о той безумной роскоши, которые ему приходилось видеть в больших городах Европы; вспомнил, что все эти богатства созданы руками вот этих самых людей и их же за это чуть не уморили с голоду. Они теперь уходят, а там остались другие, которые воспользовались их трудом и живут себе как ни в чем не бывало: им весело, они там смеются, разъезжают по балам, объясняются в любви друг другу; им и в голову не приходит, что они всем своим счастьем обязаны вот этим самым бездомным бродягам, у которых отняли все, даже родину, которые должны были продать себя каким-то аферистам и теперь едут чорт знает куда, искать пристанища и хлеба. Как только он себе это представил и сообразил все безобразие, всю вопиющую несправедливость этого дела, так в ту же минуту решил, что это страшная нелепость и что этого нельзя так оставить. Но только что он заторопился и стал думать поскорей, как ему следует поступить, как вдруг его поразила совершенно новая мысль: по поводу незаконного пользования чужим трудом он невольно подумал о самом себе: что если на то пошло, так ведь и он сам, Тербенев, тоже немножко замешан в этом деле, что и он отчасти пользовался чужим трудом; да и не отчасти, а пожалуй, что больше ничего и не делал, как только все пользовался и пользовался и никогда ничего никому не возвращал. Стало быть, во всяком случае, если даже с Европой у него счета и кончены, то у европейских

работников он все-таки в долгу. Это обстоятельство, которое прежде он как-то упустил из вида, ужасно смутило его: он вдруг почувствовал себя необыкновенно виноватым перед этими переселенцами, ему захотелось поскорее как-нибудь все это загладить, как-нибудь рассчитаться с ними. Только как же это сделать? Это невозможно. Но это нужно, это необходимо нужно и притом скорей, как можно скорей. «Что я буду делать?» — думал Теребенев, почти с отчаянием. И вдруг ему пришло в голову упасть перед ними на колена, просить у них прощения и умолять их, чтобы они не ехали, чтобы они остались. Вихрем завертелись у него в голове какие-то планы... Сейчас ему представилось, что можно что-то такое сделать, достать у кого-то денег, взять в России какую-то землю и поселить на ней этих переселенцев... Потом он вспомнил, что у него есть имение, сообразил, много ли там десятин и принялся считать, сколько человек осталось на пристани... Но тут же догадался, что все это пустяки, что ничего этого сделать нельзя потому, что это надо поскорей, сейчас, сию минуту... Он заторопился, заметался и стал рыться у себя в карманах; под руку ему попались деньги.

— А, деньги! хорошо! По крайней мере деньги им отдать, все, все, какие есть!..

Оказалось, что всех денег он с собою не взял: они остались в гостинице, в кармане была только мелочь. Он было хотел бежать в гостиницу, но подумал, что это далеко, извозчика ни одного нет, а пока пробегаешь в город, пароход может уйти; поэтому все-таки

лучше отдать им хоть что-нибудь. Все это он решил в одну секунду и сейчас же быстро подошел к первому попавшемуся переселенцу, который вел за руку мальчика лет семи, и начал, сбиваясь и путаясь в словах, объяснять ему по-немецки, что он понимает... что он вполне сочувствует их положению; что это такое положение, которое... одним словом, он желал бы с своей стороны облегчить... и т. д. Переселенец оказался работником из Швабии: он опустил на землю мешок, который был у него на спине, и стал слушать; в это время к ним подошла женщина, должно быть жена этого шваба, и тоже стала слушать. Теребенев опять заговорил еще скорее и еще торопливее, обращаясь попеременно то к швабу, то к женщине. Ему хотелось сказать, что он, Теребенев, тоже покидает Европу потому, что здесь больше делать нечего; что он на них смотрит как на говарищей и что теперь у них должно быть все общее; но на словах это у него как-то не выходило, тем более, что он говорил плохо по-немецки и поэтому старался заставить себя понять по крайней мере с помощью жестов: чтобы вышло понятнее, он одной рукой с неговодованием отмахивался от Европы, а другою показал сначала на свой карман, потом дотронулся до груди шваба, потом повертел пальцем в воздухе, т. е. это значит все общее; и наконец протянул руку к морю.

Шваб посмотрел на женщину, поджал губы, поднял глаза вверх и покачал головой; женщина посмотрела на шваба и тоже покачала головой. Они не понимали.

Теребенева вдруг осенила мысль: он проворно схватил мальчика за руку, разжал ему пальцы, положил деньги в руку и опять зажал их в горсть. Шваб спокойно нагнулся к сыну, посмотрел, что у него в руке, взял деньги и так же спокойно отдал их Теребеневу; потом, не торопясь, взвалил себе на плечи мешок и пошел на пароход.

Теребенев, в ту самую минуту, когда разжимал мальчику пальцы, уже чувствовал, что это как-то неловко, что по-настоящему этого не следует; но не успел во-время остановиться и потому, получив обратно свои деньги, сейчас же повернулся и почти бегом пустился от шваба. Все это случилось так быстро, что даже никто этого не успел заметить; но Теребеневу казалось, что теперь уж вся пристань смотрит на него, что с парохода видели, что все переселенцы вдруг заговорили на разных языках, показывают на него пальцами и смеются. Он шел все дальше, дальше, не оглядываясь и судорожно комкая в кармане эти проклятые деньги, которые так некстати подвернулись ему под руку. Целый час еще ходил он взад и вперед по набережной, пока всех переселенцев не перевезли на большой пароход; и только тогда вернулся на пристань, сел на какой-то ящик и задумался.

Он никак не мог успокоиться после случившегося с ним скандала и нарочно пришел опять на то же место, чтоб обдумать получше, как это так и почему это так случилось? Но сколько он ни думал, все-таки ничего утешительного для себя придумать не мог: даже напротив.

чем дальше, тем как-то выходило все хуже и хуже.

Прежде всего, он чувствовал себя оскорбленным, и притом оскорбленным по собственной глупости, что обиднее всего, конечно; и хотя он вполне оправдывал шваба, но самому-то ему от этого было нисколько не легче потому, что оскорбления он все-таки не мог не чувствовать и не думать о нем тоже не мог. Для того, чтобы хоть сколько-нибудь избавиться от неприятного чувства, он старался, по крайней мере, отнять по возможности у этого оскорбления личный характер и придать ему какое-то общечеловеческое значение.

— Ну да, они правы, — рассуждал он, сидя на ящике: — они имеют полное право плевать на все. Что они такое, собственно говоря — нищие, безграмотные нищие, бродяги; и, несмотря на то, все-таки смело могут плевать на всю Европу потому, что имеют на это право; они боролись, они вели отчаянную борьбу на жизнь и смерть, они голыми руками воевали с целым порядком вещей. Разве это шутка? Они честным трудом надеялись перевернуть всю эту машину. Это, конечно, с их стороны было очень глупо... Впрочем, и я тоже хорош — разлетелся со своею мелочью. Ну, и отлетел. Так мне и надо: вперед не суйся, куда не спрашивают; ступай в свое место... Гм! в свое место! Интересно знать, где это мое место.

Теребенев невольно улыбнулся и потрогал рукою ящик, на котором сидел. — Пожалуй, что и здесь не мое место. Кто-нибудь придет и сгонит. Лучше уйти.

Он встал и пошел вдоль берега.

— И зачем я это сделал? — продолжал он рассуждать, прохаживаясь по набережной. — Уж если он наплевал на все, то понятно, что и на мои два с полтиной он тоже должен наплевать потому, что я такое для него? кто я такой? — Я потребитель, т. е. один из тех, которые, так сказать, питались его потом и кровью, и вдруг этот потребитель подлетает к нему и говорит: «Вот тебе, братец, на чай! возьми, в дороге годится». Это за пот и за кровь-то, а?.. Нет, как он все-таки деликатно поступил: он только возвратил мне деньги и больше ничего. Даже не поблагодарил. Другой на его месте непременно поблагодарил бы, или плюнул бы в глаза; а он только возвратил и пошел. Преспокойно пошел себе на пароход, как ни в чем не бывало. Он даже меня как будто и не заметил: посмотрел только, что у мальчика в руке: брось, говорит, душенька, этого не нужно брать в руки. Бросил и пошел. Он не возвратил, а бросил, потому что это не нужно брать в руки. «Не нужно»... Какое противное слово! Что же нужно-то? Что же однако нужно? Вообще-то что я буду делать?..

На него напало раздумье. То, что еще недавно было так просто и ясно, теперь опять спуталось и опять стало неясно; опять явились вопросы, опять надо думать что делать, куда деваться. Отъезд в Америку был уже решен окончательно, вдруг явилось сомнение: действительно ли необходимо ехать, да и можно ли еще ехать-то? Теперь ему засел в голову во-

прос: имеет ли он право сходить со сцены, т. е. уехать? Ему казалось, что, не имея на это права, не следует решаться на такой поступок. Но, в сущности, все эти рассуждения о правах служили только отводом от главной мысли, до которой он боялся дотронуться: ему неприятно было окончательно убедиться в том, что он промахнулся, и эта мысль, точно заноза, сидела у него в мозгу и не давала ему покоя. Для того, чтобы не думать о ней, он принялся рассуждать о правах. Впрочем, и в этом занятии утешительного было немного.

По его же собственному мнению, уходить со сцены может только тот, кто, для достижения каких-нибудь целей, истощил в борьбе все свои силы и пришел к убеждению, что дальнейшая борьба бесполезна. Сейчас, разумеется, следовало спросить самого себя: какие были у меня цели, боролся ли я для достижения их и имею ли я убеждение, что я истощил в этой борьбе все свои силы? Такого убеждения Терebeneв не имел по той простой причине, что никогда ни с чем не боролся, своих сил в борьбе не истощал и единственная цель, к которой он стремился всю жизнь, состояла в том, чтобы найти готовое счастье, главное — найти и, притом, непременно готовое. Отсюда прямо следовал такой вывод: стало быть, сходить со сцены я права не имею.

Таким образом, вопрос «о праве» решался необыкновенно просто; но именно эта самая простота-то и не нравилась Терebeneву, потому, что она неизбежно приводила к такому выводу, который был совсем не в пользу его

самолюбия. А ему непременно нужно было, во что бы то ни стало, оправдать себя. Для этого он изобрел такую увертку: он начал самому себе доказывать, что если ему вадумается, то он все-таки может ехать потому, что имеет на это еще два права. Во-первых, он может это сделать «по праву страдания», а во-вторых — «по праву свободы», т. е. это значит, что если он сам лично и не боролся, то во всяком случае всегда сочувствовал борьбе и страдал в душе за побежденных; и наконец он, как человек разумно свободный, может располагать собою как ему угодно. Но приобретение этих новых прав не доставило ему большого удовольствия: он сам тут же почувствовал, что от этого ему пользы мало и сейчас же поспешил добровольно отказаться от них.

Наконец, самые размышления о приобретении и отчуждении различных прав стали до такой степени неприятны, что Теребенев готов был, пожалуй, даже совсем отказаться и от поездки в Америку, если бы только нашелся для этого какой-нибудь мало-мальски приличный предлог. По-настоящему, отыскивать предлог не было никакой надобности потому, что предлог у него был совсем готовый, но только опять-таки такой предлог, что стыдно сказать. Он состоял в том, что Америка, после истории со швабом, вдруг потеряла в глазах Теребенева по крайней мере пятьдесят процентов своей прежней цены. Сделав это открытие, он хотел было совсем больше об этом не думать: он чувствовал, что за этим первым открытием непременно скрывается другое, еще более обид-

ное открытие, но было уже поздно. Как он ни старался не думать, а сам все-таки думал и додумался-таки и до второго. Второе открытие состояло в том, что, собственно говоря, никакой Америки ему не нужно и никогда в ней нужды не было ни малейшей; нужна была только уверенность в том, что он может наплевать на Европу и уехать в Америку; а это ему нужно было для того, чтоб Европа была во всем виновата, а он был бы во всем прав; т. е. ему нужна была уверенность в самом себе, в своей силе. И до тех пор, пока у него была эта уверенность, он действительно чувствовал себя сильным и был счастлив. Поэтому и переселенцы ему так понравились: он видел в них людей, перед которыми Европа тоже кругом виновата, а они наплевали на нее и ушли потому, что не хотели больше с нею связываться, и этим доказали, что они сильные люди, герои. За это он к ним с первой же минуты почувствовал большое расположение; он ужасно полюбил их, ему захотелось идти за ними... а тут, как нарочно, эта дурацкая история со швабом. Шваб, перед которым Теребнев чуть не упал на колени, сразу утер ему нос и дал почувствовать, что гусь свинье не товарищ и что если он, шваб, может плевать на все, то из этого еще вовсе не следует, что и всякий может это делать. Одним словом, шваб необыкновенно ясно доказал Теребневу его слабость. Швабу, конечно, и в ум не могло притти, что он своим поступком в одну минуту лишил Теребнева не только спокойствия, но и Америки.

Впрочем, найти утраченное спокойствие

было еще возможно: для этого нужно было только найти новую точку опоры и поставить себе новую, какую-нибудь очень крупную цель — такую цель, которая по возможности была бы ничем не хуже Америки. Во всяком случае, задача предстояла не легкая: требовалось ни больше, ни меньше, как открыть новую Америку и, притом, главное — поскорее.

II

Положение, в котором теперь вдруг очутился Теребенев, действительно было безвыходное: куда деваться? Вернуться в Европу — нельзя потому, что с нею уж все счета окончены; ехать в Америку — тоже нельзя, потому что права не имеет. Но ведь нужно же куда-нибудь все-таки ехать; нельзя же, в самом деле, оставаться на берегу. Куда же, куда?

Теребенев вспомнил, что он всю эту ночь совсем не спал и, со вчерашнего дня, еще ничего не ел. Чтобы куда-нибудь деться пока, он пошел искать временного пристанища. трактир, что ли; но на набережной всё еще было заперто, так как все-таки было еще очень рано; только в одной харчевне, которая вместе с тем была и пивная лавочка, дверь была отперта. Теребенев вошел туда, поместился у окна и спросил пива. Немка, с круглыми, лоснящимися щеками, в короткой юбке и коротком фартучке, поставила перед ним кружку портгера. За другим столом сидели английские матросы в холщевых куртках и вязаных шерстяных шапочках; они тоже пили пиво и играли

в шашки. Один старый матрос, с рыжею опушкою вокруг всего лица, очень похожий на старую обезьяну, стоял у стола. Заломив на затылок свою шапочку, засунув руки в карманы и покуривая огрызок сигары, он покачивался из стороны в сторону и очень внимательно следил за игрой. Никто Теребенева не заметил, и он ни на кого не обратил внимания: он весь был занят своими мыслями.

Из окна был виден тот же берег; пароход, стоявший на якоре, готовился в путь и уж начал разводить пары. Теребнев выпил залпом кружку портера, облокотился на стол и задумался. Ему не хотелось смотреть в окно, а он все-таки смотрел и не мог отвести глаз от парохода. Теперь он ненавидел его, это был для него какой-то неприятельский пароход, от которого можно ожидать бог знает чего, чего — неизвестно, но, во всяком случае, ничего хорошего ожидать нельзя.

— Ну, и уходи поскорей, — ворчал Теребнев. — По крайней мере, с глаз долой.

Чтобы не глядеть, он отворачивался от окна и начинал рассматривать немку: заметил, какие у нее толстые ноги и совсем невинное, ничего не думающее, немецкое лицо.

— Вот ей никуда не надо ехать, — думал он, глядя на немку. — Она этого, я думаю, и не понимает даже: живет на пристани, а сама никуда шагу не сделает. Хотя бы куда-нибудь съездила. Какая она, должно быть, дура! А этот все еще здесь торчит, все еще не ушел...»

Пароход все еще стоял на месте!

— Schöne!.. как вас? Fräulein! Дайте-ка, bitte, noch ¹ этой бурды.

Немка подала еще кружку; Теребенев хлебнул, закурил папироску и опять задумался; и, в задумчивости, выпил всю кружку. В комнате наступила тишина: матросы углубились в игру; немка, сложив руки на животе, неподвижно сидела за прилавком и задремала; потом вдруг очнулась, встала и подошла к Теребенову взять пустую кружку. Он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением.

— Вам что нужно? Was wollen Sie? ²

Она спросила, не желает ли он еще портеру.

— Портеру? Nein. Ну его к чорту, а вот что... знаете хорошо бы теперь... Как это называется? Wie heist es?.. ³ водка? Водки бы теперь! Как это называется?..

Он забыл, как по-немецки водка.

— Kognak, — подсказала немка.

— Ну, вот, вот: коньяк, коньяк. Именно. Это самое. Давайте его сюда.

Теребенев был человек совсем непьющий и потому от двух кружек портера на тощий желудок и притом после бессонной ночи у него немного зашумело в голове. Но это случилось так неожиданно, что он и сам почти не заметил, как захмелел: сидел, сидел, думал, думал и вдруг ему показалось, что стул под ним немножко покачнулся; он поднял голову: немка, с пустой кружкой, стоит перед ним и смотрит; а в комнате стало как-то светло и потолок как

¹ Прекрасная... барышня... пожалуйста... еще...

² Что вам нужно?

³ Как это называется?

будто поднимается выше и выше... Теребенев увидал, что немка хочет унести кружку, и у него сейчас же явилось нестерпимое желание пить еще и еще как можно больше.

Немка подала бутылку и рюмку; он взял у ней из рук водку.

— Это что такое — коньяк? Прекрасно. Выпить мы выпьем, но это не главное. Главное... Да не хотите ли и вы тоже ein Schnaps? Nein? ¹ Ну, как угодно. Главное я вам скажу, главное то — что я хочу говорить. Ich will sprechen. Понимаете? И притом, sprechen russisch, непременно russisch ². Слышите? Во-первых, я терпеть не могу говорить по-немецки, говорю скверно, и всегда он был мне противен, этот язык; а во-вторых, я хочу говорить скоро, громко, очень громко, так, чтобы все слышали, что я могу громко говорить; а если вы и не поймете, так это еще важность не большая. Главное, чтоб говорить. Понимаете вы, что я полгода не говорил, полгода! То есть я говорил, если хотите, только это разве называется говорить? А вот теперь мы еще выпьем и тогда мы поговорим. По-го-во-рим. Сядьте здесь! Setzen Sie sich! ³ Не хотите? Ну как угодно. А впрочем, вам действительно не следует садиться, когда я здесь сижу. Я здесь сижу! Как это странно, однако! Я здесь, в кабаке, в вольном городе Гамбурге! Что за чушь такая? За чем я сюда попал? Зачем? Я вас спрашиваю.

¹ Выпить? Нет?

² Я хочу говорить, говорить по-русски, непременно по-русски.

³ Сядьте!

И этого тоже не нужно: да и вообще во всем, что здесь происходит, не было ни малейшей надобности, понимаете? ни ма-лейшей. Это просто не-нуж-но... es ist nicht nötig.¹ Так, кажется, это по-немецки? Господи, что же это такое? а? Нет, я кажется, в самом деле, начинаю пьянеть. И этого не нужно... А, впрочем, черт вас возьми совсем, да почему ж однако?... Очень мне нужно, что вам не нужно! Плевать я хотел. Ну вас к черту, да с Америкой-то совсем. Послушайте, прелестная!.. schöne Mädchen,² есть у вас... как это? Ну, да все равно, давайте коньяк, noch ein Schnaps.³ Давайте скорей! А эти господа, что же они не пьют? Господа! Messieurs! Herrschaften...⁴ Да, ведь они англичане! Милорды, пожалуйста сюда!

Один милорд в это время, стоя среди комнаты, закуривал свой окуроч и, загнув голову набок, давно уже косился на Теребенева. Теребнев попросил его садиться; тот кивнул головой и сел.

— Прошу покорно,—говорил Теребнев, подвигаясь со своим стулом. — Не угодно ли портю? А прочие что ж? Милорды, прошу вас, не откажите мне в удовольствии!

Остальные посмотрели, посмотрели и тоже уселись за стол.

— Schönes Mädchen, scharmante Gretchen,

¹ Это не нужно!

² Прекрасная девушка!

³ Еще рюмку!

⁴ Господа.

bitte noch vier Schoppen!¹ Вы извините меня, господа, — говорил Теребенев, кланяясь: — я не умею говорить по-английски; но я полагаю, вы от этого не много потеряете. Ведь вы это можете понимать? Не правда ли? — Он указал на кружки. — Ну, вот и чудесно! Больше ничего и не требуется. Выпьемте, благородные лорды! Есть у меня... — Он вынул несколько серебряных монет и положил их на стол. — Есть у меня такая презренная мелочь, которую никто не берет. — Вот я и хочу попробовать ее пропить — что будет? а? как вы думаете, милорды? ваше здоровье!

Он взял рюмку и стал с ними чокаяться. Матросы самым серьезным образом протянули ему кружки, приподняли при этом шапочки и слегка кивнули головой.

— Ну, вот, — говорил Теребенев, отхлебнув. — Ну, вот, теперь мы и поговорим. Прежде всего я вам должен объявить, господа, что я — русский. Russ. Понимаете?

Он указал на себя пальцем. Матросы опять кивнули в знак того, что они поняли.

— Ну да, русский, пьяный русский. Теперь я сам вижу, что я пьян, а по-английски все-таки говорить не могу. Уж вы меня извините. Что делать! и очень бы желал, да не могу. Хотя и пьян, а все-таки не могу. Да, милостивые государи, я пьян, первый раз в жизни, замечьте: первый раз! И, знаете ли, я вам скажу, я теперь только понял, вот сию минуту понял, что

¹ Прекрасная девушка, прелестная Гретхен, пожайлуйста, еще четыре кружки.

собственно говоря, несмотря на то, что я никогда прежде капли в рот не брал, я, собственно говоря, был горчайшим пьяницей! Горчайший! понимаете? Я это теперь понимаю. Да, это так: пьяница, запивоха, пропащий человек! Это ясно. И еще мне ясно, — говорил Теребенев, растягивая слова и как будто вдумываясь, — теперь еще мне ясно вот что: что, собственно говоря, все мы, русские, все пьяницы, — все, все, все, все до единого! Все мы — горькие, несчастные, с кругу спившиеся пьянчужки! Только пьем-то мы не так, как все пьют, не по-людски. Вы ведь тоже, господа милорды, вы ведь тоже употребляете, грешным делом, только это совсем не то: вы вот там запираете двери и пьете во здравие Мери¹, пьете вы портер, или эту самую уиску — бог вас знает — и все это у вас ничего, благородно; а мы не так. Вы знаете ли, что русский без вина пьян живет? Вот так молодец! Без вина, одним воздухом: вот сейчас понюхал и готов. Жизнью своей упивается: жизнь у него такая пьяная; и ветром его с ног валит. А когда мы, в самом деле, нарежемся водки, ну тогда . . . тогда чорт знает что делается: тогда мы все начинаем орать, хохотать, проклинать и себя, и людей, и водку, и жизнь свою треклятую, анафемскую жизнь . . . чтоб ей провалиться за то, что она погубила, погубила нас, погубила! Так мы и пропадаем ни за грош. Вы понимаете, что я говорю? и е с? Ну, да. Вы знаете, что я рус-

¹ Из Пушкина: Тихо запер я двери,
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

ский, что я говорю, говорю что-то такое несообразное. Чего же больше? Вы видите перед собой человека, который открывает вам свою душу, и вы это чувствуете потому, что вы люди простые работники, вы честные люди; вы всё понимаете всё! Не правда ли? Дайте мне ваши руки, милорды! Выпьемте еще! Что ты так смотришь на меня, друг мой Джон! Ну, да все равно, я хочу, чтоб ты был Джон! вот и все. Что ты так смотришь на меня? Ты думаешь, милейший, что я хватил через край? Нет, душа моя, я только еще все брожу по краешку. Видишь ты, вот как эта муха бродит по краям моей рюмки. Она прилетела, сунулась было туда, попробовала лапкой и видит, что там мокро, и назад. Как ей быть? Кинуться туда, очертя голову, в эту мокроту — страшно; и назад улететь ни с чем тоже не хочется, потому — совестно. Вот она и бродит по краешку, она думает: нет ли тут такого спуска, чтобы можно было, не намочивши лап, напиться? Только нет, это все напрасно: никакого спуска нет и быть не может. Глупая муха, она этого не понимает. Нет, она не мупая, она поняла. Видишь, она остановилась. Джон, смотри! Смотрите все, смотрите!

Матросы подвинулись поближе и нагнулись к рюмке. Это их стало занимать.

— Видите, — говорил Теребенев, показывая пальцем на муху, — видите, она остановилась и думает теперь: «быть иль не быть?» To be or not to be?¹

¹ Из Гамлета: «Быть иль не быть?»

Матросы, при звуках родного языка, взглянули на Теребенева и весело ощерились.

— Ага! Вот вы теперь поняли, что думает муха. А может быть она и в самом деле английская муха: она может быть, с вами вместе приехала сюда на пароходе. Посмотрим, что она сделает, однако, эта английская муха; посмо... Улетела! Ну да, она сподличала: она сообразила, что не стоит рисковать; она рассудила, что и кроме этой рюмки на свете много еще тарелок с вареньем, горшков с молоком; может быть, где-нибудь сахар рассыпан... Мало ли что. Она разочла, что не стоит. Ну, и чорт с ней. Но представьте себе, милорды, — вдруг заговорил Теребнев, складывая на груди руки и выпрямляясь на стуле: — представьте, что если бы эта муха думала о себе, что она самая несчастная, всеми отверженная и всех отвергнувшая муха и если бы она притом была убеждена, что кроме этой рюмки на ее долю не осталось в этом мире ничего, то, как вы думаете, рискнула бы она или нет?.. Вы понимаете, что я говорю? Впрочем, нет, вы этого не понимаете: только я один здесь это понимаю, потому что я сейчас, своей собственной персоной был там! — Он указал на море. — Я стоял вон там над этой большой рюмкой и думал то, что могла бы думать эта подлая муха, если бы она была в таком же положении как я.

Матросы очень внимательно следили за тем, как Теребнев показывал на муху, потом на себя и потом на море. Они в самом деле как будто стали понимать его.

— Да, я хотел рискнуть, — продолжал он тем же торжественным тоном и притом все более и более воодушевляясь. — Я всегда рисковал, но тут я хотел рискнуть в последний раз: я думал, что здесь для меня все кончено и что теперь осталось одно, только еще одно место, куда я могу уехать. Если я и там не найду счастья, тогда... куда же я тогда поеду? а? Ведь больше некуда. Не правда ли? Что же там остается? Ведь ничего не остается; буквально — ничего! Что же я тогда буду делать? Что я буду делать, я вас спрашиваю? Вы не знаете? Ну да; я знаю, что вы этого не можете знать.

Теребенев опустил голову на руки и задумался; матросы молча смотрели на него, немка стояла тут же у стола с пустою кружкою в руках и тоже с напряженным вниманием слушала.

— А я знаю, что я сделаю, — вдруг сказал он, поднимая голову и окидывая взглядом всю эту публику. — Теперь я знаю.

Он встал и начал ходить из угла в угол. Матросы следили за ним глазами. Он прошелся несколько раз, потер себе лоб, подошел к окну и поманил их к себе.

— Смотрите, — сказал он, указывая на море. — Видите вы этот дым? Вы знаете, какой это дым? Это дым моей родины, это русский дым. Там теперь горят леса и народ умирает с голода. Мой народ, да. Он умирает с голода ничем не хуже ваших ирландцев, или этих паршивых швабов; даже еще может быть почище, потому что они от голода бегут в Аме-

рику, а мой народ сидит на месте: он умирает и молчит. Поняли вы это? — Молчит!.. Вот ведь главное-то что: что ведь молчит он, чорт его возьми совсем! Молча умирает! Он это умеет делать... А я вот не умею: я вот все разговариваю. Да. Поэтому мне в Америку ехать нельзя, прежде надо выучиться молчать. Вот я и поеду туда учиться. Домой. Пора домой! А теперь прощайте, господа! Благодарю вас за компанию.

Он встал, пожал матросам руки, положил на стол всю свою мелочь и, пошатываясь, вышел вон.

В 8 часов вечера Теребнев уже сидел в вагоне.

Он решил вернуться в Россию.

III

Теребневу было 28 лет. Впрочем, это обстоятельство для характеристики его собственно не имеет большого значения: Теребнев принадлежал к разряду людей, на проступки которых возраст, повидимому, не оказывает почти никакого влияния. У Теребнева всегда была одна цель и образ действия всегда был один и тот же. Сначала он искал счастья, впоследствии он стал искать дела; но как счастье, так и дело всегда представлялось ему готовым, требовалось его только найти. Таким образом вся жизненная деятельность его состояла в непрерывном искании чего-то такого, на что он, по его мнению, имел полное право. Это понятие о праве на готовое счастье сложилось

в нем исторически. Как только он себя помнил, ему никогда не приходилось, да и надобности никакой не было бороться и добывать что бы то ни было с бою: все, что ему было нужно, всегда было уже заранее кем-то приготовлено. Кто этим занимался, кто приготавливал, — об этом ему никогда и в голову не приходило. Он всегда, чуть не с самого рождения своего, знал только одно: брать то, что ему было нужно. Для этого не требовалось с его стороны больших усилий: стоило только заплакать, или попросить, или, наконец, просто отнять. Когда потребности его увеличились настолько, что одними домашними средствами удовлетворить их было уже невозможно, тогда он узнал, что за нужными вещами можно послать и, наконец, в крайнем случае, съездить самому. Прежде можно было близко находить нужные вещи, а потом надо было ездить за ними все дальше и дальше. Но, как бы то ни было, Теребенев всегда был в полном убеждении, что все нужные ему вещи давно готовы и что для получения их следует только узнать, где они лежат и взять. Как взять — за деньги или даром, это все равно, потому что деньги ведь тоже готовы; стало быть остается только одну готовую вещь променять на другую, готовую же. Благодаря такому счастливому положению, он никогда не знал настоящей цены вещам и ценил их только по тому — очень ли хочется иметь такую-то вещь, или не очень. Если очень, значит — она дорога; если не очень, значит — дешева; если же вовсе не нужна, значит — она ничего и не стоит. Как он привык ценить вещи, точно

так же привык ценить и людей: кто доставлял больше удовольствия, тот был для него самым лучшим человеком. Приятные вещи, приятные люди, приятные ощущения: к ним он всегда стремился всеми силами, их он искал, для них, не задумываясь ни на минуту, жертвовал всем.

Теребенин был барченком: он никогда не мог сделаться даже барином и так и остался барченком на всю жизнь. Отец его был барин, только тоже не настоящий: он больше притворялся барином; в сущности, он умел только курить трубку, да еще кричать: «пшол вон, дуррак!», любил ездить к обедне и пороть мужиков, но в то же время был до такой степени беспомощный человек, что даже не мог сам себе налить стакана чаю. Один раз он уселся за самовар и отвернул кран, а завернуть и не умеет; упустил самовар, обжегся, раскричался, рассердился и с тех пор стал бояться самоваров. В молодости он служил в уланах, потом женился и зажил в деревне. Жена его была женщина мечтательная и разочарованная: она ошиблась в муже и никогда не могла примириться со своим положением, хотя в то же время не делала ни малейшей попытки выйти из него. У ней было какое-то смутное представление о каком-то счастье, которого, впрочем, она не искала, а только ждала, что оно придет само собою. Самое пришествие представлялось ей таким образом, что вот-вот вдруг кто-то придет, освободит ее и тогда . . . впрочем, что тогда будет, она никак не могла дать себе ясного ответа; она знала только, что этот освободитель должен быть во всех отношениях отличнейший

человек и что только он один может дать ей то счастье, которого она сама получить не может. Понятие о счастье, как и у всех недовольных, было у ней чисто отрицательное; обыкновенно она рассуждала вроде того, что:

— Господи, какое бы это было счастье, если бы ничего этого не было!..

Но все оставалось попрежнему, счастье не приходило, а между тем—родился Сережа. Это обстоятельство внесло очень важную перемену в ее жизнь: оно указало ей цель, побудило к деятельности и самое понятие о счастье сразу превратилось из отрицательного в положительное, Сережа сделался ее освободителем: он вывел ее из того нравственного плена, в котором она пребывала всю жизнь. Но зато самому же Сереже всю свою жизнь пришлось расплачиваться за это освобождение. Многолетний плен оставил на его матери такие следы, которые не только не могли уже изгладиться никогда и отозвались на воспитании сына, но даже, посредством этого самого воспитания, перешли ему по наследству в потомственное владение. Получив неожиданное счастье, она, разумеется, как всякая освобожденная раба, ничего путного сделать не могла и пользоваться им не сумела. У ней сейчас же явилось желание спрятать куда-нибудь, зарыть свое счастье, чтобы кто-нибудь не отнял; но так как зарыть живого человека — дело очень хлопотливое и даже отчасти уголовное, то она принялась систематически зарывать его нравственно: она окружила его такими попечениями, такую страшную любовь, которых здоровый человек долто выно-

сать не может. Таким образом, для того, чтоб освободиться самой, ей необходимо было поработить другого. Иначе свободы она не понимала.

Сережа долго не признавал своего положения, но скоро почувствовал желание избавиться от забот своей матери. Сначала он по-детски, грубо пользовался всеми своими правами и преимуществами: он эксплуатировал мать сколько было возможно; но как только он почувствовал над собой систему и убедился в том, что эта система доставляет ему гораздо больше страдания, нежели наслаждений, так сейчас же начал делать попытки к освобождению. Но бороться с материнскою любовью оказалось ему не под силу, он был еще мальчик, а она все-таки успела уж приобрести некоторую опытность в этом деле. Кончилось тем, что Сережа не выдержал и бежал. Это было его первое бегство от худшего к лучшему, первая погоня за счастьем.

Но именно потому, что это бегство было первое, оно, разумеется, не могло обойтись без посторонней помощи: Сереже, так же как его матери, для освобождения понадобился тоже во всех отношениях отличнейший человек, который бы вдруг пришел и освободил его. Этот человек не заставил себя долго дожидаться.

Сереже было пятнадцать лет. В то время он был очень впечатлительный, увлекающийся и счень неглупый мальчик; но его держали в деревне и продолжали воспитывать как девочку; он сопротивлялся и рвался на волю. Он не мог себе дать отчета в том, что ему нужно; он чув-

ствовал только над собой какую-то неосязаемую тяжесть, ему было скучно и он уже начинал ненавидеть мать. Отца он презирал давно, за его ничтожество. Он всегда презирал слабых людей, сильных же — или ненавидел или обожал, смотря по тому, что они доставляли ему: страдание или наслаждение. Читал он всякую всячину и читал давно, чуть не с пяти лет; фантазия у него, вследствие чтения, развилась непомерно и все душевные силы уходили в нее. Ему всегда хотелось быть очень сильным; сначала он мечтал о том, чтобы сделаться разбойником или акробатом; потом ему хотелось быть генералом; наконец, он пожелал сделаться ужасно умным и ученым человеком. Но все эти фантазии всегда имели у него одну цель и всегда сводились к одному желанию — освободиться от матери и уйти. Куда уйти — этого он еще пока представить себе не мог; но, несмотря на то, он всегда был твердо убежден, что есть там где-то такое место, совершенно не похожее на деревню, куда можно уйти; матери там не будет, и он там будет жить один, будет делать, что захочет, и все его там будут любить, будут удивляться его силе, его красоте, его уму... и вообще там будет отлично. Целые ночи проводил он в мечтаниях об этом прекрасном месте, куда можно уйти, рылся в книгах, расспрашивал кого только мог, но решительно никто не в состоянии был сообщить ему надлежащих сведений об этом месте, никто не мог наверное сказать, где именно оно находится. Наконец, нашелся таки человек, который не только слышал, но и сам был в этом месте и даже прямо оттуда при-

ехал. Теперь Сережа уже наверное знал, что есть такое место, и называется оно — Москва.

Незадолго перед этим приехал в свое имение, по соседству с Теребеновыми, молодой человек, Павел Петрович Хомяков. Приехал он из Москвы. Что он там делал—никто ничего не знал; знали только, что ему досталось после дяди двести душ в Б-ом уезде; кроме того, знали, что он необыкновенно умен, очень мил, остроумен, очень нравится всем, не только дамам, но и мужчинам, умеет отлично говорить; одним словом, того, что знали о Хомякове, было слишком достаточно; никому и в голову не приходило разузнавать его прошлое, или справляться о его целях. Уж этого одного было довольно, что он как-то вдруг всем понравился. До него в уезде скука была страшная, все друг другу надоело до-смерти, интересов никаких, никаких развлечений: хозяйство да дети, да сплетни, которым уж никто не верит, — вот и все. Вдруг сваливается с неба человек совершенно новый, совсем особенный человек и притом молодой, красивый, занимательный, всем весело улыбается и начинает говорить. Весь уезд раззевает рот. Как он говорит! Но он не только говорит: он собирает вокруг себя людей, начинает суетиться, он что-то такое делает, всех толкает, приводит в движение и все тоже начинают почему-то суетиться и куда-то спешить, как будто и в самом деле нужно сделать что-то такое поскорей. Никто ничего не знает, для чего это собственно нужно, но все суетятся и всем становится весело, все этому очень рады. Хомяков едет

в губернский город и находит нужным сделать визит губернатору. Все об этом знают и ужасно боятся за Хомякова, потому что губернатор известный грубиян, а Хомяков верно не позволит наступить себе на ногу; может еще выйти какая-нибудь история. Действительно, выходит история: Хомяков приезжает рано утром и велит о себе доложить. Губернатор приказывает сказать, что он бреется. Хомяков стоит в другой комнате, слышит этот ответ и говорит громко чиновнику:

— Скажите губернатору, что это ничего: он может бриться, а я буду с ним говорить.

Губернатор слышит это и кричит:

— Скажи, что я бреюсь.

— Уж это я слышал! — кричит из другой комнаты Хомяков.

— Я вам говорю, что я бреюсь! — еще громче кричит губернатор.

— А я вам говорю, что уж это я слышал! — еще громче кричит Хомяков.

— Жандарм! Вывести его! — кричит, не помня себя, губернатор.

— Кого это? Меня?

Губернатор, в ярости, с намыленной щекой и с бритвой в руке выбегает в приемную.

— Что вам нужно?

— Видеть губернатора.

— Я — губернатор.

— Не может быть.

— Я вам говорю, что я — губернатор.

— Не может быть.

— Как не может быть?

— Никогда я не поверю, чтобы начальник

губернии позволял себе принимать таким образом дворянина.

— Вы — дворянин?

— Да, дворянин.

— Я сам дворянин. Что же вам угодно?

— Мне больше ничего не угодно. Прощайте.

Губернатор одумался:

— Позвольте, погодите...

Хомяков остановился.

— Ну, извините меня!

— Извиняю.

— Прошу покорно.

Губернатор пригласил его к себе в кабинет. Чем кончилось объяснение — неизвестно, но губернатор на другой же день отдал Хомякову визит, потом катался с ним в коляске по городу и гулял под руку по бульвару. Об этом заговорили сначала в городе, а потом узнала и вся губерния. Все кричали о находчивости Хомякова, о его дружбе с губернатором; рассказывали даже, что губернатор предлагал Хомякову место чиновника по особым поручениям, но он отказался и опять вернулся в деревню. Эта история еще больше возвысила его во мнении уездного общества. Тут же кстати подошли выборы; Хомякову предложили баллотироваться в судьи; по этому поводу он сказал в собрании блестящую речь и вызвал аплодисменты; затем его выбрали, качали на руках, целовали, всего облили шампанским и, наконец, мокрого, пьяного и счастливого привезли домой.

На судейском поприще Хомяков тоже показал себя: он поднял уездный суд на ноги, все там стал чистить, выгонять чиновников, новую

мебель завел; поселился в городе, велел для себя переделать дом; в то же время как-то необыкновенно остроумно решил одно дело, которое несколько лет валялось в суде и не двигалось с места, потому что никто его не понимал.

Знакомство у него завелось громадное: все к нему ехали, кто за делом, кто без всякого дела, кто наконец просто так, поглядеть на него, что за Хомяков за такой. Все его тащили к себе, давали ему обеды, спрашивали его советов... И он не отказывался; он даже сам как будто напрашивался и ввязывался во всевозможные дела: мешался в деятельность предводителя, мирил тяжущихся, распекал опеку, рассылал разные приказания, писал губернатору записки,—одним словом, командовал в уезде как ему было угодно, не обращая никакого внимания на то, законно ли это, имеет ли он на это право, или нет. И не только никто ему не противоречил; напротив, все как-то были ужасно рады, что вот нашелся человек, который что-то такое приказывает и все его слушают.

Хомяков, собственно говоря, ровно ничего не делал, у него не было никакого плана, он ни к чему не стремился, он только производил движение: он просто, что называется, кутил и мутил и это ему доставляло удовольствие. До приезда в Б-ий уезд он и не предчувствовал, какую роль ему придется играть; и вдруг как-то так это само собой все устроилось; все почему-то в него уверовали, сами его возвеличили, посадили его себе на шею и вручили ему власть над собой. Он и воспользовался ею немедленно,

нисколько не рассуждая о том, почему это так случилось и что из этого выйдет.

В числе поклонников Хомякова был, разумеется, и впечатлительный юноша, Сережа Тербенев. Сережа вообще был склонен к обожанию силы во всех ее видах, а здесь он видел перед собой эту силу в такой обаятельной и красивой форме, что противиться ей было невозможно. Он один раз слышал, как Хомяков говорил где-то на вечере, и этого было совершенно достаточно. В тот же вечер Сережа подошел к Хомякову и, захлебываясь от волнения, сказал ему:

— Скажите мне, что я должен делать?

Хомяков очень пристально посмотрел на него, улыбнулся и спросил, почему Сережа счел нужным обратиться именно к нему с таким вопросом.

— А потому... потому, что вы хороший человек.

— Гм! — Хомяков опять улыбнулся, подумал, взял Сережу под руку и пошел ходить с ним по зале.

— Так вы хотите быть хорошим человеком?

— Да, хочу; я хочу быть таким, как вы, — говорил Сережа, задыхаясь от счастья, что Хомяков с ним разговаривает.

Хомяков расспросил его о том, что он читал, и посоветовал ему ехать в Москву, поступить в университет. Как ни стыдно было Сереже, но он все-таки должен был признаться, что его не отпустят в Москву. Хомяков взялся об этом хлопотать и тут же, на этом же вечере, добился

того, что мать Сережи согласилась-таки отправить сына в университет. Хомяков самым неопровержимым образом доказал ей, что это необходимо для ее же собственного счастья и при этом очень расхвалил ее сына. Она расчувствовалась, расплакалась, благодарила Хомякова. С этой минуты и в ней тоже совершился какой-то переворот: она вдруг как-то ослабла, она почувствовала в Хомякове человека, который может отнять у ней сына; она поняла, что теперь уже не в силах она удержать его и — покорилась.

Сережа поехал в Москву и с этого времени начинается для него деятельность, которую вернее всего можно назвать хождением по пустым местам.

В университет он, действительно, поступил, но не надолго: он слушал разные лекции года два и вышел. Наука не удовлетворила его потому, что он подошел к ней не с той стороны, искал в ней того, чего она дать не может, и не нашел того, что она может дать; наконец, бросил учиться и начал просто жить, то есть гоняться за наслаждениями. Этим делом он занимался так успешно, что через пять лет Москва опротивела ему: он пришел к тому заключению, что в Москве пусто и скучно и больше делать нечего. Он надеялся найти в ней готовое счастье и не нашел. В эти пять лет, однако, он все-таки развился настолько, что стал искать дела. Но ему казалось почему-то, что в Москве дела делать нельзя, во-первых потому, что нет людей, а во-вторых просто потому, что дела нет и ничего такого придумать нельзя. По его мне-

нию, все дела были в Петербурге: там все: там и люди, и цели, и средства, а здесь — ничего.

Сережа поехал в Петербург. Впрочем, в то время он был уже не Сережа: ему было 20 лет, но все та же неудержимая сила, та же надежда найти что-то лучшее, надежда, которая пять лет тому назад влекла его из деревни в Москву, теперь увлекла его из Москвы в Петербург. Это было второе бегство, вторая погоня за счастьем.

В то время Петербург привлекал к себе не одного Теребенева. Насколько Москва страдала недостатком людей, настолько Петербург изобиловал ими. В то время вдруг откуда-то появилось их такое множество, что просто девать их было некуда, и притом все таких хороших, таких отличных людей, что даже становилось как-то непонятно: где же они были до сих пор, зачем они скрывались? Эту странность можно было объяснить только разве тем, что тогда было действительно совсем особенное, совсем необыкновенное время и что Петербургу пришлось играть в то время такую роль, которой он не играл никогда, да вряд ли будет играть ее и впоследствии. Петербург в то время был не просто Петербург, т. е. «скука, холод и гранит»,¹ это было какое-то место свидания, в которое со всех концов России сходились люди, не имевшие до тех пор ни малейшего понятия друг о друге, и встречались здесь как старые знакомые; все говорили вдруг и притом все одно и то же, все повторяли одно и то же слово и всем оно нравилось потому, что это было на-

¹ Строка из Пушкина.

звание нового божества, которому все собрались поклоняться, и на это торжество шли, все шли в Петербург, все новые и новые люди. Настоящих дел еще никаких не было, но зато надежд и начинаний было столько же, сколько людей: каждый приходящий непременно на что-нибудь да надеялся и непременно приносил с собою какое-нибудь начинание. Неудач и разочарований еще никаких не было потому, что все еще было внове, все только что еще начиналось; и все именно этому и радовались, что старые счета можно похерить и опять начинать жить сначала.

Теребенев по приезде в Петербург тоже вначале все только и делал, что радовался: он радовался всему — и Петербургу, и прогрессу, и тому, что вот наконец теперь он может взяться за дело и приносить пользу. Он не спешил приниматься за работу, потому что ему хотелось прежде осмотреться и тогда уже выбрать себе по вкусу занятие; а главное, ему хотелось досыта насладиться уверенностью в том, что вот наконец-то он в Петербурге, т. е. в таком месте, где представляется наибольший выбор занятий и наибольшее количество людей, годных для дела. Те занятия, которые сами собой подвергались ему, он находил слишком незначительными или слишком специальными, и продолжал надеяться, что должен же он когда-нибудь напасть на такое дело, которое будет вполне соответствовать всем его способностям и, следовательно, вполне удовлетворит его. Но такого дела как-то все не открывалось, а время шло. Ветер все больше и больше стал

поворачиваться в другую сторону; началось польское восстание. Хорошие люди один за другим стали куда-то исчезать. Теребенев вдруг почувствовал, что в Петербурге стало как-то пусто и холодно: начатые предприятия что-то расклеивались, новые не ладились, деньги почему-то у всех вышли, естественные науки совсем упали; все больше стали рассуждать о деньгах, да еще о том, что хорошо бы место что ли какое-нибудь получить и уехать куда-нибудь подальше.

В это время у Теребенева умерла мать. Хотя она и прежде давно уж для него не существовала, но теперь-то он особенно сильно почувствовал свое полное одиночество. Зато смерть матери (отец умер еще раньше) значительно увеличила его денежные средства.

Теперь он был вполне свободен и нравственно, и материально. Сначала, сообразив, сколько у него денег, он подумал было употребить их на какое-нибудь полезное дело, но рассудил, что теперь не стоит начинать, потому что время такое, да и людей опять нет; подумал, подумал и махнул за границу и — прямо, разумеется, в Париж.

Поездка за границу в судьбе Теребенева имела очень важное значение. Как ни быстры были его переходы с места на место в России, но, пока это совершалось в пределах отечества, Теребенев все-таки чувствовал, что он действует как будто по какой-то системе. Перебегая от деревни к Москве, от Москвы к Петербургу, он, повидимому, шагал с одной ступеньки на другую и, как будто, поднимался куда-то все

выше и выше; но, поднявшись на возможную для него высоту, он вдруг сорвался и пошел колесить уж без всякой системы, а так, как придется.

В России каждый переход имел для него все-таки некоторое воспитательное значение: каждый переход нужно было пережить и, как ни легко обходилась Теребеневу жизнь вообще, все-таки каждый переход нужно было до известной степени выстрадать, сознать свою ошибку и затем идти уже дальше. Для всего этого требовалось время; здесь же, за границей, дело пошло гораздо ходчее. Во-первых, Теребнев разлетелся сразу в Париж, т. е. одним махом перешагнул через всю Европу и прямо кинулся в такое место, куда ездят люди уж никак не для того, чтобы учиться жить и которое менее всего способно доставить человеку полное нравственное удовлетворение. Но он об этом не думал.

Приехав в Париж и оглядевшись, Теребнев решил, что, собственно говоря, он теперь только родился и увидел свет. Вся прежняя жизнь в отечестве представлялась ему каким-то бессмысленным, неразумным прозябанием, похожим на состояние младенца в утробе матери. С этой минуты должно было начаться перевоспитание. Это дело пошло обыкновенным порядком; началось с того, что он вдруг вообразил себе, что он настоящий человек, член общечеловеческой семьи, что он имеет полное право жить, где ему вздумается и делать все, что ему захочется. Надо заметить, что занесло его в Европу в самое неблагоприятное время:

русских везде преследовали, смеялись над ними; но это нисколько его не смущало, напротив — ему даже нравилось быть до некоторой степени гонимым; это придавало его положению особенную, едкую прелесть. Он ходил по кофейням, читал газеты, спорил и весь погрузился в политику. Впрочем, это продолжалось недолго; бульварная жизнь, так же как и московская, скоро приелась. Теребенева все больше и больше стали шокировать ограниченность и прошлое самодовольство французов; француженки показались ему противны с самого начала. Тут же вскоре он сошелся с одним польским семейством, влюбился и потерпел поражение. Это его сильно расстроило и произвело переворот в его политическом образе мыслей. Париж потерял для него все свое обаяние: теперь это был какой-то базар, огражденный наполеоновскими штыками, кишущий шпионами, торговое место, в котором все продажно, все призрачно, ложно и т. д.

Одним словом, Париж не миновал своей участи. Теребнев отряхнул прах от ног своих и пустился странствовать по Европе. Это было лучшее время его жизни; он вдруг опять почувствовал себя свободным от всяких жизненных задач и просто разъезжал себе без всякой определенной цели, останавливался и жил где придется, занимался чем вздумается: в это время он изучал рабочий вопрос, посещал всевозможные съезды, слушал лекции, принимал участие в разных сходках и демонстрациях, ездил на поклонение Мадзини и все ездил, все ездил и ездил то есть жил тою беззаботной

жизнью, которой могут жить русские люди, вырвавшиеся на волю и нисколько не думающие о том, что этой веселой езде придет же когда-нибудь конец, что больше ехать будет некуда и что как там ни разъезжай, а все-таки рано или поздно надо же будет вернуться домой. Теребенева странствовал два года сряду; наконец, это ему просто надоело и опять его потянуло куда-нибудь в такое хорошее место, где можно жить и работать и чувствовать себя дома; он стал думать, где это такое место, и вспомнил о Женеве.

— Да! там, только там еще уцелели люди, которые поймут, чего мне нужно; там еще светится огонек, .. туда, туда!

Но в Женеве готовилось Теребенева худшее из всех пережитых им разочарований: людей, о которых он мечтал, там уже не было; те же, которые остались, приняли его холодно и недоверчиво. Это были люди опытные, выдавшие на своем веку многое множество Теребенева. приезжавших в Женеву неизвестно зачем и так же быстро исчезающих неизвестно куда.

Теребенева пробовал говорить о своих планах, но ничего такого особенно любопытного не сказал: все, что он говорил, все это было уже давно известно и притом ни для кого не интересно. Дела для него тоже никакого не нашлось. А между тем события сменялись событиями, в политических мнениях Европы мало-помалу подготовлялся переворот в пользу России. Позор, густым туманом покрывший русское имя, понемногу стал проясняться: на русских стали смотреть снисходительнее, потом

совсем простили; наконец, русское имя было восстановлено вполне; наконец, русские снова стали гордиться своим именем.

Но, по мере того, как занималась заря на востоке и русское имя, озаряемое лучами военной славы, с честью выходило из мрака незаслуженного позора, в образе мыслей Теребенева тоже совершался переворот: он все больше и больше утрачивал прежнюю бодрость духа и свободу движений, наконец совершенно лишился храбрости и захирел, затосковал, законфузился; сидел дома, не видался с русскими, не читал газет и с каждым днем видимо разочаровывался во всем, а главным образом в возможности возрождения.

Присмиривший, бродил он по берегу озера, размышляя о том, какую подлую штуку сыграла с ним Европа и какую глупую роль заставила играть четыре года сряду. В последнее время он дошел наконец до того, что начал скрывать свою национальность; и когда слава русского имени озарила Европу и император Наполеон в тронной речи отозвался с похвалой о принимаемых в России реформах, Теребенев уж никуда не годился: он совсем упал духом и сконфузился до такой степени, что когда за общим столом в гостинице один пьяный немец, живший прежде в России, предложил было ему выпить русский брудершафт, Теребенев чуть не заплакал, вскочил из-за стола и побежал на станцию брать билет в Гамбург, чтобы сейчас же ехать в Америку. В Гамбурге он «дошел до края» и в Америку не поехал. Таким образом, Америка пока оставалась в запасе.

IV

Чем ближе к России, тем все гуще и удушливее становился дым, который несло ветром прямо навстречу поезду, и тем печальнее и мрачнее становилось на душе у Теребенева. В ночь, перед самым приездом в Петербург, духота была страшная; в вагонах закрыли все окна, но ничего не помогало; напротив, — еще хуже: все задыхались от жара и дыма, который все-таки набивался в вагоны. Часу в первом ночи, на рассвете, пассажиры затихли; Теребнев, скорчившись, сидел в углу, он просто сидел с закрытыми глазами и обдумывал свое положение. Он думал о том, что вот теперь он как будто кончил где-то курс и едет домой и по этому случаю стал припоминать свое прошлое, прожитое: Москву, Петербург, Париж, Женеву и т. д. Потом подумал о том, что ему предстоит делать в России, как трудна будет его роль, как он будет теперь служить народу... и вдруг почему-то вспомнил, как его учили в детстве танцевать.

Представилось ему, что стоит он в зале, у печки, с вывернутыми в третью позицию ногами; мать сидит у окна и с напряженным вниманием следит за успехами сына. Ей это кажется очень важным делом, лицо у нее такое серьезное, озабоченное; она даже бросила вязанье шарфа, торопливо воткнула деревянные спицы в клубок и положила на стол. Она беспрестанно делает сыну замечания:

— Сережа, не сгибай колен! Стой прямо, Сережа! Зачем ты голову на бок держишь?

Из коридора смотрят горничные и тоже, с большим вниманием, замечают каждое его движение. Впереди всех стоит нянька и, подперши щеку рукой, с умилением смотрит на Сережу. Время от времени она даже вздыхает и приговаривает: «Ах, голубчик ты мой!» и вдруг накидывается на горничных, которые никак не могут стоять смирно и все шепчутся и толкают друг друга.

— Да тише вы, беспутные! — грозит она им. — Уйдите вы отсюда!

Из передней выглядывает лакей, а у прито- локи старый буфетчик, Орест, отставив одну ногу, заложив руки за спину и наморщив седые брови, строго смотрит на барчонка. Он по- долгу жила в Москве и знает, как господ учат танцовать. По лицу его видно, что он тоже очень заинтересован настоящим случаем, но старается показать молодым деревенским лакеям, что для него тут ровно ничего нет та- кого удивительного. Он даже позволяет себе изредка делать замечания вполголоса, но так, чтоб молодые лакеи слышали:

— Шею-то зачем вытянул, точно гусь?

Сережа, действительно, не только вытянул шею, но и весь вытянулся и подался вперед. Он в самом напряженном состоянии, стоит совершенно неподвижно, с широко раскрытыми глазами, уставил их куда-то в даль и ни на кого не смотрит. Он чувствует, что все глядят на него, ему очень конфузно и хочется как можно лучше отличиться. Но в то же время ему кажется, что ноги у него точно железные и как будто вставлены в них какие-то пружины и что

вот чуть только пошевелинешься, сейчас эти пружины сами начнут действовать и ноги уйдут чорт знает куда. Притом же, танцевальный учитель, точно бес, вертится перед ним и не дает ему покоя: беспрестанно обдергивает на нем куртку, вывертывает ему локти, прикладывает свою ладонь к его спине, а другой рукой берет его за подбородок и двумя пальцами, двумя холодными пальцами деликатно осаживает его назад.

А тут еще отец, в халате, с трубкой, вышел из кабинета в залу и остановился среди комнаты — посмотреть. Позади его на цыпочках крадется по стенке приказчик, приходивший за приказанием, но тоже, увлеченный общим любопытством, останавливается у дверей и присоединяется к прочим зрителям. Хотя Сережа старается ни на кого не глядеть, но ему все-таки видно, что из коридора еще кто-то пробирается вперед и приподымается повыше, а в окно со двора заглядывает какая-то баба.

— Посмотрим, посмотрим, — говорит отец и, запахнувши халат, отходит в сторону. — Посмотрим, как-то ты действуешь. Ну, начинай!

Наступает решительная минута: учитель отскакивает назад и ободрительно вскрикивает.

— Извольте начинать! Раз, два, три, раз...

Сережа делает отчаянное усилие, ноги срываются с места и сами начинают выделывать по комнате какие-то вензеля.

— Раз, два, три, раз, два, три! — все громче и громче вскрикивает учитель, забегая со всех сторон и хлопая в ладоши.

— Un, deux, trois, un, deux, trois, — подпе-

вает вполголоса мать, тоже прихлопывая в такт и в то же время волнуясь и покачиваясь вперед.

Вдруг — скандал: одна нога у Сережи как-то подвертывается, заплетается за другую, Сережа сбивается с такта и останавливается.

— Что ж ты, братец? — вскрикивает отец.

Сережа старается опять попасть в такт, шмыгает ногой по полу и при этом загибает голову на бок.

— Ну, продолжай же, продолжай! — волнуясь, говорит мать. — Не останавливайся.

— Не извольте останавливаться, — потягивая его за руку, говорит учитель.

Но Сережа уж остановился, потому что ноги у него вдруг опять сделались железные. Он глупо улыбается и, в смущении, сам себя щиплет за ногу.

— Эх, какой ты, брат! — с укором говорит отец. — Ну, ступай опять к печке, начинай сначала.

— Извольте становиться к печке, — уныло говорит учитель.

Сконфуженный, потупившись, возвращается Сережа к печке в сопровождении учителя. Он слышит, как вся эта публика зашевелилась, как они начинают шептаться; некоторые, обманутые в своих ожиданиях, уходят; приказчик вздыхает и, тоже потихоньку, ретируется в переднюю; отец махнул рукой и ушел в кабинет.

— Слабо! — вслух говорит в передней Орест.

— Господи! — думает Сережа, — да что ж это такое? . .

И вдруг является у него прилив какой-то отчаянной энергии; ему хочется остановить их

сейчас же, поскорей, загладить весь этот позор. У него еще есть надежда отличиться, а они, между тем, все уходят один за другим, все уходят.

— Пойдите, погодите! — хочется закричать ему. — Я сейчас покажу вам, как я умею танцевать...

Но уж поздно, они все разошлись, остается один ненавистный учитель.

— Извольте становиться к печке. Начинайте сначала, — со вздохом говорит он Сереже.

Вся эта сцена представлялась Теребеневу с мельчайшими подробностями. Он опять переживал ее всю, с начала до конца; все эти детские страдания, которые он испытывал пятнадцать лет тому назад, опять с тою же силою воскресли в нем, как будто он только сию минуту осрамился в танцах и возвращается к печке для того, чтобы опять начинать сначала.

— Да теперь-то что же я делаю? Зачем я еду в Россию? — вдруг с ужасом подумал он и широко открыл глаза.

В вагоне все было тихо, пассажиры спали, фонари догорели; в окна смотрело пасмурное утро.

— Это я возвращаюсь к печке! — подумал он, осматриваясь кругом.

Это открытие до такой степени поразило его, что он еще раз, уже вслух, повторил сам себе: «к печке».

Теперь его положение опять стало ему совершенно ясно: деревня, Москва, Петербург, Европа, дошел до края и опять туда, в деревню. Да, именно в деревню, потому что печка не в Петербурге, даже не в Москве, она там,

в Б-ом уезде, в деревенском доме, стоит на том же месте, где стояла пятнадцать лет тому назад. И для того, чтоб начать сначала, необходимо вернуться опять туда же, к той же самой изразцовой голландской печке, стать в третью позицию и опять: раз, два, три, раз, два, три и т. д. И в то же время почувствовал Теребенев, что тоска точь-в-точь такая же противная, грызущая тоска, которую, бывало, испытывал он в детстве — тоска, похожая на тошноту, — подступает ему к горлу и потихоньку начинает души его.

V

Петербургское лето только что начиналось; но, несмотря на то, в городе было уже достаточно пыльно, душно и скучно; чувствовалась надобность в дожде, а дождя не было; вокруг Петербурга на громадном пространстве горел лес и поэтому все небо было покрыто густым слоем дыма; солнце было красного цвета и казалось больше обыкновенного; в воздухе стоял удушливый чад, от которого разбаливалась голова и становилось противно жить на свете. Это было то самое лето, когда слухи о голоде, еще с ранней весны ходившие в городе, с каждым днем становились грознее и тревожнее.¹ Газеты, еще в мае робко и нерешительно передававшие известия о бескормице и плохих надеждах на урожай, все чаще и настойчивее стали рассуждать о том, что старого хлеба давно нет, а новый не всходит, что во многих местах

¹ Лето 1867 года.

поля вовсе не засеяны; а в половине июня уж трубили во все трубы: «Голод, голод! народ питается древесною корою пополам с мякиною, народ ждет помощи, всякий обязан по мере сил» . . . и т. д.

Народ действительно ждал, долго ждал, кормился отрубями, рубленой соломой, глиной и все ждал. Наконец народ зашевелился: целые деревни стали подниматься с места и уходить, целые деревни шли сами не зная куда, шли искать хлеба, толпы этих «наиболее пострадавших», как их называли в то время, толпы голодных, с опухшими животами, людей добирались даже до Петербурга; но отсюда их препровождали обратно на место жительства со внушением, дабы они впредь без письменных видов не отваживались на подобное путешествие. Петербург, закаленный в борьбе со всевозможными народными бедствиями, привыкший относиться недоверчиво ко всякого рода жалобам и стонам, и на этот раз не так-то легко поддавался искушению: дело доходило даже до того, что одно время в Петербурге просто отрицали голод, и нашлись люди, которые печатно утверждали, что все эти слухи о голоде — не более, как инсинуация, порожденная завистью и недоброжелательством врагов России. Наконец, опасность стала уж слишком явною: со всех сторон получались такие несомненные доказательства, против которых нечего было возражать; к тому же, вдруг явилось официальное извещение о том, что учреждается особая комиссия для сбора посильных приношений в пользу голодающих. Отклонить, умолчать, обойти — сделалось уже

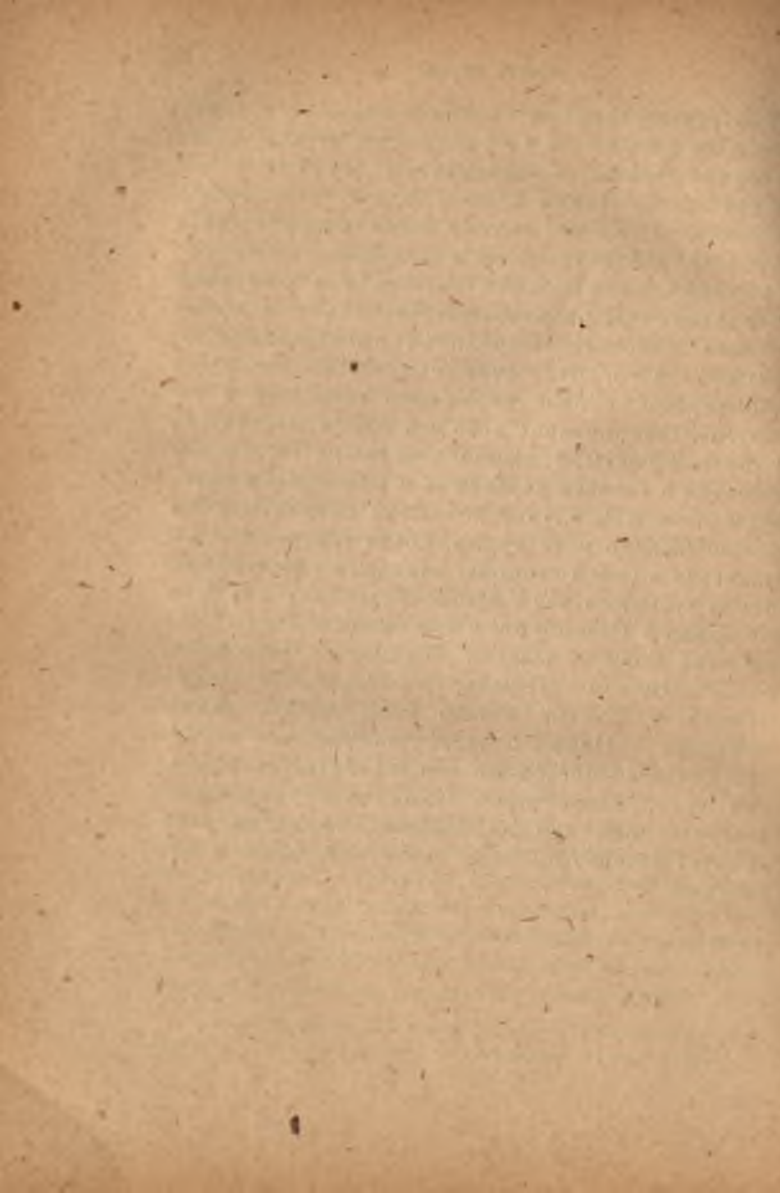
невозможным, поневоле пришлось поверить. Петербург поверил и пришел в движение: в обществе поднялась та фальшивая тревога, то напускное возбуждение умов и чувств, которые обыкновенно замечаются в Петербурге каждый раз, когда на сцену выступает какой-нибудь важный вопрос, требующий немедленного разрешения. Сначала, действительно, как будто и в самом деле проснулось какое-то живое чувство, как будто и в самом деле явилось сознание серьезной опасности; но в сущности все это движение послужило только к тому, чтоб еще ярче осветить ту бездну пошлости и легкомыслия, в которой воспиталось русское общество и из которой никакие общественные бедствия, никакие народные страдания не могут извлечь его до сих пор.

Римская чернь требовала от правительства хлеба и зрелищ; русский народ просил только хлеба, а петербургская публика сделала себе из этого зрелище. На Неве, у Николаевского моста, стояла барка, битком набитая финляндцами, самовольно прибывшими в Петербург просить хлеба. Эти финляндцы привлекали постоянно огромную толпу любопытных, их даже езд и л и с м о т р е т ь совершенно так, как два года перед тем ездили в Кронштадт смотреть американскую эскадру;¹ при этом дамы брали с собой хлеба кормить голодных, точь-в-точь как берут хлеба в зоологический сад кормить зверей. Петербургские дамы охотно рядились, пели и танцевали «в пользу голодающих», пе-

¹ Американская эскадра прибыла в Кронштадт с официальным визитом в 1866 году.

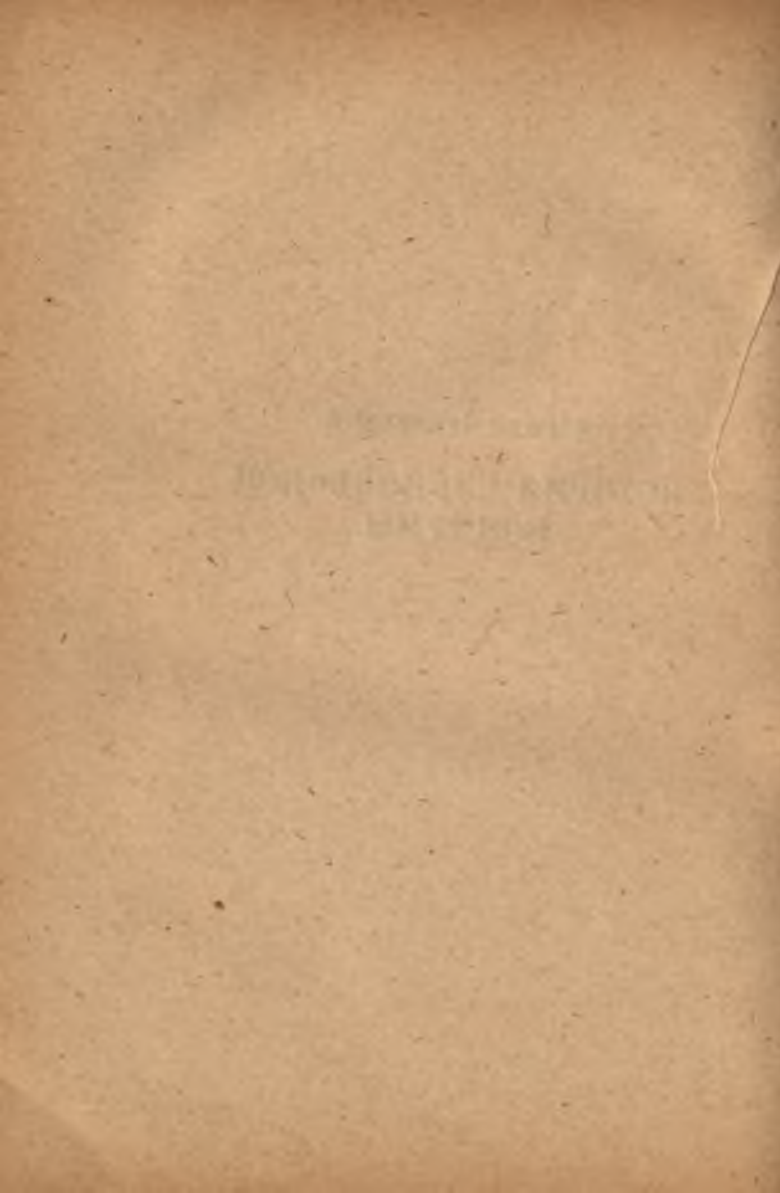
тербургские франты носили в кармане кусочки олонцкого хлеба, очень похожие на кусочки торфа и показывали эту *curiosite*¹ в гостиных. Одним словом, вдруг голод вошел в моду. В то же время, когда петербургская публика забавлялась голодающими, хлеб, собранный для них, гнил на дожде в ожидании отправки или разворовывался; в то же время одного мирового посредника преследовали по службе за то, что жена его имела несчастье столкнуться в деле кормления голодных с супругой губернатора; в то же время настоятель одного монастыря лишился места за то, что напечатал в газетах воззвание о помощи погибающим и описал случай голодной смерти как нарочно именно в то время, когда губернское начальство с своей стороны доносило в Петербург, что в губернии все обстоит благополучно; в то же время в Петербурге с ума сводила всех «Прекрасная Елена», рысаки мчались по Невскому, дамы ездили на «Стрелку», в Павловске играла музыка, у Излера можно было видеть голых женщин... Одним словом, делалось все то же, что делается постоянно каждое лето, не разбирая того, какое оно: сухое или дождливое, засеяны поля или не засеяны, горят ли леса вокруг Петербурга. или цветут ландыши и незабудки.

¹ Любопытную редкость.



КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

**ИСТОРИЯ СЛЕЩОВСКОЙ
КОММУНЫ**



I

Принято почему-то считать, что Знаменская коммуна Слепцова — явление единичное и редкостное.

В разных мемуарах печатают, будто она была «совершенною новостью», «небывалой диковиной», поразившею всех современников.¹

Это, конечно, вздор.

Таких коммун устраивалось тогда в Питере множество и до Слепцова и после него. Слепцовская коммуна тем-то и любопытна для нас, что в шестидесятых годах она была заурядным явлением. Правда, о прочих коммунах известно в нашей литературе немного, — несколько случайных записей, чаще всего злых и насмешливых, — но даже из этих записей видно, как притягательна была для молодых разночинцев идея коммунального быта.

Свешников, например, в «Воспоминаниях пропавшего» пишет:

«Вася ввел меня в коммуну, помещавшуюся в Эртелевом переулке в доме Хрущева. Коммуна эта занимала маленькую комнатку, и членами ее состояли Воскресенский, Сергиевский, Соболев, князь Черкезов и Волков, и тут же проживали две нигилистки, Ковёрдяева-Воронцова и Тимофеева, и все они спали вповалку. Четверо первых были люди модные, потому что они только что

¹ «Русская Старина», 1890. 1; «Голос Минувшего», 1915, 12.

отбыли срок заключения в крепости по прикосновенности к делу Каракозова. Впоследствии коммуна эта разрослась. В нее вступили покойный Орфанов, Щербатов и другие, и они сняли себе квартиру в Средней Мещанской улице». ¹

Эта коммуна — беднейшая и потому наиболее характерная для тогдашних бурых нигилистов. Семь человек в одной комнате! Врозь они, пожалуй, не выжили бы, потому что какие же заработки у вышедших из тюрьмы политических! Вряд ли, живя в одиночку, они могли бы обладать такой роскошью, как, например, тот грязный самовар, который так не понравился Свешникову.

Но не только для совместного житья, а и для общей работы соединялись тогдашние «новые люди» в коммуны. Всем, например, памятна та трудовая коммуна, из которой впоследствии выросла знаменитая артель передвижников. Покойный Репин в своих воспоминаниях подробно рассказывает, как тринадцать художников, вышедших из Академии в 1863 году, решили устроить сообщество мастерскую, сняли на окраине большую квартиру и переехали туда жить и работать.

«Тут они сразу ожили, повеселели, — вспоминает Репин. — Теперь у них уже не скучные конурки, где не с кем слова сказать и от скуки, неудобства и холода не знаешь куда уйти. Теперь они чувствовали себя свободней, чем в академических мастерских, и связь свою чувствовали ближе, и бескорыстно влияли друг на друга. Дела их шли все лучше и лучше. Появились некоторые средства и довольства»... ²

То была коммуна производственная. Таких тогда

¹ Н. И. Свешников «Воспоминания пропавшего человека» Л. 1930. стр. 160.

² «Русская Старина» 1888, V. стр. 422.

было очень немного. Большинство состояло из простых общежитий.

Враги шестидесятых годов были, конечно, не склонны отмечать достоинства этих нигилистических гнезд и со злорадством выпячивали их темные стороны.

Вот, например, какими чертами наделяет Лесков «греческую» коммуну Артура Бенни:

— Один неокончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один студент из поляков, впоследствии убитый в польской банде, «устремились овладеть священной простотой Артура Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет». «Достопочтеннейшие люди эти решили, скрепя сердца свои, владеть Артуром Бенни сообща в компании, на коммунистических началах. Коммунисты поселились у него все разом... Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собой ничем не считаться. Сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи — они лишали его возможности работать и выгоняли его из его собственной квартиры». ¹

Если верить Лескову, это был капитализм наизнанку: одного труженика эксплуатировало пять тунеядцев. Но верить Лескову едва ли возможно, ибо Бенни, при его скудных литературских заработках, не был настолько богат, чтобы содержать на свой счет такую ораву нахлебников. Впрочем, несомненно и то, что подобные лжекоммуны возникали тогда очень часто и что всякие темные личности пытались использовать их.

¹ «Загадочный человек». Полн. собр. сочинения Н. С. Лескова, т. 8, II. 1897, стр. 96.

Гораздо примечательнее то обстоятельство, что даже заклятые враги нигилистов — дворяне, офицеры, чиновники, — и те охотно перенимали у них эту модную форму коллективного быта и тоже селились коммунами.

Об одной такой коммуне мы знаем из биографии композитора Мусоргского.

«Осенью 1863 года, — читаем у Стасова, — воротясь из деревни, он (Мусоргский) поселился вместе с несколькими молодыми товарищами на общей квартире, которую они для шутки называли коммуной, быть может из подражания той теории совместного житья, которую указывал знаменитый в то время роман «Что делать?». У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате, куда никто из прочих товарищей не смел вступать без специального всякий раз дозволения, и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда бывали свободны от своих занятий, читать, слушать чтение, беседовать, спорить, наконец просто разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепьяно или поющего романсы и отрывки из опер. Таких маленьких товарищеских «сожитий» было тогда не мало в Петербурге и может быть и в остальной России».¹

То была коммуна золотой молодежи, комфортабельная, очень бонтонная. Даже имена у юношей были высокого стиля: Модест, Вячеслав, Леонид. Юноши служили в гвардии, в сенате и, не в пример нигилистам, предавались чистому искусству. Их кумиром был не Фейербах, но Флобер. Тем характернее, что даже такая коммуна, — дворянская, — вела свое происхождение от романа «Что делать?». Другие коммуны еще теснее были связаны с этим романом. Недаром большинство из них

¹ «Вестник Европы», 1881, 3, стр. 301.

возникло в 1863 году, то есть тотчас же после появления романа в печати. В самом деле: и коммуна Артура Бенни, и коммуна передвижников, и коммуна Мусоргского, и коммуна Слепцова — все относятся к осени 1863 года.

Молодежь того времени и до Чернышевского смутно стремилась к коммунальному быту, но Чернышевский в своем романе придал ее стремлениям такую конкретную форму, что его по справедливости можно считать родоначальником и вдохновителем этих коммун.

Правда, Скабичевский в своих воспоминаниях указывает, будто не только Чернышевский, но и Пфейфер голкнул Слепцова на создание коммуны.¹ По словам Скабичевского, в конце 1865 года (а на самом деле годом позже) вышла брошюра Эдуарда Пфейфера об устройство ассоциаций в Западной Европе, и вот, под влиянием этой брошюры, Слепцов будто бы и устроил свое общежитие.

Это — ошибка, потому что, во-первых, коммуна Слепцова была основана за два с половиной года до появления пфейферовой книги в России, а во-вторых, книга была не такая, чтобы ею мог увлечься Слепцов, ибо ее главной задачей являлось уничтожение социализма в Европе. Если Пфейфер призывал к организации коммун, то именно потому, что в них ему мерещилось вернейшее средство предотвратить неотвратимый революционный пожар. Вся его книга написана в интересах «богатых и сильных», к которым автор обращался с такими призывами:

— Если вы не хотите, чтобы в рабочей среде завелись агитаторы, ведущие толпу к революции, вы должны

¹ М. А. Скабичевский. «Литературные воспоминания», М. 1928, стр. 226.

всемерно способствовать развитию кооперативного дела. Этого требует ваша же выгода.¹

Как мы ниже увидим, у Слепцова при основании коммуны были прямо противоположные замыслы. Да и трудно предположить, чтобы такая реакционная книжка могла иметь большое влияние на разночинную молодежь шестидесятых годов.

II

Другое дело роман Чернышевского.

В романе всех очаровала Вера Павловна, — не героиня, а самая обыкновенная женщина, которая, не страшась полицейского пугала, мирно и бесшумно устроила тут, в Петербурге, швейную мастерскую для женщин на коммунистических началах, — и как счастливы стали бедные швеи, освобожденные ею от власти хозяев! Как счастлива стала она сама, Вера Павловна! Как уютна в романе эта коммунальная швейная — просторная, светлая, с веселыми окнами! Как изящно меблированы комнаты девушек, а сами девушки одеты точно барышни. Как хорош у них обед из трех блюд: рыба, телятина, рисовый суп. А коллективные прогулки с четырьмя самоварами! А совместные чтения! А ложи в театре! А катанья в лодках! А ясли и очаги для детей!

Мудрено ли, что, тотчас же после появления этих приманок, коммуны стали расти ежедневно и в том же 1863 году выросли в несметном количестве.

Но совсем не такие, о каких мечтал Чернышевский. Ибо, прославляя коммуну, Чернышевский мечтал не о меблированных комнатах с общим столом, а о «деле

¹ Э. Пфейфер. «Ассоциации. Настоящее положение рабочего сословия и чем оно должно быть». Перевод с немецкого М. А. Антоновича, П. 1866, стр. 36, 218.

прогресса», о «деле всего человечества». В швейной мастерской Веры Павловны чудилось ему начало той всемирной коммуны коммун, которая навеки осчастливит людей. Не в сокращении расходов был для него смысл коммуны и не в мелких удобствах, которые даст она маленькой сплотившейся кучке, а в том широком социалистическом строе, который будет создан в близком будущем сотнями и тысячами подобных коммун, в том хрустальном дворце с алюминиевыми колоннами, куда все эти коммуны сольются впоследствии. Для Чернышевского они были не целью, но средством. Они должны были пропагандировать социалистический строй и показать самому незрячему человеку все преимущества этого строя.

Между тем даже артель передвижников была чуждой идее, которую Чернышевский был охвачен, как пламенем, — идее о преобразовании всего человечества. В письме к своему другу основатель артели Крамской откровенно указывает, что он далек от каких бы то ни было утопических замыслов:

«Имея три общих больших мастерских,—писал Крамской,—нам каждому жизнь, по самому точному и не скупому расчету, будет стоить ежемесячно 25 рублей серебром. Следовательно, соединяясь, мы не только не теряем, а положительно выигрываем...»¹

Конечно, не этот «выигрыш» был для передвижников главным: их больше всего соблазняла возможность сплоченно бороться за демократизацию живописи, но отсюда еще далеко до забот о будущей судьбе человечества.

Другим коммунам, которые я сейчас перечислил, эти заботы были еще менее свойственны. Денежные соображения и приобретение максимальных удобств — вот

¹ «И. Н. Крамской, его жизнь и переписка», П. 1888. стр. 51.

в сущности и вся их задача. Но не такова была коммуна Слепцова. Верный ученик Чернышевского, он затем и устроил ее, чтобы положить основание социалистической организации труда.

Совершенно неверно утверждение какого-то анонимного автора, напечатанное в «Вестнике Европы», будто слепцовская коммуна была простым общежитием, «невинной (и не весьма практичной) затеей устроить нечто вроде меблированных комнат в кружке знакомых и одиноких людей». ¹

Сам Слепцов смотрел на это дело иначе:

«Предполагаемое мною общежитие, — говорил он Екатерине Жуковской, — будет (вначале) иметь вид просто меблированных комнат. Удастся нам ужиться и расширить это дело — сейчас же явятся подражатели. Такие коммуны распространятся, укоренятся, и тогда мы ли, последующие ли поколения будем развивать дело далее до настоящего фаланстера».

«Он задумал осуществить фаланстер Фурье, — поясняет Жуковская, — но, поняв, что сразу рубить прежние формы общежития невозможно, он решил вести дело постепенно»... ²

Таким образом для Слепцова коммуна была только первоначальным этапом на пути к великому будущему.

Да и не мог автор «Трудного времени», выразивший в этом памфлете такую жестокую ненависть к мирному и мелочному реформизму, к обывательским гуманным полумерам, не мог он в самый разгар революционной борьбы устраивать «простые общежития».

Даже Лесков, враг Слепцова, изобразивший его

¹ «Вестник Европы», 1904, 7, стр. 382. Я думаю, что эту заметку писал либо Пыпин, либо Ю. Жуковский.

² Екатерина Жуковская. «Записки», Л. 1930, стр. 160.

в язвительном пасквиле, и тот принужден был отметить социалистические тенденции слепцовской коммуны.

«Несколько мужчин и несколько женщин, — иронически повествует Лесков, — решились сойтись жить вместе, распределив между собою обязанности хозяйственные и соединивши усилия на добывание работ и составление общественной кассы, при которой станет возможно достижение высшей цели братства: ограждение работающего пролетариата от произвола, обид и насилий тучнеющего капитала и разубеждение слепотствующего общества живым примером в возможности правильной организации труда без антрепренеров капиталистов.¹

Словом, никакой обывательщины не примешивалось к этой задаче: с самого начала Слепцовым были приняты меры, чтобы его коммуна не сделалась просто «меблированными комнатами с общим столом». Он организовал в ней научно-популярные лекции, учредил в ней бюро для добывания работы и даже сделал несколько попыток ввести в нее производственный труд.²

Разбирая новонайденные бумаги Слепцова, относящиеся к тому же периоду, я нашел там одну тетрадку, содержащую, как выяснилось вскоре, выписки из сочинений Фурье «Новый индустриальный порядок» и «Теория четырех движений». Особенно много выписок относится к практическому устройству гармонии (так Слепцов именовал фаланстер) и к положению женщины в этой «гармонии».

«Это дедушка осмысленного русского быта, — говорит о его коммуне в лесковском романе. — Это

¹ «Некуда». Полн. собр. соч. Лескова. II. 1897. т. IV. стр. 629.

² «Книжки Недели», 1896, 5, стр. 187.

дом, какими должны быть и непременно будут все дома в мире!»

Итак, по своей идее, коммуна Слепцова явилась одним из самых благотворных начинаний эпохи шестидесятых годов.

Но выполнена эта задача была отвратительно. Практика Слепцова оказалась в разладе с его великолепной теорией: на таком шатком фундаменте построил он эту коммуну, что она не могла не разладиться в самое короткое время. С первых же шагов им было допущено столько непоправимых ошибок, что даже близкие его единомышленники в конце концов осудили его.

III

Нигилистов, ненавидящих богатство и роскошь, возмущала уже самая внешность коммуны, пышная и оскорбительно-барственная. Николай Успенский ощущал, например, эту пышность как личную себе обиду, и с озлоблением вспоминал в своих записках:

«Ярко освещенный подъезд громадного дома, напоминавшего своей внушительной наружностью свершенный дворец... Солидный швейцар с булавой... Лестница, украшенная статуями греческих богов и экзотическими растениями... Роскошная квартира с необозримой амфиладой комнат, освещенных люстрами, лампами с затейливыми абажурами и бра на стенах».¹

Скажут, что Николаю Успенскому, привычному обитателю низкопробных трущоб, могла показаться чрезмерно роскошной самая простая квартира, но вот воспоминания Скабичевского:

«Мы вошли по парадной лестнице в тысячную квартиру, в бель-этаже, с очень приличной обстановкой. Об-

¹ Н. В. Успенский. Из прошлого. М. 1889. стр. 120.

ширное зало было полно народу. Мы нашли здесь все сливки литературного, артистического, художественного миров. Человек было далеко за сто». ¹

На лестницу со швейцаром указывает и Авдотья Панаева. Правда, из ее слов выходит, что квартира была не в бель-этаже, а на самом верху, и это, пожалуй, вернее, ибо Скабичевский в соответствии с духом эпохи величал бель-этажем решительно все, что не подвал и не чердак. Та же Авдотья Панаева свидетельствует, что мебель в коммуне была не богатая, но конечно нам важно не то, какою эта мебель казалась Авдотье Панаевой, привыкшей жить в роскошной обстановке, а как воспринимали ее типические нигилисты шестидесятых годов. Им она казалась непозволительно пышной. К тому же Екатерина Жуковская, сама бывшая членом коммуны, сообщает, что в особо парадные дни зал действительно украшали богатою мебелью, взятой из апартаментов жильцов, и даже, как это ни странно, цветами. Об этих цветах вспоминает и Коптева. Очевидно, они больно задели беднейшую часть коммуны.

«Он (то есть Слепцов), — сообщает Жуковская, — возмутил Маркелову и княжну, купив огромное количество цветов для зала, объясняя, что это необходимо для того, чтобы придать комнате менее казарменный вид». ²

Таким образом Лесков, писавший о коммуне со слов Коптевой, в данном случае не слишком отступил от истины, когда рассказывал, как Слепцов «один раз возвратился домой в сопровождении десяти человек, при-

¹ М. А. Скабичевский. «Литерат. воспоминания». М. 1928, стр. 227.

² Екатерина Жуковская. «Записки», Л. 1930, стр. 173.

несших за ним более двадцати вазонов разных экзотических растений».

«— Сколько стоят эти цветы? — спросила у него одна из проживавших в коммуны.

— Что-то около шестнадцати рублей.

— Как же вы смели опять позволить себе такое своеволие? Зачем вы купили эти цветы?

— Господи, боже мой!»¹

Из воспоминаний Жуковской мы видим, что эта сцена списана с натуры и, пожалуй, не слишком шаржирована.

В то суровое время неподходящая роскошь слепцовской коммуны казалась беднякам-разночинцам почти преступлением.

Такова ли должна быть коммуна, основанная в качестве показательной, для пропаганды нового коммунального быта! К чему эти огромные расходы на цветы, на диваны и зеркала, на залу, вмещающую чуть не сто человек! А комната самого Слепцова, — с мраморным камином, с безделушками, с изящной и комфортабельной мебелью! В такой ли обстановке должен жить организатор коммуны? И почему он так часто возвращается в великосветских гостиных, усиленно добиваясь того, чтобы сблизить с членами коммуны всякую — как тогда говорили, «салонную сволочь»?

А члены коммуны? Годаются ли они для той высокой исторической миссии, которую он навязал им? Кто они такие, эти люди, взявшиеся осуществить социалистический быт в обстановке тогдашней России?

В том-то и дело, что никакой такой особенной миссии эти люди на себя не возлагали. Двое или трое из них с самого начала заявили Слепцову, что фалансте-

¹ «Некуда», стр. 665—668.

ров им и даром не надо, а нужны им самые обыкновенные комнаты с общим столом, — почему же он ввел их в коммуну, даже не познакомившись ближе с их подлинною социальной сущностью?

Если бы он всмотрелся в них пристальнее, он понял бы, что ввести их в коммуну это значит обеспечить ей неизбежный провал.

Что же это были за люди?

1. Раньше всего — *Маша Коптева*, избалованная, изящная московская барышня, дочь богатых родителей, — ленивая, насмешливая, очень неглупая, только что из института благородных девиц, приставшая к нигилизму случайно. Она, так сказать, нигилистка салонная, очень «хорошего тона», с нескрываемым презрением к черни. то есть к подлинным нигилистам, именуемым бурями. Замечательна тем, что Лесков, сильно приукрасив ее, изобразил ее в своем романе «Некуда» под именем Лизы Бахаревой.

2. Ее подруга *Ценина*, тоже институтка из так называемой «хорошей семьи», ушедшая в нигилизм случайно, спасаясь от семейных передраг. Ни в какие слепцовские фаланстеры не верит и вообще относится к Слепцову насмешливо. Бойкая, самодовольная, очень хорошенькая.

3. *Адвокат Языков 2-й* — либеральный тверской дворянин, родственник Слепцова по жене. Поселился в коммуне именно в качестве родственника, к коммунистическим идеям вполне равнодушен: когда слышит о фаланстере, хихикает и машет рукой.

4. *Аполлон Филиппович Головачев*, тоже либеральный тверской дворянин, тоже близкий родственник Слепцова. Сотрудник и секретарь «Современника», друг Салтыкова-Щедрина, человек благородный, но ленивый и рыхлый. Проиграл состояние в карты. Всей душою

верует в коммуны, но по дворянской рыхлости не воплощает своей веры в поступки.

5. *Александра Маркелова*. Подлинная нигилистка, работающая, смелая, очень упрямая, из так называемых бурых. Поселилась в коммуне по идейным мотивам и представляет в ней крайнюю левую. Добывает пропитание корректурой и мелкой литературской работой.

6. *Княжна Екатерина Макулова*. Тоже крайняя нигилистка, бурая. Идея коммуны ей кровно близка. Ее княжеский титул — фикция, ибо родители у нее были нищие.

Вот и все известные нам члены этой исторической коммуны. Нигилисты салонные с одной стороны, нигилисты бурые — с другой. Аристократы и чернь. А посередине Слепцов, пытающийся соединить обе стороны. Можно было с самого начала предвидеть, что эти две группы неизбежно столкнутся, что жить всем под одной кровлей невыносимо, ибо, как ни скрыта до времени их классовая, партийная рознь, она скажется при первом же столкновении их интересов.

IV

У нас до сих пор представляют себе шестидесятников сплошной однородной толпой. Между тем эта толпа всегда слагалась из двух бурно враждующих групп, ибо в нее входили и генеральские дети, и голытьба мелко-мещанских низов.¹

И если в начале эпохи, от пятидесят шестого до шестьдесят первого года, их взаимная ненависть была незаметна, то в позднейшую эпоху она обнаружилась

¹ Характеристику обеих групп см. в записках В. С. Серовой об Александре Николаевиче Серове, «Русская Мысль», 1913, 4, стр. 10—11.

с кричащею яркостью и в быту, и в литературе, и в журнальной полемике.

В тот год, когда Слепцов устраивал коммуну, вражда была в полном разгаре, «бурые» нигилисты уже окончательно откололись от нигилистов салонных, — почему же, повторяю, Слепцов чуть не силою попытался сплотить их для общего дела?

Едва он заикнется бывало про «общее дело», салонные так и вскинутся на него, как на фразера и выдумщика:

— Нельзя ли попроще? — восклицает Коптева с презрительной миной, — нельзя ли меблированные комнаты называть меблированными комнатами, а не «нашим делом»?

— Для вас с Екатериной Ивановной, — отвечает Слепцов, — это точно меблированные комнаты, к нашему общему прискорбию, но для нас это «дело», за которое мы стоим и значение которого мы желаем поддерживать!

Но те только смеются над ним.

Здесь, в этом стремлении связать несвязуемое, был органический порок его затеи.

Одна из нигилисток салонных, представлявшая в коммуне крайнюю правую, Екатерина Ценина (Жуковская), оставила нам подробные записки об этой коммуне и, конечно, попыталась, по мере возможности, возвеличить свою дворянскую, салонную группу и унижить противоположную — «бурую».

Дворянский нигилизм, по ее утверждению, «совмещался большей частью с умом, образованием и талантом», а также с некоторым «щегольством и комфортом», бурые же были «неряшливы», «лохматы», «нетерпимы» и по большей части невежественны. Макулова даже не знала французского!

И ко всем достоинствам нигилистов-дворян Ценина присовокупляет еще одно — едва ли не самое главное: их нелюбовь к революции. Это ей нравится больше всего. Они были сторонниками мирных реформ и «благие преобразования» Александра II были им вполне по душе. Дальше мирного прогресса их вожделения не шли. Соглашательство с дворянскими либеральными партиями составляло основу их партийной программы. А «бурые» были непримиримые враги всего самодержавного строя, и через несколько лет, к концу шестидесятих годов, из их среды стали вербоваться агитаторы, бунтовщики и подпольщики. Тотчас же после каракозовских дней раскол сказался на их биографиях: правые нигилисты один за другим стали уходить на казенную службу, а левые — в подполье, в эмиграцию, в Сибирскую каторгу.¹

Для того, чтобы обеспечить своей коммуне успех, Слепцову надлежало пожертвовать либо «бурыми», либо «салонными», а принуждать к сожительству тех и других было, воистину, делом безумным. Неудивительно, что, когда подконец он пригласил в свою коммуну работников, работники не пожелали войти в нее.

— Какие же это коммунисты! — говорили они про членов слепцовской коммуны, — это просто аристократы!

И те должны были сами признать:

— Действительно, невозможно набирать к нам, аристократам труда, пролетариев-тружеников.

¹ Екатерина Жуковская. «Записки». Л. 1930, стр. 208. Вообще все эти эпизоды из жизни слепцовской коммуны мы узнаем главным образом из записок Жуковской, которая должно быть и сама не заметила, какой богатый материал против себя и всей своей аристократической группы она дает в этой книге. Из ее записок ясно видно, что разложение в коммуны Слепцова внесли именно она и ее близкие.

Ни наборщицы, ни переплетчицы не пожелали и слышать о вхождении в эту коммуну, и для «бурых» это было тяжелым ударом.

— Не будь у вас аристократических замашек, — говорила «бурая» «салонной», — все так легко могло бы уладиться.

Еще бы! Но аристократические замашки оказались непреодолимым препятствием: ведь наборщицы и переплетчицы зарабатывали тогда самое большее 30—35 рублей в месяц, а жизнь в коммуне обходилась каждому ее члену не меньше семидесяти, то есть чуть не втрое дороже, чем, например, в артели передвижников, возникшей в том же городе в то же самое время, при тех же ценах на стол и квартиру. Ясно, что эта коммуна была доступна лишь зажиточным людям, а люди безденежные не смели и думать о ней. Это делало коммуну бессмыслицей.

Весь *modus vivendi* в этой коммуне был до такой степени далек от полуголодного быта интеллигентных пролетариев шестидесятых годов, что те чувствовали себя в коммуне как в барских покоях и в шутку просили Слепцова, чтобы он позволил им поселиться на кухне, так как комнаты слишком роскошны для них.

Левитов рассказывал Николаю Успенскому:

«Я раз говорил ему (то есть Слепцову): дескать, нельзя ли мне в качестве хоть пария какого-нибудь приютиться у вас, хоть, примером будем говорить, в кухне? — Ну, нет, — сказал Слепцов, — ты нашу кухню заплешь. загадишь, а кроме того как напьешься, ворвешься в коммуну и будешь бушевать... А главное, все вы, народные писатели, страдаете безденежьем, а у нас живут люди более или менее обеспеченные, тут есть и дочка графа и сынок Тита Титыча. Нет, Левитов, ты эту кухню выбрось из головы. Я лучше буду

по временам оказывать тебе пособие в форме какого-нибудь пиджака, трех рублей, стеариновых свечей и т. д.»¹

Правда, эта беседа приводится в воспоминаниях Николая Успенского, которые знамениты своими отклонениями от подлинных фактов, но если даже это шарж, он показывает, как относились бурые к коммуне Слепцова.²

Николай Успенский в то время был бурый из бурых, и потому коммуна представлялась ему постыдною барскою прихотью. Даже то возмущало его, что вместо дешевой сивухи в коммуне предлагали гостям шартрез, шато д'икем, шато марго, лафит, — аристократические марки вина. Авдотья Панаева, возражая ему, говорит, что вообще никаких крепких напитков она не видела в коммуне,³ но ведь она посетила коммуны лишь раз или два, а Жуковская, сама бывшая членом коммуны и проживавшая там постоянно, свидетельствует, в полном согласии с Успенским, что Слепцов для особо торжественных случаев накупал и вин, и английского портю.⁴

Вообще расходы по приему гостей были тягостны; к тому же гости приходили не только в определенные дни, но ежедневно — то к обеду, то к ужину.

¹ Н. В. Успенский. «Из прошлого», М. 1889.

² До чего недостоверны воспоминания Николая Успенского, видно даже из приводимых им дат. Он рассказывает, что коммуны Слепцова он посетил во время писания очерка «Змей», между тем как этот очерк был написан им за пять лет до возникновения коммуны. Кроме того он утверждает, что роман Слепцова «Трудное время» был тогда уже давно написан, между тем как этот роман появился лишь через семь лет после «Змея».

³ Авдотья Панаева. «Воспоминания», М. 1929, стр. 462.

⁴ Екатерина Жуковская. «Записки» Л. 1930, стр. 173.

Словом, пребывание в коммуне не только не вело ее членов к сокращению расходов, но, напротив, обременяло их лишними тратами, а это не могло не дискредитировать в глазах маловеров самую идею коммуны. Боясь этого, Слепцов простодушно скрывал и от публики и от самих «коммунистов» цифру истинных расходов своего предприятия и часто покрывал дефициты из собственных заработков, но так как заработки эти были весьма невелики, то вскоре он наделал долгов, и престиж коммуны упал окончательно.¹

В довершение ко всему пошли слухи, будто в коммуне процветает разврат. Тот же Николай Успенский изображает коммуну «Магометовым раем», а Слепцова — султаном, окруженным прелестными гуриями, которые все поголовно пылают к нему «неукротимую страстью». Лесков, со своей стороны, утверждает, будто Коптева именно потому и ушла из коммуны, что Слепцов оскорбил ее, войдя к ней в комнату чуть не в одном белье.² Все это, конечно, клевета его партийных врагов, воспользовавшихся его пагубной слабостью к женщинам, чтобы набросить тень на основанный им фаланстер. Эта слабость принесла ему много вреда, и даже расположенная к нему Авдотья Панаева была принуждена согласиться, что «ему много мешали его отношения к женщинам». О том же говорит и Скабичевский.

Но все же нельзя сомневаться, что в коммуне эти

¹ О денежных неурядицах слепцовской коммуны было известно даже в посторонних кругах: и Лесков, и Всеволод Крестовский воспроизводят ходившие тогда по было известно даже в посторонних кругах: и Лесков, и Конечно, эти слухи были чистой ложью и объясняются они полным неумением Слепцова вести хозяйство на коммунальных началах.

² Н. С. Лесков. Полное собрание сочинений, т. VIII, П. 1897, «Загадочный человек», стр. 94.

наклонности не сказались никак, что она была скорее монастырь, чем гарем, и что таким образом дело было вовсе не в донжуанстве Слепцова, а в его трагически-безнадежной попытке сблизить для совместной работы большевиков и меньшевиков нигилизма.

V

Это превратило коммуны в арену для партийных побищ. Всякая мелочь вызывала баталии. Особенно горячи были бои из-за хлеба: «бурые» довольствовались ситником, «аристократы» требовали булок.

— Я не извозчик, чтобы есть эту сухую кислятину! — восклицала «салонная» Ценина.

— Тысячи людей были бы счастливы иметь к чаю такой хлеб! — возражала «бурая» Маркелова.

— Ну, так и счастливые эти тысячи, а я не хочу!

От ситника перешли к нарядам. «Бурые» клеймили «салонных» за их франтовство и, доказывая им всю безнравственность роскоши, щеголяли убожеством своего одеяния. «Аристократки», в пик «бурым», наряжались в шелковые платья с великолепными шлейфами и демонстрировали их в зале коммуны.

А потом — война из-за прислуги. В коммуне было слишком много работниц: две няньки, две горничные, прачка, кухарка, словно это не коммуна, а усадьба. «Бурые» потребовали, чтобы вся эта челядь была удалена из коммуны и чтобы коммунисты своими руками делали домашнюю работу, не прибегая к услугам наемниц. «Аристократы» вначале подчинились их требованию, но потом сорвали его путем саботажа.

— Принцип уничтожения прислуги нарушен! — жаловалась «бурая» Маркелова.

— Разумеется! — элорадствовала «салонная» Ценина.

Дальше — больше, и вскоре аристократы до такой степени охладели к тем принципам, во имя которых возникла коммуна, что стали вовлекать в нее совершенно чуждые ей элементы. Ценина даже сделала попытку ввести в коммуну, в качестве полноправного члена, одного богатого барина, живущего своим капиталом.

«Бурные» единодушно восстали.

— Я окончательно против допущения к нам тунецев-капиталистов! — запротестовала Макулова.

И Маркелова провозгласила вслед за ней:

— Принцип капитализма не может вязаться с принципом коммунизма.

Но тут обнаружилось, что в коммуне принцип «капитализма» процветает давно. Обнаружилось, что Коптева, ушедшая из богатой семьи именно для того, чтобы жить своим личным трудом, живет в сущности на тот капитал, который ей достался по наследству от бабушки. А Ценина состоит на иждивении брата. Основным же капиталом коммуны служат те довольно крупные деньги, которые внес в нее некий помещик.

Таким образом все заветы романа «Что делать?» были в этой коммуне искажены и нарушены. Не осталось и следа от социалистических принципов, которые легли в основание трудовой артели Веры Павловны.

Главное, в романе Чернышевского, в его идеальной коммуне не было того засилия дворянских привычек и прихотей, которое, в сущности, и погубило коммуны Слепцова. Поразительно, как в шестидесятых годах, уже после развала крепостничества, все еще были сильны эти дворянские привычки и прихоти — даже среди либералов, искренне ушедших в демократию! Эти люди, мнившие себя передовыми бойцами, верными делу «прогресса», — как по-дворянски они были изнежены, как развратил их рабий крепостнический быт, который они

отвергали в теории. Как были они ленивы, безвольны, беспутны! Как были они неготовы к той роли, которую взвалили на себя добровольно. Они нагрянули в коммуны, как в родовую усадьбу, с няньками, кухарками, горничными, — с дворянским щегольством, мотовством, безалаберностью, не умея отказаться ни от раутов, ни от цветов, ни от вин, ни от долгого лежания на диванах, ни от холеных ногтей, ни от сдобных булок, ни от шелковых платьев, ни от якшанья со всякой «салонной сволочью».

Как бы ни льнули они к разночинцам, рано или поздно их неестественный союз должен был кончиться крахом. Это и произошло весной 1864 года, когда, окончательно убедившись, что дальнейшая совместная жизнь немыслима, они разъехались в разные стороны, — кто к себе в деревню, в Тверскую губернию, кто в конуру на Васильевском острове.

Конечно, помогла и полиция. Мать Слепцова вспоминала впоследствии: «общий труд не привился, он был еще не современен, да и полиция небывалую диковину стала преследовать, так дело и кончилось». — «Городовые бессменно торчали у подъезда квартиры коммуны», — свидетельствует Авдотья Панаева.

Неуспех коммуны оказался до такой степени наруку прагам нигилизма, что вскоре два реакционных писателя воспользовались — каждый по-своему — историей этой коммуны, чтобы опозорить эпоху шестидесятых годов. Я говорю о романе «Панургово стадо» Всеволода Крестовского и о романе Лескова «Некуда». Останавливаться на них мы не будем, отметив лишь, что в «Некуда» к Слепцову предъявлено обвинение в ярко выраженных дворянских наклонностях, то есть в том самом, в чем его обвинили «бурые», вроде Маркеловой и Николая Успенского. Лесков не может простить Слеп-

цову ни его щегольских пиджачков, ни его изящной прически, ни его аристократическо-мягкого говора. Кажется, если бы Слепцов превратился в одного из тех лохматых уродов, какими принято было в реакционное время изображать нигилистов, Лесков охотно примирился бы с ним. Но барские привычки Слепцова до такой степени возмущают его, что ими он готов объяснять даже безвременную гибель коммуны:

«Вместо чистых начал демократизма и всепрощения вы ввели в коммуну самый чопорный аристократизм», — вот его приговор над Слепцовым и над общественной работой Слепцова.

VI

Но не дико ли, что все писавшие о слепцовской коммуне: и ретроград Лесков, и радикал Скабичевский, и бурый нигилист Николай Успенский, и салонная нигилистка Екатерина Жуковская, все как будто нарочно забыли, что Слепцов был не только автор этой неудачной затеи, но один из самых замечательных писателей шестидесятых годов, в творчестве которого с необыкновенной рельефностью сказались самые боевые тенденции этой эпохи.

Тот Слепцов, который выведен в «Некуда», не мог бы, конечно, создать ни «Питомки», ни «Трудного времени», не говоря уже о замечательных оставшихся и владимирских письмах.

Даже туповатая Ценина, совершенно игнорируя его сочинения, смотрит на него сверху вниз и с большим самодовольством отмечает, после всякого столкновения с ним, что она и находчивее, и умнее, и честнее его. а он пассует перед нею на каждом шагу, подавляемый ее нравственной мощью и сокрушительной логикой.

Скабичевский, опять-таки забывая о нем, как об авторе, третирует его как пустозвонного и мелкого лодыря, а между тем стоит только раскрыть книги Слепцова — где придется, на любой странице, чтобы все написанное о нем в мемуарах сразу оказалось клеветническою ложью. Из этих мемуаров никогда не поймешь, как же могло случиться, что такой балованный щеголь вдруг отказался от всяких комфорта и с котомкой за плечами пошел на заводы, на фабрики, на постройку железной дороги обличать кулаков и подрядчиков в эксплуатации рабочего люда и обличать не либеральными фразами, а цифрами и фактами, как и подобает рабкору. Чтобы добыть эти цифры и факты, он, дэнди, ночевал в клоповниках и курных избах, замерзал как нищий в морозные ночи под чужими окошками, мыкался по больницам, по рабочим баракам, и фабриканты гнали его чуть не метлой, а мужики кричали ему: «алырник, шувалик», «куда тебя черти носят!» — и нередко он так изнемогал в дороге, что должен был делать усилия, чтобы не упасть лицом в снег. Об этом Слепцове все мемуаристы почему-то молчат. Этого Слепцова как будто никогда не бывало, а существовал только холеный фат. баловень светских женщин «Он и женским вопросом, — говорят вспоминатели, — занимался специально для амуров: помогал только хорошеньким, а старухи и некрасивые хоть и не подходят к нему».

Николай Успенский так и напечатал в своих мемуарах, будто от чрезмерного занятия женским вопросом Слепцов заболел чуть не спинною сухоткою, от которой и скончался в цвете лет.

Все это можно высказывать опять-таки при полном забвении писаний Слепцова, где столько тревоги и боли о женщине-работнице, женщине-матери. Как относился Слепцов к феминизму, можно видеть не только из его

знаменитой «Питомки», которую Лев Толстой никогда не мог читать без слез, не только из повести «Трудное время», но также из одной его статейки, не вошедшей в полное собрание его сочинений и напечатанной в журнале «Женский вестник». В этой статейке указывается, что никакого женского вопроса самого по себе нет и не может быть, ибо раскрепощение женщины тесно связано с раскрепощением трудящихся. Конечно, все это выражено очень туманно, так как статейка появилась вскоре после террора каракозовских дней, но всякий, кто умеет разбираться в иносказаниях публицистики шестидесятых годов, увидит, как широко и серьезно понимал этот оклеветанный автор так называемый женский вопрос и каковы были те побуждения, которые заставили его в 1863 году основать нечто вроде ассоциации для женщин, учить их переплетному и типографскому делу, читать им популярно-научные лекции и вовлекать их в коммуну. Коммуна не удалась, как мы видели, но тот, кто знаком с его книгами, знает, что коммуна была для него не случайная прихоть, а серьезнейшее дело его жизни. Правда, дело оказалось ему не под силу, но можно ли сомневаться, что весь его жизненный опыт, все его тогдашние наблюдения над русской действительностью привели его к искренней вере в необходимость и желательность коммунального быта. Ведь перед тем, как устроить коммуну, он только что вернулся из скитаний по захолустьям России и напечатал в журналах целую серию писем о своих дорожных впечатлениях. Эти письма превосходны и могут служить образцом для нынешних наших рабкоров, ибо в них, не довольствуясь декоративною стороною явления, он всюду добирается до сути и не успокаивается, пока не найдет тех глубокоскрытых пружин, которые там, под спудом, управляют человеческими жизнями.

Какими только великолепиями ни щеголял, например, перед ним уездный городишко Осташков — и театром, и банком, и школой, и библиотекой для чтения, — но все эти декорации не обманули Слепцова, и он ясно увидел за ними изнуренные зелено-желтые лица полуголодных ремесленников, которых держит в безвыходной кабале темная шайка дельцов, изображающая из себя их благодетелей.

И в других своих очерках — о постройке железной дороги — Слепцов опять-таки добрался до самых корней экономики, до той грабительской организации труда, благодаря которой каждый рабочий на этой постройке становится бесправным рабом целой иерархии узаконенных хищников — и при этом ясно показал, что здесь дело не в отдельных грабителях, а в государственной системе, которая только и держится ими.

Эта редкостная способность к анализу социальных явлений, эта зоркость к экономической подоплеке человеческих действий и дала ему впоследствии возможность написать до сих пор неоцененное «Трудное время», где пышным декларациям либеральных фразеров противопоставляются подлинные факты их хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность — всякая — была в центре его тогдашних писаний, и он отдал весь свой изящный, а бы даже сказал: грациозный талант, чтобы разоблачить ее истинный смысл. Без воплей и патетических жестов, сдержанно, сухо, а даже как будто застенчиво, при помощи одних только легких и беглых штрихов, он изображал те многообразные методы отлично-налаженного высасывания человеческой крови, которыми изобиловала тогдашняя Русь. Можно представить себе, с какой пылкостью взялся он, по приезде в столицу, тотчас же после своих осташковских писем, создавать такую организацию быта, которая

была бы построена на других — более праведных — началах.

Вот что вспоминал его брат о той полосе его жизни: «примкнув к кружку Чернышевского, Слепцов (по приезде в Питер) был охвачен господствующими среди молодежи идеями коммунизма» — и мы только что видели, что теми впечатлениями, которые незадолго до этого он вынес из своих блужданий по России, он был вполне подготовлен к восприятию этих идей. Недаром из «Северной Пчелы» и «Русской Речи» он именно тогда перешел в «Современник», где все было полно Чернышевским, только что заключенным в тюрьму. И «Трудное время», задуманное им в тот же период — в эпоху коммуны — является лучшим документальным свидетельством, как велико было влияние Чернышевского на его тогдашние верования. Отметим кстати, что в последней главе этой повести Слепцов первоначально поместил еле заметный намек на трагическую судьбу Чернышевского, уничтоженный впоследствии цензурой.

Так что те очень многие авторы, которые считают коммуну Слепцова легкомысленной, беспринципной затеей, обнаруживают полное незнание его тогдашней идейной позиции.

Но верно и то, что, как бы искренне ни был он предан идеям боевых разночинцев шестидесятых годов, — в личной жизни, в быту он никогда не умел слиться с этими людьми до конца и был в их среде чужаком. В одном из своих неизданных писем, относящихся к позднему времени, он в шутку выражает боязнь, как бы его не поставили на одну доску с Решетниковым. Это была шутка, и Решетникова он очень любил, но в этой шутке была доля правды, ибо вся его — не вина, а беда — заключалась в том, что он «ушел в разночинцы» из барской усадьбы и до самой смерти не мог

уничтожить в себе свою ненавистную барственность. Как он ненавидел ее, видно из его повести «Хороший человек», где он выступил в новом облици кающегося дворянина семидесятых годов. Но несмотря на всю горячность его покаяния, он — в личной жизни, в быту — так и не мог избавиться от своего тяжелого наследия.

Слепцов героически отрекся от этого прошлого, безоглядно ушел в нигилисты и связал с ними всю свою деятельность, но переродиться, конечно, не мог и до конца дней по всему житейскому своему обиходу был весьма далек от их быта, что не могло не сказаться на основанной им коммуне. Все его симпатии были конечно на их стороне — недаром в том поединке между семинаристом Рязановым и либеральным дворянином Щетининым, который происходит в «Трудном времени», он является, так сказать, секундантом Рязанова, а к его противнику отнесется с брезгливым презрением, но в крови у него все же было мало рязановского — и это болезненно ощутили те «бурые», с которыми он попытался соединиться в коммуне.

Впрочем, коммуна явилась небольшим эпизодом в его разнообразной, богатой событиями жизни, и было бы жестоко судить о нем по одному эпизоду. Жизнь писателя — в книгах, и не странно ли, что книги Слепцова, такие близкие нашей эпохе, забыты, а эта неудачная горе-коммуна и до настоящего времени служит единственным напоминанием о нем.

К. Чуковский.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
ЖИЗНИ И РАБОТЫ СЛЕПЦОВА**

ЦЕНЗУРНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

**ОБЗОР КРИТИЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ
О ПОВЕСТИ «ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»**

БИБЛИОГРАФИЯ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1891

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И РАБОТЫ СЛЕПЦОВА

1836

17 июля. В Воронеже у тамбовского помещика Алексея Васильевича Слепцова и жены его Жозефины Адамовны (урожденной Вольбутович-Паплонской) родился сын Василий.

1847

Василий Слепцов поступает во второй класс Первой московской гимназии.

1849

Переезжает вместе с родителями в Сердобский уезд Саратовской губернии, где его отец получает в наследство село Александровку.

1850

Поступает в третий класс Пензенского дворянского института.

1853

Январь. В церкви института во время богослужения громко заявляет о своем неверии в бога.

Исключен из Пензенского дворянского института — «за кощунственное поведение в церкви».

Весна. По желанию родителей готовится к поступлению на военную службу.

Август. Держит вступительный экзамен при Московском университете и поступает на первый курс медицинского факультета.

1854

Увлекается театром, знакомится с артистом М. С. Щепкиным и, охладев к медицине, покидает университет. Получает ангажемент на первые роли в Ярославль. Дебютирует в роли Хлестакова.

1854—1855

В течение всего сезона выступает в ярославском театре под псевдонимом Лунина.

1855

Возвращается из Ярославля в Москву.

1856

Женится на кордебалетной танцовщице Московского театра Екатерине Александровне Цукановой.

1857

Смерть жены.

1858

Женится вторично — на дочери тверского помещика Языкова, сестре известного адвоката Языкова 2-го.

1860

Сходится в Москве с литературным кружком графини Салиас де Турнемир, знакомится с Лесковым. Сближается с группой студентов-революционеров.

Отвозит жену в имение, оставшееся после отца, продает свою часть брату и, по предложению этнографического общества, отправляется пепиком во Владимир на

Клязьме «для описания тамошних фабрик и строившейся в то время французами железной дороги».

4 ноября покидает Москву.

9 ноября пишет очерк «Французские рабочие на русских железных дорогах».

1861

Апрель. В «Русской Речи» — «Из путевых заметок».

Май. В «Русской Речи» — «На выставке».

Август, октябрь, ноябрь, декабрь. В «Русской речи» — «Владимирка и Клязьма».

Поселяется в Петербурге, знакомится с Чернышевским, Некрасовым, Курочкиным, Благовещенским, Пыпиным, Михайловым-Шеллером, Салтыковым-Щедриным, Ткачевым. Сближается с редакцией украинского журнала «Основа».

Посещает город Осташков Тверской губернии.

1862

Май. В «Современнике» начало «Писем об Осташкове».

Июнь. Из осташковской публичной библиотеки изъята майская книжка «Современника», где начаты печатанием «Письма об Осташкове».

Осень проводит в деревне.

Сентябрь. В «Отечественных записках» — «Спевка».

29 декабря. Салтыков пишет Некрасову: «Слепцов обещал привезти ко мне завтра (в редакцию «Современника») некоторого остроумца для «Свистка» (В. П. Буренина).

Сближается с Артуром Бенни и Прыжовым.

1863

Январь, март, июнь. В «Современнике» — «Письма об Осташкове».

Февраль. Работает в газете Елисеева «Очерки». Хлопочет о денежных и литературных делах украинской писательницы М. А. Маркович (Марка-Вовчок), живущей за границей.

23 февраля. «Работы много, дела идут хорошо».

16 апреля. Сообщает Маркович о прекращении «Очерков»: «Газета прекратилась внезапно, так что и редактор не знал об этом накануне».

Май. В «Современнике» — «Сцены в больнице».

22 июня. Цензурный комитет, рассмотрев «Письма об Осташкове», требует исключения мест, относящихся к личностям».

Июль. В «Современнике» — «Питомка».

14 июля. Уезжает из Петербурга на дачу.

27 июля. Возвращается в Петербург.

28 июля. Сообщает Маркович в Париж о гонениях правительства на литературу. «Кто это так бесчеловечно посмеялся надо мной, сказал вам, что я жизнью тешусь. Я не могу придумать для этого человека лучшего мщения за насмешку, как пожелать ему тешиться жизнью точно так, как я ею тешусь, особенно теперь в России, когда можно различать людей только по тому, как они себя чувствуют в настоящую минуту».

Сообщает Маркович о перлюстрации писем на почте.

Июнь — июль. Исполняет обязанности секретаря редакции журнала «Современник».

23 августа. Жалуется на безденежье. «Теперь самое скверное, нищенское время для всех пишущих».

Август. Начинает хлопотать об устройстве коммуны. Приглашает Маркелову, Ценину, Головачева.

Сентябрь. Открытие слепцовской коммуны в Петербурге на Знаменской улице.

24 октября. Обращается в редакцию «Современника» с просьбой уплатить гонорар его брату за помещенные в этом журнале «Педагогические беседы».

Ноябрь. В «Современнике» — «Ночлег».

26 декабря. Устраивает в Знаменской коммуне литературно-музыкальный вечер с участием: писателей Салтыкова-Щедрина и Василия Курочкина, артистов Горбунова и Максимова, а также композитора Серова.

1864

— Организует в Знаменской коммуне научно-популярные лекции для женщин.

— Петербургская полиция устанавливает тайный надзор за Знаменской коммуной.

— В Знаменской коммуне происходят разногласия и ссоры.

Май. Конец Знаменской коммуны.

1865

Апрель, май, июль, август. В «Современнике» — «Трудное время».

Осень. Окончательно расходится с женой.

28 ноября. Просит артиста Горбунова устроить на службу в Мариинский театр вольноотпущенного Николая Мигулина.

1866

Апрель — май. В связи с каракозовским выстрелом подвергается аресту и семинедельному заключению в Александро-Невской части.

Июнь. Организует редакцию «Женского вестника».

Июнь — сентябрь. Работает в редакции «Женского вестника», вместе с Ткачевым, Благовещенским и Михайловым-Шеллером.

1 октября. Уходит из редакции «Женского вестника».

1867

15 марта. Письмом в редакцию «С. Петербургских ведомостей» сообщает о денежных недоразумениях с издательницей «Женского вестника».

Сентябрь — октябрь. Живет в деревне: «беспорядок в доме невероятный, окна и двери изломаны, в зале сложены кирпичи, а печей нет. Мы сами стираем, дрова рубим в лесу тоже сами и печку топим. Теперь, по случаю обносившейся обуви, я принялся чинить сапоги».

4 декабря. Посещает Писарева и беседует с ним «о литературных делах текущей минуты».

7 декабря. Завтракает с Писаревым в гостинице «Москва», сообщает ему разные литературные и политические новости.

Начинает работать над романом «Хороший человек».

1868

Январь. По приглашению Некрасова вступает в обязанности секретаря обновленных «Отечественных записок».

Январь — февраль. В «Отечественных записках» — «Записки метафизика».

Июнь. По поручению Некрасова отправляется в Ригу привезти оттуда в Петербург тело утонувшего Писарева.

1869

9 июня. Салтыков — Некрасову: «Слепцов уверяет, что пишет свой роман, но кончит ли к осени, поручиться нельзя.

Октябрь. Живет в Петербурге в Ковенском переулке и продолжает трудиться над романом.

1870

12 апреля. Некрасов обращается к члену литературного фонда П. В. Анненкову с просьбой выдать Слепцову пособие: «кроме пользы для его здоровья, общество сделает пользу литературе, ибо даст Слепцову возможность кончить на свободе и спокойно большой роман, которым он давно занят».

6 августа. Живет на станции Заречье, Николаевской железной дороги, сообщает оттуда Некрасову, что им совершенно закончены первые главы давно задуманного романа «Хороший человек».

1871

Февраль. В «Отечественных записках» начало романа «Хороший человек».

Март. Цензор Лебедев доносит в главное управление по делам печати о «резкости и неблагонадежности» отдельных мест романа «Хороший человек».

Март — июнь. Неблагоприятные отзывы прессы о начале романа «Хороший человек».

1872

Жалуется на серьезное недомогание.

Освобождается от обязанностей секретаря редакции «Отечественных записок».

1873

Заболевает язвой прямой кишки и по совету доктора Бокова едет лечиться на Кавказ.

25 октября. Некрасов посылает ему сто рублей.

1874

Зима. Живет в Тифлисе. Поступает на тифлисскую сцену. Дебютирует в своих «Сценах у мирового судьи» (?).

1875

Продает собрание своих сочинений для повторного издания в Москве.

Возвращается в имение брата.

Лето проводит под Москвой, в Петровско-Разумовском, вместе с профессором Иванюковым.

Знакомится с 24-летней дочерью директора Петровско-Разумовской академии — Лидией Филипповной Королевой-Ломовской; находит у нее большой литературный талант.

Ломовская уезжает из дому и, вопреки воле родителей, становится его гражданской женой.

1876

Новый приступ болезни.

Поездка к Пирогову в Волынскую губернию.

По совету Пирогова вторично посещает Кавказ.

Осенью поселяется в имении брата.

1877

Едет лечиться в Петербург.

Останавливается на Надеждинской улице (на углу Ковенского переулка). Посещает Боткина, Полотебнева, Скифассовского, Богдановича, Карпинского, Тарновского,

Гудиева и других выдающихся столичных врачей. Они признают у него рак прямой кишки. Испытывает острую нужду. «Все деньги уходят на лечение».

25 апреля. Обращается к Салтыкову с просьбой довести до сведения комптета Литературного фонда, что ему необходимо получить пособие 300 рублей».

Его посещает Авдотья Панаева.

Май. Уезжает на кумыс в Беково (Саратовской губернии).

Июнь. Не веря диагнозу петербургских врачей, едет в Киев и Харьков посоветоваться с тамошними специалистами.

Июль. Снова приезжает на Кавказ, на минеральные воды. Страдает от сильного безденежья.

Ломовская, оставив его в Пятигорске, уезжает в Москву, чтобы достать денег на его лечение у богатых почитателей его таланта. Ее попытки безуспешны.

Поселяется в Таганроге.

Под влиянием морского климата заболевает лихорадкой.

Сентябрь. Из Таганрога переезжает в Куракино.

1878

Февраль. Возвращается к матери в город Сердобск.
23 марта умирает.

ЦЕНЗУРНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ, УСТРАНЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

- Стр. 108. Была выброшена духовной цензурой цитата из катехизиса: «уверенность в невидимом, как бы в видимом».
- Стр. 125—126. Бог, по требованию духовной цензуры, был заменен Моисеем; вместо «Кто, говорю, мир сотворил?» было напечатано: «кто, говорю, вывел Израиль из Египта?»
- Стр. 128. Духовная цензура зачеркнула строку: «вот, братец мой, хрест-от даром пропал».
- Стр. 136. Были выброшены такие слова: «Мы будем делать великое дело, которое может быть погубит нас и не только нас, но всех наших, но я не боюсь этого». Цензор принял эту тираду всерьез, не сообразив, что автор относится к ней иронически.
- Стр. 137. Слова Марьи Николаевны про общее благо были смягчены таким образом: «если бы видела, что от этого польза не для нас одних».
- Стр. 143—144. Цензура вычеркнула указание на то, что капитан, ругавший солдат, «и сам был пьян». После возгласа: «Я тебе покажу!» было выброшено «твою мать», после «в гроб заколочу» две строки:

«— С радостью ...
Бац».

- Стр. 155. В строке:
«Я смирно... Истинный бог... подлец хочу быть!» духовная цензура выбросила слова: «истинный бог» (должно быть потому, что истинного бога грешно упоминать наряду с подлецом!)

- Стр. 156—157. В двух предыдущих изданиях эпизод с посвящением купца был изложен до такой степени сбивчиво, что невозможно было понять, о чем идет речь. Вместо слов «происходило посвящение купца Стратонова» было напечатано: «Судья сидел в кресле, а прочие стояли».
- Вместо «Аксиос, аксиос!» было: «какие-то слова».
- Стр. 175. Духовная цензура выбросила фразу священника: «Так как, можно сказать, служитель алтаря, ну, оно, знаете, странно».
- Стр. 185. Из двух последних изданий были изъяты слова: «и конституции и проституции...» Слова «Великая хартия вольностей» вставлены нами на основании собственноручной записи Слепцова на экземпляре «Трудного времени» (изд. 1866 г.).
- Стр. 185—186. Духовная цензура исключила две фразы от слов «А третий» до «первое средство».
- Стр. 188. Было выброшено: «Почему же вот он не беден?»
- Стр. 193—194. Вместо отрывка о партизанской войне (от «И что крюковские» до «не наше дело разбирать») в двух предыдущих изданиях помещены три строки: «Хм. Хороша война! Стало быть везде, где есть мошенники, там и война?» — «Там и война».
- Стр. 204. Было выброшено: «и драли-то их».
- Стр. 216. От слов: «А что, бумага, которую» до «выговаривает старшина» было выброшено.
- Стр. 218—221. Было выброшено четыре страницы от слов: «В это время» до «Ямщик, трогай».
- Стр. 225. Вместо «как собак» было напечатано: «как грибов».
- Стр. 233. От слов «А насчет той бумажки» до «Молодец!» было выброшено.
- Стр. 235. Была зачеркнута строка об избитом крестьянине: «с полу вставал мужик, дико ворочая глазами».
- Стр. 236. Вместо «марсельезу» было напечатано «марш».
- Стр. 238—239. Духовная цензура исказила весь абзац, относящийся к богу-отцу. Вместо слов «бог-отец, сидящий на воздухе; только воздух был так гадко нарисован, точно будто Саваоф сидит на яйцах»

были напечатаны такие слова: «на котором был нарисован старик». Слово «иконка» было заменено словом «картинка». В конце главы был вычеркнут разговор о том, боится ли Щетинкин его (т. е. бога).

Стр. 248—249. Был выброшен обширный отрывок от слов: «батюшка выпил» до «На здоровье! — сказала Марья Николаевна».

Стр. 251—252. Был выброшен обширный отрывок от слов: «Так и запишем» до «запер за собою калитку».

Стр. 264. Вместо слов «вообще каким-то кадетским корпусом» было напечатано «а скорее больницею».

Стр. 278. Слова: «икс такой есть — неизвестный, так вот в нем-то вся и штука» были в двух последних изданиях выброшены.

Стр. 279. Отрывок из псалтыря «сидящих на реках вавилонских» был выброшен духовной цензурой.

Стр. 284—285. Вместо большого отрывка (от «Одни умирают» до «этого успеха») было напечатано следующее:

«Марья Николаевна вздохнула и задумалась:

— Да, — рассуждал между тем Рязанов: — есть добрые люди: они вас там приютят... да, впрочем, сами увидите.

— А вы? — с удивлением спросила Марья Николаевна.

— Нет, я уж так как-нибудь обойдусь собственными средствами.

— А почему же? Разве вы не верите в успех какого-либо дела?

— Как не верить? Успех бывает...»

ОБЗОР КРИТИЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ О ПОВЕСТИ «ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»

Едва только «Трудное время» было напечатано в журнале, Писарев, заключенный тогда в каземате Петропавловской крепости, написал о новой повести большую статью, где выразил горячее сочувствие ее анти-либеральным тенденциям. В этой статье сказалось такое глубокое понимание идейной позиции автора, какого не обнаружил никто из тогдашних истолкователей повести. Объяснив «Трудное время» замечательным литературным явлением, он отнесся к Рязанову с большим пиететом, так как считал, что в его лице совместились «беспощадный анализ» и «неподкупная честность». «Рязанов — один из блестящих представителей моего излюбленного базаровского типа», — говорит он в начале статьи, и в его устах это — величайшая похвала, потому что, как известно, Базаров явился для него образцом современного общественного деятеля. Вполне разделяя презрение, питаемое разночинцем Рязановым к либеральному помещику Щетинину, Писарев указывает, что этот Щетинин есть только что народившийся в России тип буржуа-либерала, которому в самое ближайшее время суждено разрастись и сыграть весьма неприглядную роль в нашей общественной жизни. Насколько это было возможно при тогдашних цензурных условиях, он намекает, что Щетинин, по своей классовой сущности, есть верный собрат тех прославленных деятелей эпохи великих реформ, которые осуществляли тогда преобразовательные начинания нового царствования.

«Последнее десятилетие нашей литературы было посвящено акклиматизированию европейского либерализма на обширных и холодных равнинах России или.

другими словами, прививанию гражданских доблестей и гуманных идей к девственным умам и сердцам наших возлюбленных соотечественников. Успех гуманизирующих операций превзошел самые смелые ожидания. Во всех наших городах и почти во всех наших селах уже томятся, изнывают, лепечут, грациозничают и миндальничают тысячи тшдешных субъектов, в которых все почтенные европейские либералы, от графа Росселя до Юлиана Шмидта, будут принуждены узнать своих младших братьев, еще робких и неопытных, но уже способных выводить тоненьким дискантом некоторые модуляции общелиберального мяукания. Теперешняя робость и неопытность наших подрастающих либеральчиков не должны внушать ни малейших опасений за будущее процветание российского либерализма. Роль либерала так многосложна, труд его так утомителен, путь его усеян сплошь такими крупными и острыми терниями, что в одно десятилетие нет никакой возможности усвоить себе ту невозмутимую ясность взоров и ту безукоризненную солидность поведения, которыми непременно должен отличаться опытный либерал, созревший в великой школе балансирования, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее. Главная обязанность либерала состоит, как известно, в том, чтобы всем выражением своей физиономии, всеми своими словами и всем внешним видом своих поступков заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великим идеям и интересам, которые возбуждают в нем почти такие же чувства, какие персидская ромашка возбуждает в клопе. Все усилия либерала должны постоянно направляться к тому, чтобы все его поступки противоречили всем его словам и чтобы это противоречие оставалось постоянно совершенно незаметным для той бесхитростной сермяжной публики, которую следует убаживать и растрогивать либеральными представлениями. Если же противоречие сделается чересчур очевидным, то либерал должен тотчас объяснить с надлежащей торжественностью, что уважение его к великим принципам остается неизменным, но что обстоятельства места и времени, к сожалению, требуют себе довольно значительных уступок, из которых однакоже для всей почтенной публики не произойдет ничего, кроме существенной пользы и великого удовольствия. Либе-

рал должен постоянно стремиться и порываться вперед, не двигаясь с места и тщательно удерживая других людей от всего того, что становится похожим на действительное движение. Кто из либералов поумнее, тот проделывает все эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого он надувает. Кто попроще, — и таких несравненно больше, — тот либеральничает чистосердечно, не замечая в своей особе и в своей доктрине никаких внутренних противоречий, рассуждая по наслышке, поступая по привычке и с детской беспечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожают друг друга и что знамя великих идей водружается над кучей сора».

Таким образом, Писарев, как мы видим, хорошо понимает, что Щетинин есть тип широко обобщенный, включающий в себе основные черты европейских буржуазно-либеральных политиков, таких, как Гладстон, Кавур или Россель. Предвидя, что реакционная и либеральная пресса возьмет Щетинина под свое покровительство, Писарев заранее указывает, что эта защита гуманного эксплуататора трудящихся масс будет в сущности самозащитой.

«Не подлежит ни малейшему сомнению, — говорит он, — что очень многие читатели, — например, все любители и клиенты «Московских Ведомостей», — назовут Рязанова отъявленным негодяем, разрушающим семейное счастье достойнейшего человека, а Марью Николаевну — взбалмошной бабой, неспособной оценить мягкость и великодушие нежнейшего из супругов и щедрейшего из землевладельцев. Все это в порядке вещей. Если бы эти господа читатели осмелились осудить Щетинина, то им пришлось бы произнести строжайший приговор над своими собственными особами. На это не решится почти никто. Так как число этих читателей, закупленных своим положением, очень значительно и так как понятия, господствующие в нашем обществе, составляют почти исключительно из их пристрастных суждений, то я поставлен в необходимость говорить довольно подробно о таких простых истинах, на которые при других условиях достаточно было бы указать мимоходом. Мне теперь приходится доказывать то, что для мыслящих людей не требует никаких доказательств, — именно то, что Щетинин — совершенная дрянь и что

он, попавши в фальшивое положение, неизбежно должен был сделаться дрянью, даже в том случае, если бы природа одарила его не совсем дюжинными способностями».

В заключение Писарев приводит свой воображаемый разговор со Щетининым, из которого явствует, что, несмотря на всю свою гуманность, Щетинин — гнусный паразит (см. сочинения Д. И. Писарева, П. 1894, т. V, «Подрастающая гуманность»).

Хвалебная статья Писарева появилась в «Русском Слове». Одновременно с этой статьей в умеренно-либеральных «Отечественных Записках» была напечатана ругательная статья А. Е. Зарина (Инкогнито) «Четыре повести и один пономарь». Либеральный критик пламенно восхвалял либерала Щетинина и клеймил позором его антагониста Рязанова («Отечественные Записки», 1865, 12). Выдержки из этой статьи приведены в настоящем томе, на стр. 20 и 21.

Умеренный петербургский «Голос», орган либералов-постепеновцев, тоже, конечно, взял под свою защиту либерального дворянина Щетинина. Повесть вообще показалась ему «туманной», «фальшивой» и «резкой», а Щетинин — оклеветанным праведником.

«... Не менее осязательно обнаруживается отсутствие творчества в повести г. Слепцова «Трудное время». В самый разгар крестьянской реформы, в деревню к молодому помещику, который недавно женился, приезжает погостить на лето университетский товарищ Рязанов, из семинаристов. Щетинин, при сочувствии к эмансипации, недоволен и часто ропщет на то, что хозяйство его идет плохо. С женою у него полное согласие. И вот приезжий гость с первого шага начинает преследовать хозяев какими-то неопределенными, но резкими и грубыми сарказмами. Во все время он не дает Щетинину ни одного практического совета, ни разу не высказывает положительно своего взгляда на дело, а постоянно отличается насмешками и топорными сарказмами. Ко всему относится он с грубым скептицизмом, хотя вы и не понимаете, во имя каких идей и принципов. Это какое-то

медвежье, тупое отрицание. И что же! Щетинина, зная доброту и гуманность мужа, уезжает от него, потому что из выходов семинариста заключила, будто она в семействе играет только роль кухарки. Что ж? — полюбила, что ли, она этого неотесанного грубияна, который постоянно говорил ей дерзости? К нему, что ли, уезжает она от мужа? Вовсе нет, — она едет неизвестно куда и не зная зачем, а Рязанов уезжает в Петербург, где он сотрудничает при каком-то журнале.

Этот туманный и фальшивый сюжет обставлен у г. Слепцова бесчисленным множеством вводных сценек, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях и нанизанных теперь в один рассказ с целью показать вам современную русскую жизнь. Это пестрый калейдоскоп, где мелькают, сталкиваются и группируются крестьяне, солдаты, лавочники, извозчики, старосты, помещики, мировые посредники, где вы видите и деревенскую сходку, и земство, и мировой съезд — и все это как будто сквозь выпуклое стекло, от которого все предметы кажутся в преувеличенном виде, с резкими выпуклостями» («Голос», 1866. № 67).

Столь же тенденциозное непонимание основного сюжета повести проявила и другая либеральная газета «С.-Петербургские Ведомости».

«В «Трудном времени» автор делает попытку провести те идеи «отрицания», которые бесспорно увлекают многих наших беллетристов и которым эти последние оказывают весьма плохие услуги... Г. Слепцов тоже не совсем ловко и удачно послужил отрицательным идеям. Как его герой, так и вся повесть вышли не чем иным, как довольно тощими продуктами раздражения «пленной мысли». Характер героини так же мало удачен, как и характер героя: дама, фигурирующая в «Трудном времени», чтоб немного говорить о ней, — просто глуповата. Гораздо удачнее и даже совсем удачно нарисован Иван Степанович, сельский политик и администратор, оказывающийся далеко умнее и, даже скажем к ужасу Слепцова, много радикальнее Рязанова. Кроме этого живого лица, повесть представляет ряд фотогра-

фических сцен, связанных между собою только внешним образом». (См. «С.-Петербургские Ведомости», 1866, № 26).

Трудно понять, почему тупой черносотенец, зверски избивавший мужиков, радикальнее, чем испытанный революционный боец.

«Книжный Вестник», орган радикальной молодежи, вступился за нигилиста Рязанова, отметив, однако, что временный упадок революционной активности делает его весьма далеким от того идеала, который ставит перед собой молодежь:

«... В повести «Трудное время» Слепцов уже не ограничивается разрозненными наблюдениями над действительностью, но пробует осветить их одной общей тенденцией. Его Рязанов если и не может служить идеалом для современной молодежи, то, во всяком случае, верно воспроизводит тип людей, создавшихся под влиянием последних событий в нашей жизни и литературе. Это не карикатура на молодежь, вроде Базарова, сделанная с злостной целью скомпрометировать все лучшие стремления последних годов. Рязанов не лезет на пьедестал, не болтает таких бессмысленных и компрометирующих фраз, как тургеневский герой: где и когда Рязанов отрицает искусство? где высказывает он цинические взгляды на женщину или афоризмы вроде: «Мы отрицаем — и баста»? Ничего подобного нельзя найти в умной повести Слепцова». («Книжный Вестник», 1866. 5).

Через два года «Трудному времени» посвятил большую статью знаменитый русский якобинец Ткачев, находившийся тогда под сильным влиянием Маркса.

Он воспользовался этой повестью, чтобы сделать марксистский анализ тех экономических причин, которые побуждают женщин, подобных Марье Николаевне Щетининой, бросать семью и идти в революцию.

«... Отечество наше изобилует, повидимому, контрастами самыми неудобобъяснимыми, явления ... с самыми противоположными свойствами уживаются у нас совершенно миролюбиво ... В то время, как одна часть общества продолжает вести жизнь «по образу и подобию» своих предков XIV в., другая часть реформирует

ее сообразно с последними выводами общественной науки о нравственной философии.

Миросозерцание людей и характер их деятельности всегда определяются условиями их экономического быта... Еще недавно крепостное право управляло всеми нашими экономическими отношениями, всеми житейскими и нравственными интересами... Но крепостной труд и... связанное с ним тунеядство до того расстроили всю нашу хозяйственную систему, что сделали совершенно необходимым коренное преобразование ее. Отсюда недовольство и, как следствие его, критическое отношение к явлениям окружающей жизни. Экономическими соображениями весьма легко и удобно объясняются и примиряются контрасты в явлениях нашей общественной жизни... Ни в одном европейском государстве нет такого большого количества развитых женщин (по отношению к количеству развитых мужчин), как в России, но ни в какой другой стране на долю женщины не выпадает такая печальная судьба, как у нас... Как же могли среди таких неблагоприятных условий образоваться у нас те самостоятельно мыслящие женщины, которые, по степени своего развития, смело могут быть поставлены в ряды лучшей части нашей интеллигенции, которые, по своей чуткости и восприимчивости ко всякой новой мысли, ко всякому общественному движению, ничуть не уступают наиболее развитым и мыслящим мужчинам?

Теперь, когда за изображение «новых женщин» взялись люди более или менее беспристрастные, настало время и для критики сказать о них свое слово. Материалом нам будет служить повесть г. Слепцова «Трудное время». Женский характер, выведенный в ней, служит как бы идеалом нового типа женщин.

В эпоху крепостного права нашей интеллигенции не нужно было заботиться о насущном хлебе — он был обеспечен. Но по мере изменения экономических условий, по мере истощения крестьянского хозяйства и расширения государственного долга, сокращались ресурсы все большего количества так называемых «благородных сословий». Образовался целый класс, у которого не оказалось других источников существования, как умственный труд. Число женщин в этом классе было не меньше числа мужчин. Если они не хотели умирать с голоду или

продавать себя — они должны были начать самостоятельно трудиться. Они стали добиваться практической деятельности, заявлять о своих правах. А так как условия существования в этом новом классе людей были одинаковы для мужчин и женщин, то естественно у тех и других возникла идея равноправия. При слабом развитии нашей промышленности спрос на женский труд был слишком мал и потому большинство этих женщин вынуждены были обратиться к умственному труду. отсюда возникает среди женщин жгучая потребность в развитии, в образовании, в расширении умственного кругозора. Таким образом их мирозерцание и направление их деятельности совпали с мирозерцанием и направлением деятельности мужской интеллигенции.

Мы указали те общие экономические причины, которые вызвали и обусловили появление типа «новых женщин». Как эти общие причины отражаются на той или другой личности, как они действуют в том или другом случае, — это должен нам показать художник, взявшийся за изображение характера новой женщины. Но вот именно это-то и выпускают из виду наши романисты, — они представляют нам характер уже готовым, сформировавшимся, и заставляют самого читателя догадываться, почему именно он сложился так, а не иначе. Героиня «Трудного времени» Марья Николаевна Щетинина рекомендуется читателям в тот момент своей жизни, когда она уже достигла более или менее зрелого возраста и находится даже в замужестве за достаточным помещиком-либералом. Мы не знаем, среди какой обстановки она росла и развивалась, какие мысли, желания и стремления волновали ее в период юности. Только из одного разговора ее с мужем мы можем догадаться, что эти желания и стремления были несколько возвышеннее, чем у большинства барышень. «Вспомни, — говорит она, — ... ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело ... которое, может быть, погубит нас ... но я не боюсь этого ... Я и пошла. Конечно, я ... еще была глупа, я не совсем еще понимала, что ты ... рассказывал. Я только чувствовала, я догадывалась ... Я очень любила свою мать, я и ее бросила ... потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками ... а я огурцы солю, да слушаю, как

мужики бьют своих жен, — и хлопаю на них глазами... Какая гадость!» Это до некоторой степени приподымает завесу над юношескими стремлениями и мыслями героини. Господствующим ее стремлением было — стать полезной для других: «я бы с радостью пошла землю копать, если бы видела, что от этого польза не для нас одних». Мысль эта должна явиться в голове «новой женщины», как только она почувствует, что окружающая ее обыденная жизнь не может ее удовлетворить. Основная сущность ее характера состоит именно в том, что она не может удовлетвориться узким, эгоистическим счастьем филистера, она стремится к счастью более возвышенному, более широкому, которое немислимо без счастья целого народа. Такое настроение естественно вытекает из положения вновь народившегося у нас «среднего класса». резко отличающегося от среднего класса зап.-европейских стран, который, кроме личного труда, имеет другие средства к существованию. Положение нашего среднего класса не может быть названо прочно обеспеченным. А чем менее обеспечено положение человека, чем более чувствует он свою зависимость от других людей, тем рельефнее и яснее представляется ему необходимость полной солидарности человеческих интересов, тем скорее возникает в его уме убеждение, что личное счастье невозможно без счастья всего общества. При этом, с одной стороны, труд, на который обречена «новая женщина», с другой — в большинстве случаев бедная материальная обстановка ее жизни, мало способствуют развитию потребностей, имеющих по преимуществу чувственный характер, поэтому господствует стремление к удовлетворению умственных потребностей. Их не занимают моды и наряды, они не дорожат комфортом, они скучают на балах, зато с каким жаром бросаются они на всякую хорошую книгу, как любят разговоры о «материях важных», как страстно хотят учиться. Но окружающая их действительность почти ничего не дает им из того, чего они хотят, она не дает им никаких радостных надежд. Такое положение вещей невольно пробуждает в них горькое разочарование, презрение ко всей окружающей их пошлости и мелкости. Совершенно бессознательно они начинают относиться отрицательно ко всей своей жизненной обстановке и стремиться к деятельности, основанной на взгляде, противоположном узкому, филистерскому

эгоизму, начинают искать «великого дела», «настоящего дела», как говорит Марья Николаевна. Это стремление не имеет ничего призрачного, фантастического; оно реально. Оно логически и неизбежно вытекает из тех условий, в которых зародился тип «новой женщины», имеющий великое значение для целого народа. Это большая сила, которая может «горы двигать», так как ею руководит не расчет, а стремление к чему-то великому. И эта погоня за «великим» заставляет постоянно стремиться вперед, ведет к прогрессу.

Правда, сначала это стремление бессознательное. Марья Николаевна говорит мужу: «... я не понимала... но я... стремилась к чему-то великому и я верила, что мое бессознательное стремление найдет себе... удовлетворение». Она забыла или не знала, что она только тогда может получить удовлетворение, когда стремление из бессознательного превратится в сознательное. Что бессознательное стремление хотя и является силою, но силою только *in potentia*, непроизводительною. Чтобы оживить эту силу, чтобы из *возможности* перевести в *действительность* — нужно осветить ее разумом, вывести из области бессознательных ощущений в область сознательных мыслей. Она этого не знала. Она поверила Щетинину, а он и сам был в таком положении, как и Марья Николаевна. Он также имел очень смутное понятие о том, что надо делать и как. Поэтому, когда пришла пора действовать, оказалось, что это «великое дело» сводится к управлению имением, к охранению своего хозяйства от дерзких посягательств мужиков и дворовых. И чтобы не впасть в мучительный разлад с самим собою, Щетинин постарался уверить себя, что требования повседневной практической жизни в деревне вполне соответствуют его стремлениям, что поглотившая его практическая деятельность и когда-то любезное ему «великое дело» — синонимы. Он твердо убежден, что он приносит себя в жертву на алтарь отечества и общества. И когда Рязанов спрашивает его, что он «стало быть» совершил в пределе земном все земное» (отдал крестьянам землю, следуемую им в надел), он самодовольно отвечает, что «это только начало», что «тут-то вот и начинается настоящее дело, социальное». Но если Щетинин мог считать «социальным» делом усчитывание мужиков, охранение неприкосновенности своих полей и усадеб, наблю-

дение за полевыми работами, посещение съездов и т. п., то его жена уже никоим образом не могла смотреть на свои занятия с такой возвышенной точки зрения. В солинии огурцов да в созерцании, «как мужики бьют своих жен», при всей пылкости воображения невозможно увидеть ни тени, ни подобия какого бы то ни было социального дела. Ее стремления к «великому, настоящему делу» никак не могли примириться с той пошлой, мещанской обстановкой, удовлетвориться той мизерной ничтожной деятельностью, которая ее встретила в доме «либерального» помещика Щетинина. Ее деятельность была еще пошлее, еще мизернее, чем у мужа, и это предохранило ее от самодовольного филистерства, в которое скоро впал сам Щетинин. Поэтому-то женщине всегда труднее примириться с окружающей ее обстановкой и сферой деятельности, так как обычно ее дело мельче. И таким образом самая ограниченность ее прав обращается в ее же пользу. И общество обязано всеми мерами притти на помощь женщине на пути развития, чтобы таящаяся в ней сила, ее беззаветное стремление к «великому делу» принесло обильные плоды. В противном случае, она скоро устанет, выбьется из сил, упадет в отчаяние, и страстное стремление вперед сменится апатией, полнейшим индифферентизмом, холодным, безучастным отношением ко всему, что прежде возбуждало и волновало ее. Филистеры, видя такое настроение женщины, с радостью восклицают: наконец-то угомонилась, успокоилась! Но разве апатия — спокойствие? и индифферентизм — счастье? Обрекая женщину на неподвижность ее общественного положения, ограничивая круг ее деятельности кухней и гостиной, общество наказывает не одну ее: оно наказывает вместе с нею и само себя. Филистерство станет в таком обществе господствующим пороком, и общежитие, основанное на разумных и справедливых началах, делается неосуществимой утопией.

Итак, в интересах всего общества нужно, чтобы безотчетное стремление людей к «великому делу», характеризующее в особенности «новую женщину», не оставалось безотчетным, чтоб это «великое дело» представилось их уму в виде определенной, конкретной, вполне достижимой цели, а не в виде туманного образа.

А между тем обстановка, окружающая наших женщин, их воспитание, их жизнь немало не благоприят-

ствуют развитию в них ясного, сознательного мышления. Их воспитание настолько мизерно и нерационально, что часто недостаточно даже для домашнего обихода самой нетребовательной мещанской жизни. Вне же круга этой жизни оно уже и решительно непригодно. Оно не дает женщине ни прочного мирозерцания, ни твердых убеждений. Оно не дает ей никаких реальных оснований, чтоб уяснить себе порожденное условиями ее экономического положения безотчетное стремление к «великому, настоящему делу», чтоб она могла отчетливо представить себе цель этого стремления и средства к ее осуществлению. Будучи не в силах сама разрешить роковой вопрос «что делать?», женщина обращается за ответом к мужчине, но и от него, по большей части, не получает желанного ответа.

Это безвыходное положение новой женщины весьма живо и рельефно изображено г. Слепцовым».

Оценку марксистских воззрений Ткачева см. в книге Б. Козьмина «П. Н. Ткачев и революционное движение шестидесятых годов» (М. 1922, стр. 52—73).

К Рязанову Ткачев относится столь же враждебно, как и либеральные критики, но, конечно, на других основаниях; не заметив той системы иносказаний, недомолвок и намеков, при помощи которой Слепцов демонстрировал революционные убеждения Рязанова, Ткачев с обычной своей полемической резкостью объявил Рязанова «паразитом», «пустозвоном» и «филистером». Это мнение, весьма распространенное в критике, принадлежавшей к либеральному лагерю, прозвучало одиноко в тех литературных кругах, к которым принадлежал Ткачев, и, как мы ниже увидим, не встретило в революционной литературе никакого сочувствия. Впрочем, образ Рязанова затронут в этой статье мимоходом, ибо вся она посвящена выяснению общественно-экономической позиции Марьи Николаевны Щетининой.

В статье заключаются скрытые выпады против тех жилищных «коммун» и «артелей», которыми (под влиянием романа «Что делать?») увлекалась некоторая часть молодежи, видя в них панацею от всех социальных зол («Дело», 1868, 9—10).

В 1874 году престарелый беллетрист М. В. Авдеев, либерал-постепеновед, принадлежавший к поколению пя-

тидесятых годов, напечатал книгу критических очерков, посвященную характеристике героев и героинь Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Тургенева и других замечательных русских писателей. Повести Слепцова в этой книге отведена отдельная глава. Авдеев пользуется ею для того, чтобы показать, что революция потерпела в шестидесятых годах такой страшный разгром, от которого она уже никогда не оправится.

«... Вдруг в половине десятилетия из самой среды этих новых людей мы слышим стон, глухой и мучительный стон безвыходного отчаяния, стон, который может издать только человек, окончательно обессиленный в борьбе, разочаровавшийся во всех своих верованиях и убеждениях и в отчаянии опускающий руки. Мы говорим о повести г. Слепцова «Трудное время», самом талантливом и исполненном жизненной правды произведении поздней литературы.

«... Рязанов нарушает весь строй и порядок их (т. е. друга Щетинина, помещика, и его жены Марьи Николаевны) жизни. Совершается это совершенно помимо намерений Рязанова. Рязанов ни во что, повидимому, не вмешивается, ничему не учит, но он только не может удержаться, чтобы не указывать на непоследовательность, какая проявляется в каждом слове и действии Щетининых; он не протестует, но в каждом его слове, в его молчании даже, слышится горькая, плохо затаенная насмешка. Рязанов сбивает своих хозяев с толку, а между тем не дает никакого совета, никакой руководящей нити, за которую бы они могли держаться.

«... И Рязанов, такой же худой и желчный, каким приехал, отказавшись от спокойной деревенской жизни, от дружбы и любви прелестной женщины, в дождь, в грязь, захватив бедного семинариста, желающего учиться, садится в телегу и уезжает... Куда, зачем?... Трудно представить себе впечатление более тяжелое, чем то, которое оставляет по себе Рязанов, так полно заканчивающее собою время брожения и надежд — начало шестидесятых годов. Вы видите человека, который разбит жизнью вдребезги. Все, во что он верил, на что надеялся — разбито до гни, вырвано с корнем, а эти надежды и верования были не его частные, личные, не о себе думал он в них. Это были надежды и верования всего поколения.

Рязанов — человек недюжинный, он, вероятно, один из тех пощаженных судьбою людей, которые были побольше (намека, что Рязанов принадлежал к породе Чернышевских). Он имел твердость взглянуть прямо в лицо вещам и сознать, что дело его было делом ироигранное, потому что оно было выше возможности, потому что под основанием его не было твердой земли, и никто этой земли не даст ему ни вершка... Как человек озлобленный, но честный, Рязанов одинаково беспощадно относится и к старым разрушившимся верованиям и к новым верованиям, не выдержавшим пробы, но своих он не успел еще создать и определить и в этом случае, когда дело коснется определенности, взгляд его высказывается еще вполне шатким.

Старую жизнь, по его мнению, исправлять не стоит. Она сложилась на началах захвата, войны, силы, на законе борьбы за существование, с нею ничего не поделаешь. Нужно выдумать и создать иную жизнь, на иных основаниях. Но выдумывать, пожалуй, и можно, да пересоздать то, что сложилось веками, к сожалению, нельзя.

.. Итак, вот какова самая замечательная и выдающаяся личность, которую выставила нам позднейшая литература... Эта личность сильнее, чем все нападки враждебного ей направления, говорит, что мечты и замыслы были неудобоприложимы. Неудача всегда виновата... Если бы мы пожелали отчетливее разъяснить себе причину, по которой честная, исполненная лучших желаний молодежь задалась неосуществимой целью, мы, я полагаю, нашли бы ее в экономическом и общественном положении этой молодежи» (М. В. Авдеев. «Наше общество в героях и героинях литературы». II. 1874)).

Характеристика этих утверждений Авдеева дана в настоящем томе, на стр. 24 и 25.

В статье о вышеназванной книге Н. К. Михайловский в том же самом году мимоходом касается повести «Трудное время». В истории Марьи Николаевны Щетининой он видит типическую историю «хорошей и энергичной женщины» «кающейся дворянки». Всячески симпатизируя ей, он высказывает все же сожаление, что, «как кающиеся дворяне мужского пола, новые женщины замыка-

ются в секту, упираются в глухой переулочек личной морали». (См. Сочинения Н. К. Михайловского, II. 1896. т. II, стр. 653).

В 1888 году, в связи с выходом в свет нового собрания сочинений Слепцова, «Трудное время» снова подверглось рассмотрению критики. В «Северном вестнике» появилась статья М. Протопопова «По поводу одной повести». Протопопов, в духе эпохи восьмидесятых годов, проповедывал тогда полный отказ от всяких революционных порывов и призывал к микроскопически-мелким заботам об убогих и сирых. Так как в повести Слепцова именно эту программу осуществляет гуманный помещик Щетинин, критик, вопреки замыслам автора, восхваляет этого помещика в качестве идеального героя эпохи.

«Насмешки Писарева над Щетининым,— пишет М. Протопопов,— негуманны и очень жестоки... Щетинин отдал, подарил своим бывшим крестьянам всю землю, которой они владели, и Рязанов, узнав этот факт, а не пустозвонную фразу, не красное словцо, соблаговолил изречь такие две пустозвонные фразы: «что и требовалось доказать» и «ну, таким манером, стало быть ты свершил в пределе земном все земное». Вот это-то именно и значит «угашать дух». Это именно мы и называем ненужною и потому бессмысленною жестокостью. Что такое Щетинин? Это человек добрых намерений, человек толпы, но не той толпы, которая идет «дорогой торною, страстей раба, к соблазну жадная», не той толпы, в которой «кипит вечная, бесчеловечная вражда — война за блага бранные».

Ему «не по силам подвиги», но он «с готовностью и искренностью» идет навстречу посильным жертвам во имя общего блага. Роль таких людей, как Щетинин, велика и плодотворна:

...Добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей производят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тинной и не превращается окончательно в клоаку. Надо это понимать и пора это ценить.

«Логика Рязанова, восхищавшая Писарева, может

ослеплять и оглушать только таких умышленно безоружных людей, как Щетинин»»

Рязанов «не понимает, что в лице своего приятеля он имеет не злобного и хищного эксплуататора, а, наоборот, человека, который жаждет внести в свои отношения к подчиненным людям правду и справедливость».

Вот что должен был ответить Щетинин на ехидные нападки Рязанова:

«Не мне реформировать общие условия. Дело веков поправлять не легко, но я человек честный и, по крайней мере в своей бедной сфере, на своей узкой арене, хотел бы сделать все, что возможно, для того, чтобы оберечь свое право и не посягнуть неосторожно на чужое.

Подчиняясь влиянию Рязанова, Марья Николаевна разочаровывается в возможности для себя деятельности в деревне, разочаровывается в народе, разочаровывается, наконец, в своем муже... Она кроткая, чистая, любящая, доходит до прямой жестокости. Она уезжает туда, то есть в Петербург, и вот ее прощальное письмо мужу. (Протопопов цитирует письмо, напечатанное в настоящем томе). Что это такое? Ведь порядочные, деликатные люди в такой форме и в таком тоне лакею от места не отказывают. И это писала милая, кроткая женщина, еще так недавно любящая жена! Марья Николаевна не могла не сознавать, какую кровавую рану наносит она своему мужу, и рука у нее не дрогнула и ожесточившееся сердце не подсказало ей слов, которые хоть как-нибудь смягчали бы наносимый удар». («Северный Вестник», 1888, 5).

Против этого фальшивого истолкования «художественно правдивой и полной глубокого смысла повести Слепцова» горячо восстала В. И. Засулич на страницах марксистского журнала «Новое Слово». В статье «Крепостная подкладка прогрессивных речей» она попыталась доказать Протопопову, что гуманность прославленного им либерала Щетинина не только не исключает его эксплуататорской деятельности, но, напротив, вытекает из нее.

«Современные отношения и условия» дают хозяину право стремиться получить на свой капитал (в земле, скоте и орудиях труда, в щетининском случае) возможно

большую прибыль. С точки зрения хозяина, как такового, справедливость требует, чтобы процент этой прибыли был не меньше среднего. С этим сообразуются и его представления о «правильном отношении между трудом и заработком». При буржуазных отношениях между хозяином и рабочими, основанных на вольнонаемном труде (в противоположность барским, основанным на крепостном труде), нанимаемые тоже имеют право стремиться, без всяких посторонних препятствий, к возможно большему заработку за возможно меньший труд и тем самым вносить практические поправки в хозяйственную идею о «справедливой норме труда и вознаграждения». При развитом буржуазном строе это стремление, хотя бы самое напряженное и систематическое, никому уже не кажется вредным. Сами просвещенные защитники буржуазных интересов признают обязательный характер установления «нормальной» платы за средний труд совершенно правильным. Но все это в развитых буржуазных странах. В стране же, недавно перешедшей от крепостного труда к наемному, остается еще целая масса переживаний. Как в самом экономическом, так и во всем надэкономическом строе еще живы остатки той эпохи, когда отношение между трудом и получками крепостного зависело отчасти от обычая, отчасти от воли помещика, но тогда зато помещик был лично и непосредственно заинтересован в том, чтобы благосостояние его собственных крестьян не спустилось ниже обычного уровня и не препятствовало их размножению. Для вольного труда этой гарантии не существует. Никто теперь, кроме самого трудящегося, лично и непосредственно в его благосостоянии не заинтересован; жизнь наложила на него, таким образом, суровую обязанность: не надеясь на барина, которого у него уже нет, из всех сил стремиться получать как можно больше, надрываясь как можно меньше. Эта возможность так мала, что большинству освобожденных рабов и при самом напряженном стремлении не хватает сил даже на то, чтобы удержать свое благосостояние на прежнем крепостном уровне, а между тем все и вся — учреждения, нравы и понятия — ставят препятствия его стремлениям и помогают стремлениям хозяев получать возможно больше труда за возможно меньшую плату. При таких условиях нет ничего удивительного, если

человек, не забывший еще об общей лжи и несправедливости, целиком направленной в пользу его хозяйственных интересов, не желает учинять специальных несправедливостей, хотя бы и мог сделать это на законном основании. Противоположное поведение, при продолжающейся болтовне о социальном деле и сыром материале, было бы специально омерзительно, и Щетинин в подобном омерзительном поведении неповинен. Он не только не станет пытаться выплачивать вознаграждение ниже средней платы в данной местности, а может, еще и прикинет против других. Не станет он и взыскивать с плотников убытка за перепутанные нижние венцы при постройке, хотя и мог бы это сделать при помощи своего приятеля, мирового посредника. Все это очень хорошо, но за то, что дает ему его положение, он считает себя в праве требовать, чтобы противная сторона сложила перед ним всякое оружие, прониклась благодарностью, доверием, преданностью и проч. и, не видя с ее стороны всего этого, раздражается и распускает нюни. Всю лживость, всю несообразность этой претензии и показывает ему Рязанов своими ироническими вопросами и замечаниями. Г. Протопопов находит, что таким образом он дает ему камень вместо хлеба. Но какого же именно хлеба нужно Щетинину?

Для его нравственного благополучия требуется, чтобы как те крестьяне, с которыми ему приходится иметь дело, так в особенности его батраки признали его нравственное превосходство над собою, чтобы они поверили, что он лучше их самих знает их интересы (а на самом деле он знал их гораздо хуже) и ими руководствуется, чтобы вместо противника они увидели в нем отца и, вполне положившись на его волю, действительно превратились в тот сырой материал, каким желали воображать их добрые господа. В сколько-нибудь широких размерах это было бы идеальным воспроизведением «тихих прелестей крепостного права», более полного, чем бывшее реальное, так как охватывало бы весь психический склад рабов, что, в действительности, случалось только с привилегированными слугами из дворовых. (В. И. Засулич. Соч., т. II, стр. 186—188).

В 1903 году вышло новое (третье) издание сочинений Слепцова. Оно вызвало в печати целый ряд самых разнообразных оценок.

«У Слепцова, -- писал некто К. в «Русской Мысли», -- его, может быть, слишком трезвое, проникнутое здоровым смехом изображение деревенской «власти тьмы» было полезным и необходимым коррективом к крайностям идеализации у других. Слепцов осмеивал далеко не все: его смех направлен всегда на очень определенные явления -- пошлость, рабьи чувства, оголтелое невежество, притязательность при внутренней пустоте. Его смех не всегда «светел», в нем слышится иногда и грусть и горечь. Из-за отрицательных красок его картин очень определенно вырисовываются его положительные взгляды.

Обыкновенно говорят, что эти последние он выразил, и не вполне удачно, в лице Рязанова. В некоторых отношениях, например, в гипертрофии честности, конечно, но нежизнеспособность Рязанова, его очевидная несостоятельность в столкновении с Марьей Николаевной, ясно показывают, что для Слепцова он не был средством выразить свои личные воззрения, субъективным типом, а одним, хотя бы и лучшим, плодом «трудного времени». («Русская Мысль», 1903, 4, стр. 154—157).

Либеральные «Русские Ведомости», как уже было сказано выше, приписали Слепцову «отсутствие идеалов, скептицизм, безверие», которые якобы и послужили причиной его непопулярности у современных читателей.

«Когда современный читатель прочитывает сочинения Слепцова, от рассказов из народного быта до характеристики интеллигенции в повести «Трудное время», он видит перед собой то же, как маска, «мертвенное лицо Слепцова» и отрицает все, не верит ни во что, ни в народные силы, ни в умение интеллигенции, ни в ее добрые намерения, ни в общественные начинания, ни даже в значение отрицания. Он говорит «презренный мир», но, произнося это, он не волнуется и не страдает. Презренность мира его часто смешит, иногда оставляет равнодушным, и только в исключительных случаях наполняет грустью. Но и в смехе и в грусти его видна какая-то мертвенность, как будто автор уже давно под-

вел всему итоги и над всем поставил крест». В очерках из народного быта «грубый, глупый, идиотски жестокий или идиотски трусливый и забитый выступает в них народ». Автор не сокрушается и не негодует: он холодно смеется, как при констатировании явления, которое давным-давно известно ему и не способно вызвать в нем ничего, кроме насмешки и презрения. Он мертв к каким бы то ни было впечатлениям жизни, кроме отрицательных, и выискивает эти отрицательные явления не потому, чтобы перед ним рисовался более или менее общественный идеал, а потому, что все в жизни, как выражается Рязанов в «Трудном времени», — «не жизнь, а так, чорт знает что, дребедень». К народу Слепцов относился совершенно равнодушно. «Сердце Слепцова, новидимому, перестало биться раньше, чем он начал писать, и мертвенный оттенок скептицизма лег на все его произведения».

«Совершенно ясных общественных взглядов, кроме чисто отрицательных, у него (Слепцова) не было». «Он разоблачил Щетинина, а в Рязанове, который разоблачает Щетинина, нет ничего положительного. Ему «нечего сказать». Скептицизм уничтожил в нем веру в то, во имя чего он отрицает». («Русские Ведомости», 1903, 81).

Тогда же один из реакционных писателей, беллетрист К. Ф. Головин, напечатал большое исследование о русском романе, где посвятил несколько страниц рассмотрению «Трудного времени». Как и следовало ожидать, он всецело на стороне Щетинина, а к Рязанову относится с резкой враждебностью.

Повесть «Трудное время» отличается, по его словам, суровым характером. Чтобы ярче оттенить несостоятельность Щетинина, автор заставляет его робеть перед Рязановым, путаться, говорить в свою защиту глупости. «А между тем он не только не бессердечный кулак, а выказывает даже необыкновенную щедрость крестьянам, целиком подарив им выкуп за надел, чему, вероятно, немного отыщется примеров. Тем не менее, эта щедрость, после которой он считает себя в праве остальную землю удержать за собой, как несомненную собственность, все-таки выставляется, как нечто мизерное и недостаточное. И выходит оно действительно таковым, потому что от

абсолютного принципа поголовного равенства, которого Щетинин и теперь не смеет решительно отвергнуть. никакими полууступками не увернешься. Но внутреннее ничтожество Щетинина на самом деле вовсе не заключается в его землевладельческом эгоизме, а как раз в той нееленой робости, с которой он пасует перед Рязановым, не переставая жалко твердить о своем либерализме. Таким образом тенденциозное отношение автора к сюжету вносит фальшь и в постановку характеров и в самый ход рассказа. Герой его, Рязанов, в сущности, не характер, так как он не только не действует, но и не говорит, и обаяние его на прочих лиц повести совершенно непонятно: это не более, как *суровый грубиян* с чуть-чуть намеченными радикальными взглядами того оттенка, который заключается не в стремлении к чему-либо лучшему, а в полном *отрицании самой возможности такого лучшего*. Эта фальшь отражается и на Марье Николаевне: «она действительно не более, как дура самой чистой воды». (К. Ф. Головин (Орловский). «Русский роман и русское общество», П. 1904, ч. III, гл. VIII, стр. 239—242).

В «Истории русской литературы XIX века», вышедшей под редакцией проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, либеральный историк народничества Чехихин-Ветринский изображает Слепцова, как скептика, не верящего в революционные силы народа.

«Нового человека изображал и Слепцов в своем романе «Трудное время» (1865), горячо встреченном Писаревым. В романе ярко и зло изображено положение либерального помещика Щетинина, который надеется и невинность соблюсти, — остаться либеральным человеком, и капитал приобрести — составить состояние. Щетинину, запутавшемуся в этом положении, противопоставлен Рязанов, столичный писатель. Он беспощадно разоблачает все ложное в положении помещика, который хотел бы соединить с привилегиями хозяина «гуманство», но сам Рязанов не имеет перед собою, в противоположность Чернышевским и Добролюбовым, с их трогательной социальной религией, окрашенной в народничество, никакого определенного идеала. Михайловский вспоминает «красивое, точно точеное, но как маска, мер-

твенное лицо Слепцова». Что-то мертвенное было и в Рязанове... Когда его спрашивает встревоженная им, разрывающая с мужем женщина: «Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?» — он может дать только холодный ответ: «остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...» — и махнул рукой, потому что та жизнь, которой он сам живет, «это и не жизнь, а так, чорт знает что, дребедень такая же, как все прочие». «Тон задается жизнью, а мы только подпевалы», — говорит он же в одном месте, как бы признаваясь в бессилии своем стать творцом и двигателем жизни. И в конце романа пробужденная его глумливыми замечаниями женщина идет одна на новую дорогу женской самостоятельности. Эта полоса романа — пробуждение в русской женщине чувства независимости — хорошо удалась Слепцову, и его Марья Николаевна, со своими сомнениями, тревогами и стремлениями, до сих пор являет собою судьбу многих и многих русских женщин.

Образ Рязанова во многих отношениях интересен, как показатель силы и слабости нигилизма в жизни. Этот тип был силен, как носитель критического начала, как отрицатель, но безнадежно слаб, как *представитель общественности*. Нигилизм был чужд определенной общественно-политической программы, был слишком индивидуалистичен, и «новые люди», в конце концов, кажутся даже чем-то вроде секты, так что Н. К. Михайловский впоследствии не без основания сравнивал нигилизм с толстовством (конечно, только в отношении их к общему движению мысли в русском обществе)» (т. III, стр. 115).

Там же напечатана статья о Слепцове марксистского исследователя А. А. Дивильковского, который с полным основанием доказывает, что скептицизм Рязанова относится не к русской революции вообще, а только «к современной ему минуте русской жизни», к эпохе «возрастающей реакции». Дивильковский единственный из всех критиков «Трудного времени» поставил изучение этой повести на строго историческую почву, приурочив ее содержание к определенному периоду шестидесятых годов.

«Вещью, на которой больше всего покоилась слава Слепцова в шестидесятые годы, была повесть из интеллигентской жизни «Трудное время», появившаяся в трудное время поворота в сторону реакции после польского восстания. Эта повесть — ответ Слепцова на повесть Чернышевского «Что делать?». Интересно проследить, как видоизменился за промежуток в два года тип «новых людей» и решение вопроса: что делать? — благодаря все возраставшей реакции. Лопуховым, Верам Павловнам, даже Рахметову все казалось впереди так ясно, просто, удобоисполнимо, не то — Рязанову.

По сравнению с ним Рязанов кажется слишком охлажденным жизнью. Когда Марья Николаевна, в восторге от поступка Рязанова с мировым посредником, начинает играть ему бравурный марш, — ему эти звуки напоминают вдруг «фельдфебеля», как он ходит и твердит: «левой, правой, левой, правой». И на ее замечание «охота вспоминать фельдфебеля», — говорит, чтобы охладить ее романтический порыв: «Нет, изредка ничего, это освежает мысли...»

В другой раз он говорит: «тон... зависит не от одного желания, он... задается жизнью... Можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас осадит».

Такие слова Рязанова дали повод некоторым критикам причислять его к «лишним людям», но многие его поступки и слова радикально противоречат этому взгляду; другие критики считают его неясным, спутанным, следовательно, нехудожественным образом. На самом деле указанная черта говорит скорей всего лишь о твердо усвоенном Рязановым сознании «предела, его же не преjdeши» в современную ему минуту русской жизни. Горизонт возможной деятельности кажется ему много уже, чем он казался «новым людям» из «Что делать?». Но Рязанов не считает невозможной какую-либо общественную деятельность для интеллигента. И когда Марья Николаевна из его слов выводит заключение: «Ну да, я понимаю, это значит, что здесь нечего делать», — он твердо отвечает ей: «Нет...»

Речи Рязанова носят явные следы «иудейского страха» перед цензурой, но если мы обратимся к действию повести, то увидим, что он не даром живет «на летнем

положении», не просто «проводит время приятно», не «пересыпает из пустого в порожнее», а все время неуклонно делает свое дело, дело «новых людей». Он успешно спровоцировал Марью Николаевну — создал из дюжинной филантропки-помещицы сознательную и непреклонную «новую женщину». Он завербовал в свои ряды сына дьячихи. Здесь он является «человеком действия», не разбитым и не упавшим духом, а действовавшим в пределах возможности тогдашних условий жизни. И «фельдфебель», т. е. казарменные политические условия тогдашней России, являлся у него лишь ветхой, указывающей, куда покамест не идти, где деятельность до поры была лишь бесплодной тратой сил. Таковы неудачные опыты московской «организации» земляков Слепцова — Ишутина, Каракозова и др.

Встает вопрос, почему же Рязанов бросил Марью Николаевну на произвол судьбы, а не увез ее с собой, как сына дьячихи? Но в этом-то, на первый взгляд, нелогичном поступке и концентрируется смысл и ценность рязановского типа, как типа *общественного деятеля*, а не частного охотника за редкостными сердцами.

С самого первого шага он направляет Марью Николаевну к определенной цели, но так умно, что она этого не замечает. Она возмущается его советами Щетинину, как получше прижать мужиков, и благодаря этому ясно усваивает, как не следует относиться к крестьянам. Он осмеивает ее затею учить крестьянских детей, считая неэкономным тратить на это силы в момент закрытия воскресных школ и пресечения всякой частной инициативы. Затем переворачивает всю душу нежной дамы зрением порки. Таким путем она сама уясняет себе идею единственного «настоящего» дела. Он не навязывает готовых идей, а разумным педагогическим приемом воспитывает молодую душу путем *личного опыта*. Рязанов не считает воспитание бывшей помещицы на этом законченным. Он находит, что для прочности решения повести «новую жизнь» она должна выдержать еще один, самый трудный искус — одинокого пробивания себе пути к этой «новой жизни». Он все время стремится к тому, чтобы она самостоятельно приходила к своим решениям, а не под давлением со стороны, считая такие решения самыми прочными. Устоит она на своем решении, не-

смотря на все препятствия, — она ценный для дела человек. Иначе ее ценность невелика.

И к Марье Николаевне Рязанов строже, чем к дьячихину сыну. Тут вероятно сказывается отношение разночинца к классовому врагу — «барам».

Для полной характеристики Рязанова надо прибавить, что Слепцов не рисует его сверхчеловеком, лишенным всяких слабостей. Он — живое лицо, лишь на полголовы выше окружающих. Есть у него живые ноты страдания, утомления жизнью: «Это не жизнь, а... дребедень такая же, как и все прочие». «На жизненном пиру... места наши... заняты давно». И к Марье Николаевне он равнодушен, хотя долго скрывает это чувство. Когда она уходила с последним «прощайте!», он, схватив себя обеими руками за волосы, бросился вперед... но тут же остановился... Он чувствует себя обязанным умертвить свою страсть, чтобы не мешать делу. Он считает себя способным лишь вербовать «новых людей», а для самой борьбы в нем нет достаточно сил, и Марье Николаевне с ним было бы не по дороге. От такого сознания на фигуре Рязанова лежит отпечаток грусти самопознания, — но это не хандра пассивного человека.

Щетинин — переходная ступень от крепостного барина к буржуазного характера сельскому хозяину: он уже стыдится прибегнуть к крепостному кулаку, но *еще* стыдится буржуазной эксплуатации «по всей строгости законов». Эта двойственность делает его вялым в чувствах и поступках. Но к концу повести он определяется и уже твердит, что без капитала «никакое серьезное, прочное дело невозможно».

Мало кому известна появившаяся в 1922 г. за границей статья М. Горького о жизни и творчестве В. А. Слепцова.

«Щетинин, его жена, Рязанов — типичные герои того трудного времени, — пишет М. Горький. — Слепцов написал их мастерски, как настоящий художник. Жена Щетинина — это одна из тех женщин, которые, увлекаемы тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше — в Швейцарию, или же шли «в народ», а потом в ссылку, в тюрьмы, в каторгу.

Щетинина может быть — одна из женщин, которые слушали лекции Слепцова, жили в его «коммуне» и несомненно погибли в борьбе за свободу своей страны».

«Рязанов — один из тех интеллигентов, которые, сознавая, что они непонятны, ненужны и чужды «народу», а всем другим классам — враждебно их критическое отношение к «устоям» русской жизни, отдавали себя духу «отрицанья и сомненья» и с гордостью приняли кличку нигилистов. По натуре своей Рязанов — родной брат нигилисту Базарову, но он — человек более естественный и лучше знающий жизнь, чем знал ее герой Тургенева. «Это не жизнь, — говорит он Марии Щетининой, — а черт знает что, дребедень такая же, как и все прочее. — Но что же тогда? — почти с ужасом спросила Марья Николаевна. — Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут? — Остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор... Он махнул рукой».

Это очень безнадежно, но такие мысли и настроения должны были мучить наиболее наблюдательных людей «трудного времени, людей, которым «некуда» идти. Базаровы и Рязановы созданы русской жизнью как бы нарочно для безудержного осуждения ею же самой себя. Эту роль они исполнили самоотверженно, разбив себе лбы и сердца, погибнув в отрицании, но по трупам их в жизнь вошли люди революционного дела, сотни героинь, имена которых почтительно вписаны на страницы истории борьбы за свободу и культуру...»

Через год повесть Слепцова была издана Госиздатом — с предисловием Н. Иорданского. В предисловии между прочим говорилось:

«Тот революционный класс, который впоследствии нанес смертельный удар самодержавию царей и создал первую в мире рабоче-крестьянскую республику, промышленный пролетариат, можно сказать, еще находился в утробе крепостнического общества. Крестьянство... было расколото и оставлено в своем недовольстве правительством реформой 61 года... Должны были пройти годы, чтобы бесправие и обезземеление превратили крестьянство в революционную силу. Разночинная интеллигенция была в начале шестидесятых годов штабом бе-

армии. Но она была значительной революционной величиной. Она искала выхода, блуждая в теориях мелкобуржуазного демократизма и индивидуализма и утопического социализма... Рязанов — еще не пропагандист-народник. Он — просветитель. Ни в какие отношения с крестьянами он не входит... Его речи, бледные и состоящие из довольно неопределенных насмешек над помещичьим бытом, над фальшью благих намерений, несомненно обесцвечены автором из страха цензурных скорпионов, но все же отсутствие каких-либо положительных ответов на большие вопросы характерно для Рязанова. Он показал Марии Николаевне, что либеральные фразы ее мужа прикрывают только убожество и жестокий эгоизм собственнического существования, но он не мог ей указать новой цели... Ответ на вопрос Марии Николаевны — что делать? — дает уже не разночинец-просветитель, а революционный народник-пропагандист... Но для изучения предшественников революционного народничества, для ознакомления в живом художественном образе с разночинцем-просветителем повесть Слепцова дает незаменимый материал».

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Сочинения Слепцова

«Французские рабочие на русских железных дорогах». — «Московский вестник». 1861, 2.

«Из путевых заметок» — «Русская речь», 1861, 27—28.

«На выставке» — «Русская речь», 1861, 37.

«Владимирка и Клязьма» — «Русская речь», 1861, 64—66, 82, 84, 87, 90, 94—96, 100.

«Спевка» — «Отечественные записки», 1862, 9.

«Письма об Осташкове» — «Современник», 1862, 5; 1863, 1, 2, 3.

«Сцены в больнице» — «Современник», 1863, 5.

«Питомка» — «Современник», 1863, 7.

«Ночлег» — «Современник», 1863, 11.

«Свиньи» («Казаки») — «Современник», 1864, 2.

«Трудное время» — «Современник», 1865, 4, 5, 7, 8.

«Женское дело» — «Женский вестник», 1866, 1.

«Собрание сочинений», два тома, П. 1866.

Письмо в редакцию «С.-Петербургских Ведомостей», 1867, 15 марта.

«Пролог к неоконченной драме» — «Дело», 1867, 5.

«Записки метафизика» — «Отечественные записки», 1868, 1 и 2.

«Тип новейшей драмы» — «Отечественные записки», 1868, 2.

«Хороший человек» — «Отечественные записки», 1871, 2.

«У мирового» — Тифлис, 1875.

- «Сданы у мирового судьи». — Сборник «Клич», М. 1916.
«Трудное время». Берлин, 1922. С предисловием М. Горького.
«Трудное время», М. Л. 1923. Со вступительной статьей Н. Иорданского.

II. О Слепцове и его сочинениях

- «Северная пчела», 1863, 227.
Д. И. Писарев. «Подрастающая гуманность» — «Русское слово», 1865, 12 (Собрание сочинений, т. 4-й).
Инокognito (Зарин). «Четыре повести и один пономарь». «Отечественные записки», 1865, 12.
«Книжный вестник», 1866, 5.
«С.-Петербургские ведомости», 1866, 26.
«Голос», 1866, 67.
«Колокол», 1866, лист 221.
«Всемирный труд», 1868, 2.
П. Ткачев. «Подрастающие силы» — «Дело», 1868, 9—10.
Е. И. Утин. «Из литературы и жизни» (сб. статей), том I, П., 1896, стр. 36—37.
А. М. Скабичевский. «Живая струя» (Беллетристы-народники). — Собрание сочинений, т. I, П., 1903; статья 1869 года.
«Библиотека дешевая», 1871, 6, стр. 162—165.
«Одесский вестник», 1871, 77.
Н. С. Лесков. «Загадочный человек», П., 1871.
М. Авдеев. «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы», П., 1874.
Н. К. Михайловский. «Из литературных и журнальных заметок 1874 года». Сочинения, П., 1896, т. II.
И. С. Тургенев. «Первое собрание писем», П., 1884, стр. 129.
В. Буренин. «Новое время», 1888, 4288.
(М. Протопопов). «Полное собрание сочинений Слепцова». «Северный вестник», 1888, 4.
М. Протопопов. «По поводу одной повести», «Северный вестник», 1888, 5.
А. Кунин. «Забытый писатель», «Колосья», 1888, 5.
Н. В. Успенский. «Из прошлого», М., 1889, «В. А. Слепцов».

Авдотья Панаева. «Воспоминания» — «Исторический вестник», 1889.

Ж. Слепцова. «Воспоминания матери» — «Русская старина», 1890, I.

В. Стасов. «Книжки недели», 1896, 5.

Иванов (Вера Засулич). «Крепостная подкладка прогрессивных речей» — «Новое слово», 1897, 9. (Сборник статей В. И. Засулич, II, т. II).

«Вестник Европы», 1903, 8.

В. Греков. «Забытый писатель» — «Новое время», 1903, 9715.

И. «В. А. Слепцов». «Русские ведомости», 1903, 81.

В. Марков. «Биография В. А. Слепцова». «Исторический вестник», 1908, 3.

К. «В. А. Слепцов». — «Русская мысль», 1903, 4.

К. Ф. Головин (Орловский). «Русский роман и русское общество», II., 1904, часть III.

«Литературное обозрение». — «Вестник Европы», 1904, 7 (стр. 382).

«Русский биографический словарь», II., 1904.

«Энциклопедический словарь Брокгауза». (Заметка С. Венгерова).

«Энциклопедический словарь Граната», т. XI (приложение).

Сочинения И. Ф. Горбунова, 1907, т. III, стр. 7, 2, 73, 100—101.

Ю. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». II., 1908.

Н. Н. «Предвестник Чехова» — «Слово», 1908, 423.

А. А. Дивильковский. «В. А. Слепцов». — «История русской литературы XIX века», «Мир», 1910, т. III.

Чешихин-Ветринский — там же (стр. 115).

«Великая реформа», М., 1911, т. 6, стр. 307.

В. Евгеньев. — Редакция «Современника». — «Голос минувшего», 1915, 1.

М. А. Антонович. — Редакция «Современника» — «Голос минувшего», 1915, 2.

Е. Водовозова. «В. А. Слепцов». — «Голос минувшего», 1915, 12.

«Архив села Карабихи». М., 1916.

Ст. Кривцов. «В. А. Слепцов. «Трудное время». «Правда», 1923, № 210.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Письма», Л., 1925.

М. А. Скабичевский. «Литературные воспоминания», М., 1928.

«Твори Марка Вовчка». Киев, 1928, т. 4. стр. 195.

«Тургенев и Боткин», М.-Л., 1930.

«Журналистика шестидесятих годов», сборник статей под ред. Валериана Полянского, М.—Л., 1930, стр. 109, 123.

Н. А. Некрасов. «Собрание сочинений», М.—Л., 1931, т. V (Письма).

III. Литература о городе Осташкове

Е. Ст—жо. «Осташков» — «Северная пчела», 1840. № 251.

Ф. Савин. «Осташковская гражданская пожарная команда» — «Московские ведомости», 1860, 7 октября.

А. З—н. «Ржев и Осташков» — «Современная летопись» «Русского вестника», 1861, 47.

«Памятные книжки Тверской губернии» за 1861. 1865, 1868 гг.

М. «Письма из Осташковского уезда» — «Московские ведомости», 1862, № 156.

«О публичной библиотеке Осташкова» — «Голос», 1874, 20.

В. Покровский. Историко-статистическое описание города Осташкова», «Тверь», 1880.

И. Красноперов. «Промыслы Осташкова» — «Русское богатство», 1894. 7.

И. Токмаков. «Город Осташков и его уезд», М., 1906.

Р—в. «Свадебные обычаи в Осташковском уезде» — «Тверская Старина», 1913, 2.

Промана сѣ. 101.
Амстгеддер.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	7
К. Чуковский. Тайнопись Василия Слепцова в повести «Трудное время»	15
Трудное время. Повесть	69
Письма об Осташкове.	
Образец городского устройства в России	305
Письмо первое. — Наружность города	310
Письмо второе. — Визиты	339
Письмо третье. — Школы	359
Письмо четвертое. — Общественные заведения	373
Письмо пятое. — Знакомства	399
Письмо шестое. — Именины	427
Письмо седьмое. — Осташковская литература	444
Письмо восьмое. — Театр и новые знакомые	461
Письмо девятое и последнее. — Осташковская по- литика	475
Письмо в редакцию «Современника» по поводу «Пи- сем об Осташкове»	486
Хороший человек.	
К. Ч. Предисловие к роману «Хороший человек».	493
Хороший человек (Пять глав из неоконченного ро- мана)	496
К. Чуковский. История Слепцовой коммуны	551
Хронологическая канва жизни и работы Слепцова	583
Цензурные искажения, устраненные в настоящем издании	592
Обзор критических отзывов о повести «Трудное время»	595
Библиография	622

Редактор К. И. Чуковский.
Тех. ред. Г. А. Гилес. Сдана
в набор 5/I 1932 г. Подписана
к печати 20/III 1932 г. № 15.
Главлит № Б16318. Тираж 8.250.
Печ. л. 19⁵/₈. Бумага 72×110.
Типогр. знак. в 1 п. л. 60000.
Двадцатая типография ОГИЗ'а
им. Евг. Соколовой, Ленинград,
просп. Красных Командиров, 29.
Заказ № 2035.



6p. 20k.

1897

2018

